

Александръ Сергѣевичъ

ГРИБОѢДОВЪ.

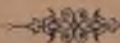
ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНІЯ.

Сборникъ историко-литературныхъ статей.

СОСТАВИЛЪ

В. Покровскій.

Изданіе 3-е, дополненное.



Цена 50 коп

МОСКВА.

Владъ въ книжномъ магазинѣ В. СПИРИДОНОВА и А. МИХАЙЛОВА.

Мохомъ, уг. Тверской, д. Варварин. Акц. О-ва. Тел. 120—95.

1911.

1874

Александръ Сербовичъ

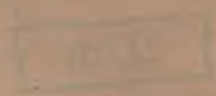
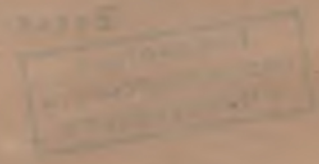
РЫБОВОРЪ

ЕГО ЖИЗНЬ И СОУЩЕСТВЕННІЯ

СЪ СЪВѢЩАНІЕМЪ

В. Тордовскій

БЕЛАЯ ГОРА



Всѣмъ да здравствуетъ



Типографія Г. Лиснера и Д. Совко.  
Москва, Воздвиженка, Крестовоздвиж. пер., д. 9.

## ПРЕДИСЛОВІЕ.

Въ третьемъ изданіи помѣщены слѣдующія новыя статьи: Похороны Грибоѣдова, *Павлова*. — Отличительныя черты общественнаго движенія въ Александровскую эпоху, *Пыпина*. — Направленіе общественнаго движенія въ началѣ царствованія Александра I, *Булича*. — Допожарная Москва, *кн. Вяземскаго*. — Борьба двухъ поколѣній въ комедіи: «Горе отъ ума», *Ильинскаго* — Чацкій, какъ представитель новаго направленія въ первую половину царствованія Александра I, *Будде*. — Идеалы Чацкаго, *Иващенко*. — Проявленіе чувствъ и личности Чацкаго въ средѣ, въ которой онъ очутился, изъ предисловія къ «Горю отъ ума» издан. Суворина 1886 г. — Фамусовъ, какъ центральная кружковая личность и его духовная атмосфера, *Будде*. — Фамусовщина и Чацкій, *Иващенко*. — Галлерейя женскихъ отрицательныхъ типовъ въ комедіи: «Горе отъ ума», *Чудинова*. — Образность и выразительность слога Грибоѣдова, *Брайловскаго*. — Отношеніе Грибоѣдова къ театру и литературное потомство «Горе отъ ума» *Писканова*. — Грибоѣдовъ, какъ человѣкъ, *Павлова, Смирнова и Писканова*.

# ОГЛАВЛЕНИЕ.

	<i>Стран.</i>
Домашняя среда и первоначальное образование Грибоѣдова, <i>Веселовскаго</i> . . . . .	1
Грибоѣдовъ въ московскомъ университетѣ, <i>его жсе</i> . . . . .	4
Жизнь и дѣятельность Грибоѣдова по выходѣ изъ университета, <i>Стоюнина</i> . . . . .	7
Похороны Грибоѣдова, <i>Павлова</i> . . . . .	13
Отличительныя черты общественнаго движенія въ Александровскую эпоху, <i>Пыпина</i> . . . . .	14
Направленіе общественнаго движенія въ началѣ царствованія Александра I. <i>Булича</i> . . . . .	24
Характеристика Москвы, особенности ея быта и ея значеніе въ жизни русскаго общества въ началѣ XIX столѣтія, <i>Дубровина</i> . . . . .	39
Отъѣздъ помѣщиковъ на зиму въ Москву въ XIX в., <i>его жсе</i> . . . . .	59
Допожарная Москва, <i>кн. Вяземскаго</i> . . . . .	62
Старое и молодое поколѣніе Грибоѣдовской Москвы, <i>Иванова</i> . . . . .	90
Борьба двухъ поколѣній въ комедіи: «Горе отъ ума», <i>Ильинскаго</i> . . . . .	100
Живенность комедіи «Горе отъ ума», <i>Гончарова</i> . . . . .	106
Среда, изображенная комедіей «Горе отъ ума», <i>Миллера, Григорьева</i> . . . . .	110
Чацкій, какъ представитель новаго направленія въ первую половину царствованія Александра I, <i>Будде</i> . . . . .	125
Идеалы Чацкаго, <i>Иващенко</i> . . . . .	130
Личность Чацкаго, <i>Гончарова, Незеленова</i> и изъ предисловія къ «Горю отъ ума» <i>изд. Суворина 1886 г.</i> . . . . .	130
Проявленіе чувствъ и личности Чацкаго въ средѣ, въ которой онъ очутился, <i>изъ Предисл. къ изд. Суворина 1886 г.</i> . . . . .	142
Альцестъ и Чацкій, <i>Веселовскаго</i> . . . . .	147
Фамусовъ, какъ центральная кружковая личность и его духовная атмосфера, <i>Будде</i> . . . . .	152
Фамусовъ, какъ общественный дѣятель, чиновникъ и отецъ, <i>Незеленова</i> . . . . .	156
Отношенія Фамусова къ предшествующему вѣку, <i>Васильева</i> . . . . .	158
Фамусовъ и Чацкій, <i>Иващенко</i> . . . . .	167
Женское общество въ комедіи: «Горе отъ ума», <i>Незеленова</i> . . . . .	168
Галерея женскихъ отрицательныхъ типовъ въ комедіи «Горе отъ ума», <i>Чудинова</i> . . . . .	170
Софья, <i>Гончарова, Васильева</i> . . . . .	175
Прототипы дѣйствующихъ лицъ въ комедіи «Горе отъ ума», <i>Шляпкина</i> . . . . .	181
Языкъ Грибоѣдова. Выраженія, обратившіяся къ поговорки, <i>Куницкаго</i> . . . . .	184
Идиотизмы у Грибоѣдова, <i>его жсе</i> . . . . .	185
Народныя слова и обороты у Грибоѣдова, <i>его жсе</i> . . . . .	186
Образность и выразительность слога у Грибоѣдова, <i>Брайловскаго</i> . . . . .	186
Живяъ и личность Грибоѣдова по его перепискѣ, <i>Ор. Миллера</i> . . . . .	188
Грибоѣдовъ, какъ представитель освободительнаго движенія, <i>Кадлубовскаго</i> . . . . .	214
Крестьянскій вопросъ и Грибоѣдовъ, <i>Семевскаго</i> . . . . .	225
Отношеніе Грибоѣдова къ театру и литературное потомство «Горе отъ ума», <i>Писканова</i> . . . . .	228
Общественное значеніе Грибоѣдова, какъ писателя, <i>Смирнова, Котляревскаго</i> . . . . .	236
Грибоѣдовъ, какъ человекъ, <i>Павлова, Смирнова и Писканова</i> . . . . .	240

## Домашняя среда и первоначальное образованіе Грибоѣдова.

Александръ Сергѣевичъ Грибоѣдовъ родился въ Москвѣ 4 января 1795 года. Съ ранняго дѣтства его окружала обстановка стараго русскаго барства. Семья его вела свой родъ отъ выѣзжаго изъ Польши дворянина; помнила, что еще въ допетровскую пору многіе ея предки занимали важныя государственныя должности; гордилась заключенными въ послѣдствіи связями со многими аристократическими родами и вообще любила тянуться за старой знатью. Домъ, въ которомъ жили Грибоѣдовы, и который сохранился до сихъ поръ въ томъ же видѣ, въ какомъ былъ при нихъ, находился въ той части Москвы, которая и теперь еще не совсѣмъ утратила характеръ барскаго квартала и своими старинными фасадами, фронтонами и львами въ воротахъ, домами-особняками, назначенными для одного лишь семейства и окруженными многочисленными службами, напоминаетъ о старомъ бытѣ богатаго помѣщичества. Въ этомъ московскомъ Сень-Жерменскомъ предмѣстьѣ встарину сложились свои особые нравы и порядки: въ то время, какъ въ другихъ частяхъ города лишь изрѣдка видѣлись дворцы магнатовъ, воздымавшіеся изъ нестройныхъ группъ болѣе мѣщанскихъ построекъ, здѣсь селились одни столбовые, составляя особый мірокъ, связанный неразрывными узами родства, свойства, дружбы и сплетенъ. Себя только и свою жизнь эти люди считали *свѣтомъ*; у нихъ были свои мудрецы, законодатели и законодательницы свѣтскихъ приличій, свои *esprits forts*. Родовыя и общественыя традиціи свято наблюдались, и самостоятельная мысль гасла и замирала въ этомъ заколдованномъ кругу.

Вотъ среда, въ которой очутился ребенкомъ Грибоѣдовъ; вотъ тѣ люди, съ которыми ему пришлось въ послѣдствіи имѣть дѣло. Среда эта и мнѣніе этихъ людей оказывали обаятельное вліяніе на мать его, Настасью Федоровну Грибоѣдову: родовитость, связи, приличія имѣли для нея громадное значеніе. Играя въ домѣ первенствующую роль, вслѣдствіе безучастности ея мужа (секундъ-майора Сергѣя Ивановича) въ семейныхъ дѣлахъ, она старалась во всемъ не отставать отъ передовыхъ людей своего кружка, прислушивалась къ ихъ сужденіямъ объ ея семейныхъ отношеніяхъ и свято слѣдовала ихъ совѣтамъ. Пока дѣти ея были еще малы, имъ, повидимому, давали

полный просторъ рѣзвиться и шалить, сколько хотѣлось. Устами Чацкаго Грибоѣдовъ не разъ съ глубокимъ чувствомъ вспоминаеть о «невинномъ возрастѣ» своемъ, проведенномъ хотя и въ мірѣ Фамусовыхъ, но привольно, базпечно и счастливо. Люди, въ послѣдствіи ставшіе ему ненавистными, были имъ еще вовсе неразгаданы, и онъ, какъ Чацкій съ Софѣей-ребенкомъ, весело игрываль въ домѣ Фамусова, скакаль и шумѣль съ друзьями и подругами дѣтства, «по стульямъ и столамъ, являясь, исчезая, то тутъ, то тамъ». Лучшимъ другомъ его рано сдѣлалась его старшая сестра Марья Сергѣевна (въ послѣдствіи г-жа Дурново), въ которой онъ всегда встрѣчалъ сочувствіе ко всѣмъ его замысламъ и къ его борьбѣ противъ свѣтскаго гнета. Мать, по-своему, сильно любила его, но, одержима сильнымъ честолюбіемъ, мысленно начертила ему карьеру по собственному ея вкусу, съ той же минуты, какъ въ состояніи была разгадать необыкновенныя способности въ своемъ сынѣ. Оракуломъ для нея былъ братъ ея, Алексѣй Ѳедоровичъ Грибоѣдовъ (родители писателя принадлежали къ двумъ различнымъ вѣтвямъ того же рода), являвшійся въ ея глазахъ образцомъ знатнаго барина, въ совершенствѣ обладающаго знаніемъ свѣта и людей. Ничего не дѣлала она, не спросивъ его совѣта, — и раннее деспотическое вмѣшательство этого человѣка во всѣ мелочи домашняго быта чужой семьи скоро возстановило противъ него Александра Сергѣевича. Дядя придумываль сестрѣ и ея дѣтямъ разные необходимые визиты къ сильнымъ людямъ, — визиты, которые въ послѣдствіи могли имъ пригодиться, и чѣмъ дальше, тѣмъ самовольнѣе складываль ту среду, въ которой они должны были вращаться. Чацкій, вспоминая дѣтство, говоритъ о «Несторѣ негодяевъ знатныхъ», къ которому Фамусовъ еще съ пеленъ, для замысловъ какихъ-то непонятныхъ, дитятею возилъ его на поклонъ: это — черта, взятая изъ жизни самого Грибоѣдова.

Впрочемъ, не въ одной этой насильственной дрессировкѣ молодого барича для будущей свѣтской карьеры, основанной въ фамусовскомъ духѣ на искательствѣ и низкопоклонствѣ, проходило все дѣтство Грибоѣдова. Мать его хотя и тянулась за аристократіей, однако имѣла, тѣмъ не менѣе, нѣкоторыя поползновенія къ своеобразному воспитательному плану, шедшему даже нѣсколько въ разрѣзъ съ принятыми взглядами. Она постаралась сдѣлать воспитаніе дѣтей по преимуществу домашнимъ, поручая главный надзоръ педагогамъ-иностранцамъ. Первый изъ нихъ былъ Петрозиліусъ, человѣкъ чрезвычайно ученый, въ послѣдствіи извѣстный изданіемъ перваго обстоятельнаго каталога московской университетской бібліотеки. Онъ готовъ былъ привить своему воспитаннику серіозное отношеніе къ знанію и отнестись къ принятому на себя дѣлу добросовѣстно. Но, насколько можно догадываться, онъ не могъ отрѣшиться отъ извѣстной доли педантизма, который отшатнулъ отъ него живой и пытливый умъ его молодого воспитанника. Научныя занятія пошли еще болѣе систематическимъ путемъ съ тѣхъ поръ, какъ Петрозиліуса

замѣнилъ случайно встрѣтившійся гувернеръ Богданъ Ивановичъ Іонъ, которому суждено было сдѣлаться не только руководителемъ воспитанія Грибоѣдова, но и близкимъ другомъ и совѣтникомъ его. Когда судьба ни приводила Грибоѣдова снова въ родную обстановку, одною изъ первыхъ его заботъ бывала отыскать Іона; на предполагавшейся дуэли съ Якубовичемъ секундантомъ былъ тотъ же Іонъ; когда Грибоѣдова не стало, старикъ-гувернеръ любилъ сходиться съ другомъ покойнаго, Бѣгичевымъ, и вспоминать о Грибоѣдовѣ и добрыхъ старыхъ дняхъ, и тогда слезы видѣлись на глазахъ обоихъ собесѣдниковъ.

Грибоѣдову удалось получить основательное образованіе. Рано пріобрѣлъ онъ знаніе нѣсколькихъ иностранныхъ языковъ, открывшее ему богатая литературы Запада, рано привыкъ къ усидчивому труду, къ изслѣдованію мельчайшихъ подробностей чисто научныхъ вопросовъ, поражающему въ послѣдствіи въ его записныхъ и черновыхъ тетрадяхъ, рисующихъ его какъ человѣка, въ которомъ были задатки для замѣчательнаго ученаго. Іону, по спеціальности своей юристу, обладавшему основательнымъ знаніемъ классическихъ языковъ, содѣйствовали избранные преподаватели, давашіе мальчику уроки на дому. Рядомъ съ научными занятіями рано началось изученіе музыки, вообще процвѣтавшей въ домѣ Грибоѣдовыхъ. Въ тогдашнемъ московскомъ обществѣ домъ этотъ имѣлъ репутацію артистическаго центра, гдѣ можно услышать дѣйствительно хорошую музыку. По вечерамъ подъ Новинское съѣзжались иногда охотники помузицировать, и дѣти рано наслушались лучшихъ музыкальныхъ произведеній. Вскорѣ и Александръ Сергѣевичъ и его сестра были уже хорошими пианистами; для нихъ фортепіано было не орудіемъ пытки, а средствомъ достиженія поэтическихъ наслажденій, товарищемъ мечтательныхъ часовъ. Въ послѣдствіи, войдя въ кружокъ молодыхъ русскихъ музыкантовъ Алябьева, Верстовскаго и др., Грибоѣдовъ перешелъ отъ простой виртуозной ловкости къ изученію самыхъ законовъ музыки и, подъ вліяніемъ извѣстнаго петербургскаго профессора гармоніи, Іоганна Миллера, овладѣлъ ими въ такой степени, что могъ считаться даже опытнымъ теоретикомъ. Любовь къ музыкѣ сдѣлалась скоро неотъемлемой, жизненной чертой его характера; гдѣ бы онъ ни былъ, онъ остается ей вѣренъ; о своемъ фортепіано вздыхаетъ онъ заброшенный въ Грузію, къ нему кидается, лишь только снова (хотя бы при тревожнѣйшихъ обстоятельствахъ) возвращается на родину. Увлекаясь въ безконечныя импровизаціи, прелести которыхъ удивлялись все слышавшіе ихъ, онъ забывалъ весь міръ и не отрывался отъ инструмента по цѣлымъ днямъ. Тонкая, впечатлительная артистическая натура складывалась у молодого человѣка, и чѣмъ шире развивался полетъ его фантазіи и возрастали его научныя познанія, тѣмъ вѣрнѣе подготавлился разладъ съ окружающей средой, въ которой не было мѣста для человѣка съ такимъ направленіемъ. *Веселовскій.*

## Грибоѣдовъ въ Московскомъ университетѣ.

Тону пришлось руководить воспитаніемъ Грибоѣдова уже съ опредѣленной цѣлью. Настасья Ѳедоровна рѣшила дать сыну университетское образованіе, которое, дополнивъ пріобрѣтенныя уже свѣдѣнія, должно было дать ему возможность получить степень кандидата, устроить ему положеніе въ свѣтѣ и облегчить первый шагъ на службѣ. Университетъ является въ глазахъ ея, какъ и въ глазахъ ея общества, лишь средствомъ для устройства первоначальной судьбы молодого дворянскаго поколѣнія: все подгонялось къ кандидатскому экзамену, что сейчасъ же давало классный чинъ и извѣстную рекомендацію. Изъ-за такихъ-то надеждъ на устройство карьеры Грибоѣдову дали возможность пройти въ университетъ (1810 г.), который долженъ былъ возымѣть на него сильное вліяніе. Для обереганія его отъ дурного общества приняты были предосторожности; его опредѣлили вольнымъ слушателемъ, продержали въ университетѣ менѣе обыкновеннаго и посылали въ университетъ въ сопровожденіи гувернера; несмотря на то, что онъ никакого особаго расположенія къ юридическимъ наукамъ не имѣлъ, выбрали для него такъ называемое этико-политическое отдѣленіе, какъ наиболѣе пригодное для дальнѣйшей служебной карьеры. Но существовавшій тогда въ университетѣ порядокъ позволялъ студентамъ извѣстнаго факультета посѣщать въ свободное время лекціи, читаемыя на другихъ факультетахъ. Это дало Грибоѣдову возможность посѣщать лекціи лучшихъ тогдашнихъ представителей литературной и философской школы наравнѣ съ чтеніями теоретиковъ юристовъ.

Хотя московскій университетъ находился въ то время въ состояніи переходномъ, и отголоски предшествовавшаго періода встрѣчались въ немъ съ стремленіемъ къ новымъ путямъ въ наукѣ, тѣмъ не менѣе въ немъ было нѣсколько достойныхъ специалистовъ, у которыхъ было чему поучиться. Это были въ особенности ветераны западной науки, вѣрные преданія просвѣтительнаго вѣка и продолжавшіе и въ Россіи свою энергическую пропаганду знаній. Имъ подражали молодые русскіе профессора. Общеніе преподавателей съ студентами было общимъ правиломъ. Дома многихъ профессоровъ были открыты для студентовъ, которыхъ они называли своими друзьями; они входили во всѣ мелочи ихъ быта и потребностей и помогали, чѣмъ могли. Профессоръ Страховъ любилъ руководить обыкновенными студенческими спектаклями, наполнявшими собой зимнюю вакацію. Здѣсь въ Грибоѣдовѣ могла легко зародиться та, часто переходившая въ энтузіазмъ, любовь къ театру, которая служила характеристической чертой его вкуса, и рано направила его литературную дѣятельность на любимую форму комедіи. Среди этого общенія студентовъ съ профессорами особенно выдавалась личность профессора исторіи и эстетики, Іоганна Теофила Буле, превосходившаго,



въроятно, и познаніями своихъ товарищей. Онъ перенесъ въ Москву свою дѣятельность, имѣя уже за собою ученую репутацію на Западѣ и профессорскій опытъ въ Гёттингенѣ. Въ Москвѣ онъ остался тѣмъ же неутомимо-дѣятельнымъ поклонникомъ и распространителемъ науки. Онъ читаетъ публичныя лекціи, издаетъ нѣсколько періодическихъ изданій, читаетъ курсы философіи, устраиваетъ на нѣмецкій ладъ у себя на дому частныя курсы, гдѣ отдѣльные вопросы исторіи, эстетики и философіи подвергались подробному изученію.

Слѣды вліянія многихъ профессоровъ долго сказываются у Грибоѣдова. Любовь къ изученію русекой исторіи приобрѣтена имъ въ это время; знакомство съ молодой тогда статистикою и политической экономіей, которую читать Шлецеръ-сынъ, отразилось даже въ позднѣйшіе годы на заботахъ Грибоѣдова о составленіи статистическихъ таблицъ и описанія Кавказа. Но всего болѣе вліянія возымѣлъ на него Буле, о которомъ онъ всегда вспоминалъ съ благодарностью. Есть основаніе думать, что и до университета онъ посѣщалъ частныя его курсы, вслѣдствіе чего вліяніе его было еще продолжительнѣе. Буле былъ поклонникомъ Аристотеля и любилъ въ своихъ разсужденіяхъ изучать сущность и основы драмы. Здѣсь Грибоѣдову представлялась возможность теоретическаго изученія любимаго рода поэзіи. Буле, притомъ, особенно предпочиталъ комедію, и цѣлое сочиненіе посвятилъ душевной веселости и средствамъ поддерживать и развивать ее. Образцовъ онъ искалъ въ классическихъ литературахъ, и Грибоѣдовъ, слѣдомъ за нимъ, вначалѣ съ особой любовью относился къ комическимъ писателямъ древности, предпочитая Плавта и Теренція. Буле, оцѣнивъ его способности, часто одному ему посвящалъ продолжительныя философскія и эстетическія бесѣды, рано пріучившія его къ отвлеченному мышленію. Грибоѣдовъ не остановился на псевдо-классицизмѣ своего учителя; мысли про себя, наблюденія и разностороннее чтеніе скоро побудили его пойти неизмѣримо дальше ученія, принятаго вначалѣ на вѣру, и дойти до отрицанія обязательности всякой незыблемой теоріи драмы. Тѣмъ не менѣе онъ многимъ обязанъ Буле, давшему прочную подкладку его литературному образованію. Къ общему обаянію атмосферы науки присоединялся и увлекательный примѣръ нравственной силы и самостоятельности. Сравненіе этой среды, гдѣ возможны такіе люди, съ тою, въ которой придется вращаться молодому человѣку, напрашивалось само собою. Поднимались отовсюду вопросы, догадки, сомнѣнія, начинался роковой анализъ.

Онъ долженъ былъ прятать въ себѣ начинающуюся мучительную работу сомнѣвающегося ума. Ни въ комъ онъ не могъ встрѣтить сочувствія своимъ стремленіямъ. Сестра, раздѣлявшая съ нимъ любовь къ музыкѣ и поддерживавшая его въ научныхъ занятіяхъ, не шла въ уровень съ нимъ въ критическомъ отношеніи къ дѣйствительности. Въ матери онъ встрѣчалъ постоянно хотя и друже-

любное, но неумолимо-сдерживающее начало. Она составила себѣ опредѣленный планъ его карьеры, въ который, разумѣется, отнюдь не входила дѣятельность ученаго или литератора. Первые литературные опыты сына она встрѣтила съ презрѣніемъ, которое однажды выразила публично въ кругу товарищей Александра Сергѣевича. Еще строже относилась она къ юношеской вѣтренности и шаловливости сына, не подходившей къ сложившемуся у нея идеалу образцоваго молодого человѣка. А въ юношѣ кипѣли силы, которыя, слишкомъ долго сдерживаемыя и подавляемыя, въ послѣдствіи не скоро улеглись и перебродили, вовлекая его въ различныя излишества, пока раздумье и нравственная реакція не переродила его окончательно. Чѣмъ сознательнѣе становился молодой студентъ, тѣмъ для него тяжелѣе казался семейный гнетъ, которому долго не было конца. Въ письмахъ его разсѣяны протесты противъ этого нестерпимаго гнета, противъ непрестанныхъ заботъ о порядочности сына, противъ посягательствъ на его свободу. Въ письмѣ къ Одоевскому онъ доходитъ до печальнаго убѣжденія, «что истиннымъ художникомъ можетъ быть только человѣкъ безродный». Поэтому позднѣйшія выходки противъ неограниченнаго господства родственной клики, разсѣяныя въ «Горѣ отъ ума», были дѣйствительно выстраданы авторомъ. Онъ терпитъ не только отъ вмѣшательства матери, но и отъ встававшей за нею грозной силы родни и великосвѣтскихъ знакомыхъ съ ихъ установившимися навсегда возрѣніями и дружной круговой порукой. Борьба его одного противъ этой сплошной стѣны противниковъ была слишкомъ неравна, и онъ въ душѣ затаивалъ мщеніе. Тотъ деспотъ-дядя, который, какъ мы видѣли, съ ранняго дѣтства Грибоѣдова считалъ нужнымъ заботиться о направленіи его воспитанія, сдѣлался еще попечительнѣе относительно молодого человѣка, готоваго вступить въ свѣтъ. Постепенно разгадывая характеры и нравственное значеніе окружающихъ его людей, Грибоѣдовъ скоро научился презирать Алексѣя Ѳедоровича, характеръ котораго въ послѣдствіи воплотилъ въ своемъ безсмертномъ Фамусовѣ. Вотъ какимъ онъ изобразилъ его въ одномъ недавно открытомъ черновомъ наброскѣ, могущемъ служить матеріаломъ для пониманія характера Фамусова. «Вотъ характеръ, который почти исчезъ въ наше время, но двадцать лѣтъ тому назадъ былъ господствующимъ, — характеръ моего дяди. Историкъ предоставляю объяснить, отчего въ тогдашнемъ поколѣніи развита была повсюду какая-то смѣсь пороковъ и любезности; извнѣ рыцарство въ нравахъ, а въ сердцахъ отсутствіе всякаго чувства. Тогда уже многіе дуэллировались, но всякій пылалъ непреодолимою страстью обманывать женщинъ въ любви, мужчинъ въ карты или иначе; по службѣ начальникъ уловлялъ подчиненнаго въ разныя подлости обѣщаніями, которыхъ не могъ исполнить, покровительствомъ, не основаннымъ ни на какой истинѣ; но зато какъ и платили ихъ свѣтлостямъ мелкіе чиновники, вѣрныя рабы-спутники до перваго затмѣнія! Объяснимся круглѣе: у всякаго была въ душѣ безчестность и лживость.

на языкѣ. Кажется, нынче этого нѣтъ, а, можетъ-быть, и есть, но дядя мой принадлежитъ къ той эпохѣ. Онъ какъ левъ дрался съ турками при Суворовѣ, потомъ пресмыкался въ переднихъ всѣхъ случайныхъ людей въ Петербургѣ, въ отставку жилъ сплетнями. Образецъ его правоученій я, братъ!»

Такимъ образомъ, окружавшая среда разоблачалась передъ юношей во всей своей наготѣ. Онъ узнавалъ закулисную исторію передовыхъ людей своего общества, и чувство нравственной брезгливости овладѣло имъ. Подъ вліяніемъ этого возрастающаго недовольства жизнью первыя же произведенія носятъ на себѣ характеръ сатирической, обличительный.

*Веселовскій.*

### Жизнь и дѣятельность Грибоѣдова послѣ выхода изъ университета.

Шестнадцатилѣтнимъ юношей Грибоѣдовъ вступилъ въ военную службу для защиты отечества. Но самая военная жизнь не привлекала его, и черезъ четыре года онъ вышелъ въ отставку. Сблизившись съ нѣкоторыми молодыми людьми, занимавшимися литературой, въ особенности же драматической поэзіей, онъ и самъ сталъ пробовать свои силы, упражнялся въ стихотворствѣ и передѣлывалъ на русскіе нравы небольшія французскія комедіи. Друзья поощряли его, и надо сказать, что его горячее и нѣжное сердце особенно раскрывалось для дружбы; съ другомъ онъ готовъ былъ раздѣлить все. И нѣкоторые даровитые друзья его въ самомъ дѣлѣ имѣли вліяніе на развитіе его таланта. Поселившись въ Петербургѣ, Грибоѣдовъ обращалъ на себя вниманіе образованнаго общества умомъ, образованіемъ, веселымъ нравомъ и въ особенности благородствомъ характера. Онъ пристрастился къ театру, сблизился съ лучшими тогдашними актерами, что еще болѣе привязало его къ драматической поэзіи. Но разсѣянная свѣтская жизнь позволяла ему только урывками заниматься ею. Вступивъ на службу въ министерство иностранныхъ дѣлъ, онъ противъ своей воли въ 1818 году былъ опредѣленъ секретаремъ персидской миссіи. Въ Персіи онъ занялся изученіемъ персидскаго языка и, благодаря своимъ способностямъ сталъ не только свободно объясняться съ персіянами, но и читать ихъ лучшихъ поэтовъ. Своимъ поведеніемъ и характеромъ онъ всегда умѣлъ привлекать къ себѣ людей; такъ и здѣсь лучшіе персидскіе сановники съ уваженіемъ относились къ нему, что, говорятъ, способствовало согласію между обоими правительствами. Но въ то же время онъ сдѣлался предметомъ злобы низшаго класса персіянъ, когда въ русское посольство стали являться бывшіе русскіе подданные, попавшіе въ Персію по разнымъ обстоятельствамъ, и просили о своемъ возвращеніи на родину. Грибоѣдовъ принималъ участіе въ ихъ судьбѣ, а въ 1822 году ему поручено было прово-

дить ихъ до русскихъ границъ. На пути онъ не разъ подвергался опасности лишиться жизни отъ озлобленныхъ персиянъ.

Но жизнь вдали отъ друзей, среди чужого, невѣжественнаго народа томила его. Еще въ 1820 году онъ задумалъ оставить службу и выразилъ свое намѣреніе въ коротенькой запискѣ, которая прекрасно изображаетъ его прямой, откровенный характеръ и его стремленія: «Познанія мои заключаются въ изученіи языковъ — славянскаго, русскаго, французскаго, англійскаго, нѣмецкаго».

«Въ бытность мою въ Персіи я занялся персидскимъ и арабскимъ. Для того, кто хочетъ быть полезенъ обществу, еще недостаточно имѣть нѣсколько реченій для выраженія одной мысли; чѣмъ мы болѣе просвѣщены, тѣмъ полезнѣе можемъ быть своему отечеству. И я именно для того, чтобъ приобрести свѣдѣнія, прошу объ увольненіи отъ службы, или объ отозваніи изъ грустной страны гдѣ не только ничему не научишься, а еще забудешь то, что знаешь. Я предпочелъ сказать вамъ истину вмѣсто того, чтобъ выставять причиною нездоровье или разстройство домашнихъ дѣлъ — обыкновенныя уловки, которымъ никто не вѣритъ».

Итакъ, самообразование и наука занимали мысль Грибоѣдова; свѣтская жизнь перестала привлекать его. Еще на пути въ Персію писалъ онъ къ одному пріятелю: «Въ Москвѣ все не по мнѣ — праздность, роскошь, не сопряженныя ни съ малѣйшимъ чувствомъ къ чему-нибудь хорошему; прежде тамъ любили музыку, нынче и она въ пренебреженіи; ни въ комъ нѣтъ любви къ чему-нибудь изящному... Всѣ тамошніе помнятъ во мнѣ Сапу, милаго ребенка, который теперь выросъ, много повѣсничалъ, наконецъ становится къ чему-то годенъ, опредѣленъ въ миссію и можетъ со временемъ попасть въ статскіе совѣтники, а больше во мнѣ ничего видѣть не хотятъ».

Сознаніе въ себѣ силъ на трудъ, важный и полезный отечеству, не разъ высказывалъ Грибоѣдовъ и всегда останавливался на мысли, что необходимо приготовить себя къ этому.

Въ 1822 году Грибоѣдовъ былъ переведенъ къ главноуправляющему въ Грузіи Ермолову, по дипломатической части. Еще въ Персіи онъ развилъ планъ комедіи «Горе отъ ума», а здѣсь занялся его обработкою. Но онъ остался недоволенъ ею, когда въ слѣдующемъ году, получивъ отпускъ, пріѣхалъ въ Москву и сталъ ближе приглядываться къ московскому обществу. Здѣсь многіе типы представились ему яснѣе и живѣе; онъ прилежно принялся за пердѣлку комедіи. Каждый выѣздъ въ свѣтъ, говоритъ одинъ изъ его пріятелей, представлялъ ему матеріалы, и часто случалось, что, возвратясь поздно домой, онъ писалъ по ночамъ цѣлыя сцены въ одинъ присѣсть. Горячіе монологи Чацкаго ясно говорятъ, въ какомъ настроеніи въ это время былъ онъ самъ: сколько патриотизма, сколько любви къ европейскому просвѣщенію, сколько ненависти къ врагамъ его и къ ложному образованію было въ душѣ его. Съ рукописью

комедіи Грибоѣдовъ отправился въ Петербургъ; здѣсь послѣ каждого чтенія тому или другому изъ своихъ друзей онъ продолжалъ пере-дѣлки и въ то же время хлопоталъ о дозволеніи напечатать коме-дію и поставить на сцену. Но она казалась столь рѣзкою и непре-вычною для слуха людей, имѣвшихъ власть, что онъ не могъ по-лучить цензурнаго разрѣшенія. Все это крайне ему наскучило. Чрезмѣрныя заботы о томъ, чтобъ напечатать комедію, казалось ему, ставили его въ противорѣчіе съ лучшими и высшими стремле-ніями его души:

«Не могу въ эту минуту оторваться отъ побрякушекъ автор-скаго самолюбія, — писалъ онъ пріятелю. — Грому, шуму, восхищенію, любопытству конца нѣтъ... Ты насквозь знаешь твоего Александра; подивись гвоздю, который онъ вбилъ себѣ въ голову, мелочной за-дачѣ, вовсе не сообразной съ ненасытностью души, съ пламенной страстью къ новымъ вымысламъ, къ новымъ познаніямъ, къ пере-мѣнѣ мѣстъ и занятій, къ людямъ и дѣламъ необыкновеннымъ. И смѣю ли здѣсь думать и говорить объ этомъ? Могу ли приле-жать къ чему-нибудь высшему? Какъ притомъ, съ какой стати ска-зать людямъ, что грошевыя ихъ одобренія, ничтожная славишка въ ихъ кругу не могутъ меня утѣшать? Ахъ, прилична ли спесь тому, кто хлопочетъ изъ дурацкихъ рукоплесканій!»

Но комедія, помимо типографій, быстро стала расходиться въ пу-бликѣ въ рукописяхъ, и въ короткое время вся читающая Россія чуть не наизусть знала ее. Цѣлый годъ провелъ Грибоѣдовъ въ Петер-бургѣ и, ничего не добившись, рѣшился возвратиться въ Грузію черезъ Кіевъ и Крымъ. Въ какомъ настроеніи въ это время была душа его, мы видимъ изъ его писемъ съ дороги:

«Ты хотѣлъ знать, что я съ собой намѣренъ сдѣлать, а я самъ еще не зналъ... Ну, вотъ почти три мѣсяца я провелъ въ Тавридѣ, а результатъ нуль. Ничего не написалъ. Не знаю, не слишкомъ ли я отъ себя требую? Умѣю ли писать? Право, для меня все еще это загадка. Что у меня съ избыткомъ найдется что сказать — за это ручаюсь; отчего же я нѣмъ? нѣмъ, какъ гробъ! Еще игра судьбы нестерпимая: весь вѣкъ жемаю гдѣ-нибудь найти уголокъ для уеди-ненія, и нѣтъ его для меня нигдѣ... Наѣхали путешественники, ко-торые меня знаютъ по журналамъ: сочинитель Фамусова и Скало-зуба, слѣдовательно, человѣкъ веселый. Тьфу, злодѣйство!... Да, мнѣ невесело, скучно, отвратительно, несносно!... Вѣрь мнѣ, чудесно всю жизнь свою прокатиться на 4 колесахъ: кровь волнуется, высокія мысли бродятъ и мчатъ далеко за обыкновенные предѣлы пошлыхъ опытовъ, воображеніе свѣжо, какой-то бурный огонь въ душѣ пылаетъ и не гаснетъ... Но остановки, отдыхи двухнедѣльные, двухмѣсячные для меня пагубны; задремлю, либо завѣюсь чужимъ вихремъ, живу не въ себѣ, а въ тѣхъ людяхъ, которые поминутно со мною; часто же они дураки набитые. Подожду, авось, придуть въ равновѣсіе мои замыслы безпредѣльные и ограниченныя способности».

Изъ этихъ строкъ видно, что Грибоѣдовъ чувствовалъ въ себѣ много душевныхъ силъ, но не находилъ имъ исхода. Окружающая дѣйствительность была такъ пуста, что не могла привлечь его къ какой-либо дѣятельности; отсюда недовѣріе къ самому себѣ, безпокойное состояніе духа, цѣль жизни теряется, и даже приходитъ мысль о смерти.

«Мнѣ такъ скучно, такъ грустно, — писалъ онъ въ другомъ письмѣ, — скажи мнѣ что-нибудь въ отраду: я съ нѣкоторыхъ поръ мраченъ до крайности. Пора умереть! Не знаю, отчего это такъ долго тянется. Тоска неизвѣстная! Воля твоя, если это такъ долго меня промучить, я никакъ не намѣренъ вооружиться терпѣньемъ, пускай оно останется добродѣтелью тяглаго скота! Представь себѣ, что со мной повторилась ипохондрія, которая выгнала меня изъ Грузіи, но теперь въ такой усиленной степени, какъ еще никогда не бывало. Сдѣлай одолженіе, подай совѣтъ, чѣмъ мнѣ избавить себя отъ сумасшествія или пистолета, а я чувствую, что то или другое у меня впереди».

Возвратясь въ Грузію, Грибоѣдовъ искалъ развлеченія въ военныхъ экспедиціяхъ противъ чеченцевъ. Но въ слѣдующемъ 1826 году онъ былъ вызванъ въ Петербургъ, гдѣ долженъ былъ оправдываться отъ разныхъ подозрѣній со стороны правительства. Здѣсь лично узналъ его императоръ Николай Павловичъ и, по его просьбѣ, снова отпустилъ его въ Грузію. Небольшая статейка Грибоѣдова «Загородная прогулка», напечатанная въ петербургской газетѣ, знакомить насъ съ тѣми мыслями, которыя въ это время занимали его. Изображая хороводы парголовскихъ крестьянъ, онъ прибавляетъ:

«Прислонясь къ дереву, я съ голосистыхъ пѣвцовъ невольно свелъ глаза на самихъ слушателей-наблюдателей, тотъ поврежденный классъ полу-европейцевъ, къ которому и я принадлежу. Имъ казалось дико все, что слышали, что видѣли: ихъ сердцамъ эти звуки не вняты, эти наряды для нихъ странны. Какимъ чернымъ волшебствомъ сдѣлались мы чужими между своими? Финны и тунгусы скорѣй пріемлются въ наше собратство, становятся выше насъ, дѣлаются намъ образцами; а народъ единокровный, нашъ народъ, разрозненъ съ нами и навѣки! Если бы какимъ-нибудь случаемъ сюда занесенъ былъ иностранецъ, который бы не зналъ русской исторіи за цѣлое столѣтіе, онъ, конечно бы, заключилъ изъ рѣзкой противоположности нравовъ, что у насъ господа и крестьяне происходятъ отъ двухъ различныхъ племенъ, которыя не успѣли еще перемѣшаться обычаями и нравами».

Пріѣхавъ снова въ Грузію, Грибоѣдовъ нашелъ себѣ много работы. Началась война съ Персіей подъ предводительствомъ графа Паскевича, родственника Грибоѣдова. Нашъ писатель былъ безотлучно при немъ, переносилъ всѣ военные труды и занимаясь официально перепискою. Но въ то же время ему мечталась и другая жизнь:

«Буду ли когда-нибудь независимымъ отъ людей, — писалъ онъ.—Зависимость отъ семейства, другая отъ службы, третья отъ цѣли въ жизни, которую себѣ назначилъ и, можетъ статься, на перекоръ судьбѣ. Поэзія! люблю ее безъ памяти, страстно, но любовь одна достаточна ли, чтобъ себя прославить? И наконецъ, что слава? По словамъ Пушкина: яркая заплата на ветхомъ рубищѣ пѣвца. Кто насъ уважаетъ, пѣвцовъ истинно-вдохновенныхъ, въ томъ краю, гдѣ достоинство цѣнится въ прямомъ содержаніи къ числу орденовъ и крѣпостныхъ рабовъ? Все-таки Шереметевъ у насъ затмилъ бы Омира. Мученье быть пламеннымъ мечтателемъ въ краю вѣчныхъ снѣговъ. Холодъ до костей проникаетъ, равнодушіе къ людямъ съ дарованіемъ... Кончится компанія, и я откланяюсь. Въ обыкновенныя времена никуда не гожусь, и не моя вина: люди мелки, дѣла ихъ глупы, душа черствѣетъ, разсудокъ затмевается и нравственность гибнетъ безъ пользы ближнему. Я рожденъ для другого поприща».

Не удалось Грибоѣдову выйти на другое поприще. По заключеніи мира въ 1827 году, въ чемъ онъ принималъ самое дѣятельное участіе, онъ былъ отправленъ съ трактатомъ въ Петербургъ. Здѣсь онъ былъ щедро награжденъ и назначенъ полномочнымъ министромъ при персидскомъ дворѣ, отличенный отъ другихъ, какъ человѣкъ, знающій персидскій языкъ, страну, нравы и обычаи, характеръ двора и главнѣйшихъ сановниковъ. Такимъ образомъ, вмѣсто отставки, о которой мечталъ, чтобъ совершенно посвятить себя наукѣ и литературѣ, онъ долженъ былъ снова ѣхать въ Персію. Непріятное впечатлѣніе отъ прежней жизни его въ этой странѣ, отъ непріязннаго отношенія къ нему народа еще живо сохранилось въ его памяти. При сильномъ воображеніи ему уже представлялось, что не одобровать ему въ Персіи, и эту мысль принималъ онъ за предчувствіе, повторяя друзьямъ: «Тамъ моя могила, чувствую, что не увижу болѣе Россіи». По странному стеченію обстоятельствъ, такъ и случилось. По неосмотрительности онъ составилъ себѣ посольскую свиту въ Тифлисъ изъ армянъ и грузинъ, изъ которыхъ одни были нравственно распущенные и рассчитывали на незаконныя поживы подъ покровительствомъ сильнаго русскаго посланника; другіе же шли отыскивать своихъ родственниковъ, захваченныхъ въ плѣнъ персіянами, которые по трактату должны были возвращать ихъ. За всей этой свитой былъ крайне дурной присмотръ, такъ что она еще на пути въ Тегеранъ позволяла себѣ злоупотребленія, которыя скрывались отъ посланника. Въ Тегеранѣ же, въ то время какъ Грибоѣдова принимали съ большимъ почетомъ при дворѣ, она дѣлала розыски о русскихъ плѣнныхъ, не заботясь о томъ, чтобы согласоваться съ нравами, обычаями и религіей народа; многихъ брали даже силою на посольскій дворъ и представляли посланнику дѣла въ превратномъ видѣ. Мусульманское духовенство, считая оскорбленною свою религію и народную честь, легко вызвало городскую чернь

къ мятежу. Она окружила русскій посольскій домъ, перестрѣляла посольскую свиту въ числѣ двадцати шести человѣкъ и изрубила самого посланника. Трупъ его былъ такъ обезображенъ, что его едва могли узнать между другими трупами по лѣвому мизинцу<sup>1)</sup>. Онъ былъ перевезенъ въ Тифлисъ и тамъ погребенъ.

При жизни Грибоѣдову не удалось видѣть въ печати свою комедію. Ее стали давать на сценѣ и печатать ужъ въ тридцатыхъ годахъ и то съ большими сокращеніями и даже измѣненіями, въ то время какъ по распространившимся рукописямъ ее знала вся читающая Россія.

Связь комедіи Грибоѣдова съ ея временемъ представляется въ изображеніи тѣхъ новыхъ стремленій, которыя развивались въ молодомъ поколѣніи въ царствованіе императора Александра I. Въ началѣ они были вызваны самимъ царемъ, вступившимъ на престолъ съ самыми искренними желаніями осчастливить народъ уничтоженіемъ тѣхъ коренныхъ золъ, которыхъ много накопилось въ администраціи, въ судахъ и, особенно, въ помѣщичьемъ правѣ. Онъ и началъ съ преобразованія разныхъ государственныхъ учреждений. Но успѣху помѣшали тѣ особыя условія, въ которыхъ было воспитано русское образованное общество. Въ идеаль образованнаго чело-вѣка у него не входило представленіе національности и нравственной связи этого чело-вѣка съ массою народа. Воспитаніе отрывало юношу отъ народа и образовывало космополита или иначе чело-вѣка безъ національности. Это исключительное стремленіе къ космополитизму не требовало близкаго знакомства съ отечествомъ и народомъ: родной языкъ, русская географія, исторія русскаго народа и все, что развиваетъ національное чувство и сближаетъ съ народомъ, устранялось изъ воспитательныхъ программъ. Изъ такого воспитанія выходили часто добрые люди, съ европейскими идеалами, съ честными стремленіями, съ новыми идеями, заимствованными изъ современныхъ европейскихъ литературъ, но съ полнымъ отчужденіемъ отъ русскаго народа, съ полнымъ незнаніемъ ни его прошедшаго ни его настоящаго. Все народное въ ихъ глазахъ являлось только невѣжественнымъ. А между тѣмъ они думали о будущемъ этого народа и замышляли его устроить лишь на основаніи новыхъ политическихъ идей, составляли планы преобразованій у себя въ кабинетахъ, какъ бы тайкомъ отъ той среды, для которой они назначались. Конечно, изъ замышляемыхъ преобразованій не могло выходить того, что отъ нихъ ожидали. Къ этому же присоединилось и противодѣйствіе того большинства, которое не сочувствовало новѣйшимъ стремленіямъ космополитовъ, кто изъ личныхъ расчетовъ, кто изъ пристрастія къ странѣ, кто изъ сознанія несвоевременности замысловъ.

---

<sup>1)</sup> Въ 1818 году въ Тифлисѣ Грибоѣдовъ дрался на дуэли съ Якубовичемъ, оскорбившимъ его, и былъ раненъ въ лѣвый мизинецъ, который съ тѣхъ поръ онъ не могъ разгибать.



Хотя впоследствии императоръ Александръ, видя неудачу своихъ плановъ, охладѣлъ къ нимъ и остановилъ дальнѣйшее свободное общественное развитіе, подобно императрицѣ Екатеринѣ, но остановить развитіе самыхъ идей и съ ними стремленій, съ которыми онъ началъ свое царствованіе, было очень трудно. Они продолжали развиваться и въ поколѣніи Грибоѣдова, но среди него сталъ высказываться и протестъ противъ космополитизма русскихъ образованныхъ людей, между которыми большинство являлось не гражданами русской земли, а скорѣй какими-то колонистами среди чуждаго ему населенія.

Вопросъ о русской народности связывается у Грибоѣдова съ идеаломъ новаго европейскаго человѣка, возвышеннымъ нравственными достоинствами вмѣстѣ съ гражданскимъ чувствомъ. Правда этотъ вопросъ разрѣшается у него довольно односторонне: національность ставится во враждебное отношеніе ко всему иноземному, чего не должно быть; она же опредѣляется болѣе внѣшними формами жизни и старыми обычаями, которые на самомъ дѣлѣ не должны оставаться неприкосновенными. Но этотъ вопросъ въ то время былъ далеко не выясненъ. Ошибался не одинъ Грибоѣдовъ-Чацкій. Для насъ важенъ здѣсь задушевный искренній голосъ, поднявшійся среди русскаго общества, противъ тѣхъ устарѣлыхъ идеаловъ, развившихся на почвѣ космополитизма прошедшаго столѣтія и русскаго крѣпостного права и воспытавшихъ Фамусова, Загорѣцкаго, Скалозубовъ, Хлестовыхъ, Хрюмяныхъ и др. Всѣ эти типы московскаго общества первой четверти настоящаго столѣтія составляютъ другую связь комедіи Грибоѣдова съ его временемъ. Благодаря той правдѣ и жизненности, какія въ нихъ выразились, комедія и во вторую четверть столѣтія сохранила интересъ современности, да не совсѣмъ утратила его и въ наше время.

*Стоюнинъ.*

### Похороны Грибоѣдова.

2-го мая 1829 года прекрасное весеннее утро во всемъ южномъ блескѣ озаряло печальную процессію, двигавшуюся отъ рѣки Карабабы къ городу Нахичевану. Впереди ѣхалъ взводъ черноморскихъ казаковъ съ офицеромъ, за ними шло духовенство, армянскій архіерей, многочисленный причтъ его съ образами и хоругвями и русскій священникъ, далѣе покрытыя траурными попонами шесть лошадей везли колесницу съ балдахиномъ. Балдахинъ былъ изъ малиноваго бархата съ позолочеными русскими орлами и гербами. Подъ балдахиномъ стоялъ гробъ. За колесницею вели двухъ лошадей: одну парадную, подъ великолѣпною синею попоной съ золотымъ шитьемъ, другую траурную. Шествіе замыкалось баталіономъ тифлисскаго полка и двумя орудіями. По сторонамъ процессіи тѣшились безмолвныя толпы народа. Армянки, закутанныя въ бѣлыя чадры, сидѣли на крышахъ домовъ и при видѣ гроба навзрыдъ плакали.

Въ этомъ гробу лежало тѣло полномочнаго министра Россіи при Персидскомъ дворѣ, Александра Сергѣевича Грибоѣдова, убитаго въ Тегеранѣ взбунтовавшеюся чернью 30-го января 1829 года, на 36 году отъ рожденія.

Тѣло поставлено было въ армянской церкви, а на другой день повезено далѣе въ Тифлисъ черезъ Эриванскую провинцію. Его держали въ Артачалъскомъ карантинѣ, въ четырехъ верстахъ отъ Тифлиса. 17-го іюня, поздно вечеромъ, двинулось торжественное шествіе изъ карантина въ городъ. Дорога шла по правому берегу Куры; по обѣимъ сторонамъ тянулись виноградные сады, огороженные высокими каменными стѣнами. Сумракъ вечера, озаренный факелами, стѣны, сплошь унизанныя плакавшими грузинками, окутанными въ бѣлыя чадры, протяжное пѣніе духовенства, за колесницею толпы народа, воспоминаніе объ ужасной кончинѣ Грибоѣдова, — все это раздирало сердце, говоритъ современникъ-очевидецъ, слова котораго мы выписываемъ. Вдова, осужденная въ блестящей юности испытывать ужасное несчастье, въ горестномъ ожиданіи стояла съ семействомъ своимъ у городской заставы. Свѣтъ перваго факела возвѣстилъ ей о близости дорогаго праха; она упала въ обморокъ, и долго не могли привести ее въ чувство. На другой день въ Сіонскомъ соборѣ совершено было отпѣваніе экзархомъ Грузіи въ присутствіи всѣхъ почетныхъ жителей Тифлиса.

На западной сторонѣ города возвышается святая гора Мтацминда. На одномъ изъ уступовъ, въ половинѣ ея высоты, виднѣтся женскій монастырь Св. Давида, какъ-будто гнѣздо ласточки, прикрѣпленное къ скалѣ. Видъ съ террасы монастыря очаровательный: весь Тифлисъ какъ на ладони. На востокъ сверкаетъ быстрая Кура и за нею, вдали, синѣются горы благословенной Кахетіи. Шумный Тифлисъ съ его полуевропейскою и полуазіатскою фізіономіей далеко ниже васъ; вы стоите между небомъ и землею. Это мѣсто болѣе всѣхъ мѣстъ Тифлиса нравилось Грибоѣдову. Сюда часто приходилъ онъ любоваться прекрасными видами, здѣсь же завѣщалъ онъ о погребеніи себя. Вотъ его могила; съ восточной стороны монастырской церкви, подъ террасою стоитъ красивый бронзовый памятникъ на возвышенномъ пьедесталѣ; у подножія креста колѣнопреклоненная жена, охватившая руками этотъ крестъ, и книга «Горе отъ ума».

*Павловъ.*

### **Отличительныя черты общественнаго движенія въ Александровскую эпоху.**

Исторія понятій и вообще внутреннихъ процессовъ общественнаго развитія рѣдко укладывается въ такіе чисто-внѣшніе періоды, какъ періоды царствованій; но относительно времени императора Александра I подобное опредѣленіе историческаго періода не было бы произвольно

и не служило бы только для внѣшняго удобства. Въ общемъ историческомъ ходѣ русскаго образованія и общественной жизни этотъ періодъ не представляетъ никакихъ особенно замѣтныхъ измѣненій: одни и тѣ же традиціонныя начала продолжали играть въ жизни господствующую роль, неограниченная опека государства продолжала тяготѣть надъ общественной мыслью, масса націи продолжала оставаться въ своемъ давнишнемъ пассивномъ застоѣ; но въ томъ движеніи, которое тѣмъ не менѣе совершалось въ образованномъ слоѣ и подготавливало новыя основанія общественной жизни въ будущемъ, этотъ періодъ представляетъ большую своеобразность характера и направленія. Эта своеобразность Александровскаго времени опредѣляется двумя главными обстоятельствами. Во-первыхъ, личностью самого императора, вліяніе которой, то возбуждающее то ретроградное, многоразличнымъ образомъ вмѣшивалось въ ходъ общественныхъ понятій. Во-вторыхъ, въ это царствованіе русское общество стало въ особенныя тѣсныя связи съ жизнью западно-европейской, и вліяніе европейскихъ идей, отличающее всю новую русскую исторію, теперь особенно глубоко подѣйствовало на умы и въ первый разъ сообщило имъ политическія стремленія. Это была новая черта въ исторіи нашего общества, и возникновеніе ея принадлежитъ именно временамъ императора Александра.

Въ такихъ обществахъ, каково русское, личность правителя имѣетъ вообще несравненно больше значенія, чѣмъ то бываетъ въ обществахъ, владѣющихъ политической свободой и большею степенью образованности. Въ самомъ дѣлѣ, въ обществахъ, гдѣ власть правителя не имѣетъ никакихъ границъ, его личные взгляды и даже капризы становятся могущественнымъ факторомъ всей жизни общественной и государственной: естественный ходъ развитія постоянно нарушается вмѣшательствами власти, иногда благотворными, иногда вредными. Личность правителя приобретаетъ поэтому особенную историческую важность. Но, оцѣнивая ее, нельзя забывать также, что она сама, при всей видимой ея независимости не есть что либо совершенно случайное. Напротивъ, если въ самыхъ самостоятельныхъ личностяхъ, какъ Петръ Великій, — стоявшій съ своими планами почти одиноко, дѣйствовавшій съ чисто-революціонными приѣмами и наперекоръ огромной массѣ народа измѣнявшій привычныя формы жизни, — нельзя не видѣть глубокаго согласія съ основными потребностями націи и вѣка, то еще больше бываютъ связаны съ характеромъ времени люди обыкновенные. Они не господствуютъ надъ теченіемъ національной жизни, и, напротивъ, воспринимая впечатлѣнія общества, сами очень часто становятся только тѣмъ, чѣмъ дѣлаетъ ихъ все окружающее, и при всей видимой возможности быть тѣмъ, чѣмъ сами они захотѣли бы быть, подчиняются общему свойству времени, и въ борьбѣ общественныхъ элементовъ дѣлаются отголоскомъ того или другого направленія. Это въ особенности сказалось на Александрѣ. По мягкому личному характеру, по идеямъ, привитымъ

воспитаніемъ, о ть сначала даже пугался того положенія абсолютнаго самодержца, которое ему принадлежало, и обнаруживалъ явную антипатію къ особеннымъ свойствамъ русской верховной власти; но жизнь сдѣлала свое и, среди всѣхъ своихъ либеральныхъ намѣреній, онъ окончилъ деспотизмомъ. Во всей его дѣятельности замѣчательнымъ образомъ отражались очень различныя, даже несомѣстимыя внушенія и стремленія времени. Въ самомъ дѣлѣ, онъ представляетъ собой и либеральныя стремленія къ просвѣщенію и освобожденію общественной жизни, и онъ же представлялъ самую упрямую реакцію и при личной мягкости допускалъ нестерпимый произволъ и угнетеніе; притомъ, онъ подчинялся этимъ различнымъ направленіямъ не только въ разные періоды своей жизни, — какъ случалось со многими правителями, которые бывали либеральны въ молодости и становились реакціонерами подъ старость, — но нерѣдко въ одно и то же время онъ колебался между двумя совершенно различными настроеніями.

Эта черта сильно бросалась въ глаза современникамъ и позднѣйшимъ историкамъ Александра. Большею частью они не находили ей другого объясненія, кромѣ безсилія характера или двуличности; этимъ послѣднимъ особенно часто укоряли Александра, хотя едва ли было бы справедливо объяснять его колебанія и противорѣчія только отсутствіемъ доброй воли или сознательнымъ лицемѣріемъ. Характеръ Александра, дѣйствительно, отличался въ большой мѣрѣ двойственностью, нерѣшительностью, неувѣренностью, но значительная доля ихъ должна быть приписана и тѣмъ труднымъ положеніямъ, какія ставила ему самая жизнь. Одинъ изъ самыхъ умныхъ и самыхъ строгихъ его историковъ, Гервинусъ, признаетъ, что трудности этихъ положеній бывали таковы, что успѣшно преодолѣть ихъ было бы не подъ силу и человѣку съ гораздо большимъ запасомъ нравственной энергіи. Обвиненіе въ чистомъ лицемѣрїи трудно обратить противъ человѣка, который самъ страдалъ отъ предполагаемой имъ безысходности противорѣчій, какъ это было несомнѣнно съ Александромъ. Окруженный трудными обстоятельствами, вызываемый рѣшать роковые вопросы, Александръ часто былъ не въ силахъ рѣшить въ самомъ себѣ борьбу враждебныхъ принциповъ и впадалъ въ ошибки, которыя потомъ мучительно его преслѣдовали: оттого въ его внутренней исторіи были моменты истинно трагическіе. Одушевленный вначалѣ наилучшими намѣреніями, онъ не въ состояніи былъ совладѣть съ обстоятельствами, которыя увлекали его на иную дорогу; онъ не отказывался отъ своихъ плановъ, но ни въ самомъ себѣ ни въ жизни не находилъ средствъ для ихъ совершенія и поддавался заблужденіямъ, которыя приводили его къ самому печальному употребленію своей власти, къ поддержкѣ дѣйствій, самыхъ враждебныхъ общему благу. Однако онъ не успокаивался на этой реакціонной политикѣ, и его внутреннія тревоги показываютъ въ немъ не безсердечнаго лицемѣра или тирана, какимъ его нерѣдко изо-

бражали, а человекъ заблуждавшася, но способнаго вызвать къ себѣ сочувствіе, потому что во всякомъ случаѣ это былъ человекъ съ нравственными идеалами, которые были выше обыкновенной рутины въ его сферѣ, и присутствіе которыхъ онъ не разъ доказывалъ своими дѣйствіями.

Такимъ образомъ, личность императора Александра особенно тѣсно связывается съ исторіей его времени. Можно даже сказать, что онъ былъ однимъ изъ наиболѣе характеристическихъ представителей этого времени. Онъ самъ лично дѣлилъ различныя настроенія этого времени, и то броженіе общественныхъ идей, которое начинало тогда проникать въ русскую жизнь, какъ-будто отражалось въ немъ самомъ такимъ же нерѣшительнымъ броженіемъ, не покидавшимъ его, кажется, до послѣднихъ дней. Такъ сперва онъ мечталъ о самыхъ широкихъ преобразованіяхъ, о какихъ только думали самые смѣлые умы тогдашняго русскаго общества; онъ былъ либераломъ, приверженцемъ конституціонныхъ учрежденій, самъ искалъ «опозиціи»; въ другое время, смущаясь передъ дѣйствительными трудностями и воображаемыми опасностями, онъ становился консерваторомъ, реакціонеромъ, піэтистомъ. Нѣтъ надобности, наконецъ, много говорить о томъ огромномъ значеніи, которое имѣлъ онъ, какъ господствующая центральная личность великихъ событій, совершавшихся въ Европѣ и въ Россіи и производившихъ потрясающее дѣйствіе на умы; внутри самой русской жизни, въ возрастаніи и борьбѣ общественныхъ понятій, его личность опять является могущественной силой, которая своей поддержкой давала перевѣсъ то однимъ то другимъ направленіямъ и постоянно вмѣшивалась въ ихъ взаимныя отношенія.

Таковы различныя обстоятельства, по которымъ личность императора Александра получаетъ свое характеристическое значеніе, а время его царствованія становится не однимъ только хронологическимъ періодомъ въ исторіи общественныхъ понятій и образованія русскаго общества.

Другая черта, по которой царствованіе Александра можетъ составить отдѣльный періодъ въ этой исторіи заключается въ самомъ содержаніи понятій, проникавшихъ теперь въ умы. Результаты прежняго развитія и болѣе тѣсное, чѣмъ когда-нибудь прежде, соприкосновеніе съ жизнью европейскою, ея политическими интересами, произвели особенное броженіе общественныхъ идей какъ въ правительствѣ, такъ и въ средѣ самого общества, и, вслѣдствіе различныхъ условій, соединившихся въ то время, это броженіе приняло направленіе политическое, которое до тѣхъ поръ оставалось обществу почти совсѣмъ чуждо и неизвѣстно.

Дѣйствительно, этотъ наплывъ общественно-политическихъ идей въ царствованіе Александра представлялъ нѣчто совершенно новое. Въ этомъ нетрудно убѣдиться, оглянувшись на предыдущую судьбу русскаго общества. Она была немногосложна. Новая Россія, осно-

вавшаяся при Петрѣ, вполне восприняла тотъ характеръ внутренняго устройства, какой образовался въ періодъ московскаго царства. Этотъ характеръ извѣстенъ: нація потеряла свои политическія права или отказалась отъ нихъ въ пользу неограниченной верховной власти, которая казалась наилучшимъ средствомъ объединенія и для народной массы была вмѣстѣ защитой отъ боярскаго олигархіи. Старинные «соборы» еще въ Московской Россіи потеряли дѣйствительную силу, кромѣ развѣ нѣкотораго совѣщательнаго значенія или играли роль фиктивнаго представительства, нужнаго иногда по дипломатическимъ расчетамъ самой власти, и забылись очень скоро, когда власть нашла ненужнымъ больше собирать ихъ. Верховная власть Петра была власть готовая, наследованная. Въ волненіяхъ, наполнявшихъ его царствованіе, дѣло шло нисколько не о политическихъ свойствахъ этой власти: причины волненій были — властолюбивые планы царицы Софьи, религіозный консерватизмъ старовѣрства и бытовой консерватизмъ приверженцевъ стараго вѣка. Въ дѣятельности Петра его противникамъ была невыносима революціонная ломка этого стараго быта, въ которой они боялись паденія самой націи, въ силу стараго изреченія: «Которое царство начнетъ переставляти обычаи свои, и то царство недолго стоитъ». Приверженцамъ старины былъ ненавистенъ въ Петрѣ царь не довольно благочестивый, иногда совѣмъ легкомысленный въ дѣлахъ вѣры, царь, унижавшій свое византійское достоинство всякой грубой работой, дружбой и гульбой съ иноземцами и т. д.; они не имѣли ничего противъ самой власти, но имъ хотѣлось прежняго царя въ византійско-азиатскомъ стилѣ XVI—VII вѣка. Этотъ стиль исчезъ безвозвратно; но въ глухой враждѣ къ новымъ обычаямъ ни при Петрѣ ни послѣ не было и тѣни политическаго элемента, а только тотъ же бытовой и религіозный консерватизмъ, позже усложнившійся новыми развитіями раскола. Вся масса оставалась по прежнему безгласной и безправной, въ чисто пассивномъ положеніи, которое продолжалось въ теченіе всего XVIII вѣка и перешло въ XIX. Единственныя движенія, которыми она заявляла свою оппозицію разнымъ тяжелымъ для нея порядкамъ, были крестьянскія возстанія, очень часто съ какимъ-нибудь самозванствомъ, представлявшимъ для массы единственный, доступный для нея, авторитетъ; этотъ авторитетъ имѣлъ для нея чрезвычайную убѣдительность, какъ единственная политическая идея, подъ которой народъ издавна соединялъ всѣ свои благія ожиданія. Но если никакого движенія не представляла народная масса, то со временъ Петра начало создаваться подъ европейскими вліяніями новое общество, которое носило въ себѣ зародыши будущаго; развитіе общественной самодѣятельности и самостоятельности возможно было только въ немъ. Общественная мысль пробуждалась очень медленно; у Петра нашлось только немного помощниковъ, которые искренно понимали дѣло реформы и видѣли въ немъ залогъ общественнаго блага, и новое общество,

представителями котораго были люди, какъ Теофанъ или Кантемиръ, было весьма немногочисленно. Въ мрачный періодъ отъ смерти Петра до Екатерины II, въ эти «сатурналии деспотизма», по выраженію Карамзина, общество наравнѣ съ народомъ оставалось пассивнымъ зрителемъ придворныхъ переворотовъ, хотя уже являются сильныя политическія умы, какъ Вольтеръ, люди съ обширнымъ знаніемъ внутреннихъ отношеній Россіи, какъ Татищевъ, и, наконецъ, возникаетъ нѣкоторое броженіе политическихъ понятій въ самомъ обществѣ: въ той оппозиціи, которая при воцареніи Анны высказалась со стороны русскаго «шляхетства» противъ замысловъ олигархін и закончилась полнымъ возстановленіемъ самодержавія, въ этой оппозиціи были однако и мысли объ ограниченіи монархическаго правленія. Одно время казалось, что онѣ могутъ даже осуществиться. Но затѣмъ продолжался опять тотъ же порядокъ вещей; общество и народъ отличались тѣмъ же пассивнымъ подчиненіемъ, которое, сравнительно съ XVII вѣкомъ, быть можетъ, даже усилилось. Это время, по преимуществу, было временемъ тайной канцеляріи, «слова и дѣла». Эта политическая инквизиція наслѣдована была еще отъ XVII вѣка; петровскій преображенскій приказъ былъ печальнымъ орудіемъ, которое Петръ считалъ необходимымъ для утвержденія своего дѣла. Впослѣдствіи эта причина существованія тайной канцеляріи, безъ сомнѣнія, значительно ослабѣла, потому что для продолженія самой реформы нельзя было бы предвидѣть никакой опасности; тѣмъ не менѣе, тайная канцелярія дѣйствовала, можетъ быть, еще съ большею р-вностью. Къ старой традиціи прибавились теперь новыя побужденія: съ одной стороны была перенята рутинная нѣмецкаго канцелярскаго деспотизма, съ другой — безпрестанные перевороты заставляли всюду видѣть опасность, подозрѣвать заговоръ, въ каждомъ невыгодномъ отзывѣ о дѣйствіяхъ правительства находить государственное преступленіе. Общество стало окончательно безгласно. Но, какъ ни убивало все это интересы общества къ его собственнымъ дѣламъ, это время не пропадало однако даромъ для общественнаго сознанія. Преемники Петра мало думали о достойномъ продолженіи реформы и до Екатерины II даже не были къ этому способны, но тѣмъ не менѣе реформа вошла уже въ жизнь такъ глубоко, что даже эти тяжкія времена не остановили ея развитія. Имя Петра сохраняло свой авторитетъ: дѣятельность Ломоносова и Академіи наукъ, основаніе московскаго университета, первые опыты новой литературы свидѣтельствовали, что потребность образованія продолжала дѣйствовать и въ правительствѣ и пробуждалась въ обществѣ, что школьное ученье покидало устарѣлую схоластическую оболочку, и новыя понятія уже требовали себѣ того особеннаго органа, который представляетъ собою литература въ европейской формѣ и въ европейскомъ смыслѣ.

Все это были, впрочемъ, только зачатки, когда наступило царствованіе Екатерины. Это царствованіе, отличавшееся такимъ

шумомъ и блескомъ, было вполнѣ выраженіемъ того «просвѣщеннаго деспотизма», который и въ Западной Европѣ имѣлъ тогда представителей въ лицѣ многихъ просвѣщенныхъ государей и министровъ, и которымъ незадолго передъ французской революціей, сама монархія свидѣтельствовала о необходимости преобразованій, какихъ требовало время, потому что онъ былъ въ сущности попыткой примиренія старой средневѣковой монархіи съ просвѣтительными идеями вѣка. Дѣятельность Екатерины въ этомъ смыслѣ также выполняла глубокую историческую потребность русскаго государства и общества; со временъ Петра это было почти первое дѣятельное стремленіе власти къ распространенію европейскаго просвѣщенія: присвоивъ себѣ исключительную инициативу устройства общественныхъ интересовъ, власть тѣмъ самымъ, конечно, брала на себя дѣлать для этого все необходимое, и дѣятельность Екатерины, вспоминала, наконецъ, объ этой задачѣ. Съ Петра Великаго судьба русскаго общественнаго образованія почти предоставлена была случаю, и власти предстояло сдѣлать въ этомъ отношеніи еще слишкомъ многое. Царствованіе Екатерины было панегириками современниковъ и, дѣйствительно, выгодно отличалось отъ предыдущихъ, какъ и отъ послѣдующаго царствованія, хотя далеко не исполнило того, что могло бы исполнить, не отличалось послѣдовательностью и, несмотря на весь внѣшній блескъ и литературно-философскіе вкусы, не могло похвалиться безкорыстной заботой о просвѣщеніи. Екатерина вначалѣ самымъ равностнымъ образомъ принимала и хотѣла примѣнять къ дѣлу просвѣтительныя идеи французской философіи, хотѣла даже поручить д'Аламберу воспитаніе наследника престола и, слѣдовательно, обезпечить вліяніе французскихъ идей и на будущее время. Впослѣдствіи воспитателемъ Александра она выбрала чело- вѣка такихъ же понятій, философа и республиканца Лагарпа; Монтескьё, Мабли и Беккариа доставили главное содержаніе ея «Наказа», и ея тогдашнее философское свободолубіе внушило ей даже необыкновенное для самой тогдашней Европы учрежденіе знаменитой Комиссіи о сочиненіи новаго уложенія; дружеская переписка съ знаменитостями французской литературы и щедрое покровительство имъ доставили ей еще одно лишнее средство прославиться покровительствомъ наукамъ, философіи и свободѣ мнѣній. Нельзя отвергать, что это настроеніе императрицы отозвалось и въ русской общественной жизни благоприятными послѣдствіями; въ управленіи чувствовалось больше мягкости, чѣмъ когда-нибудь было видано въ послѣднія царствованія; Комиссія, хотя и кончилась неудачно, указывала однако, что для общества могутъ быть серіозные интересы въ обсужденіи общественныхъ предметовъ; одновременно съ ея открытіемъ въ литературѣ разбирался вопросъ о крѣпостномъ состояніи на извѣстную тему Вольно-Экономическаго Общества; настроеніе императрицы и заявляемые ею взгляды подѣйствовали на литературу, которая стала знакомить русскую публику съ европейскими



идеями и начала свои критическіе опыты и наблюденія надъ русской жизнью. Люди болѣе образованные уже въ то время могли довольно хорошо познакомиться съ новыми философскими взглядами, и хотя тогдашнихъ «вольтерьянцевъ» винять обыкновенно въ большомъ легкомысліи и непрочности ихъ скептицизма, но не всѣ они были легкомысленны, и ихъ скептицизмъ не разъ указывалъ на дѣйствительные недостатки общественной жизни и ея преданій. Въ то же время развивались и идеалистическія стремленія, исходившія изъ двухъ главныхъ источниковъ: той же французской философіи, которая говорила о совершенствованіи общества, о благѣ челоуѣчества, о правахъ челоуѣка и т. д. и изъ франкмасонства. Правда, это новое общественное движеніе, начинавшееся въ русской жизни, представляется еще слишкомъ ограниченнымъ, мало реальнымъ, даже ребяческимъ, но, принявъ въ соображеніе время и нравы, господствовавшіе въ большинствѣ, мы увидимъ, что оно было все-таки большимъ успѣхомъ. Внѣшній блескъ царствованія, болѣе частыя сношенія съ европейскимъ міромъ, распространеніе европейскихъ обычаевъ и литературы сильно способствовали измѣненію понятій; и въ обществѣ составился, наконецъ, довольно обширный слой людей, настолько образованныхъ, что новыя идеи могли находить себѣ достаточно приготовленную почву. Иностраннымъ наблюдателямъ <sup>1)</sup> казалось, что русскіе по образованности и нравамъ какъ-будто составляютъ двѣ различныя націи. Подразумѣвается, что одна изъ нихъ хранила старые обычаи и старую неподвижность: другая представляла новые нравы и обычаи, и образованность въ европейскомъ духѣ. Это новое общество при Екатеринѣ значительно размножилось, отчасти подъ вліяніемъ ея просвѣтительныхъ плановъ, отчасти уже независимо отъ нихъ, или даже наперекоръ ея намѣреніямъ, по собственной силѣ начавшагося развитія. Дѣло въ томъ, что въ обществѣ стали высказываться извѣстныя понятія, уже не отвѣчавшія желаніямъ Екатерины: эти понятія не исчезали, несмотря на ея заявленное неудовольствіе, и, наконецъ, вызвали съ ея стороны преслѣдованіе, когда, подъ конецъ жизни, она была напугана французской революціей и вооружилась противъ тѣхъ самыхъ правилъ и идей, которыя прежде такъ поощряла. Просвѣщенный деспотизмъ Екатерины, къ сожалѣнію, не былъ такъ широкъ и искрененъ, какъ былъ, напр., у Іосифа II, и уже въ самомъ началѣ Екатерина впадала въ противорѣчія съ собой и отвергала свои философскія идеи, какъ скоро ихъ вліяніе обнаруживалось въ обществѣ какими-нибудь ничтожными проявленіями самостоятельности. Едва ли сомнительно, что нѣчто подобное произошло съ Комиссіей объ уложеніи; несомнѣнно, что это произошло въ ея отношеніяхъ къ литературѣ, которая допускалась только до тѣхъ поръ, пока знали свое мѣсто, или къ масонскимъ ложамъ, которыя (еще

<sup>1)</sup> Mémoires secr. sur la Russie. Paris An. VIII — X (1800 — 2), III, стран. 356.

до Новиковской исторіи) были непріятны Екатеринѣ тѣмъ, что имѣли притязаніе на общественную роль и на тайну, слѣдовательно, извѣстную независимость, хотя Екатерина хорошо знала невинность или пустоту этой тайны. Въ ея литературной полемикѣ обнаружались всегда не только мнѣнія писательницы, но и повелительный авторитетъ императрицы, такъ что споръ становился невозможенъ. Подъ конецъ царствованія нетерпимость перешла въ преслѣдованіе, мало согласное съ духомъ философской свободы, къ которому нѣкогда императрица показывала такое расположеніе. Радищевъ и Новиковское Дружеское Общество не представляли, конечно, никакой политической опасности, которою можно было бы объяснить суровость ихъ осужденія. Одинъ былъ идеалистъ, воспитавшійся на отвлеченныхъ понятіяхъ о правахъ человѣчества, и въ его смѣлости поражаетъ простодушіе, съ которымъ онъ считалъ выраженіе своихъ мнѣній возможнымъ на русскомъ языкѣ въ тогдашнія времена. Всѣ помысленія Дружескаго Общества сводились къ піэтистической филантропіи и наивному исканію алхимическихъ таинствъ. Между тѣмъ, это были два наиболѣе рѣзкія проявленія общественныхъ стремленій во времена императрицы Екатерины. Основное ихъ содержаніе — нѣсколько отвлеченныхъ положеній тогдашней нравственной и политической философіи, и здравое пониманіе нѣкоторыхъ отдѣльныхъ золь, и недостатковъ общественнаго устройства, какъ крѣпостное право, продажный судъ и управленіе, невѣжество и т. п. — опредѣляетъ и весь запасъ общественныхъ понятій, прибрѣтенныхъ къ концу XVII столѣтія. Общество несомнѣнно обнаруживаетъ признаки самодѣятельности и критическаго отношенія къ своей жизни; но эта критика всего чаще приписываетъ общественные недостатки нравственнымъ недостаткамъ и думаетъ помочь имъ, читая мораль для исправленія пороковъ. Кажется, только въ вопросѣ крѣпостнаго права сознана была необходимость измѣненія самаго учрежденія; въ другихъ случаяхъ общественная мысль не шла дальше поверхности дѣла и, за немногими исключеніями, политическая сторона вопроса оставалась ей совершенно чужда.

Времена императора Александра въ этомъ отношеніи уже рѣзко отличаются отъ временъ Екатерины. Въ обществѣ сначала слабо, но потомъ все замѣтнѣе обнаруживается интересъ къ его внутреннимъ дѣламъ; общественная мысль болѣе и болѣе сознательно вникаетъ въ нихъ и старается найти причины тѣхъ золь, которыя уже давно чувствовались, но противъ которыхъ оказывалась безсильна сама неограниченная власть правительства, и старается, наконецъ, найти средства, которыя были бы въ состояніи помочь этому печальному положенію вещей. Въ этомъ исканіи общественная мысль въ первый разъ приходитъ къ нѣсколько ясной постановкѣ внутренняго политическаго вопроса.

Отыскивая начало этого новаго направленія, нельзя прежде всего не видѣть, что это было никакъ не случайное возбужденіе или

мода, а напротивъ, явленіе, естественно выросшее среди общества, имѣвшее свои внутреннія и внѣшнія причины и оставившее свои вліянія въ послѣдующей исторіи общества. Главнымъ образомъ оно было слѣдствіемъ общаго увлеченія образованностью, которое, наконецъ, приводило къ подобнымъ вопросамъ и въ отдѣльныхъ личностяхъ дѣлало это сознаніе общественныхъ отношеній особенно живымъ и дѣйствительнымъ. Съ другой стороны это направленіе прививалось отъ европейскаго движенія конца прошлаго и начала нынѣшняго столѣтія. Тотъ умственный и общественный переворотъ, который изъ Франціи распространялся на всю Европу, коснулся своими послѣдними вліяніями и Россіи: въ образованной части общества этотъ переворотъ отразился значительнымъ умственнымъ движеніемъ, которое усилилось отъ непосредственныхъ встрѣчъ, дружескихъ и враждебныхъ, съ европейскимъ Западомъ. Въ русскомъ обществѣ является новый вопросъ, который обозначалъ для него первые признаки зрѣлости: это былъ вопросъ объ его устройствѣ, причинахъ и послѣдствіяхъ этого устройства, о средствахъ къ его исправленію и усовершенствованію. Старыя преданія въ первый разъ потеряли, для значительнаго круга образованныхъ людей, свою прежнюю обязательность; они отвергались иногда не только лучшими людьми общества, но и самимъ императоромъ, такъ что ихъ несостоятельность становилась полупризнанной истиной; понятно, какимъ возбуждающимъ образомъ должно было дѣйствовать на умы подобное положеніе дѣла. Настала необходимость искать для общественнаго устройства новыхъ началъ и новыхъ ручательствъ общаго блага.

Эти первыя стремленія общественной мысли, какъ мы сказали, и составляютъ отличительную черту Александровскаго періода нашего развитія. Въ это время общественное мнѣніе въ первый разъ съ извѣстной силой направилось на предметы внутренней политики. На этой дорогѣ наше общество движется и до сихъ поръ: общественная мысль стала шире и яснѣе, просторъ ея больше; глубже чѣмъ когда-нибудь поставленъ вопросъ о народѣ и народной жизни; кругъ общества, заинтересованнаго внутренними политическими вопросами, гораздо обширнѣе; но самые предметы, на которыхъ останавливается общественная мысль, еще не были исчерпаны съ тѣхъ поръ, какъ они въ первый разъ указаны были во времена Александра. Многія реформы прошлаго царствованія, какъ, напримѣръ, три основныя—освобожденіе крестьянъ, судебная реформа и извѣстное улучшеніе въ положеніи печати,—были уже въ тѣ времена предметомъ разсужденій и горячихъ желаній; другія, болѣе широкія реформы, о которыхъ мечтали лучшіе люди тогдашняго общества, остаются вопросомъ и до сихъ поръ. Царствованіе Александра I заключилось трагической развязкой, которая рѣзко отдѣлила пройденный путь развитія. Дѣйствительно, тайныя политическія общества и дѣло декабристовъ были естественнымъ результатомъ броженія идей въ Александровское время: съ этой развязкой прежнее поко-

лѣніе, носившее эти идеи, сошло со сцены, и съ новымъ царствованіемъ наступилъ новый поворотъ въ исторіи общества.

Указывая на это развитіе политической мысли, какъ на отличительную черту общественнаго движенія въ царствованіи Александра, мы не преувеличиваемъ ея глубины ни размѣровъ ея вліянія въ обществѣ. И то и другое не было велико; политическая незрѣлость общества была такова, что въ первое время всего сильнѣе это направленіе заявлено было самимъ императоромъ и его ближайшими сотрудниками; само правительство пытало болѣе смѣлые планы, чѣмъ кто-либо изъ передовыхъ людей тогдашняго общества; и въ послѣдствіи, кругъ людей, въ средѣ которыхъ совершалось это движеніе, не былъ особенно обширенъ. Но движеніе осталось, однако, важнымъ историческимъ моментомъ въ нашей общественной исторіи. Извѣстныя идеи проникли въ русское общество и усвоились въ немъ; съ тѣхъ поръ онѣ получаютъ все больше ясности, обнимаютъ большій кругъ, и единство мотивовъ, которыми занята была общественная мысль со временъ Александра, показываетъ, что уже и въ то время дѣло шло о дѣйствительныхъ потребностяхъ общества, неизбежно вытекавшихъ изъ его исторіи. Возвращаясь къ тѣмъ временамъ и вспоминая тогдашніе интересы, борьбу мнѣній, начинавшееся столкновение двухъ порядковъ жизни, стараго и новаго, мы найдемъ новое подтвержденіе законности тѣхъ современныхъ стремленій къ общественному преобразованію, которыя и до сихъ поръ остаются непонятны для большинства и на которыя съ такою щедростью бросаютъ свои клеветы ретроградные агитаторы.

Недостаточность существующихъ матеріаловъ дѣлаетъ еще невозможной послѣдовательную исторію избраннаго нами предмета; мы ограничимся нѣсколькими общими очерками и нѣсколькими указаніями на любопытныя явленія этой исторіи, до сихъ поръ мало находившія мѣста въ нашей литературѣ.

*Пыпинъ.*

## Направленіе общественнаго движенія въ началѣ царствованія Александра I.

Двадцатипятилѣтнее царствованіе императора Александра, которымъ началось для Россіи новое столѣтіе, представляетъ одну изъ замѣчательныхъ эпохъ ея исторіи. Въ теченіе ея совершилось такъ много событій, измѣнившихъ нашу исторію, внутренняя жизнь страны была такъ разнообразна, подвергалась такимъ различнымъ, непохожимъ другъ на друга, вліяніямъ и колебаніямъ, что эта первая четверть вѣка есть какъ бы цѣлый міръ, въ которомъ началось и окончилось извѣстное развитіе. Въ исторіи развитія вообще трудно указывать на такую внѣшнюю раму, какъ царствованіе государя, и съ его годами соединить факты внутренней жизни страны, но въ государствахъ самодержавныхъ, какова Россія, жизнь страны тѣсно

сливается съ личностью правителя, и часто ходъ событій зависитъ отъ его воли. Ничѣмъ это положеніе такъ сильно не подтверждается, какъ царствованіемъ Александра I. Его характеръ, его личныя убѣжденія, его колебанія, его измѣнчивость подъ вліяніемъ событій и внутренней личной его исторіи отражаются на жизни государства, направляютъ въ немъ движеніе мысли и общественное развитіе. Говорить поэтому о внутренней исторіи страны безъ уясненія личности государя едва ли будетъ возможно.

Вступленіе на престолъ Александра I послѣ четырехлѣтняго страннаго царствованія Павла было привѣтствовано всею страной съ глубокимъ, неподдѣльнымъ восторгомъ. По выраженію современника, «онъ возвратилъ Россіянамъ отечество»<sup>1)</sup>. Не одни высшіе классы общества, жалѣвшіе о льготахъ дней Екатерины и напуганные строгостями Павла, но весь народъ привѣтствовалъ молодого государя. «Всѣ чувствовали какой-то нравственный просторъ, записываетъ другой современникъ, взгляды сдѣлались у всѣхъ благосклоннѣе, поступь смѣлѣе, дыханіе свободнѣе»<sup>2)</sup>. Въ запискахъ Ермолова, Комаровскаго, Вигеля, Саблукова можно познакомиться съ этимъ восторгомъ общества и народа. Незнакомые обнимались и цѣловались на улицахъ. Радость выражалась на всѣхъ лицахъ. Въ этой радости общества замѣчено было современниками очень много смѣшного легкомыслія, возможнаго только въ обществѣ, привыкшемъ къ рабству и лишенномъ тѣни свободы; пожилые и знатные люди походили на мальчишекъ, вырвавшихся изъ строгой школы<sup>3)</sup>. Судить о восторгѣ общества по одамъ нашихъ стихотворцевъ того времени, конечно, нельзя, но къ чести этихъ поэтовъ нужно замѣтить, что муза ихъ все же молчала болѣе или менѣе въ царствованіе Павла и теперь вдругъ заговорила чрезвычайно громко. Ни по какому случаю не было написано столько разныхъ стихотвореній, какъ на восшествіе на престолъ и коронацію Александра<sup>4)</sup>. Самымъ замѣчательнымъ изъ этихъ стихотвореній была «Ода» Державина, которая по разнымъ намекамъ, высказаннымъ въ ней насчетъ царствованія Павла и по внушенію тогдашняго генераль-прокурора Баклешова, могла быть напечатана только черезъ восемь лѣтъ. Правда, почти то же писалъ Державинъ и при воцареніи Павла; (говорятъ, что самъ Александръ велѣлъ это замѣтить Державину), но тѣмъ не менѣе ода эга пользовалась большимъ уваженіемъ между современниками, и долго потомъ цѣнители Державина удивлялись въ ней смѣлости поэта. Надобно замѣтить, что Александръ при жизни отца очень хорошо видѣлъ и понималъ всю нелюбовь къ нему, слышалъ глухой, сдержанный ропотъ въ обществѣ,

<sup>1)</sup> Р. Арх. 1863 г., 730. «Отрывокъ жизни Вас. Пассека, имъ самимъ сочин.».

<sup>2)</sup> Р. Вѣстн. 1864 г. мартъ «Воспоминанія Ф. Ф. Вигеля», 162.

<sup>3)</sup> Вигель. Р. Арх. 1869 г., 1947.

<sup>4)</sup> Русск. Архивъ 1867 г., 987—988.

а съ другой стороны Александръ слышалъ постоянно кругомъ себя искреннія сожалѣнія и воспоминанія «о славныхъ дняхъ Екатерины» отъ людей, которые видѣли въ порядкахъ того времени или источникъ личныхъ выгодъ и наживы для себя, или славныя военныя воспоминанія. Этимъ можно объяснить, почему Александръ въ манифестѣ, изданномъ имъ въ день своего восшествія на престолъ обѣщается «править Богомъ врученный ему народъ по закону и по сердцу премудрой бабки своей». Это обѣщаніе было по душѣ всѣмъ. Извѣстно, что онъ былъ любимъ Екатериною, что желая устранить отъ престола родного сына, она хотѣла возвести на него внука, что въ этомъ смыслѣ было заготовлено ею завѣщаніе, истребленное при воцареніи Павла. Державинъ умѣлъ въ своей одѣ, гдѣ намекалъ на суровость Павла, воспользоваться и этими обстоятельствами. Въ ней выводитъ онъ Екатерину:

«Стоитъ въ порфирѣ — и вѣщала,  
Сквозь дверь небесну долу зря:  
Давно я зло предупреждала,  
Назначивъ внука вамъ въ царя,

Но вы внимать мнѣ не хотѣли,  
Забывъ мою къ себѣ любовь,  
Напасти безъ меня терпѣли;  
Я нынѣ васъ спасаю вновь».

Несмотря на запрещеніе печатать, ода разошлась во множествѣ списковъ: такъ близко подходила она къ настроенію общества. Александръ, еще до вступленія своего на престолъ, былъ любимъ народомъ. Крутость Павла пріучила смотрѣть на наследника престола, какъ на избавителя, а первыя его распоряженія еще больше увеличили къ нему любовь народную и общій восторгъ. Тотчасъ уничтожена была Тайная Экспедиція, возвращено до 12 т. сосланныхъ Павломъ; виновные по политическимъ преступленіямъ должны были судиться теперь въ общихъ присутственныхъ мѣстахъ, а не особеннымъ судомъ; отмѣненъ былъ указъ Павла, которымъ запрещался ввозъ въ Россію всего печатнаго, даже музыкальныхъ произведеній, и т. п. Общество вздохнуло свободно; восторгъ его былъ неописанный, хотя, конечно, не многіе возлагали на молодого царя прогрессивныя надежды для всей Россіи. «Дней Александровыхъ прекрасное начало», по выраженію Пушкина, было дѣйствительно одною изъ свѣтлыхъ эпохъ русской политической жизни. Эти первые свѣтлые годы царствованія Александра были временемъ значительнаго возбужденія общественной мысли и большихъ надеждъ. Общество проснулось отъ обычной апатіи своей и смутно ждало чего-то, неопредѣленно надѣялось на что-то... Мысль, запуганная реакціонными преслѣдованіями Екатерины въ послѣдніе годы ея царствованія, когда она такъ боялась французской революціи, и совершенно не находившая мѣста при Павлѣ, теперь стала возбуждаться; къ ней обратилась даже сама власть за совѣтами. Всѣ понимали, что настаетъ новое время, и что идти по прежнему направленію уже невозможно. Преобразования внутри государства сознавались какъ крайняя необходимость, и первые годы правленія Александра до того времени, какъ Россія всту-

пила въ борьбу съ Наполеономъ, по справедливости могутъ назваться эпохою преобразованій.

Обширныя завоеванія Екатерины и слава Россіи за границую въ ея царствованіе стоили государству громадныхъ пожертвованій, и необходимость лучшаго внутренняго устройства его, о которомъ заботилась Екатерина въ началѣ своего царствованія, была забыта въ ея увлеченіи виѣшнею политикою. Внутренняя администрація воеводъ и намѣстниковъ Екатерины напоминала нравы XVII вѣка, и внутри имперіи росло недовольство въ то время, когда не залѣчены еще были всѣ раны, нанесенныя Пугачевскимъ бунтомъ. Высшая власть находилась въ рукахъ бездарныхъ любимцевъ Екатерины, для которыхъ, на старости лѣтъ, она не жалѣла ничего; всѣ они отличались нечестностью, всѣ они грабили государство, прикрываясь именемъ императрицы, которая смотрѣла на этотъ грабежъ сквозь пальцы. Финансы были въ полномъ разстройствѣ, даже самые знаменитые и прославленные «орлы Екатерины» отличались полною распущенностію. Екатерина, подъ конецъ царствованія, потеряла въ народѣ всю свою прежнюю популярностъ; ее любили, поминали и жалѣли при Павлѣ только придворные и сановники изъ-за личныхъ выгодъ своихъ, да распущенные офицеры гвардіи, для которыхъ была при ней такая легкая служба. Люди мысли, хотя число ихъ у насъ въ ту пору было крайне незначительно, отвернулись отъ Екатерины за ея подозрительное преслѣдованіе масоновъ, за ссылки и недовѣріе къ литературѣ. Понятно, что царствованіе Павла, при его всѣхъ извѣстныхъ свойствахъ, не могло способствовать лучшему устройству государства, находившагося въ самомъ печальномъ положеніи. Александръ, въ послѣдніе годы жизни Екатерины, видѣлъ и понималъ это печальное состояніе Россіи. Памятникомъ его скорбной мысли по этому поводу осталось извѣстное письмо его къ другу его юности графу Кочубею, напечатанное въ книгѣ барона Корфа<sup>1)</sup>. «Наши дѣла», писалъ онъ, между прочимъ, въ этомъ письмѣ, — «въ неимовѣрномъ безпорядкѣ; грабежъ со всѣхъ сторонъ, порядокъ, кажется, изгнанъ отовсюду, а имперія стремится только къ расширенію своихъ предѣловъ».

Трудная задача предстояла такимъ образомъ императору Александру при его вступленіи на престоль. Всѣ надежды страны, все ея дальнѣйшее развитіе, вся жизнь ея зависѣли отъ него, самодержавнаго государя. Но былъ ли онъ на высотѣ своего призванія, могъ ли онъ выполнить тѣ надежды, которыя возлагались на него? На вопросъ этотъ можно отвѣчать тѣми свѣдѣніями, какія имѣемъ мы теперь о его воспитаніи и о характерѣ до восшествія на престоль, о тѣхъ вліяніяхъ, подъ которыми сложились и его характеръ, и его убѣжденія.

<sup>1)</sup> «Восшествіе на престоль имп. Николая I», 3. «Nos affaires sont dans un désordre incroyable; on pille de tous cotés; tous les départemens sont mal administrés; l'ordre semble être banni de partout, et l'Empire ne fait qu'accroître ses domaines.

Главнымъ лицомъ въ этомъ воспитаніи, имѣвшимъ весьма сильное вліяніе на умъ и образъ мыслей Александра, былъ швейцарецъ Фридрихъ-Цезарь Лагарпъ<sup>1)</sup>. Отношенія этого человѣка къ императору Александру не походили на обыкновенныя отношенія наставника къ своему воспитаннику; оба они, послѣ того какъ Лагарпъ принужденъ былъ противъ своей воли оставить еще не конченное дѣло воспитанія и Россію, были связаны другъ съ другомъ тѣсною, искреннею дружбою. Опубликованныя записки и письма Александра къ Лагарпу, писанныя въ то время, когда онъ принужденъ былъ съ нимъ разстаться, и потомъ, когда онъ сдѣлался императоромъ, когда онъ «всталъ во главѣ несчастной своей страны» — по его собственному выраженію, даютъ намъ положительныя свѣдѣнія о привязанности, существовавшей между ними, и о томъ вліяніи, которое имѣлъ Лагарпъ на своего воспитанника, хотя письма эти, по всей вѣроятности, напечатанны не всѣ<sup>2)</sup>. «Всѣмъ обязанъ я вамъ», пишетъ 19-лѣтній Александръ къ Лагарпу, «моимъ нравомъ, принципами, нравственностью, немногими моими познаніями, которыя могли бы быть гораздо обширнѣе, если бы я лучше воспользовался неисчислимыми попеченіями вашими обо мнѣ и за которыя я не иначе могу расплатиться съ вами, какъ безграничною привязанностью и уваженіемъ къ вамъ, мой милый другъ<sup>3)</sup>. Въ этихъ письмахъ выражается трогательная печаль Александра, когда онъ принужденъ былъ разстаться съ Лагарпомъ или когда императоръ Павелъ запретилъ ему съ нимъ переписываться. Ему повѣряетъ онъ тайныя мысли свои, которыя, безъ сомнѣнія, не могъ высказывать своимъ окружающимъ, «когда онъ чувствовалъ, по словамъ его, себя однокимъ при дворѣ, имъ ненавидимомъ и содрогаясь отъ одной мысли о своемъ будущемъ предназначеніи». Онъ мечтаетъ не о царствѣ, которое онъ охотно готовъ уступить за ферму подлѣ Лагарповой; онъ въ высшей степени недоволенъ своимъ положеніемъ и высказываетъ твердое и неизмѣнное намѣреніе отдѣлаться со временемъ отъ предназначеннаго ему бремени. «Положеніе мое», пишетъ онъ къ Лагарпу, «день ото дня становится все невыносимѣе для меня по всему, что я вижу вокругъ себя. Непостижимо, что происходитъ здѣсь; всѣ грабятъ, почти не встрѣчаешь честнаго человѣка; это ужасно»<sup>1)</sup>. Такія сердечныя изліянія, доказательства глубокаго дружескаго чувства, указываютъ

<sup>1)</sup> Ф. Ц. Лагарпъ. — Сухомлиновъ. Изслѣд. и статьи, т. II, 35—143.

<sup>2)</sup> Сб. рус. Ист. об., т. V, 1870 г., 1—121.

<sup>3)</sup> Ibid. 25. C'est bien juste, vous devant tout: mes moeurs, mes principes, ma morale, le peu de connaissances que j'ai et qui auroit pu être, en plus grand nombre si j'avois profité d'avantage des peines sans nombre que vous vous êtes donnés pour moi, et que je ne saurois jamais être en état d'acquiter envers vous que par mon attachement et mon estime pour vous, qui sont sans bornes, mon cher ami.

<sup>1)</sup> Ibid. 23. Elle (ma charge) me devient de jour en jour plus insupportable par tout ce que je vois faire au tour de moi. C'est incomprehensible ce qui se passe: tout le monde pille, on ne rencontre presque pas d'honnête homme; c'est affreux.



на не совсѣмъ обыкновенныя отношенія Александра къ Лагарпу. Дружба ихъ не измѣнилась въ теченіе сорока лѣтъ, и на нее не имѣли вліянія ни люди, ни колебанія общественной и политической жизни, которыми такъ богато было вообще время Александра. Онъ былъ, какъ мы видѣли, по его собственному признанію, очень многимъ обязанъ Лагарпу. Дѣйствительно, все то, что возбуждало въ современникахъ страстную любовь къ Александру, всѣ либеральныя гуманныя стремленія его, широкая любовь къ человѣчеству, рыцарская честность характера, однимъ словомъ — вся свѣтлая сторона натуры Александра создалась подъ воспитательнымъ вліяніемъ Лагарпа. Видѣли это очень хорошо современники; они замѣтили, что всѣми своими конституціонными стремленіями императоръ Александръ былъ обязанъ урокамъ Лагарпа. Извѣстный французскій писатель реакціоннаго закала и сардинскій посланникъ при нашемъ дворѣ въ началѣ царствованія Александра, гр. Жозефъ де Местръ, высказываетъ это прямо, хотя и не безъ примѣси желчи. «Императоръ философъ, говоритъ онъ, и, если смѣю такъ выразиться, слишкомъ философъ. Лагарпъ произвелъ на его юное сердце неизгладимое впечатлѣніе и изъ этого вышло нѣчто совершенно непонятное для тѣхъ, кто не изучалъ этого явленія на мѣстѣ. Все, что окружаетъ императора, все, что пользуется его довѣріемъ, также расположено къ новымъ идеямъ»<sup>2)</sup>. По окончаніи воспитанія въ 1795 году Лагарпъ еще разъ воротился въ Россію, когда Александръ сдѣлался уже императоромъ; они не разъ видались другъ съ другомъ въ Европѣ, во время частыхъ путешествій Александра; переписка ихъ продолжалась безъ перерыва. Лагарпъ принималъ непосредственное участіе въ разработкѣ вопросовъ по главнѣйшимъ отраслямъ государственнаго управленія и даже въ дѣлахъ внѣшней политики. При его посредствѣ Александръ сблизился съ замѣчательными людьми изъ умственной и политической сферы Европы и Америки. Лагарпъ пересылалъ и представлялъ своему воспитаннику разные и многочисленные проекты и планы реформъ и преобразованій въ государственной жизни Россіи, такъ что первая хорошая пора царствованія Александра, когда онъ и его ближайшіе совѣтники заняты были преобразованіями, прошла не безъ значительной доли участія во всемъ этомъ со стороны Лагарпа. Невольно такимъ образомъ имя этого швейцарца соединяется съ историческою жизнью нашего отечества въ началѣ XIX столѣтія, и изслѣдователю этой жизни не бесполезно познакомиться съ личностью этого не совсѣмъ обыкновеннаго чловѣка и съ тѣмъ родомъ вліянія, которое онъ воспитаніемъ имѣлъ на императора Александра...

Такова была личность чловѣка, имѣвшаго глубокое вліяніе на императора Александра, а съ нимъ вмѣстѣ и на судьбу всей Россіи,

<sup>2)</sup> Р. Арх., 1871 г., 68. Письма изъ Петербурга въ Италію графа Жозефа де Местра.

на которую государь долго смотрѣлъ глазами Лагарпа. Конечно, дѣло воспитанія было насильственно прервано, но все же оно оставило глубокий слѣдъ въ умѣ Александра, и вліяніе возобновилось, когда онъ вступилъ на престолъ и уже свободно снова могъ войти въ сношенія съ страстно любимымъ учителемъ своимъ. Эта любовь внушалась строгостью Лагарпа въ отношеніи къ своему дѣлу, чистою нравственныхъ убѣжденій и ихъ устойчивостью. Эта любовь къ наставнику и это вліяніе его на учениковъ поддерживались и тѣмъ родомъ ученія, тѣмъ его направленіемъ и объемомъ, которое выбралъ Лагарпъ. Воспитаніе это, полное высокихъ идеальныхъ стремленій, подымало сердце юноши, соотвѣтствовало тѣмъ мечтамъ, которыя живутъ во всякомъ чистомъ молодомъ сердцѣ, и наполняло его душу возвышенными мечтами о свободѣ, равенствѣ и блаженствѣ человѣчества. Такимъ идеальнымъ воспитаніемъ былъ полонъ XVIII вѣкъ, весь направленный къ измѣненію прежнихъ общественныхъ порядковъ по мѣркѣ отвлеченной, но благородной идеи. Мы имѣемъ достаточно данныхъ для сужденія объ объемѣ и направленіи уроковъ Лагарпа<sup>1)</sup> и знаемъ, что это воспитаніе соотвѣтствовало общимъ руководительнымъ идеямъ вѣка въ этомъ отношеніи. Главный предметъ уроковъ Лагарпа, согласно духу времени, была исторія. Она преподавалась очень обширно, и преподаваніе состояло по большей части въ чтеніи самихъ сочиненій, древнихъ или новыхъ, но на языкѣ французскомъ. Исторія должна была дать главные уроки будущему царю. Лагарпъ былъ убѣжденъ, что «общественный дѣятель долженъ искать въ исторіи не безплодные рассказы о битвахъ, а нѣчто другое; онъ, по его собственнымъ словамъ, старался ознакомить великихъ князей съ знаменательными историческими событіями, и въ особенности съ тѣми, выходящими изъ ряда людьми, добродѣтели или пороки которыхъ, достойныя дѣла или ошибки должны главнымъ образомъ служить наставленіемъ для людей, призванныхъ играть роль на театрѣ свѣта»<sup>2)</sup>. «Исторія есть школа государственнаго человѣка» повторяетъ Лагарпъ въ другомъ мѣстѣ<sup>3)</sup> и вообще исторія въ его преподаваніи является полнымъ курсомъ нравственной философіи; изъ нея почерпалъ Лагарпъ всѣ свои нравственные уроки великимъ князьямъ. Мы сказали, что на обязанность свою онъ смотрѣлъ очень строго; впереди его была благородная цѣль — не столько воспитаніе самодержца надъ тридцатью милліонами людей, сколько человѣка вообще. Этою цѣлью онъ оправдываетъ свою строгость съ учениками; онъ не льститъ ихъ недостаткамъ и порокамъ, какъ сдѣлали бы на его мѣстѣ многіе придворные воспитатели, но настойчиво и упорно преслѣдуетъ ихъ и старается исправить. Ему

<sup>1)</sup> Отчеты его Салтыкову. Русск. Стар., 1870 г.; Богдановичъ. «Учебныя книги и тетради А. П.» Сб. ист. общ., т. I., 369—384.

<sup>2)</sup> Русск. Стар., 1870, I., 43.

<sup>3)</sup> Ibid. 130.

не нравится привычка мѣшать игры съ серіозными занятіями, и вообще онъ расходится съ подобными взглядами Екатерины на воспитаніе. Строгіе воспитательные идеалы въ древнихъ греческихъ республикахъ больше всего нравятся Лагарпу, и вообще восхваленіе свободы и республиканскихъ учреждений, съ полною откровенностью и искренностью со стороны учителя, составляло сущность воспитанія Лагарпа. Увлекаясь, подобно всѣмъ лучшимъ современникамъ, древнею Греціею и Римомъ, читая съ учениками своими очень часто жизнеописанія Плутарха и другихъ историковъ древняго міра, знакомя ихъ даже съ произведеніями греческихъ поэтовъ, конечно, въ переводахъ, Лагарпъ перечиталъ съ ними почти всѣхъ извѣстныхъ въ XVIII вѣкѣ историковъ. Вмѣстѣ съ ними онъ жалѣетъ о паденіи древняго міра и видитъ въ исторіи среднихъ вѣковъ только «жалкіе раздоры монаховъ», которые смѣнили суевѣріемъ науки и искусства древняго міра<sup>1)</sup>. Лагарпъ излагалъ великимъ князьямъ и тотъ вопросъ, который занималъ современниковъ, «о происхожденіи обществъ», вѣроятно подѣ влияніемъ *Contrat social* Руссо, но изложеніе этого вопроса было прервано; онъ знакомилъ Александра съ сочиненіями Адама Смита, заставлялъ его читать газеты, и такимъ образомъ и современность не уходила отъ вниманія его питомца. Любовь къ политической экономіи и пониманіе ея пользы для государства были, безъ сомнѣнія, внушены Лагарпомъ Александру. Въ 1800 году, когда Александръ былъ наслѣдникомъ престола, онъ заказывалъ Мартынову, извѣстному потомъ переводчику греческихъ классиковъ, переводы нѣкоторыхъ англійскихъ сочиненій по политической экономіи, которые и были отчасти напечатаны въ журналахъ первыхъ годовъ его царствованія.

Изъ этого идеальнаго воспитанія Александръ вынесъ въ жизнь множество понятій, которыя были въ устахъ и въ сердцахъ лучшихъ людей XVIII столѣтія и развивались всею освобождающею литературою времени. Онъ мечталъ о благѣ человѣчества, о свободѣ, ненавидѣлъ деспотизмъ и рабство, жаждалъ благородной самоотверженной дѣятельности и проч. Жозефъ де Местръ замѣчаетъ, что «Александръ, будучи уже императоромъ, въ глубинѣ души уважаетъ республиканскій образъ правленія и, по всей вѣроятности, считаетъ его болѣе законнымъ, чѣмъ тотъ, къ которому онъ призванъ рожденіемъ»<sup>2)</sup>. Это философское воспитаніе сдѣлало Александра благороднымъ, чистымъ мечтателемъ; идеальная любовь къ свободѣ была развита въ немъ чрезвычайно; онъ былъ полонъ энтузіазма и самыхъ благородныхъ стремленій. Эти чистыя мечты юноши составляли основаніе души и характера Александра; несмотря на постоянныя колебанія свои и измѣчивость, несмотря на двусмысленность характера своего, происходящаго отъ глубокаго недовѣрія вообще къ людямъ, обманувшимъ его идеальныя ожиданія, несмотря на позднѣйшія

<sup>1)</sup> Ibid. 129.

<sup>2)</sup> Р. Арх., 1871 г., 110. Письма Жоз. де Местра.

проявленія деспотизма, самаго глухого и грубаго, онъ никогда открыто не измѣнялъ своимъ убѣжденіямъ, вынесеннымъ имъ изъ воспитанія, и если рѣшался впоследствии на крутыя и дикія мѣры, то, вѣроятно, съ болью въ сердцѣ, увлекаемый совѣтами и требованіями тѣхъ консерваторовъ, которыми такъ изобильно было его царствованіе. Либеральныя мечты составляли святыню его сердца; онъ были дороги ему, какъ старику счастливые дни его молодости и молодяя воспоминанія. Но все это было и оставалось только мечтами; у Александра не было силы воли и характера, чтобъ настойчиво реализовать и проводить въ жизнь свои стремленія. Воспитаніе, полученное имъ у Лагарпа, было слишкомъ идеально и отвлеченно; въ немъ незамѣтно было никакого положительнаго знакомства съ страною, обществомъ и народомъ, которое одно только можетъ дать человѣку настоящую, а не отвлеченную любовь къ нимъ, любовь, могущую превратиться въ сознательное дѣло добра. Онъ не зналъ страны, править судьбами которой былъ призванъ, и едва ли могъ любить ее. По крайней мѣрѣ, когда къ концу царствованія въ немъ сильно развились инстинкты самовластия, для умныхъ наблюдателей было ясно, что Александръ не уважалъ своего народа, что судьбы Европы были дороже ему бѣдной родины, и въ то время, когда онъ, превратившись, по выраженію поэта, въ «кочующаго деспота», занимался на разныхъ конгрессахъ двадцатыхъ годовъ жалкими вопросами европейской реакціи, Россія страдала и корчилась въ грубыхъ и грязныхъ лапахъ Аракчеева, — Александръ допускалъ эти страданія и смотрѣлъ на нихъ хладнокровно.

Внутреннее настроеніе духа Александра, его мечты и стремленія тотчасъ послѣ уроковъ Лагарпа, въ послѣдній годъ царствованія Екатерины, прекрасно рисуются въ воспоминаніяхъ объ этомъ времени князя Адама Чарторьскаго, переведенныхъ на русскій языкъ<sup>1)</sup>. Извѣстный польскій патріотъ князь Адамъ, который былъ семью годами старше Александра, человѣкъ съ широкимъ современнымъ образованіемъ и свободнаго направленія, уже въ молодыхъ лѣтахъ сражался противъ Россіи, а въ 1795 году, по распоряженію Екатерины, онъ пріѣхалъ въ Петербургъ вмѣстѣ съ меньшимъ братомъ, и оба они состояли при великихъ князьяхъ Александрѣ и Константинѣ. Очень рано между Александромъ и старшимъ изъ Чарторьскихъ завязалась самая искренняя дружба; эта дружба длилась много лѣтъ. Адамъ принималъ живое и дѣятельное участіе въ первыхъ преобразованіяхъ государства, задуманныхъ Александромъ, долго былъ его министромъ иностранныхъ дѣлъ, и, безъ сомнѣнія, особенная любовь къ Польшѣ, попытки возстановить ее и дать ей либеральныя учрежденія, все это благоволеніе къ Польшѣ, такъ сильно возмущавшее русскихъ патріотовъ, развились въ сердцѣ Александра подъ влія-

<sup>1)</sup> Р. Арх., 1871, 697. Разсказъ князя Адама Чарторьскаго о сближеніи его съ имп. Ал. Павл.

ніемъ друга его молодости. Адамъ Чарторьскій пережилъ Александра 40 годами; воспоминанія его молодости и его переписка съ Александромъ изданы были вскорѣ послѣ смерти Адама, и у насъ нѣтъ никакихъ основаній, чтобъ заподозрить ихъ искренность и истину.

Въ воспоминаніяхъ Чарторьскаго о его весеннихъ прогулкахъ по аллеямъ Таврическаго сада, передъ нами возникаетъ образъ царственнаго юноши, полного самыхъ благородныхъ стремленій и идеальныхъ мечтаній. «Въ словахъ и поведеніи этого царственнаго юноши, говоритъ Адамъ, было столько искренности, чистоты, столько рѣшительности, повидимому несокрушимой, столько самозабвенія и великодушія, что онъ показался мнѣ существомъ избраннымъ свыше, ниспосланнымъ Провидѣніемъ для блага человѣчества и моей родины<sup>1)</sup>. Такая идеальная фигура тѣмъ болѣе должна была поразить Чарторьскаго, что до знакомства своего съ Александромъ онъ не встрѣчалъ ничего подобнаго, особенно при деспотическомъ дворѣ Екатерины, гдѣ, разумѣется, тогдашнія либеральныя идеи предавались проклятію, гдѣ все дышало раболѣпствомъ и ненавистью къ новому. Александръ откровенно и съ увлеченіемъ высказывалъ свои тогдашнія либеральныя убѣжденія. Онъ говорилъ, что «ненавидитъ деспотизмъ повсюду, во всѣхъ его проявленіяхъ; что любить свободу, на которую имѣютъ право всѣ люди<sup>2)</sup>. Онъ высказывалъ свое живое участіе къ французской революціи, за событіями которой слѣдилъ со вниманіемъ, и, осуждая ея ужасныя крайности, желалъ республикѣ успѣховъ, и радовался имъ. Высказывая эти мнѣнія, Александръ съ глубокимъ уваженіемъ вспоминалъ Лагарпа и говорилъ, какъ много онъ обязанъ ему въ своемъ развитіи. Въ своихъ мечтахъ объ общемъ благѣ человѣчества онъ забывалъ свое положеніе. Такъ, «онъ утверждалъ, что наследственность престола есть установленіе несправедливое и нелѣпое, что верховную власть долженъ даровать не случай рожденія, а приговоръ всей націи<sup>3)</sup>, котора сумѣла бы избрать достойнѣйшаго для управленія ею. Александръ боялся будущаго своего назначенія; онъ чувствовалъ всю тяжесть его и, повидимому, не сознавалъ, сколько бы могъ онъ сдѣлать добра странѣ своей, при самодержавной власти, въ соединеніи съ рѣшительностью и твердою волею — качествами, которыхъ у него, къ несчастію его и Россіи, не было. Мнѣнія и убѣжденія Александра, по словамъ Чарторьскаго, напоминали собою школьника 1789 года, на зарѣ революціи, который желалъ бы вездѣ видѣть республику, и считалъ эту форму правленія самою справедливою и согласною съ правами и желаніями человѣчества. Онъ любилъ земледѣльцевъ, простые нравы ихъ, но онъ не зналъ русскихъ крестьянъ и смотрѣлъ на нихъ глазами поэтической идилліи XVIII вѣка. Онъ мечталъ о сельскихъ трудахъ, вдали отъ двора и отъ свѣта, но въ странѣ

<sup>1)</sup> Р. Арх. 1871, 702.

<sup>2)</sup> Ibid., 700.

<sup>3)</sup> Ibid. 707.

цвѣтущей, на хорошенькой фермѣ, нѣчто въ родѣ идеализированной швейцарской жизни въ буколикахъ Гесснера и Броннера. Естественно, что при русскомъ дворѣ того времени онъ оставался одинъ съ своими юношескими мечтами; онъ берегъ ихъ, какъ святыню, и боялся холода насмѣшки. Единственнымъ повѣреннымъ его была молодая жена, но необходимость дружбы и изліяній, столь понятная въ молодости, облегчающая душу, необходимость дѣлиться мечтами, соединила его съ Чарторыскимъ, и онъ беззавѣтно и отъ всего сердца повѣрялъ ему свои молодые грезы. Павелъ при вступленіи на престолъ разорвалъ эту дружбу, пославъ Чарторыскаго повѣреннымъ въ дѣлахъ въ Сардинію, и вокругъ Александра образовалась нравственная пустыня.

Таковъ былъ Александръ предъ самымъ вступленіемъ своимъ на русскій престолъ, такимъ воспитанъ и приготовилъ его Лагарпъ. Вліяніе идеальнаго наставника находило себѣ сильное противодѣйствіе въ нравахъ цѣлаго общества, во всемъ положеніи Россіи. *Principes liberales*, въ которые онъ вѣровалъ, мало находили сочувствія кругомъ его, и едва ли онъ былъ приготовленъ къ тому, чтобы проводить ихъ въ жизнь съ логическою послѣдовательностью. Онъ тайлъ ихъ про себя и еще болѣе долженъ былъ скрывать ихъ, когда началось суровое царствованіе Павла... Извѣстно, какимъ холодомъ пахнуло на дворъ и петербургское общество при воцареніи Павла, когда онъ сталъ заводить вездѣ свои порядки. Время царствованія Павла имѣло сильное вліяніе на Александра, на образованіе его характера и увлекло его далеко въ сторону отъ республиканскихъ мечтаній. Въ первый разъ сошелся онъ теперь лицомъ къ лицу съ реальною жизнью, и долженъ былъ забыть о всякой самостоятельности. Изъ сферы идеальныхъ мечтаній о благѣ чело- вѣчества онъ долженъ былъ спуститься въ мелочныя подробности фронта и вахтъ-парада, за нарушеніе которыхъ Павелъ преслѣдовалъ жестоко. Военное губернаторство отнимало все время у Александра. Часто Александръ долженъ былъ выдерживать тяжелую внутреннюю борьбу, не разъ приходилось ему измѣнять чело- вѣколюбивымъ принципамъ своего воспитанія, характеръ его портился. И онъ и братъ его были въ постоянномъ страхѣ капризовъ Павла. Въ качествѣ командировъ полковъ они ежедневно подвергались за малѣйшія ошибки на парадахъ и ученіяхъ выговорамъ, которые они вымѣщали на офицерахъ и солдатахъ <sup>1)</sup>. Кромѣ того, Александръ былъ инспекторомъ всей пѣхоты. Въ такой школѣ онъ получилъ вкусъ къ военнымъ упражненіямъ и воображалъ себя великимъ полководцемъ, экзерцируя гвардію. Жизнь вставала предъ нимъ въ уродливомъ видѣ, и, вступая на престолъ, онъ имѣлъ право назвать свою страну несчастною. Тѣми реформами, какія были задуманы при воцареніи, онъ желалъ доставить ей счастье.

<sup>1)</sup> Р. Арх. 1869 г., 1927. Изъ записокъ Н. А. Саблукова.

Намъ знакомо теперь то внутреннее развитіе, которое образовало характеръ Александра и должно было приготовить къ реформамъ, необходимымъ въ ту пору къ преобразованію тогдашняго «безобразнаго зданія государственнаго» — по выраженію самыхъ приближенныхъ къ Александру лицъ. Былъ ли по силамъ ему предстоящій трудъ, приготовлень ли былъ самъ императоръ для упорнаго и настойчиваго преслѣдованія великой цѣли — реформы, намъ уже легко составить себѣ понятіе по внутренней исторіи его первой молодости. При самыхъ широкихъ мечтахъ объ общемъ благѣ, — онъ неспособенъ на трудъ и тяготится имъ. У него нѣтъ ни знанія жизни дѣйствительной, ни энергіи; самые либеральные планы его и намѣренія чрезвычайно смутны; это то, что въ XVIII и въ началѣ XIX вѣка носило общее неопредѣленное названіе *principes*. Съ другой стороны — противоположныя привычки воспитанія, обстановка двора, преданія, вѣковое раболѣпство окружающихъ, крутость Павла — все говорило о деспотизмѣ, все напоминало Александру, что власть его не ограничена; онъ самъ повторялъ это, когда встрѣчалъ противодѣйствіе своей волѣ, — и либеральныя мечты мгновенно улетучивались. Вотъ отчего вторая половина Александрова царствованія такъ непохожа на первую; но начала, задатки позднѣйшей реакціи положены были рано.

Эти постоянныя колебанія Александра то въ одну, то въ другую сторону, эта двойственность его характера и убѣжденій имѣли источникомъ своимъ и общее политическое состояніе времени, ту борьбу идей, которая происходила кругомъ и въ сферѣ жизни государственной и въ сферѣ мысли въ Европѣ, и которая должна была отразиться и въ нашемъ обществѣ. Великій политическій переворотъ конца прошлаго вѣка, разрушившій историческую жизнь старой Франціи и вызвавшій къ жизни такъ много началъ и основаній, на которыхъ должна была строиться новая общественная жизнь, оставилъ глубокой слѣдъ въ умахъ и долженъ былъ породить въ нихъ упорную борьбу, которая и теперь еще не прекратилась. Враждовали поколѣнія и убѣжденія, старое съ новымъ. Все молодое въ обществѣ, все дѣятельное въ немъ стояло за новыя революціонныя идеи; ихъ содержаніе должно быть примѣнено къ народной жизни. Съ другой стороны — новому движенію впередъ противодѣйствовали старыя партіи, партіи застоя и консерватизма. Онѣ стояли за старую жизнь, за старыя начала, старыя привилегіи, или подорванныя или разрушенныя; онѣ хотѣли возвратить назадъ исторію. Не слѣдуетъ думать, чтобъ консервативная партія имѣла источникомъ своимъ только личныя выгоды, въ чемъ ее обыкновенно обвиняютъ прогрессисты. Въ ней могли быть и дѣйствительно были люди высокой честности; разница та только, что они иначе, хотя и искренно, понимали исторію. Борьбою этихъ двухъ взглядовъ была полна тогда Европа, и она естественно должна была отразиться у насъ, такъ какъ мы шли за Европой и болѣе или менѣе участво-

вали въ ея духовной жизни. Эта борьба у насъ замѣтна была однако болѣе всего въ правительственныхъ сферахъ, въ тѣхъ людяхъ, которые ближе стояли къ власти и имѣли непосредственное вліяніе на дѣла. Что касается до общества, до литературы у насъ, то здѣсь великая борьба принциповъ была едва замѣтна. Общество не имѣло тогда, да и долго потомъ, никакой политической жизни, никакого мнѣнія и убѣжденія. Реформамъ, задуманнымъ и приводимымъ въ исполненіе въ началѣ царствованія Александра, оно не могло оказать никакой нравственной поддержки. Правительство съ своими планами преобразованій стояло совершенно одиноко, потому что и литература, это выраженіе общества, не имѣла голоса. И общество и литература лишены были просвѣщенія, разумнаго развитія; умственное бездѣйствіе царило повсюду, и къ реформамъ новаго царствованія всѣ относились безсознательнымъ образомъ. Онѣ возбуждали или пустой, раболѣпный восторгъ, или, когда реформы затрогивали тѣ или другіе личные интересы и выгоды, наивный дѣтскій ропотъ, въ которомъ не могло быть ничего сознательнаго и политическаго. Правительство составляло все въ государствѣ; оно должно было отвѣчать за все. Первые годы царствованія Александра оживили общественную мысль; возбужденный въ обществѣ интересъ къ дѣламъ внутренняго устройства, пока войны съ Наполеономъ не уничтожили его, далъ оживленіе, какъ мы увидимъ, и литературѣ, въ особенности періодической, болѣе близкой къ непосредственной жизни общества; появилось даже множество рукописныхъ проектовъ по дѣламъ внутренняго устройства страны. Но это оживленіе общества и мысли, къ сожалѣнію, было у насъ и случайно и недолговѣчно; оно не шло правильнымъ, стройнымъ путемъ, а походило скорѣе на неустановившееся броженіе, которое легко могло быть задавлено гнетомъ реакціи, что и случилось подъ конецъ царствованія Александра. Но тѣмъ не менѣе все оно, со всѣми своими колебаніями и противорѣчіями замѣчательно и по людямъ и по идеямъ, которыя возникли тогда. Въ это двадцатипятилѣтіе совершилось болѣе прочное, болѣе близкое сближеніе съ Европою, передача ея идей, и духовныхъ и политическихъ, то-есть еще болѣе укрѣпился тотъ историческій путь, по которому суждено намъ идти. Главное направленіе въ общественномъ движеніи было политическое; оно было вызвано французской революціей, всеобщимъ стремленіемъ къ реформамъ и постояннымъ дѣятельнымъ участіемъ нашимъ въ дѣлахъ Европы, вслѣдъ за успѣхами нашего оружія въ продолжительной борьбѣ съ Наполеономъ. Наша общественная мысль крѣпла, число образованныхъ людей у насъ увеличивалось; ихъ мысль была занята вопросами политическими; она интересовалась внутренними дѣлами, ихъ устройствомъ. Правда, это возбужденіе общественной мысли, и высшее образованіе, и либеральное направленіе, и честныя гражданскія убѣжденія въ царствованіе Александра мы встрѣчаемъ только въ рядахъ привилегированнаго, дворянскаго сословія, и, страннымъ



образомъ, преимущественно въ сферѣ военной, потому что для нея прежде всего открылась Европа, но и это былъ уже значительный успѣхъ въ обществѣ, сравнительно съ прежнимъ.

Въ первые преобразовательные годы своего царствованія Александръ былъ окруженъ двумя поколѣніями людей, между которыми раздѣлены были власть и вліяніе на дѣла и между которыми господствовали вражда и взаимное недовѣріе. Съ одной стороны стояли дѣльцы Екатерининскаго времени, старые, опытные, люди привычки и рутины, не возмущавшіеся недостатками и злоупотребленіями, къ которымъ они привыкли и среди которыхъ они выросли. Съ другой стороны, болѣе чѣмъ люди стараго поколѣнія, къ императору приближались новые люди, выросшіе и воспитанные въ томъ же широкомъ, либеральномъ кругу идей, въ которомъ воспитывался и онъ. Въ складѣ ума ихъ и въ объемѣ ихъ стремленій выразилось то же гуманитарное, общечеловѣческое содержаніе, та же проповѣдь свободы и развитія, которая господствовала въ литературѣ XVIII вѣка, только къ ней присоединились теперь начала болѣе практическія, выработанныя жизнью и въ особенности французской революціей. Понятно, что сердце Александра лежало на сторонѣ этихъ болѣе молодыхъ и свѣжихъ людей. Съ ними соединяли его дружба и одинаковость убѣжденій; ихъ совѣтамъ, ихъ участію въ дѣлахъ онъ обязанъ былъ блескомъ, окружавшимъ первые годы его царствованія, надеждами общества, любовью народа.

Первые указы и мѣры имѣли цѣлью поправить зло, произведенное царствованіемъ Павла. Александръ, казалось, такъ бодро шелъ впередъ; вмѣстѣ съ самодержавіемъ, открывалась ему широкая возможность дѣлать такъ много добра, онъ помнилъ недавній примѣръ всѣхъ неудобствъ произвола, а потому въ основу своихъ дѣйствій и распоряженій старался положить начало законности, то уваженіе къ закону, стоящему выше власти, которое онъ вынесъ изъ наставленій Лагарпа. Не прошло еще трехъ мѣсяцевъ послѣ воцаренія, какъ появился указъ объ устройствѣ «Комиссіи для составленія законовъ», подъ предсѣдательствомъ одного изъ фаворитовъ Екатерины, графа Завадовскаго; началось переустройство Сената, потерявшаго въ государствѣ всю власть и значеніе, а вскорѣ потомъ послѣдовало и образованіе министерствъ, которыя также вели къ одной цѣли, къ ограниченію произвола въ управленіи.

Знакомясь постепенно съ частями управленія, изучая его со всѣхъ сторонъ, Александръ самъ, при доброй волѣ, легко могъ видѣть и недостатки, и злоупотребленія. Государство и управленіе представлялись въ невообразимомъ хаосѣ, по выраженію одного изъ первыхъ дѣятелей въ это царствованіе, графа А. Воронцова <sup>1)</sup>. Онъ же высказываетъ замѣчательное убѣжденіе, что «Россія, къ сожалѣнію,

<sup>1)</sup> Чт. въ Общ. ист. и древн. рос. 1859 г. I, 96. Примѣч. гр. А. Р. Воронцова на нѣкот. статьи, касающіяся до Россіи.

никогда прямо устроена не была, хотя еще съ царствованія Петра Великаго о семъ весьма помышляемо было»<sup>1)</sup>). Правосудія въ ней не было никакого; несмотря на указы Екатерины въ ней существовала даже пытка, уничтоженная снова въ первый годъ царствованія Александра... Нужно было смягчить самодержавіе вообще, дать ему законную по возможности форму, распространить въ обществѣ страхъ передъ закономъ, а не передъ произволомъ, нужно было облегчить положеніе крѣпостного народа, необходимо было развязать робкую мысль, чтобъ она приносила пользу жизни, необходимо было создать науку, просвѣщеніе, общественное воспитаніе, которыхъ или вовсе не было, или которыя существовали по старой, сгнившей рутинѣ; однимъ словомъ, предстояла всеобщая ломка, радикальная перестройка «безобразнаго зданія государственнаго». Тутъ едва ли можетъ быть рѣчь о правильномъ постепенномъ ходѣ развитія. Помощниками въ великомъ дѣлѣ преобразования всей страны и всего ея управленія является нѣсколько личностей, составляющихъ кружокъ близкихъ къ императору людей, связанныхъ съ нимъ по духу общими убѣжденіями, одинаковымъ воспитаніемъ, кружокъ, прозванный имъ въ шутку, но совершенно справедливо, «комитетомъ общественнаго спасенія», потому что дѣло его заключалось въ спасеніи страны. Въ рукахъ ихъ съ начала была дѣйствительная власть, хотя сами они стояли какъ бы на заднемъ планѣ. Въ этомъ кружкѣ обсуждались планы преобразованій и новые освободительные указы Александра. Люди эти выдвинулись впередъ не случайно, а по талантамъ, знаніямъ, убѣжденіямъ и по личной волѣ государя, а потому только въ немъ одномъ они и могли находить поддержку, несмотря на то, что сами по рожденію принадлежали къ высшимъ слоямъ общества. Приближенностью къ Александру, одиночествомъ своего положенія, стремленіемъ къ реформамъ и къ уничтоженію закоренѣлаго зла, они возбудили къ себѣ сильную вражду консервативнаго большинства, вражду, которая, выражаясь въ запискахъ ихъ современниковъ, пережила даже давно и ихъ и всѣ слѣды ихъ дѣятельности, какъ это видно изъ книги Богдановича о царствованіи Александра. Богдановичъ не умѣлъ отдать имъ надлежащей справедливости и повторилъ общепозвѣстные обвиненія, дышація враждою современниковъ.

Всѣ лучшіе люди наши въ царствованіе Александра прошли общую французскую школу, потому что она имѣла широкое воспитательное значеніе, и одна только могла сдѣлать ихъ настоящими людьми. Всѣ они болѣе или менѣе воспитывались въ заграничныхъ университетахъ — путь, указанный еще Екатериной въ началѣ ея правленія. Въ ихъ-то средѣ, при участіи самого Александра, возникали планы конституціоннаго устройства государства, которое должно было положить конецъ всякому произволу. Конституціонныя стремленія Александра извѣстны; они не покидали его всю жизнь... и

<sup>1)</sup> Ibid 91.

лучшая либеральная и образованная часть общества долго ждала ихъ осуществленія отъ Александра, отъ времени котораго дошло до насъ даже нѣсколько проектовъ полныхъ конституцій.

Буличъ.

## Характеристика Москвы, особенности ея быта и ея значеніе въ жизни русскаго общества начала XIX вѣка.

Первопрестольная столица, хотя не имѣла тогда ни тротуаровъ ни бульваровъ, но по своимъ связямъ съ провинціею, даже самую отдаленнѣйшею<sup>1)</sup>, считалась городомъ священнымъ, имѣвшимъ вліяніе на всю Россію. Москва производила такое очарованіе, что для помѣщиковъ, жившихъ постоянно въ своихъ имѣніяхъ, тѣ сосѣди, которые хвастали, что бывали въ бѣлокаменной, казались людьми высшаго порядка!

— Въ имперіи вашей, — сказала одинъ иностранный посолъ, желавшій польстить императрицѣ Екатеринѣ II, — сильный не утѣсняетъ слабого, и Москва это доказываетъ: тамъ убогій домикъ стоитъ спокойно близъ великолѣпныхъ палатъ.

Тогдашняя Москва была царствомъ разнообразія. «Великолѣпные дворцы, разбросанные по всѣмъ частямъ города, рядомъ съ бѣдными деревянными домишками, превосходные сады и обширные огороды, среди наилучшихъ кварталовъ; огромные крытые базары, со множествомъ всякихъ лавокъ; конскіе бѣга на большихъ площадяхъ, нарочно для этого назначенныхъ и приспособленныхъ, чуть не въ центрѣ города; въ назначенные дни кулачные бои, охоты на медвѣдя и волка, привлекавшіе множество зрителей — и рядомъ театры, цирки и акробаты на европейскій ладъ»<sup>2)</sup>. Особенно поражало число церквей большихъ, среднихъ и малыхъ, архитектуры, большею частію, самой разнообразной.

Для пытливаго наблюдателя Москва могла служить многообразнымъ и неистощимымъ источникомъ для изученія русскихъ нравовъ. «Вся руссійская держава со всѣми разновидностями своими въ ней заключается. Путешественникъ, только въ одной Москвѣ изслѣдовавъ образъ жизни, нравы и обычаи, можетъ сказать, возвратившись въ отечество свое: *я былъ въ Россіи*»<sup>3)</sup>.

Посѣтившій первый разъ Москву, могъ подумать, что въ ней поселились народы всѣхъ странъ, и каждый строится по своему обычаю и живетъ по своему; онъ могъ бы сказать, что Москва представляетъ въ маломъ видѣ сколокъ со всѣхъ городовъ «извѣст-

<sup>1)</sup> Изъ записокъ графа Ф. В. Раstopчина. «Русская [Старина] 1889 г. № 12, стран. 658. Письмо графа Ф. В. Раstopчина императору Александру (безъ года и числа). «Русскій Арх.» 1881 г., кн. III (1), стран. 216 и 217.

<sup>2)</sup> Воспоминанія А. П. Бутенева. Тамъ же, стран. 9.

<sup>3)</sup> Взглядъ на Москву. «Русскій Вѣстникъ» 1808 г., № 1, стран. 23.

ныхъ намъ частей свѣта». И дѣйствительно, строгій блюститель отеческихъ нравовъ и правилъ жилъ рядомъ съ такъ называемымъ «русскимъ парижаниномъ» и страстнымъ любителемъ лондонскихъ обычаевъ. У каждаго изъ нихъ время было распредѣлено по-своему: «когда у одного почти вечеръ, у другого начинается утро; одинъ приглашаетъ откушать хлѣба-соли, какъ дѣлывали его прадѣды, а другой зоветъ а un repas, à un bal, à un dejeuner dansant». Иногородные, иноземцы, французъ, англичанинъ, нѣмецъ, итальянецъ, каждый изъ нихъ пользовался равными правами, равнымъ гостепріимствомъ, былъ встрѣчаемъ ласково и дружелюбно. Не удивительно, что со временъ Екатерины II Москва прослыла *республикою*; въ ней было болѣе свободы, и жизнь текла по произволу каждаго. Здѣсь можно было встрѣтить грека, татарина, турка въ чалмѣ и туфляхъ, тамъ француза въ башмакахъ, искусно перескакивающего съ камня на камень, щеголя, одѣтаго по послѣдней модѣ, и нищаго, отдыхающаго на ступеняхъ Краснаго крыльца, положивъ голову на котомку. Его никто не беспокоитъ, и онъ спокойно спитъ у подножія царскихъ палатъ, не зная даже, кому онѣ принадлежатъ. Однимъ словомъ, Москва была жилищемъ роскоши и нищеты.

«Я думаю»,—писалъ К. Н. Батюшковъ<sup>1)</sup>,—«что ни одинъ городъ не имѣетъ малѣйшаго сходства съ Москвою. Здѣсь роскошь и нищета, изобиліе и крайняя бѣдность, набожность и невѣріе; постоянство дѣдовскихъ временъ и вѣтренность неимоверная, какъ враждебныя стихіи въ вѣчномъ несогласіи, и составляютъ сіе чудное, безобразное, исполинское цѣлое, которое мы знаемъ подъ общимъ именемъ—*Москва*».

Раскинувшись широко, безъ порядка и симметріи, Москва была большимъ городомъ, единственнымъ и несравненнымъ. Одинъ изъ бывшихъ въ Москвѣ называлъ ее большимъ селомъ съ барскими усадьбами<sup>2)</sup>.

«Странное смѣшеніе древняго и новѣйшаго зодчества, нищеты и богатства, нравовъ европейскихъ съ нравами и обычаями восточными. Дивное непостижимое сліяніе суетности, тщеславія и истинной славы и великолѣпія, невѣжества и просвѣщенія, людскости и варварства—Москва есть вывѣска или живая картина нашего отечества». Съ высоты Кремлевскихъ стѣнъ кто не гордился Москвою! Кому не представлялась картина, достойная величайшей въ мірѣ столицы, построенной могущественнымъ народомъ. «Тотъ, кто стоя въ Кремлѣ и холодными глазами смотрѣвъ на исполинскія башни, на древніе монастыри, на величественное Замоскворѣчье, не гордился своимъ отечествомъ и не благословлялъ Россію, для того (и я скажу эго смѣло) чуждо все великое, ибо онъ былъ безжалостно ограбленъ природою при самомъ его рожденіи».

<sup>1)</sup> Прогулка по Москвѣ. «Русскій Арх.», т. II, стран. 1201.

<sup>2)</sup> Воспоминанія Погожева. «Историческій Вѣст.» 1893 г., № 6, стран. 721.

«Москва — это государственная, политическая Елисейская поля России», говорит дѣвица Вильмотъ въ своихъ письмахъ!<sup>1)</sup>

Столица безъ двора, Москва жила самобытною и самостоятельную жизнью, подавала лозунгъ России и имѣла вліяніе на провинцію. Москва, по выраженію Н. Г. Левшина, была въ то время инвалиднымъ домомъ всѣхъ російскихъ дворянъ знатныхъ и незнатныхъ, чиновныхъ и безчиновныхъ<sup>2)</sup>. Здѣсь жило большое число нашихъ знаменитѣйшихъ и старѣйшихъ родовъ и высшее дворянство. Большею частью, это были люди, занимавшіе прежде высшія государственныя должности и потомъ отдыхавшіе на склонѣ дней въ пышномъ бездѣйствіи; или такіе сановники, самолюбіе которыхъ было оскорблено, которые показывали, что ищутъ независимости, или, наконецъ, богатые помѣщики изъ губерній, не искавшіе службы и чиновъ, а желавшіе пользоваться своимъ богатствомъ среди удобствъ и удовольствій столицы<sup>3)</sup>. «Москва, — говоритъ Н. Г. Левшинъ<sup>4)</sup>, — удивительное пристанище для всѣхъ, кому дѣлать было нечего, какъ свое богатство расточать, въ карты играть, ѣздить со двора на дворъ; дѣловыхъ людей въ Москвѣ мало. Всѣ вообще отставные старики, моты, весельчаки и празднолюбцы — всѣ стекаются въ Москву и тамъ вѣкъ свой доживаютъ, припѣваючи. Раздѣлять ли родители дѣткамъ имѣніе — ѣдутъ на покой въ Москву вѣкъ доживать; надобно ли дѣтокъ малолѣтнихъ въ пансіоны отдавать (которыхъ нигдѣ кромѣ Москвы найти нельзя было) — ѣдутъ въ Москву; въ службу записывать сынковъ — опять на совѣты и отыскиваніе по роднымъ покровительства ѣдутъ въ Москву — словомъ сказать, со всего російскаго свѣта стекается многое множество къ зимѣ въ родную Москву. Зато лѣтомъ, хоть шаромъ покати, нѣтъ никого, даже на улицахъ станеть травка пробиваться; всѣ разбредутся по деревнямъ — къ зимѣ деньги собирать».

Откуда лѣтомъ разносились вѣсти по всей России, а зимою онѣ собирались. Москва страстна была къ новостямъ и толкамъ о дѣлахъ общественныхъ болѣе, чѣмъ Петербургъ, гдѣ умы развлекались дворомъ, обязанностями службы и погонею за почестями. Въ Петербургѣ, — говоритъ князь П. А. Вяземскій, — была «сцена, въ Москвѣ зрители»<sup>5)</sup>, оцѣнивавшіе и судившіе петербургскихъ актеровъ. Зрителями были графы Орловы, Остерманы, князя Голицыны, Долгорукіе, Дашковы, графъ Растопчинъ и другія второстепенныя знаменитости. Всѣ они въ свое время были дѣйствующими лицами на государственной сценѣ, а теперь сдѣлались — зрителями. Эти вельможи по-

<sup>1)</sup> Письма изъ России въ Ирландію. «Русскій Арх.» 1873 г., т. II, 1858.

<sup>2)</sup> Домашній памятникъ Левшина. «Русская Старина» 1873 г., № 12, т. VIII, стран. 844.

<sup>3)</sup> Воспоминанія А. П. Бутенева. «Русскій Архивъ» 1881 г., кн. III (1), стран. 10.

<sup>4)</sup> Домашній памятникъ Н. Г. Левшина. «Рус. Старина» 1873 г., № 12, т. VIII, стран. 844.

<sup>5)</sup> Полное собраніе сочиненій князя П. А. Вяземскаго, т. VII, стран. 82—84.

лагали, что имъ нигдѣ приличнѣе жить нельзя, какъ въ *отставной столицѣ*<sup>1)</sup>. Графъ Растопчинъ въ шутку называлъ ихъ и, конечно, самого себя, «безсмертными» москвичами и въ письмахъ къ великой княгинѣ Екатеринѣ Павловнѣ и императору Александру, по своему характеру, подсмѣивался надъ ними. «Безсмертные московскіе дышатъ исправно, — писалъ онъ. — Остерманъ... развѣзжаетъ по гостямъ. Мамоновъ почти молодецъ, хотя изъ 92 лѣтъ утаиваетъ восемь. Князь Долгорукій утромъ живетъ на Болотѣ и до обѣда второй гильдіи купецъ, а вечеромъ будто баринъ. Князь Ѳ. С. Барятинскій, коего и сама смерть боится, принимаетъ визиты парализа и не можетъ съ жизнью ласково разстаться. Товарищъ мой Нарышкинъ отплылъ по водѣ въ саняхъ благополучно, доволенъ бывъ отмѣнно покупкою за 1.200 руб. козла»<sup>2)</sup>.

Несмотря на то, старцы эти давали тонъ и руководили общественной жизнью Москвы. «Встревоженный и разукрашенный призракъ князя Голицына»<sup>3)</sup> сохраняетъ свои знаки отличія, свои звѣзды и ленты, которыя, въ прибавокъ къ девятистолѣтнему бременю, вдвойнѣ клоняють старческой станъ его къ землѣ. Этотъ призракъ носитъ на костлявыхъ раменахъ своихъ брильянтовый ключъ, ленты и всѣ свои блестящія доспѣхи и пользуется подобающимъ почетомъ среди своихъ товарищей-призраковъ, которые въ прежнія времена раздѣляли съ нимъ государственныя почести.

Другой подобный блестящій призракъ — это графъ Остерманъ<sup>4)</sup>. Орденскіе знаки св. Георгія, Александра Невского, св. Владимира и прочее развѣшаны на немъ на красныхъ, голубыхъ и разноцвѣтныхъ лентахъ. Восемьдесятъ три года мертвящею пирамидою воздвиглись надъ его головою; и этотъ трепещущій остовъ колышется въ своей каретѣ, запряженной восемью лошадьми, обѣдаетъ не иначе, какъ съ стоящими за его креслами гайдуками и требуетъ, чтобы ему оказывали изъ вѣжливости всѣ тѣ почести, которыя принадлежали ему по праву во дни дѣйствительнаго его значенія при дворѣ.

«Графъ Алексѣй Орловъ»<sup>5)</sup> своимъ богатствомъ превосходитъ всѣхъ владыкъ образованнаго міра и утопаетъ среди чисто азіатской роскоши. Таковъ же и генераль Корсаковъ, — этотъ осиротѣвшій фаворитъ, котораго можно почти назвать алмазнымъ видѣніемъ и который, не взирая на свои морщины, еще лелѣветъ въ самомъ себѣ воспоминаніе о минувшемъ отличіи, возбуждившемъ столько зависти въ средѣ его сверстниковъ»<sup>6)</sup>.

<sup>1)</sup> Записки Ф. Ф. Вигеля, ч. II, 74.

<sup>2)</sup> Письмо графа Растопчина императору Александру I въ 1810 г. (безъ числа). «Русскій Арх.» 1881 г., кн. III (1), стран. 218.

<sup>3)</sup> Оберъ-камергеръ въ царствованіе Екатерины II.

<sup>4)</sup> Бывшій государственный канцлеръ.

<sup>5)</sup> Чесменскій, бывшій генераль-адмираль.

<sup>6)</sup> «Русскій Архивъ 1873 г., т. II, стран. 1859 и 1860.

Вотъ и еще вельможа, бывший въ случаѣ при Екатеринѣ II, — Александръ Семеновичъ Васильчиковъ. «Домъ у него былъ сущій замокъ или какой дворецъ. Подъѣздъ былъ съ навѣсомъ — въѣдешь — какъ-будто прямо въ парадныя сѣни въѣхалъ. Швейцары встрѣчаютъ, звонятъ вверхъ, а тамъ ливрейныхъ лакеевъ высыплеть съ дожину и начнутъ дверь отворять и провожать съ поклонами и 10 церемоніями, по-китайски, ведутъ черезъ всѣ парадныя комнаты, убранныя драгоценными картинами, мебелью, фарфорами и проч.». Въ самой же отдаленной небольшой комнатѣ сидѣлъ хозяинъ, въ бархатномъ халатѣ, темнозеленомъ, опушенномъ соболями, *при двухъ звѣздахъ не-премѣнно*<sup>1)</sup>.

Страсть къ украшенію себя орденами была даже у людей умныхъ, какимъ былъ, напримѣръ, графъ Н. С. Мордвиновъ. «Онъ дома всегда одѣвался въ шлафрокъ *со звѣздами* и ходилъ въ башмакахъ»<sup>2)</sup>.

Князь Николай Борисовичъ Юсуповъ всѣми силами поддерживалъ свою сановитость: ѣздилъ всегда въ четырехмѣстномъ ландо, запряженномъ четверкою лошадей, цугомъ, съ двумя гайдуками на запяткахъ и любимымъ калмыкомъ на козлахъ, возлѣ кучера. Князь самъ не выходилъ изъ кареты, а его вынимали и выносили гайдуки<sup>3)</sup>.

Примѣру важныхъ баръ слѣдовали и люди средняго состоянія. Барыни не ѣздили въ каретахъ иначе, какъ съ двумя лакеями сзади; чиновники штабъ-офицерскаго чина очень дорожили правомъ ѣздить въ четыре лошади, а статскіе совѣтники не выѣзжали иначе, какъ на шести лошадахъ цугомъ. Случалось, когда ворота выѣзжавшаго стояли рядомъ съ сосѣдными, то фореиторъ былъ уже у чужого крыльца, а экипажъ не выѣзжалъ еще изъ своего двора<sup>4)</sup>.

Семидесятилѣтняя старуха Анна Алексѣевна Обольянинова сидѣла постоянно въ креслахъ, потому что была безъ ногъ, но всегда наряжалась по модѣ и въ табельные дни непременно надѣвала орденъ св. Екатерины. Въ такомъ видѣ она принимала гостей.

Съѣхавшіеся въ Москву, съ разныхъ концовъ Россіи, богатые помѣщики оспаривали другъ у друга первенство въ разнообразіи увеселеній и роскоши. Двухъ и трехъ-этажные дома, съ нѣсколькими флигелями, занятыми только семействомъ владѣльца и его прислугою, составляли украшенія столичныхъ улицъ. «Роскошь, — говоритъ графъ Ѡ. В. Ростопчинъ<sup>5)</sup>, которою — окружало себя дворянство, представляла нѣчто особенное: тутъ являлось великолѣпіе рядомъ съ нищетою. Такъ, напримѣръ, встрѣчались огромные дворцы,

<sup>1)</sup> Домашній памятникъ П. Г. Левшина. «Русская [старина] 1873 г., т. VIII, № 12, стран. 844 и 845.

<sup>2)</sup> Воспоминанія А. М. Фадѣева «Рус. Арх.» 1891 г., № 3, стран. 395.

<sup>3)</sup> «Слово живое о неживыхъ» И. А. Арсеньевъ. «Историческій Вѣстникъ» 1887 г., т. XXVII, стран. 76 и 77. ▽

<sup>4)</sup> «Записки Ф. Ф. Вигеля», ч. I, стран. 218. †

<sup>5)</sup> «Тысяча восемьсотъ двѣнадцатый годъ» въ запискахъ графа Ростопчина. «Русская Старина» 1889 г., № 12, стран. 659.

одна часть которыхъ блистала богатымъ убранствомъ, а въ другой недоставало мебели; громадныя залы, множество гостиныхъ и отсутствіе внутреннихъ покоевъ для хозяина и хозяйки дома».

Отдѣлка комнатъ въ общемъ представляла смѣсь стараго быта съ новымъ западно-европейскимъ. Здѣсь можно было встрѣтить камины изъ разныхъ родовъ мрамора, множество бронзы, мраморныя статуи и бюсты, старинную золоченую мебель, картины лучшихъ художниковъ и окна, драпированныя богатыми разноцвѣтными занавѣсами. Рядомъ съ этимъ въ сосѣднихъ комнатахъ стояла потеряная простая мебель, а въ углу стоялъ часто богатый кіотъ съ образами и теплящеюся передъ ними лампадою. У премьеръ-майора П. А. Собакина былъ фамиліный образъ Спаса Нерукотвореннаго, осыпанный драгоценными камнями и помѣщавшійся въ литомъ изъ серебра кіотѣ. Этотъ образъ цѣнили тогда болѣе чѣмъ въ 100.000 рублей ассигнаціями<sup>1)</sup>.

Типомъ стариннаго московскаго барскаго дома можно было называть домъ фельдмаршала графа Михаила Ѳедотовича Каменскаго, въ которомъ жило его семейство<sup>2)</sup>. Домъ этотъ былъ переполненъ разнымъ людомъ, составлявшимъ, какъ и во многихъ другихъ богатыхъ домахъ, прислугу и свиту графа. Няни, мамы, плѣнные турчанки, крещенныя въ православную вѣру и кое-какъ воспитанныя, калмычки, карлицы, горничныя и сѣнныя дѣвушки — все это сливалось, во многихъ знатныхъ домахъ, со всѣми утонченностями западной роскоши и свѣтскости.

Въ домѣ былъ театръ, на которомъ любители, родственники и родственницы, играли комедіи Вольтера и другихъ французскихъ писателей. Когда дочь фельдмаршала выходила замужъ, то горничныя дѣвушки и приживалки пѣли свадебныя пѣсни «ежедневно во все время между помолвкой и свадьбой, такъ что, наконецъ, графининъ попугай выучился напѣву и нѣкоторымъ словамъ такъ твердо, что продолжалъ пѣть ихъ, когда невѣста давно уже была замужемъ за Ржевскимъ. Въ этой средѣ сохранилась все-таки *русская*, хотя и уродливая жизнь»<sup>3)</sup>.

Настоящую русскую жизнь можно было встрѣтить въ среднемъ и низшемъ сословіяхъ, тщательно хранившихъ дѣдовскіе обычаи. Большой дворъ заваленъ соромъ и дровами, позади огородъ съ овощами, а возлѣ дома подъѣздъ съ перилами. Въ прихожей — толпа слугъ оборванныхъ, грубыхъ и полупьяныхъ, которые, отъ нечего дѣлать, съ утра до ночи играютъ въ карты. Комнаты безъ обоевъ, стулья безъ подушекъ, по стѣнамъ большія и малыя картины кисти домашняго маляра. Въ столовой накрытъ столъ, на которомъ стоятъ

<sup>1)</sup> «Чтенія въ Московск. Обществѣ исторіи и древност.» 1874 г., кн. I, стран. 64 и 65.

<sup>2)</sup> Самъ графъ Каменскій жилъ, большею частью, въ своемъ имѣніи, гдѣ и былъ убитъ своими крестьянами.

<sup>3)</sup> Воспоминанія графини Блудовой. «Заря» 1872 г., № 1, стран. 138, 139.



щи, каша въ горшкахъ, грибы и бутылки съ квасомъ. Хозяинъ въ тулупѣ, хозяйка въ салопѣ; съ одной стороны сидитъ приходскій попъ; школьный учитель и шутъ, а съ другой — толпа дѣтей, старуха-колдунья, мадамъ и гувернеръ изъ нѣмцевъ<sup>1)</sup>. Это домъ стараго москвича, замкнувшагося въ своей средѣ и удалившагося, какъ и многіе люди его положенія и состоянія, отъ прелестей и шума полуевропейской жизни столицы. Эта послѣдняя жизнь была принадлежностью людей высшаго порядка, богатыхъ, сановитыхъ и отличалась крайнимъ разнообразіемъ.

— Какъ проводите вы въ Москвѣ лѣто? — спрашивалъ Н. В. Погожевъ одного изъ своихъ знакомыхъ.

— По утрамъ, — отвѣчалъ онъ, — бродимъ или толкаемся по городу (гостиному двору), потомъ гуляемъ въ Александровскомъ саду, ѣздимъ въ театръ, или въ Марьину роццу, или въ Сокольники, или на Воробьевы горы. Впрочемъ, лучшія семейства выѣзжаютъ въ подмосковныя деревни. А зимою все, что современное просвѣщеніе, роскошь и праздность могли придумать, все въ Москвѣ въ употребленіи и составило искусство или науку подъ названіемъ: *savoir vivre* и *egarer le temps*. Утренніе визиты, званые и запросто обѣды, вечера, балы, собранія, театры и маскарады — вотъ времяпрепровожденіе лучшаго типа московскихъ людей и пріѣзжающихъ изъ деревень, съ супругами и дочками, съ тугонабитыми бумажниками и кошельками<sup>2)</sup>.

По утрамъ, въ праздники, почти вся Москва расходилась по церквамъ; шли въ церковь Стараго или Большаго Вознесенія, на Никитской, слушать превосходныхъ пѣвчихъ П. П. Бекетова или на Басманной улицѣ въ церковь Никиты Мученика, гдѣ пѣвчіе Колокольникова собирали московскую публику<sup>3)</sup>. Пѣвчіе Шереметевской и Голицынской больницъ, прихода Василя Блаженнаго, Всѣхъ Скорбящихъ, Божіей Матери, Вознесенскій и Алексѣевскій монастыри привлекали къ себѣ московское общество. Въ Даниловъ монастырь съѣзжалось много молодыхъ барынь, чтобы посмотреть на молодого красиваго монаха, постриженнаго изъ купцовъ<sup>4)</sup>.

По окончаніи службы люди старые и пожилые разѣвжались по домамъ, а молодежь устраивала гулянья близъ монастырей, шла на пруды или на Тверской бульваръ себя показать и на другихъ посмотреть.

Жаль разстаться мнѣ съ бульваромъ,	Вездѣ группою прекрасны
Туда нехотя идешь,	Представляются глазамъ.
Тамъ глядишь на милыхъ даромъ	О! сколь стрѣлы ихъ опасны
И утѣхи даромъ пьешь.	И сколь пагубны сердцамъ <sup>5)</sup> .

<sup>1)</sup> Прогулка по Москвѣ, „Русск. Арх.“ 1869 г., т. II, стран. 1203.

<sup>2)</sup> Воспоминанія Погожева, Историч. Вѣстн. 1893 г., № 6, стр. 722.

<sup>3)</sup> «Литературный вечеръ», Москва, изданіе 1848 г., стран. 242.—Записки П. А. Второва «Русская Старина» 1891 г., № 4, стран. 17.

<sup>4)</sup> Воспоминанія Погожева, «Историч. Вѣстн.» 1893 г., № 6, стран. 723.

<sup>5)</sup> Сатира 1811 г. на Тверской бульваръ, «Русск. Старина» 1897 г., № 4, стр. 67.

«Совершенная свобода ходить взадъ и впередъ съ кѣмъ случится, великое стеченіе людей, знакомыхъ и незнакомыхъ, имѣли всегда особенную прелесть для лѣннивцевъ, для праздныхъ и для тѣхъ, которые любятъ замѣчать фizioноміи<sup>1)</sup>). На Тверской бульварѣ прїѣзжали издалека, чтобы отдохнуть отъ заботъ и подышать свѣжимъ воздухомъ; женщины собирали похвалы, мужчины удивлялись и наслаждались ихъ красотою. Прѣсенскіе пруды украшали городъ и были для москвичей также любимымъ мѣстомъ для гуляній. Здѣсь собирались всѣ тѣ, которые не имѣли подмосковныхъ дачъ и имѣній, и гуляли до ночи. Большое стеченіе экипажей со всѣхъ концовъ города, пѣвчіе и музыка, дѣлали гулянье однимъ изъ прїятнѣйшихъ. Но какіе странные наряды, какія лица! Вотъ, какой-то чудакъ, закутанный въ шубу, въ бархатныхъ сапогахъ и въ со-больей шапкѣ. За нимъ идетъ слуга съ термометромъ, для наблюденій господина, который болѣе полувѣка простужается. Здѣсь вы встрѣтите тяжелаго откупщика съ женою и карломъ, шалуна, напѣвающаго водевили и травящаго прохожихъ своимъ пуделемъ, столичнаго щеголя съ букетомъ цвѣтовъ и съ лорнетомъ и, наконецъ, провинціального щеголя, который прїѣхалъ перенимать моды.

Статскіе носили тогда круглыя шляпы и англійскіе фраки, вмѣсто французскихъ кафтановъ стариннаго покроя. Шелковыя ткани уже не употреблялись для фраковъ, и они шились съ откиднымъ воротникомъ и клапаномъ на груди; носили такъ называемый пюсовый фракъ и синіе панталоны. Первый, явившійся въ Петербургѣ одѣтымъ по новой парижской модѣ à l'incroyable былъ Михаилъ Леонтьевичъ Магницкій, возвратившійся изъ Парижа съ депешами отъ нашего посланника. «Народъ бѣгалъ на улицахъ за Магницкимъ я любовался его нарядомъ. Онъ имѣлъ вмѣсто трости, огромную еучковатую палицу, называвшуюся въ Парижѣ droit de l'homme; шея его была окутана огромнымъ платкомъ, что называлось «жабо»<sup>2)</sup>). Франты ходили тогда лѣтомъ по улицамъ въ длиннополомъ до каблукъ сюртукъ, съ высокимъ отложнымъ воротникомъ, въ узкихъ обтягивавшихъ ноги панталонахъ, входившихъ до половины икры въ сапоги, съ гусарской вырѣзкой и кисточкой впереди; на шею наворачивали нѣсколько косынокъ, чтобы составить широкій и высокій галстукъ, который скрывалъ всю нижнюю часть лица чуть не до верхней губы; большой бантъ этого галстуха расправлялся по модѣ въ видѣ розана. Затылокъ и виски выстригались подъ гребенку, а на головѣ, надо лбомъ, оставлялся густой и довольно высокій клокъ волосъ, который нужно было взбивать и причесывать въ кольца<sup>3)</sup>).

<sup>1)</sup> Русскій Арх. 1869 г., т. II, стран. 1198 и 1205.

<sup>2)</sup> Воспоминанія О. В. Булгарина, изд. 1846 г., т. II, стран. 126 — 127.

<sup>3)</sup> «Русскій Архивъ» 1891 г., № 3, стран. 312 (приложеніе).

«Московскіе щеголи ничего не дѣлаютъ на половину, — говорить С. П. Жихаревъ<sup>1)</sup>; — отличатся такъ отличатся; подавай золоченныя колеса, красную сафьянную сбрую съ вызолоченнымъ наборомъ, который горѣлъ бы какъ жаръ; подавай лошадей — львовъ и тигровъ съ гривой ниже колѣна, такихъ лошадей, которыя бы, какъ выражаются охотники, просили *кофе*. А какъ одѣтъ кучеровъ, иначе какъ въ бархатные кафтаны, голубые, зеленые, малиновые съ бобровыми опушками, съ какою-то блестящей оторочкой».

Наканунѣ Вербнаго Воскресенья бывало гулянье въ Кремлѣ; въ праздникъ Пасхи цѣлую недѣлю народъ толпился подъ Новинскимъ, а въ обыкновенные праздничные дни устраивались гулянья: въ селѣ Воскресенскомъ, въ Петровскомъ паркѣ, въ Марьиной рощѣ, на Прѣсенскихъ прудахъ, въ садахъ Нескучномъ, Корсаковомъ и, наконецъ, 1-го мая Москва гуляла въ Сокольникахъ. Къ этому дню готовились задолго, стараясь щегольнуть экипажемъ, лошадьми, новымъ егеремъ или красавцемъ-гусаромъ. При этомъ одна экипировка егеря, а особенно гусара, стоила отъ 500 до тысячи рублей ассигнаціями, что составляетъ нынѣ до 4000 рублей<sup>2)</sup>.

Съ гуляній расходились на званые завтраки, обѣды, гдѣ проводили время сытно и весело. Не даромъ Москва слыла, да и донынѣ слыветъ «хлѣбосольною». Гостепріимство было развито въ самомъ широкомъ размѣрѣ: въ другихъ городахъ и имѣніяхъ васъ сначала узнаютъ, а потомъ приглашаютъ; въ Москвѣ же сперва пригласятъ, а потомъ узнаютъ; бывало и такъ, что гости ходили годами и хозяева не знали кто они.

«Такъ водятся», говорятъ Н. В. Погожевъ<sup>3)</sup>, «въ московскомъ большомъ свѣтѣ: одни ѣзятъ къ хозяину, другіе — къ хозяйкѣ, а часто ни тотъ ни та не знаютъ гостя, что, впрочемъ, случается болѣе тогда, когда даютъ большой балъ. Тогда многіе привозятъ съ собою знакомыхъ своихъ, особенно танцующихъ кавалеровъ. Иногда подводятъ и рекомендуютъ хозяину или хозяйкѣ, а часто дѣло обходится и безъ рекомендацій. Мнѣ рассказывали, что однажды г-жа Постникова пригласила къ себѣ на обѣдъ какихъ-то извѣстныхъ французскихъ путешественниковъ, не предваривъ объ этомъ даже мужа своего, который, впрочемъ, и не зналъ французскаго языка. И вотъ сенаторъ выходитъ къ столу изъ своего кабинета; жена рекомендуетъ ему иностранныхъ гостей, но мужъ, будучи чѣмъ-то раздосадованъ, говорить женѣ:

— Что это ты, матушка, наводишь ко мнѣ всякой дряни, бродягъ?

Эти слова, конечно, не относились къ иностранному происхожденію гостей, потому что москвичи, напротивъ, принимали иностранцевъ съ особымъ радушіемъ и даже предпочтеніемъ.

<sup>1)</sup> «Русскій Архивъ» 1891 г., № 3, стран. 312 (приложеніе).

<sup>2)</sup> «Московск. Наблюд.» 1836 г., ч. IX, стран. 244.—Воспоминанія Погожева, «Историческій Вѣстникъ» 1893 г., № 6, стран. 724—725.

<sup>3)</sup> «Историч. Вѣстн.» 1893 г., № 6, стран. 728.

«Московское гостеприимство, — писалъ англичанинъ Ж. К. Пойль<sup>1)</sup>, — со своими балами совершенно насъ занемонило. Ни одного дня не имѣю роздыха для странническихъ ногъ моихъ».

У Василя Сергѣевича Шереметева были постоянные завтраки, послѣ которыхъ подавалось до 30 саней, и гости объѣзжали всѣ большія московскія улицы; въ сани разсаживались по билетамъ<sup>2)</sup>. У Данилы Григорьевича Волчкова гости пировали постоянно, отчего домъ его получилъ названіе *поварского собранія*<sup>3)</sup>. Обѣды были самыя изысканныя и многоблюдныя. Московскій откупщикъ П. Т. Бородинъ, несмотря на раннюю зимнюю пору, кормилъ своихъ гостей оранжевыми фруктами, грушами и яблоками. Описывая одинъ изъ такихъ ужиновъ С. П. Жихаревъ<sup>4)</sup> говоритъ: «конфектъ груды, прохладительныхъ и счету нѣтъ, а объ ужинѣ и говорить нечего. Что за осетръ, стерляди, что за сливочная телятина и гречанки-индѣйки<sup>5)</sup>».

Въ день именинъ А. С. Небольсиной, графъ Ѳ. В. Растопчинъ, зная, что она любитъ паштеты, прислалъ ей съ полицеймейстеромъ Брокеромъ, за нѣсколько минутъ до обѣда, огромный паштетъ, который и былъ поставленъ передъ хозяйкою. «Въ восхищеніи отъ вниманія и любезности графа, она, послѣ горячаго, просила Брокера вскрыть великолѣпный паштетъ — и вотъ показалась изъ него безобразная голова Миши, извѣстнаго карла князя Х., а потомъ вышелъ онъ и весь, съ настоящимъ пастетомъ въ рукахъ и букетомъ живыхъ незабудокъ».

В. П. Оленина большую часть своего имѣнія, около тысячи душъ, промотала на обѣды и ужины. Она была большая хлѣбосолка, вся Москва къ ней ѣздила покушать, а подъ старость жила въ крайней бѣдности.

Званые обѣды отличались множествомъ церемоній. Вотъ какъ описываетъ миссъ Вильмотъ обѣдъ у генерала Кнорринга, на которомъ она присутствовала:

«Когда мы пріѣхали, то насъ ввели въ переднюю, гдѣ 30 или 40 слугъ въ богатыхъ ливреяхъ кинулись снимать съ насъ шубы, теплые сапоги и пр. Затѣмъ мы увидѣли въ концѣ цѣлаго блестящаго ряда изукрашенныхъ и ярко-освѣщенныхъ комнатъ самого генерала, съ старомодною почтительностью ползущаго къ намъ навстрѣчу, отражаясь въ зеркалахъ со всѣхъ сторонъ и даже вверхъ ногами въ зеркальныхъ потолкахъ, осыпаннаго орденами и поспѣшавшаго встрѣтить насъ въ дверяхъ передней съ постоянными поклонами. Когда онъ поцѣловалъ наши руки, а мы его въ лобъ, то

<sup>1)</sup> Въ письмѣ Макарову 20 ноября 1805 г., «Литературный Вечеръ», изд. 1844 г., стран. 250.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стран. 253.

<sup>3)</sup> Домашній памятникъ Н. Г. Левшина, «Русская Старина» 1873 г., № 12, стран: 849.

<sup>4)</sup> «Русскій Архивъ» 1890 г., № 10, стран. 17, приложение.

<sup>5)</sup> Индѣйки, кормленныя грецкими орѣхами.

провелъ насъ черезъ разные великолѣпные покои (но, странно сказать, безъ ковровъ), покуда мы дошли до закуски, т.-е. стола установленнаго водками, икрой, хрѣномъ, сыромъ и маринованными сельдями, кругомъ котораго стоитъ обыкновенно общество и лакомится въ ожиданіи картъ, за которыми сидятъ до двухъ или трехъ часовъ. Тогда каждый мужчина подставляетъ свой локоть дамѣ, и вся эта процессія изъ 30 или 40 паръ торжественно выступаетъ подъ звуки музыки и садится за трехчасовое обѣденное пиршество!

«Всѣ горничныя, образуя цѣлый женскій хоръ, стоятъ толпою въ дверяхъ и поютъ національныя пѣсни съ аккомпанементомъ скрипокъ и другихъ инструментовъ. Маленькій китаецъ и маленький арапченокъ, въ присвоенныхъ имъ костюмахъ, черкешенка въ престольномъ одѣяніи своей отчизны и калмычка въ княжескомъ костюмѣ (все дополнительные принадлежности домашняго обѣда) съ присоединеніемъ къ нимъ еще нѣсколькихъ рабовъ, полоненныхъ въ военное время или полученныхъ въ подарокъ, бѣгаютъ кругомъ стола для потѣхи общества, иногда поютъ, иногда прыгаютъ, при чемъ ихъ цѣлуютъ и одѣляютъ сладостями»<sup>1)</sup>.

Послѣ трехчасоваго сидѣнья за столомъ выходили въ гостиную, гдѣ ихъ ожидали тѣ же пѣсни и десертное угощеніе, а затѣмъ разѣзжались, для того, чтобы отправиться на званый вечеръ или на балъ въ благородномъ собраніи.

По понедѣльникамъ у Оболяянинова, по вторникамъ у князя П. М. Далковска<sup>2)</sup>, а по средамъ у П. А. Дурасова были балы и театры для лучшаго московскаго общества. Къ Оболяяниновымъ пріѣзжало столько, что нельзя было помѣститься, и многіе запоздавшіе, не входя въ домъ, возвращались именно потому, что ступить было негдѣ и отъ жары свѣчи гасли<sup>3)</sup>.

Въ теченіе зимы, начиная со второй половины ноября въ Москвѣ каждый день бывало 40 или 50 баловъ, на которыхъ играло до 1300 человекъ музыкантовъ, принадлежавшихъ дворянамъ<sup>4)</sup>. Тогда не требовались на балъ такіе расходы, какъ нынѣ. Освѣщеніе было слабое, «такъ что отъ одного конца залы до другого нельзя узнать другъ друга»<sup>5)</sup>.

Обыкновенно въ 6 часовъ вечера зажигались двѣ площадки у крыльца, а фонарь освѣщаль путь отъ воротъ къ дому; на лѣстницѣ, по стѣнамъ, зажигались у людей богатыхъ восковыя, а у остальныхъ салныя свѣчи, которыя таяли и оплывали; въ прихожей цѣлая свѣча, обыкновенно стоящая въ бутылкѣ съ разбитымъ гор-

<sup>1)</sup> Письма изъ Россіи въ Ирландію, «Русск. Архивъ», 1873 г., т. II, стран. 1262.

<sup>2)</sup> Въ то время московскій губернскій предводитель дворянства.

<sup>3)</sup> «Литературный Вечеръ», Москва, изд. 1844 г., стран. 247.—«Русская Стар.» 1873 г., т. VIII, стран. 846.

<sup>4)</sup> Записки А. М. Тургенева «Рус. Старина» 1885 г., № 12, стран. 474.

<sup>5)</sup> Воспоминанія М. М. Муромцева, «Русск. Архивъ» 1890 г., № 1, стран. 79.

лышкомъ, перемѣщалась въ жестяной подсвѣчникъ; въ люстрахъ пріемныхъ комнатъ горѣли *свѣчи-аплике* (сало, налитое въ восковой чехолъ), также оплывавшія; жирандоли отражались въ зеркалахъ, стоящихъ въ простѣнкахъ, а на окнахъ *маканья* свѣчи (сальныя, толстофитильныя) воткнуты были въ деревянные некрашенные треугольники, съ тремя жестяными горлышками для свѣчей по концамъ<sup>1)</sup>.

Баль открывался «длиннымъ польскимъ», тянувшимся извилистой змѣей по всемъ комнатамъ. Степенные старички и почтенныя старушки, въ шутку, то щеголевато кланяются, то присѣдаютъ. Не павшіе въ польскій мужчины одинъ за другимъ, останавливаютъ первую пару и, хлопнувъ въ ладоши, отбиваютъ даму. Кавалеры отвоєванныхъ дамъ, достаются сзади идущимъ дамамъ и переходятъ отъ одной къ другой; кавалеръ послѣдней пары оказывается въ одиночествѣ. Иной степенски переноситъ остракизмъ и отправляется къ одному изъ карточныхъ столовъ отдохнуть отъ своего подвига; а иной преслѣдуемый словами: «усталъ! въ отставку! на покой!» бѣжитъ къ первой парѣ и отбиваетъ даму. «Смѣхъ, толкотня, недосказанныя рѣчи, недослушанные отвѣты, жданныя и нежданныя встрѣчи, извиненія, шутки и прибаутки весело кончаютъ длинный польскій».

За польскимъ слѣдовали легкіе танцы; мазурка еще только входила въ употребленіе. «Мы, — говоритъ М. М. Муромцевъ, — какъ пріѣзжіе изъ Польши, завели мазурку, настоящую, въ четыре пары, съ прихлопываніемъ шпорами, становились на колѣни, обводили кругомъ себя даму и цѣловали ея руку». Французскій кадриль тогда еще нигдѣ не танцовали, а танцовали экосезъ-кадриль, называемый *русскій* съ вальсомъ; вальсъ *à trois temps* — и балъ оканчивался *à la greeque*, съ множествомъ фигуръ, выдумываемыхъ первою парюю, и бѣготнею по всемъ комнатамъ. Бальная музыка была въ большинствѣ очень плоха и однообразна.

Не то было въ Благородномъ собраніи или такъ называемомъ дворянскомъ клубѣ. Здѣсь отъ времени до времени устраивались маскарады и концерты, во время которыхъ стѣны комнатъ и головы дамъ сіяли болѣе обыкновеннаго: первыя, кромѣ люстръ, освѣщались еще стаканчиками, а вторыя сіяли множествомъ брильянтовъ. На концерты собирались около 8 часовъ вечера, но слушали музыку или пѣніе очень мало: разговоръ былъ до того шуменъ, что заглушалъ не только пѣніе, но и оркестръ. Всѣ съ нетерпѣніемъ ожидали минуты, когда онъ замолкнетъ, чтобы можно было ходить вокругъ скамеекъ, которыми была уставлена зала<sup>2)</sup>. Тѣмъ не менѣе собранія эти были всегда многолюдны.

Особенно велико было стеченіе публики по вторникамъ во время баловъ, на которые съѣзжались москвичи со всехъ сторонъ города.

<sup>1)</sup> Картины русскаго быта въ старину. Изъ Записокъ Н. Сушкова, «Раутъ» на 1852 г., стран. 463 и 464.

<sup>2)</sup> О Московскомъ благородномъ собраніи. Аглая 1809 г., стран. 9—11.

Плата за право быть членомъ собранія была почти ничтожная, такъ что въ числѣ ихъ были многіе иногородніе. Одинъ тамбовскій помещикъ, десять лѣтъ не посѣщавшій Москвы, былъ постоянно членомъ Благороднаго собранія.

— Цѣна не разорительная, — говорилъ онъ, — а вотъ случилось побывать въ Москвѣ, и я ѣду въ собраніе встрѣчать всѣхъ моихъ старыхъ друзей и знакомыхъ, никому не обязываясь. По его словамъ такихъ членовъ, какъ онъ, были многія сотни. Балы въ собраніи были всегда многолюдны и сопровождались бѣшеннымъ весельемъ. Собираясь на балъ, женщины употребляли все, чтобы «изобразить изъ себя Нимфу, Грацію и Богиню». Кто любилъ картины и статуи, тотъ не могъ пожаловаться на тогдашнюю моду дамскаго наряда и невольно поддавался увлеченію. Въ золотой вѣкъ Греціи о красотѣ женскаго платья судили по точности, съ которою оно обозначало формы тѣла, и потому древнія гречанки употребляли матеріи легкія и прозрачныя<sup>1)</sup>. Къ тому же стремились и московскія дамы, начиная отъ дѣвицъ и до самыхъ пожилыхъ.

Старушки жъ чудеса творить теперь умѣютъ:  
Иныя на день-то разъ пять помолодѣютъ,  
Въ уборной у себя съ часъ мѣста посидитъ,  
Морщины пропадутъ, румянецъ загоритъ,  
И зубки явятся и бровка подстрижется,  
Красотка!... жаль одно... отъ дряхлости трясется<sup>2)</sup>.

Пространная и великолѣпная зала Благороднаго собранія, не имѣвшая себѣ подобной въ Россіи, созывала на балъ по вторникамъ тысячь до трехъ, до пяти и болѣе. Это былъ настоящій съѣздъ Россіи, начиная отъ вельможи до мелкопомѣстнаго дворянства, отъ статсъ-дамы до скромной уѣздной невѣсты, которую родители привозили въ собраніе, чтобы на людей посмотреть, а особенно себя показать и при успѣхѣ выйти замужъ<sup>3)</sup>.

Входъ въ освѣщенные комнаты, особенно въ огромный длинный залъ, наполненный лучшимъ обществомъ, былъ поразителенъ, въ особеннсти для лицъ, въ первый разъ входившихъ. «Въ 1803 году въ первый разъ отроду, — пишетъ Н. Г. Левшинъ<sup>4)</sup> — былъ я въ Московскомъ собраніи на балѣ. Чувство неизъяснимое, незабвенное навѣкъ осталось во мнѣ, когда я вступилъ въ главную ротонду, неожиданно представившуюся моему взору. Я не хотѣлъ глазамъ вѣрить и долго не вразумлялся, гдѣ я!»

Залъ освѣщался множествомъ люстръ и разноцвѣтныхъ въ стаканчикахъ огней, играло два оркестра инструментальной и роговой музыки. Кавалеры бывали въ мундирахъ со шпагами и въ башма-

<sup>1)</sup> Аглая 1809 г., № 6, стран. 7.

<sup>2)</sup> Современное стихотвореніе: «Святки или тѣньный свѣтъ». Рукопись Императорской Публичн. бібліотеки. Смѣсь, т. II, № 90.

<sup>3)</sup> Полное собр. соч. князя П. Вяземскаго, т. VII. 84.

<sup>4)</sup> «Русская Старина» 1873 г. № 12. стран. 850.

кахъ или же во фракахъ; французскій языкъ былъ въ большемъ употребленіи, нежели русскій. Многолюдность собранія давала возможность изучать характеры и нравы общества, вслушиваться въ разговоры занимательные, умные и смѣшные до глупости. Здѣсь можно было встрѣтить молодыхъ людей, прекрасно образованныхъ и скромныхъ, но едва ли не больше глупыхъ, вѣтренныхъ, шарлатановъ, избалованныхъ счастьемъ и богатствомъ. «Я много замѣтилъ такихъ, которые, тщеславясь купленными мальтійскими орденами, выказывали свою модную прическу, большое жабо до нижней губы и высокіе воротники на мундирахъ. Всѣ такіе шарлатаны (были) въ очкахъ, не для пособія зрѣнію, а для моды»<sup>1)</sup>).

Вторники въ благородномъ собраніи служили исходными днями для браковъ, семейнаго счастья и блестящей будущности. «Мы всѣ, молодые люди тогдашняго поколѣнія»,—говоритъ князь П. А. Вяземскій,—«торжествовали въ этомъ домѣ вступленіе свое въ возрастъ свѣтлаго совершеннолѣтія. Тутъ учились мы любезничать съ дамами, влюбляться, пользоваться правами и, вмѣстѣ съ тѣмъ, покоряться обязанностямъ общежитія. Тутъ учились мы и чинопочитанію и почитанію старости. Для многихъ изъ насъ эти вторники долго теплились свѣтлыми днями въ лѣтописяхъ сердечной памяти»<sup>2)</sup>). Въ вихрѣ очаровательныхъ вальсовъ кружились многія головы, замирали и трепетали многія сердца.

«Для вашихъ *летучихъ* вальсовъ,—писалъ Ж. К. Пойль<sup>3)</sup>,—въ цѣлой Европѣ, мастера только вы русскіе и кромѣ русскихъ дамъ—этихъ черезчуръ быстрыхъ, почти воздушныхъ летковъ не выдержитъ ни англичанка, ни нѣмка, ни даже французенка. Гляжу, какъ на чудо, на мастероватость въ этомъ танцѣ князя Дашкова и на необыкновенно быстрое умѣнье кружить и кружиться Обрѣзкова»<sup>4)</sup>

Все это пріобрѣталось, конечно, практикой, потому что молодые люди хорошаго тона должны были присутствовать на всѣхъ балахъ и спектакляхъ. Не желая и не умѣя заняться ничѣмъ серіознымъ; чувствуя, что не привлечетъ къ себѣ вниманія познаніями, молодежь старалась обратить на себя вниманіе внѣшностью. Матеріально обезпеченные молодые люди «блистали одеждою, драгоценными бездѣлицами, они слонялись цѣлый день по городу въ прекрасномъ экипажѣ или пѣшкомъ, развѣзжали по трактирамъ, театрамъ и баламъ»<sup>5)</sup>). Они ежедневно скакали изъ дома въ домъ для того только, чтобы размѣняться новостями. Тогда визиты дѣлались очень рано, часовъ

<sup>1)</sup> Москва и Казань въ началѣ XIX вѣка. Записки П. А. Второва «Русская Старина» 1891 г. № 4, стран. 9.

<sup>2)</sup> Полное собраніе соч. князя П. А. Вяземскаго VII, 84.

<sup>3)</sup> Въ письмѣ Макарову 20 ноября 1805 г. «Литературный вечеръ», Москва, изд. 1844 г., стран. 250.

<sup>4)</sup> Иванъ Алексѣевичъ, генераль-майоръ.

<sup>5)</sup> Всеподдан. записка А. И. Арсеньева 2 апрѣля 1826 г.



около 11 утра, и были такіе львы, которые ѣздили въ каретахъ не запирая дверецъ — такъ много было визитовъ и такъ близко жили ихъ знакомые другъ отъ друга.

Въ 1810 году Н. Страховъ издалъ книгу подъ заглавіемъ: «Мои Петербургскія сумерки», въ которой такъ характеризовалъ общество<sup>1)</sup>:

«Предки наши теряли жизнь *сидючи*, а нынѣ насталь вѣкъ потери оной *стоячи*, ходя и внѣ дома. Въ недавнія времена русскіе пріучались только къ европейскимъ обычаямъ, а нынѣ собственныхъ своихъ совѣмъ не помнятъ и не знаютъ. Дворяне прежде не учили дочерей своихъ русской грамотѣ, опасаясь, чтобы онѣ не научились писать любовныя записочки; но теперь страхъ этотъ миноваль, и переписка сдѣлалась ненужною, потому что молодые люди сами находятся безотлучно при дочеряхъ. Недавно, взрослыя дѣвицы спрашивали и узнавали, какъ должно одѣться по модѣ, а нынѣ и малолѣтняя умѣетъ если не себя, то свою куклу нарядить съ ногъ до головы въ послѣднемъ вкусѣ. Прежде дѣвицы ѣздили только въ церковь, въ домъ родственниковъ и друзей, а теперь сами родители ежедневно *трасутъ* ихъ въ каретахъ, знакомятъ со множествомъ домовъ, развозятъ по гостямъ, театрамъ, маскарадамъ и гуляньямъ, — однимъ словомъ, употребляютъ всѣ средства, чтобы отучить ихъ отъ куколъ и заставить выбрать одну живую, т.-е. мужа».

Но тогдашнимъ понятіямъ женщина хорошаго тона должна была казаться безстрашною, не оказывать особаго вниманія, ни любопытства: должна быть ко всему равнодушна, безстрашна, говорить, что ей вездѣ скучно, но въ то же время не пропускать ни одного бала ни одного спектакля<sup>2)</sup>.

Когда красавицу хвалили  
Въ старинныя годы, то о ней  
Съ почтеньемъ просто говорили:  
Что милый взглядъ ея очей  
И соколиного ястреба.  
Лицомъ румяна и бѣла;  
Что брови соболя чернѣе,  
Не своеобычна, весела.  
Что грудь имѣя лебедину,  
Поетъ какъ вешній соловей,  
Походку жъ важную, павлину,  
И что любима всей родней.  
А нынче, лестъ изображаетъ  
Красавицу съ огнемъ въ глазахъ,  
Въ которыхъ пылкій умъ блистаетъ,

И дѣлаетъ пожаръ въ сердцахъ.  
Вокругъ обстрижену кудрями,  
*Богиней, Граціей* зовутъ  
И страстно томными стихами  
Въ романсахъ ей хвалу поютъ.  
Старинный цвѣтъ лица не въ модѣ,  
Онъ грубъ для нашихъ нѣжныхъ  
чувствъ,  
Хвалить его не ловко въ *Одѣ*;  
Намъ нуженъ сталъ соборъ искусствъ.  
Красавица взамѣнъ поклону,  
Съ улыбкой любить присѣдатель,  
Въ бесѣдѣ *франта-вътрогона*  
Ученою себя казать<sup>3)</sup>.

Въ увлеченіи своемъ поэтъ ошибался: русская женщина тогдаш-  
наго времени была очень далека отъ учености и даже рѣдко загля-

<sup>1)</sup> Часть I. стран. 26 и 59.

<sup>2)</sup> «Русскій Вѣстникъ» 1809 г., № 2, стран. 292.

<sup>3)</sup> Изъ посланія А. С. Шишкову. «Русск. Вѣстникъ» 1811 г., № 8, стран. 73.

дывала въ книги. «Мнѣ чрезвычайно хотѣлось, — писала одна дѣвица своей пріятельницѣ<sup>1)</sup>, — подойти къ столу, на которомъ лежатъ газеты и журналы, но дамы къ нему не подходятъ, хотя комнату, въ которой онъ поставленъ, проходятъ безпрестанно».

Въ статьѣ «Наши мистики-сектанты»<sup>2)</sup>, мы указали на слѣпое пристрастіе и подражаніе общества всему французскому, на то, что русская женщина, желая изобразить изъ себя Нимфу, Грацію и Богиню, обнажила свою талію и утонула во французской болтовнѣ; увлекшись кокетствомъ, она проводила время среди танцевъ, въ разсѣянной и пустой жизни.

Прекрасный полъ плавалъ тогда только въ морѣ удовольствій и свѣтской жизни. Безсмертный И. А. Крыловъ въ комедіи «Урокъ дочкамъ» такъ описываетъ словами Лукерьи, дочери богатаго помѣщика Велькарова, городскую жизнь дѣвушки.

«Поутру, едва успѣешь сдѣлать первый туалетъ, явятся учителя — танцевальный, рисовальный, гитарный, клавикордный; отъ нихъ тотчасъ узнаешь тысячу прелестныхъ вещей: тутъ любовное похождение, тамъ отъ мужа жена ушла; тѣ разводятся, другіе мирятся; тамъ свадьба наворачивается, другую свадьбу разстроили; тотъ волочится за той, другая за тѣмъ, — ну, словомъ, ничто не ускользнетъ, даже до того, что знаешь, кто себѣ фальшивый зубъ вставилъ, и не увидишь, какъ время пройдетъ. Потомъ пустишься по моднымъ лавкамъ; тамъ встрѣтишься со всѣмъ, что только есть лучшаго и любезнаго въ цѣломъ городѣ; подмѣтишь тысячу свиданій. На недѣлю будетъ что рассказывать».

Модными лавками считались тѣ, которыя принадлежали французенкамъ и имѣли французскія вывѣски. Въ появившейся въ 1807 г. комедіи И. А. Крылова — «Модная лавка» ученица и продавщица Маша жалуется посѣтителницѣ, что не можетъ открыть своего магазина, потому что она не имѣетъ фамиліи мадамъ ла-Брошъ или мадамъ Бошаръ, или мадамъ Каре. Та же Маша не стѣняясь говоритъ помѣщицѣ Сумбуровой, что лучшія и знатнѣйшія щеголихи *имѣютъ честь у насъ проматываться...*

Достоинство молодого человѣка, его аристократичность и даже дарованія принадлежали тѣмъ, которые пугешествовали въ чужихъ краяхъ и на вопросы по-русски отвѣчали по-французски. Считалось какъ-то почтительнѣе и вѣжливѣе обращаться съ рѣчью на французскомъ языкѣ, тогда какъ заговорить по-русски казалось слишкомъ фамильярно и просто. Къ ошибкамъ въ русскомъ языкѣ относились даже болѣе снисходительно, чѣмъ къ незнанію французскаго языка, и, несмотря на это, многія лица даже высшаго общества плохо его знали.

Князь Шаликовъ, являясь въ первый разъ къ И. И. Дмитріеву, сказалъ ему: *mon général*. Это было тѣмъ оригинально, что въ обста-

<sup>1)</sup> Письмо одной дѣвушки къ пріятельницѣ, «Аглая» 1809 г., № 6, стр. 11.

<sup>2)</sup> См. «Русск. Старину» 1894 г., № 9, стр. 169—203.

новкѣ Дмитріева не было ничего военно-генеральскаго, и онъ не любилъ говорить иначе какъ по-русски, хотя и знать хорошо французскій языкъ.

Въ одномъ сраженіи Наполеонъ любовался атакою русской кавалеріи и спросилъ генерала Ѡ. П. Уварова, кто командовалъ кавалеріею?

— Je, Sire, — отвѣчалъ онъ.

Тотъ же Уваровъ, стоя въ сѣняхъ театра и слушая, какъ зывали кареты, кричалъ: «Pas ma, pas ma». Наконецъ, когда провозгласили его карету: «ma, ma, ma», воскликнулъ онъ и выбѣжалъ изъ сѣней. Русская путешественница, представляясь одной изъ нѣмецкихъ королевъ, называла ее *Sirène*, на томъ основаніи, что королю говорятъ *Sire*<sup>1)</sup>.

Несмотря на все это, люди едва читавшіе и плохо говорившіе по-французски, считали неприличнымъ писать все по-русски и прихѣщивали французскія слова кстати и некстати. Вотъ образчикъ одной изъ записочекъ: «Billet въ партеръ, начало à six heures. Свобы qui не могутъ s'y rendre сами, sont priées возвратитъ les billets<sup>2)</sup>). Такія записочки въ изобиліи гуляли по Москвѣ и писались какъ женщинами, такъ и мужчинами.

— Хорошо бы было, — говорилъ И. В. Лопухинъ<sup>3)</sup>, — при нужномъ знаніи иностранныхъ языковъ, при упражненіяхъ въ наукахъ и искусствахъ, не стыдиться многихъ своихъ старинныхъ обычаевъ. Покой платья, цвѣтъ и доброта того, изъ чего оно шьется, не просвѣщать, а покоряють частныхъ людей самой малодушной зависимости: дѣше же государство подвергаютъ ослабленію.

Но русскіе обычаи и русскій языкъ были забыты, и высшее общество, воспитанное на иностранной *выдержкѣ*, говорило по-русски болѣе самоучкою и знало его по наслышкѣ; красоту и силу природнаго языка изучали у псарей, лакеевъ, кучеровъ, и надо отдать справедливость, что изученное такимъ путемъ краснорѣчіе знали въ совершенствѣ. «Я зналъ, — говоритъ А. М. Тургеневъ<sup>4)</sup>, — толпу князей Трубецкихъ, Долгорукихъ, Голицыныхъ, Оболенскихъ, Невскихъ, Щербатовыхъ, Хованскихъ, Волконскихъ, Мещерскихъ. — да всѣхъ не упомнишь и не сочтешь, — которые не могли написать на русскомъ языкѣ двухъ строчекъ, но всѣ умѣли краснорѣчиво говорить по-русски... не печатныя слова».

Иначе и быть не могло: русскіе учителя были не въ модѣ, ихъ избѣгали, предпочитая иностранцевъ. Дошло до того, что французъ, жившій нѣкоторое время въ Россіи и возвратившійся въ свое отечество, публиковалъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ», что близъ Парижа онъ завелъ пансіонъ спеціально для русскихъ молодыхъ дворянъ.

<sup>1)</sup> Полное собр. соч. кн. Вяземскаго, т. VIII, стран. 457.

<sup>2)</sup> «Русскій Вѣстникъ» 1810 г., № 6, стран. 145.

<sup>3)</sup> Въ своихъ запискахъ «Русскій Арх.» 1884 г., № 11, стран. 135.

<sup>4)</sup> Записки А. М. Тургенева «Русская Старина» 1879 г., № 4, стран. 216.

Онъ приглашалъ родителей отправлять къ нему своихъ дѣтей на воспитаніе, обѣщая учить ихъ всему необходимому, *особливо же языку русскому*. Противъ такого объявленія возсталъ Н. М. Карамзинъ и написалъ статью «Странность». Но многіе не считали этого страннымъ, потому что въ русскихъ учителяхъ, книгахъ и въ особенности въ учебникахъ былъ большой недостатокъ.

«Недавно, — говорилъ Н. Страховъ<sup>1)</sup>, — дворянскія дѣти выучивали не далѣе букваря, а съ псалтыря навѣки разставались съ чтеніемъ книгъ; но нынѣ они столь твердо выучиваютъ французскій языкъ, что совсѣмъ забываютъ природный, а чтеніе, начиная со сказокъ, продолжаютъ до непонимаемыхъ ими философскихъ системъ». Главное же чтеніе молодыхъ людей составляли романы и притомъ иностранные. «Спросите у книгопродавцевъ», писалось въ одномъ изъ современныхъ журналовъ<sup>2)</sup>, «и они скажутъ, что наживаютъ капиталы почти только отъ романовъ». Ихъ читали не только дворяне, но и купцы и мѣщане — всѣ тѣ, которые знали грамоту. М. А. Дмитріеву приходилось не разъ подсмотрѣть въ рукахъ лавочниковъ Поль-де-Кока или другіе французскіе романы, изъ которыхъ они учились «семейному разврату и обману»<sup>3)</sup>. Нѣмецкіе и англійскіе романы переводились всегдѣ съ французскаго потому, что только этотъ языкъ былъ у насъ извѣстенъ, и до двадцатыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія; знаніе же нѣмецкаго языка было большою рѣдкостью.

— Когда я былъ въ университетѣ (1813 — 1817 гг.) — говоритъ М. Дмитріевъ, — почти никто не зналъ по-нѣмецки.

Лучшіе наши писатели того времени, въ томъ числѣ и Н. К. Карамзинъ, были вскормлены также на иностранныхъ хлѣбахъ. «Но чужой хлѣбъ они перепекали въ своей родной печи, прибавляли къ нему своей муки»<sup>4)</sup> и мало-по-малу вошли въ славу ихъ московскіе литературные калачи.

Такихъ людей было тогда немного, и большинство слѣпо подражало французскимъ обычаямъ и французской модѣ. Это подражаніе существовало не только въ Москвѣ, но и въ самыхъ отдаленныхъ уголкахъ Россіи. Люди съ ограниченными средствами старались одѣться и убрать свои комнаты по модѣ. Многіе не знали названія предметовъ роскоши, не умѣли написать ихъ, произносили по-своему и все-таки выписывали ихъ изъ Москвы, часто на послѣднія деньги. Въ этомъ отношеніи интересенъ реестръ вещей, составленный помѣщицею Ельнинскаго уѣзда Смоленской губерніи А. Е. Свистуновой. Она просила, между прочимъ, купить ей: вуаль французскую «съ цвѣточками»; кружевъ англійскихъ на манеръ

<sup>1)</sup> «Мои петербургскія сумерки». Ч. I, стран. 59—61.

<sup>2)</sup> «Другъ Юношества» 1808 г. № 11, стран. 71.

<sup>3)</sup> «Мелочи изъ запаса моей памяти». М. А. Дмитріева. Москва, 1859 г. Изд. второе, стран. 48 и 52.

<sup>4)</sup> Полное собраніе соч. кн. Вяземскаго, т. VIII, 456.

*барабанныхъ* (брабантскихъ), маленькую кларнетку (лорнетку), «такъ какъ я близка глазами» (близорука), сероги (серьги) *писаграмовой* (филиграновой) работы, духовъ душистыхъ аламбрѣ. Далѣе она просила купить ей: книжку самую лучшую, «чтобы не забыть, т.-е. чтобы на память все приходило», билеговъ, что на ихъ ѣздятъ съ праздникомъ поздравлять, печатныхъ съ купидонами и съ моимъ вензелемъ. Для обстановки комнатъ — картинъ *талянскихъ* (итальянскихъ) на манеръ *рыхвалевой* (Рафаэлевой) работы на холстинкѣ и подносъ съ чанечками, «если можно достать съ пионовыми цвѣтами». «Да нельзя ли, — писала она, — купить хорошаго *кучерюнка*, да тамбурную иглочку. Еще не забудьте, почаму (почемъ) *животрепещущая малосольная* рыба фунтъ. Нельзя ли взять у кого-нибудь тамъ дрожекъ? Мнѣ надобно; хочется поглядѣть городъ, я тамъ ни разу не была. Коли денегъ не станетъ, то есть у меня капуста кадка залишку (лишняя), да посканьины (особый холстъ) три куска. Да льнянаго сѣмени посылаю четыре гарнца, промѣняйте на деревянное масло, а то лампада погасла»<sup>1)</sup>.

Читая этотъ интересный документъ, — результатъ слѣпого повиненія модѣ, — невольно вспоминаешь слова И. А. Крылова:

Когда перенимать съ умомъ, тогда не чудо  
И пользу отъ того сыскать;  
А безъ ума перенимать —  
И, Боже сохрани, какъ худо!<sup>2)</sup>

Необходимо однако же сказать, что хотя приведенная нами характеристика общества принадлежитъ большинству, но среди этого большинства были блестящія звѣздочки, освѣщавшія путь остальнымъ.

Москва развивалась самобытно, сама собою, «ибо на нее почти никакія обстоятельства» вліянія не имѣли. Здѣсь каждый могъ жить, какъ онъ хотѣлъ, не обращая на себя общаго вниманія. Среди множества лицъ, преданныхъ пустой свѣтской жизни, можно было видѣть на лекціяхъ старѣйшаго и славившагося своими профессорами университета знатныхъ дамъ, молодыхъ людей, духовныхъ, купцовъ, студентовъ Заиконоспасской академіи и проч.<sup>3)</sup>.

Высочайшею грамотою 5 ноября 1804 г. Московскій университетъ былъ возведенъ на степень *перваго въ Россіи высшаго училища*. Въ маѣ того же года высочайше разрѣшено учредить при университетѣ «Общество исторіи и древностей россійскихъ», принявшаго на себя первую попытку къ изученію исторіи Россіи. Въ сентябрѣ 1804 г. основано при университетѣ «Общество испытателей природы», а 2 января 1805 г. открыло свои дѣйствія — «Общество соревнованія медицинскихъ и физическихъ наукъ». Библіотека университета насчитывала у себя до 20.000 томовъ разнаго рода сочиненій.

<sup>1)</sup> Дамскія порученія въ началѣ XIX вѣка. «Русская Старина» 1891 г., № 8, стран. 410—413.

<sup>2)</sup> «Обезьяны». См. «Басни Крылова» изд. 1895 г., стран. 18.

<sup>3)</sup> Полное собр. соч. кн. Вяземскаго, т. VII, 84.

Говоря о состояніи Московскаго университета, «Вѣстникъ Европы» 1811 г. выражалъ надежду, «что, наконецъ, и очень скоро университетъ будетъ имѣть своихъ кандидатовъ по всѣмъ частямъ учености, а слѣдственно и не будетъ принужденъ вызывать чужестранныхъ наставниковъ для преподаванія наукъ российскому юношеству на чужестранныхъ языкахъ».

«Въ настоящемъ (1811) году, сказано было въ журналѣ, записано въ университетъ обучающихся студентовъ казеннаго содержанія и своекоштныхъ 215, кромѣ многихъ стороннихъ посѣтителей, слушающихъ лекціи. Нѣкоторые профессора, особливо же преподающіе науки, для *каждаго* *благовоспитаннаго* *человѣка* *необходимыя* *и* *притомъ* *на* *русскомъ* *языкѣ*, имѣютъ слушателей по 100 человѣкъ и болѣе».

Хотя число это очень невелико, но въ другихъ городахъ и того не было. Петербургскаго университета еще не существовало и замѣнъ его были Педагогическій институтъ и іезуитская коллегія; въ Харьковѣ университетъ только основывался, и вся остальная Россія была отдана на произволъ иностранныхъ учителей, преимущественно французовъ.

Москва была единственнымъ городомъ, гдѣ въ то время можно было дать русское воспитаніе дѣтямъ, внушить имъ любовь къ отечеству и уваженіе къ родному языку.

Только въ одной Москвѣ можно было встрѣтить такое крупное частное книгохранилище, какое было у графа Бутурлина, профессоровъ Баузе, Страхова и у другихъ; такой ботанической садъ, какой былъ у графа Алексѣя Кирилловича Разумовскаго, съ растеніями изъ самыхъ отдаленныхъ краевъ всего міра. Въ ней же зародилась и изящная словесность и имѣла тамъ своихъ блестящихъ представителей. Въ Москвѣ выходило большинство русскихъ періодическихъ изданій. Россія училась говорить, читать и писать по русски по книгамъ и журналамъ, издаваемымъ въ Москвѣ. Русская литература долго имѣла Москву своею столицею и своею колыбелью<sup>1)</sup>. Петербургъ придерживался стараго слога; Москва развивала и проповѣдывала новый. Жившіе въ то время въ первопрестольной столицѣ Н. М. Карамзинъ и И. И. Дмитріевъ были его основателями и образцами. Къ нимъ примыкали молодыя дарованія: напримѣръ, Макаровъ (Петръ) — по части прозы и журналистики, Жуковский — на вершинахъ поэзіи. Около того же времени появился и «Русскій Вѣстникъ», издаваемый С. Н. Глинкою, порицавшій тогдашнее воспитаніе и пристрастіе общества ко всему французскому. О значеніи этого журнала и о томъ, что онъ навлекъ на себя нерасположеніе Наполеона мы скажемъ впоследствии. Здѣсь же замѣтимъ, что, имѣя среди толпы эмигрантовъ, жившихъ въ Россіи, многочисленныхъ природныхъ шпионовъ, императоръ французовъ зорко слѣдилъ за

1) Записки Д. М. Ростиславова, «Русская Старина» 1888 г., № 7, стран. 63.

вѣкъмъ происходящимъ. Онъ долженъ былъ сознать, что Москва была средоточіемъ русской жизни во вѣсѣхъ ея проявленіяхъ и что значеніе ея громадно. Естественно, что, вторгаясь въ Россію въ 1812 г. и руководясь изреченіемъ Суворова, что змія надо бить въ голову, Наполеонъ двинулся на первопрестольную столицу, на «Москву-Бѣлокаменную».

Н. Дубровина.

### Отъѣздъ помѣщиковъ на зиму въ Москву въ началѣ XIX вѣка.

«Въ описываемое время Петербургъ во многихъ отношеніяхъ былъ городъ отсталый. Въ немъ было только два публичныхъ сада: Лѣтній и Юсуповскій, гдѣ лѣтомъ можно было подышать воздухомъ, а не пылью. Мостовая была въ очень плохомъ состояніи, омнибусовъ — ни одного; наемныхъ каретъ было мало и до крайности неисправныя и грязныя». Единственный общественный экипажъ были некрытыя *дрожки-штары*, на которыя надо было садиться верхомъ и гдѣ извозчикъ сидѣлъ почти на колѣняхъ сѣдока. Зато высшій и средній классы щеголяли экипажами и лошадьми, — ѣздили въ каретахъ и коляскахъ четвернею, цугомъ съ фореиторомъ или тройкою съ пристяжными, скачущими почти подъ прямымъ угломъ отъ коренной.

«Кулинарная часть въ ресторанахъ была очень плоха, и холодному человѣку, не имѣвшему своей кухни, почти невозможно было обѣдать въ русскихъ трактирахъ». Если и подавали нѣчто подъ именемъ *бифстека*, то, говоритъ современникъ, это былъ псевдонимъ, но, при хорошемъ аппетитѣ, сносный. Театръ былъ только одинъ — русскій, на которомъ давали иногда балеты и оперы.

Такимъ образомъ Петербургъ не привлекалъ на себя вниманія, и всѣ богачи и люди болѣе или менѣе зажиточные, съ наступленіемъ осени, стремились въ Бѣлокаменную.

Сборы въ дорогу составляли весьма сложный вопросъ для многихъ; отъѣздъ часто откладывался день-за-день, и такимъ образомъ проходило иногда нѣсколько мѣсяцевъ прежде, чѣмъ трогались въ путь.

Путешествіе совершалось всегда «на долгихъ», т. е. на собственныхъ лошадяхъ, часто не совсѣмъ сытыхъ, потому что въ теченіе осени онѣ же исполняли должность верховыхъ у псарей. Собираясь въ путь ихъ закармливали и объѣзжали, составляли списокъ, кого изъ многочисленной дворни взять съ собою. Наконецъ, призывали священника, служили молебень, и, съ крестомъ и хоругвями, отправляли впередъ обозъ подводъ въ двадцать. Въ самомъ дѣлѣ, не покупать же въ Москвѣ продовольствіе, когда своего деревенскаго много и оно лучше городского. И вотъ трогались подводы, нагру-

женныя замороженными жирными щами, мороженными густыми сливками, гусяными и утиными потрохами, разными полотками, гусями, утками, курами, индѣйками, копченою, вяленою и сушеною рыбою, кулями крупъ, муки, боченками свинины, солонины и даже яйцами, выпущенными въ кадки и замороженными.

Спустя нѣсколько дней поднимался и помѣщикъ со всеми домочадцами; «тутъ весь домъ былъ: учителя, мамки, няньки, дядьки, мальчишки, дѣвочки, собачки, птички разныя, и даже былъ и хорекъ».

Семейство графа Толстого, владѣвшаго всего 400 душами, перѣѣзжало изъ Тульской въ одну изъ Приволжскихъ губерній не менѣе какъ въ 10 экипажахъ, въ упряжкѣ которыхъ было 45 лошадей и 42 человекъ прислуги. Прежде всего выѣзжала большая бричка съ кухней и поваромъ, чтобы готовить обѣдъ на привалахъ и ночлегахъ. За нею выѣзжали кареты и коляски. Когда владѣлецъ сѣдился въ экипажъ, то остающаяся дворня подымала плачъ и вой, точно провожала покойника: это считалось обязательнымъ, каковы бы господа ни были — дурные или хорошіе. Въ богатыхъ помѣстьяхъ, при которыхъ были церкви, священникъ съ крестомъ провожалъ отѣѣзжающихъ, а дьячки звонили въ колокола.

Въ полдень останавливались, чтобы покормить лошадей и самимъ попитаться. Мѣстомъ остановки избирали: зимою — заранѣе намѣченные постоянные дворы, а лѣтомъ — какой-нибудь ручеекъ или рѣчку, и на берегу ея, на лужайкѣ, раскидывался коверъ и принимались за трапезу. Въ деревняхъ избѣгали останавливаться по ихъ бѣдности и неустройству, точно стыдно было помѣщикамъ смотрѣть на своихъ крестьянъ.

«Наши селенія, — говоритъ современникъ, — безъ всякаго устройства. Селеніе есть куча лачужекъ: впадшихъ, выпятившихся, разбросанныхъ на удачу, безъ малѣйшаго порядка. Таковыя жилища кажутся построенными по нуждѣ, на время, а не для постоянного пребыванія. Внутренность являетъ униженіе человѣчества, бѣдность, нерѣдко въ избыткѣ. Хозяева существуютъ не лучше калмыковъ въ кибиткѣ, среди сырости, копоти, дыма, вмѣстѣ со своими скотами. Слобода на версту подобна согнутымъ въ рядъ картамъ, которыя упадаютъ одна за другою отъ малѣйшаго прикосновенія. Первая искра пожираетъ стяжанія многихъ лѣтъ и селеніе въ нѣсколько часовъ исчезаетъ».

Добрый и человѣколюбивый помѣщикъ еще давалъ своимъ крестьянамъ средства возстановить постройки и старался поддержать ихъ благосостояніе, но положеніе крестьянъ, оставленныхъ помѣщикомъ безъ призрѣнія и въ особенности государственныхъ, было по истинѣ печальное. Не было пріюта увѣчнымъ старымъ и бѣднымъ — они скитались на распутьяхъ и по задворкамъ. «Нѣтъ помощи, ничего общественнаго, и крестьянинъ, оставленный самому себѣ, принадлежитъ слободѣ только по сбору съ него денегъ. Пылаетъ его домъ — нечѣмъ погасить, не имѣетъ: сѣмянъ и денегъ —



суда не существуетъ, полоса лежитъ не засѣянною; предстоитъ выгодный оборотъ, промыселъ, — никто не даетъ взаймы; хочеть учить сына грамотѣ, — нѣтъ учителей; умереть онъ — и никто не печется о сиротахъ».

Плохія постройки и неопрятность въ селеніяхъ дѣлали ихъ непривѣтливыми и непритяжными. Останавливаться въ нихъ было непріятно и неудобно: негдѣ поставить экипажа и лошадей, негдѣ самому пріютиться — лучше отдыхать въ своей каретѣ или коляскѣ. На подобные случаи въ нихъ были сдѣланы разнаго рода приспособленія.

Въ городахъ останавливались лишь тамъ, гдѣ жили родственники, «ибо не заѣхать къ роднымъ, которыхъ, впрочемъ, можно было отъ души ненавидѣть, было бы крайне предосудительно и вмѣнилось бы отъ *всѣхъ* и отъ *всѣ* въ поступокъ непростительный».

Вотъ какъ, нѣкто М., описываетъ тогдашнее путешествіе помѣщиковъ:

«Восемь лошадей тащили восьмимѣстную *линей*, за которою слѣдовала дорожная карета, потомъ коляска, двѣ кибитки, а въ концѣ огромная фура, украшенная фамильнымъ гербомъ. Она наполнялась обыкновенно вещами дворни, въ числѣ которыхъ находились: одинъ настоящій казакъ, одинъ такой же гусарь, два казака переряженныхъ изъ конюховъ и до пяти человекъ солдатъ, выпрошенныхъ на честное слово въ отпускъ у разныхъ военныхъ начальниковъ. Солдаты эти были необходимы какъ конвой, такъ какъ по многимъ дорогамъ бродили шайки разбойниковъ и ѣхать было не безопасно.

«Въ линей насъ сидѣло, — говорятъ М., — кромѣ отца и меня, проторговавшійся купецъ изъ кожевенныхъ лавокъ Рукавишникава, уволенный шкловскій кадетъ Бородулинъ, мой гувернеръ французъ ле-Ганье, пѣвецъ, гитаристъ и флейтраверсистъ, прапорщикъ Григорьевъ, дворянинъ Шетининъ и еще кто-то также необходимый человекъ нашей свиты». Слѣдовавшая сзади коляска служила мѣстомъ отдохновенія для главы семейства, а въ каретѣ ѣхала его дочь «съ мадамою» и компаньонкою — 8-лѣтнею дѣвочкою. Всѣ путешественники представляли собою пестроту необыкновенную: купецъ былъ одѣтъ чѣмъ-то въ родѣ черкеса, Бородулинъ и Григорьевъ имѣли какіе-то фракы и широкіе красные шаровары.

Подъ самую Московю встрѣтились они съ другимъ переселенцемъ, проказникомъ и чудакомъ генераломъ Неплюевымъ. Въ его поѣздѣ было «три восьмимѣстныя линей», двѣ или три кареты четырехмѣстныя, многое множество колясокъ, кибитокъ, фуръ, дрожекъ, и все это было переполнено народомъ.

«Подлѣ главныхъ экипажей; тянувшихъ ровнымъ шагомъ, шли скороходы и гайдуки, на запяткахъ сидѣли вооруженные гусары и казаки. Вся внутренность экипажей разбита была какъ садъ, изъ всякаго рода цвѣтистыхъ компаньонковъ, компаньоновъ, шутовъ, шу-

тихъ и даже изъ дуръ и дураковъ; послѣдніе припрыгивали и вывизгивали голосами всякихъ животныхъ.

«Самъ хозяинъ въ богатомъ градетуровомъ зеленомъ цвѣтѣ халатѣ, украшенномъ знаками отличій, лежалъ на сафьянномъ пуховикѣ въ одной изъ колясокъ; на головѣ его былъ зеленый же картузь съ красными опушками, отороченный, гдѣ только возможно, галунами. Изъ-подъ картуза виднѣлся бѣлый колпакъ. Руки помѣщика держали гигантской величины трубку, малиновый ость-индскій носовой платокъ и ужасную дорожную табакерку, съ изображеніемъ одного изъ мудрецовъ Греціи».

Зимою устранивались теплые экипажи, обивавшіеся мѣхомъ или войлокомъ. Отправляя французскую актрису Луизу Фюзи изъ Петербурга въ Москву, оберъ-егермейстеръ Дмитрій Львовичъ Нарышкинъ приказалъ обить ея кибитку сибирскими волчьими шкурами, которыя многіе съ радостью взяли бы себѣ на шубу; полость была изъ медвѣжьего мѣха.

«Кибитка моя», — говоритъ Фюзи, — «была полна всякаго рода съѣстныхъ припасовъ, безъ которыхъ въ то время нельзя было отправляться въ путь. Я ѣхала какъ мѣшокъ, ни о чемъ не заботясь, спала все время въ своей кибиткѣ, какъ въ постели, и выходила только, чтобы поѣсть или расправить отлежавшіяся ноги».

Н. Дубровинъ.

### Допожарная Москва.

Случайно попалъ я (говорю: случайно, потому что очень трудно если и несовершенно невозможно, слѣдить вѣдъ Россіи за общею русскою журнальною дѣятельностью), случайно попалъ я на статью въ журналѣ, въ которой, между прочимъ, сказано, что «Москва 1805 года была совершенною провинціею въ сравненіи съ Петербургомъ; что она, полная богатимъ барствомъ, жила нараспашку, хлѣбосольничала и сплетничала; политическіе интересы занимали ее мало. Въ то время когда въ Петербургѣ только и толковъ было, что о предстоящей войнѣ съ Наполеономъ, Москва гораздо болѣе занималась тяжкою болѣзнью одного богатаго барина и вопросомъ, кому онъ оставитъ громадное свое состояніе». (Замѣтимъ мимоходомъ, что тогда въ Москвѣ не могли толковать о *громадномъ* состояніи, потому что на Карамзинскомъ языкѣ, тогда господствовавшемъ въ Москвѣ, слово «громадное» не примѣнялось, какъ нынѣ, ко всѣмъ понятіямъ и выраженіямъ.)

Какъ старшій и допотопный москвичъ, считаю обязанностью своею прямо и добросовѣстно подать голосъ свой противъ такого легкомысленнаго и несправедливаго мнѣнія о Москвѣ. Новое поколѣніе знаетъ старую Москву по комедіи Грибоѣдова; въ ней подчеркиваетъ оно всѣ свои свѣдѣнія и заключенія. Грибоѣдовъ — ихъ пре-

подобный Несторъ, и по его разсказу возсоздають они мало знаковую имъ старину. Но, по несчастію, драматическій Несторъ въ своей московской лѣтописи часто *мудрствовалъ лукаво*. Въ нѣкоторыхъ захолустьяхъ Москвы, можетъ-быть, и господствовали нравы, исключительно выставленные имъ на сценѣ. Но при этой темной Москвѣ была и другая, еще свѣтлая Москва. Что сказано о ней 1805 года журналистомъ, коего слова приведены выше, можетъ быть сказано не только о Москвѣ, такого то года, но и о всякомъ большемъ городѣ и во всякое время, какъ о Парижѣ, такъ и о Лондонѣ, Нью-Йоркѣ, и пр. и пр. *Тяжкая бользнь богатаго барина и вопросъ, кому достанется громадное его состояніе*, могутъ служить и, безъ сомнѣнія, служить, въ числѣ другихъ предметовъ, темою общежитейскихъ разговоровъ, и не выпускаются изъ вида свѣтскою хроникомъ. Не одни же общечеловѣческія задачи и государственные вопросы занимають вниманіе общества! Впрочемъ, вездѣ и во всѣхъ столицахъ, городахъ и во всякихъ другихъ сборищахъ встрѣчаются пошлые и смѣшные люди. Безъ этого балласта нигдѣ не обойдешься. Безъ сомнѣнія, и въ изящной, пластической древней Греціи, въ сей странѣ образцовой красоты, бывали и горбатые, кривобокіе и колченогіе. Но не ихъ избирали Фидіасы, Праксители для возсозданія своихъ произведеній. Впрочемъ, когда охота есть, почему не изображать и горбатыхъ и колченогихъ, благо, что и они существуютъ въ природѣ: *а все чело-вѣческое — не чуждо чело-вѣку*, какъ сказалъ римскій поэтъ. Но не выставляйте этихъ несчастныхъ выродковъ прототипами общаго народоспасенія. Не подражайте тому путешественнику, который, проѣзжая черезъ какой-то городъ и подсмотрѣвъ, что рыжая баба бьетъ ребенка, тутъ же внесъ въ свой дорожный дневникъ: здѣсь вообще женщины рыжія и злыя.

Что Москва не была исключительно тѣмъ, чѣмъ ее нѣкоторые нравоописатели представляютъ, можно сослаться на слова другого москвича, еще старѣйшаго меня, котораго свидѣтельство принадлежитъ исторіи. Вотъ что Карамзинъ говорилъ о Москвѣ въ статьѣ «своей». «О публичномъ преподаваніи наукъ въ московскомъ университетѣ». Знаю, что въ наше время мало читають Карамзина, а потому считаю нелишнимъ привести здѣсь собственныя слова его. Говоря о лекціяхъ, авторъ замѣчаетъ: «Любитель просвѣщенія съ душевнымъ удовольствіемъ увидить тамъ (т.-е. на лекціяхъ) знатныхъ московскихъ дамъ, благородныхъ молодыхъ людей, духовныхъ, купцовъ, студентовъ Заиконоспасской академіи и людей всякаго званія». Эта статья появилась въ 1803 году, слѣдовательно незадолго до 1805 года, такъ жестоко заклеяннаго журналистомъ. Слѣдовательно, публичныя лекціи, о которыхъ толкують нынѣ, привлекали уже за 60 лѣтъ тому назадъ любознательное вниманіе московской публики; онѣ были оцѣнены Карамзинымъ гораздо ранѣе, чѣмъ была вообще признана польза популярнаго преподаванія науки. «Знанія, — говорилъ онъ, — бывшія удѣломъ особеннаго класса людей, собственно называемаго

ученымъ, нынѣ болѣе и болѣе распространяются, вышедши изъ тѣсныхъ предѣловъ, въ которыхъ они долго заключались; къ числу сихъ способовъ (т.-е. способовъ дѣйствовать на умъ народа) принадлежатъ и публичныя лекціи Московскаго университета. Цѣль ихъ есть та, чтобы самимъ тѣмъ людямъ, которые не думаютъ и не могутъ исключительно посвятить себя ученому состоянію, сообщать свѣдѣнія и понятія о наукахъ любопытнѣйшихъ нововводителей». Польза общенародной науки была признана и приведена въ дѣйствіе въ Москвѣ еще въ началѣ текущаго столѣтія. Эти понятія, воззрѣнія и сужденія могли бы написаны быть вчера. Мысль эта свѣжа и нынѣ, но выражена языкомъ, который, по несчастію, устарѣлъ, т.-е. сдѣлался преданіемъ давно минувшихъ лѣтъ. Тогда чистота, правильность и звучность русскаго языка была на высшей степени своего развитія.

Есть еще другое свидѣтельство, и болѣе важное, объ умственномъ, гражданскомъ и политическомъ состояніи старой Москвы. Вотъ что говорилъ Карамзинъ въ путеводительной запискѣ своей, составленной для императрицы, предъ отъѣздомъ Ея Величества въ Москву: «Со времянъ Екатерины Москва прослыла *Республикою*. Тамъ, безъ сомнѣнія, болѣе свободы, но не въ мысляхъ, а въ жизни; болѣе разговоровъ, толковъ о дѣлахъ общественныхъ, нежели здѣсь въ Петербургѣ, гдѣ умы развлекаются Дворомъ, обязанностями службы, исканіемъ, личностями».

Изъ приведенныхъ словъ явствуетъ, что вопреки Грибоѣдову и послѣдователямъ, слѣпо довѣрившимъ на слово сатирическимъ выходкамъ его, оцѣнка Петербурга и Москвы должна быть признана именно въ обратномъ смыслѣ, т.-е. что въ Москвѣ было болѣе разговоровъ и толковъ о дѣлахъ общественныхъ, нежели въ Петербургѣ, гдѣ умы и побужденія развлекаются и поглощаются Дворомъ, обязанностями службы, исканіемъ и личностями. Оно такъ и быть должно: въ Петербургѣ — сцена, въ Москвѣ зрители; въ немъ дѣйствуютъ, въ ней судятъ. И кто же находится въ числѣ зрителей? Многіе люди, коихъ имена болѣе или менѣе принадлежатъ административной и государственной исторіи Россіи. Пожалуй, нѣкоторые изъ нихъ оказываются зрителями и судьями пристрастными, невольными тѣмъ, что есть, потому что настоящее уже не имъ принадлежитъ и что они должны были уступить мѣсто новымъ дѣйствующимъ лицамъ. Бывшіе актеры сдѣлались нынѣ зрителями актеровъ новыхъ, но зато въ этомъ оппозиціонномъ партерѣ, какъ и во всякой оппозиціи, были живость пренія и даже страсти, но ни въ какомъ случаѣ не могло быть застоя. И кто же засѣдалъ въ этомъ партерѣ или, по крайней мѣрѣ, занималъ въ немъ первые ряды — графы Орловы, Остерманы, князья Голицыны, Долгорукіе и многія другія второстепенныя знаменитости, которыя въ свое время были дѣйствующими лицами на государственной сценѣ. Всѣ эти лица были живая лѣтопись прежнихъ царствованій. Они сами участво-

вали въ дѣлахъ и болѣе или менѣе знали закулисныя тайны придворной и государственной сцены. Позже къ этимъ обломкамъ славнаго царствованія Екатерины измѣнчивая судьба закидывала жертвы новѣйшихъ крушеній и загоняла въ пристань и затишье тихихъ пловцовъ, жаждущихъ отдыха и спокойствія. Въ то время не одни опальные и недовольные покидали службу; были люди, которые, достигнувъ нѣкотораго чина и нѣкоторыхъ лѣтъ, оставляли добровольно служебное поприще, жили для семейства, для управленія хозяйствомъ своимъ, для тихихъ и просвѣщенныхъ радостей образованнаго общества. Къ прежнимъ именамъ прибавимъ имена княгини Дашковой и графа Растропчина, который, удаленный отъ дѣлъ въ продолженіе царствованія Павла I, жилъ въ Москвѣ на покой до назначенія своего начальникомъ Москвы предъ бурю 1812 г. Одна княгиня Дашкова, своею историческою знаменитостію, своими нравными обычаями, могла придать особенный характеръ тогдашнимъ московскимъ салонамъ. Это соединеніе людей, болѣе или менѣе историческихъ, имѣло вліяніе не только на Москву, но дѣйствовало и на замосковныя губерніи. Москва подавала лозунгъ Россіи. Изъ Петербурга истекали мѣры правительственныя; но способъ понимать, оцѣнивать ихъ, судить о нихъ, но нравственная ихъ сила имѣли средоточіемъ Москву. Фамусовъ говоритъ у Грибоѣдова: «Что за тузы въ Москвѣ живутъ и умираютъ!» и партеръ встрѣчаетъ смѣхомъ и рукоплесканіями этотъ стихъ, въ самомъ дѣлѣ забавный. Но если разобрать хладнокровнѣе, то что за бѣда, что въ колодѣ общества встрѣчаются тузы! Ужели было бы лучше, если бѣ колода составлена была изъ однихъ двоекъ? Многіе изъ этихъ баръ жили хлѣбосольно и открытыми домами, доступными москвичамъ, иногороднымъ дворянамъ, пріѣзжавшимъ на зиму въ Москву, деревенскимъ помѣщикамъ и молодымъ офицерамъ, праздноующимъ въ Москвѣ время своего отпуска. Дворянскій клубъ или Московское благородное собраніе было сборнымъ мѣстомъ русскаго дворянства. Пространная и великолѣпная зала въ красивомъ зданіи, которая въ то время служила однимъ изъ украшеній Москвы и не имѣла себѣ подобной въ Россіи, созывала на балы по вторникамъ многолюдное собраніе, тысячь до 3, до 5 и болѣе. Это былъ настоящій съѣздъ Россіи, начиная отъ вельможи до мелкопомѣстнаго дворянина изъ какого-нибудь уѣзда Уфимской губерніи, отъ статсъ-дамы до скромной уѣздной невѣсты, которую родители привозили въ это собраніе съ тѣмъ, чтобы на людей посмотреть, а особенно себя показать и, вслѣдствіе того, выйти замужъ. Эти вторники служили для многихъ исходными днями браковъ, семейнаго счастья и блестящихъ судебъ. Мы всѣ, молодые люди тогдашняго поколѣнія, торжествовали въ этомъ домѣ вступленіе свое въ возрастъ свѣтлаго совершеннолѣтія. Тутъ учились мы любезничать съ дамами, влюбляться, пользоваться правами и, вмѣстѣ съ тѣмъ, покоряться обязанностямъ общечитія. Тутъ учились мы и чинопочитанію и почитанію старости. Для многихъ

изъ насъ эти вторники долго теплились свѣтлыми днями въ лѣтописяхъ сердечной памяти. Надобно признаться, хотя это признаніе состоитъ нынѣ исповѣдью въ тяжкомъ грѣхѣ, мы, старыя и молодыя, были тогда свѣтскими людьми и не только не стыдились быть ими, но придавали этому званію смыслъ уметвенной образованности и вѣжливости, а потому и дорожили честью принадлежать къ высшему обществу и наслаждаться его удобствами и принадлежностями. Нѣкоторые изъ московскихъ баръ имѣли картинныя галереи, собранія художественныхъ и научныхъ предметовъ, напр. графъ Алексѣй Кирилловичъ Раузовскій, кромѣ роскошнаго дома и при немъ обширнаго и со вкусомъ расположеннаго сада въ самомъ городѣ, имѣлъ подѣ Москвою въ Горенкахъ разнообразный и отличный ботаническій садъ, разсадникъ рѣдкихъ растений изъ отдаленныхъ краевъ всего міра. Графъ Бутурлинъ имѣлъ обширную, съ любовью и знаніемъ дѣла собранную библіотеку, одну изъ полнѣйшихъ у частныхъ лицъ библіотекъ, извѣстныхъ въ Европѣ. Иныя вельможи, на собственномъ своемъ иждивеніи, устраивали для меньшихъ братьевъ больницы и страннопріемныя дома, а другіе — почему и въ этомъ не признаться — содержали хоры крѣпостныхъ пѣвчихъ, крѣпостные оркестры и крѣпостныхъ актеровъ. Если по существующимъ тогда узаконеніямъ помѣщики могли имѣть для фабрикъ и заводовъ своихъ крѣпостныхъ фабрикантовъ и мастеровыхъ, то почему же оскорбительнѣе было для человѣчества образовывать художниковъ изъ подвѣдомственныхъ имъ людей? Эти явленія приводятъ нынѣ въ ретроспективный ужасъ жеманную филантропію и пошлый либерализмъ, но тогда эти *полубарскія затѣи*, какъ иногда онѣ ни были неудачны и смѣшны, съ другой стороны развивали въ крѣпостномъ состояніи хотя и невольныя и темныя, но не менѣе того нѣкоторыя понятія и чувства изящныя. Это все-таки была кое-какая образованность и распространяла грамотность въ грубыхъ слояхъ общества, обреченнаго невѣжеству и безграмотности. Имена Сумарокова, Княжнина, Фонвизина, Бортнянскаго, Мольера, Коцебу и творенія ихъ становились имъ доступными. Многіе актеры изъ домашнихъ и крѣпостныхъ труппъ, напримѣръ, въ числѣ другихъ Столыпина, сдѣлались впоследствии украшеніемъ московскаго театра. Если крѣпостное владѣніе въ Россіи не имѣло бы другихъ упрековъ и грѣховъ на совѣсти своей, а только эти полубарскія затѣи, то можно бы еще примириться съ нимъ и даже отчасти сказать ему спасибо. Нынѣ много толкуютъ въ Европѣ *объ обязательномъ и даровомъ обученіи народномъ*; вотъ вамъ въ нашихъ москвичахъ живой примѣръ ужъ подлинно *обязательнаго и дароваго обученія*.

Изъ словъ Карамзина видно, какое вліяніе имѣлъ тогда университетъ на московское общество; онъ сохранилъ и передалъ на уваженіе потомства имена нѣкоторыхъ изъ его дѣятелей: Политковскаго, Страхова, Гейма, которому русскій языкъ не былъ природнымъ, но которымъ говорилъ онъ чисто и правильно, молодого

Шлецера, также не русскаго, но вполнѣ земляка нашего по историческимъ трудамъ знаменитаго отца своего. Еще другія имена могутъ быть внесены признательностью въ послужной списокъ московскаго университета, какъ, напр., Буле, Рейнгардта и нѣкоторыхъ другихъ изъ русскихъ и чужеземныхъ профессоровъ. Этотъ періодъ былъ едва ли не самымъ цвѣтущимъ въ исторіи университета, въ чемъ убѣдиться легко, справившись съ исторіей Московскаго университета и біографическимъ словаремъ профессоровъ его, изданнымъ покойнымъ Шевыревымъ. Тогда не заботились и не толковали о самородной наукѣ; тогда общая, человѣческая наука и заграничные представители ея не пугали и не оскорбляли нашего раздражительнаго патріотизма. Скорѣе, послѣ 1812 года былъ на нѣкоторое время застой дѣятельности и жизни сего старѣйшаго и высшаго учебнаго заведенія въ Россіи. Помню, какъ Иванъ Ивановичъ Дмитріевъ, который любилъ дружески трунить надъ ректоромъ его и пріятелемъ своимъ, всѣмъ намъ памятнымъ А. А. Антонскимъ

(«Тремя помноженный Антонъ,

«А на закуску Прокоповичъ», какъ сказано было о немъ во время оно), говорилъ ему: признайтесь, что вашъ университетъ нынѣ дремлетъ; только и замѣчаешь въ немъ движеніе, когда ѣдешь по Моховой и видишь, какъ профессора у оконъ перевертываютъ на солнцѣ бутылки съ наливками». Изыщная текущая словесность такъ же почти исключительно имѣла въ Москвѣ своихъ выборныхъ и верховныхъ дѣтелей. Россія училась говорить, читать и писать по-русски по книгамъ и журналамъ, издаваемымъ въ Москвѣ. Петербургъ коснѣлъ въ старомъ слогѣ; Москва развивала и преподавала новый. Карамзинъ и Дмитріевъ были его основателями и образцами. Около нихъ и подъ ихъ сѣнью расцвѣтали молодыя дарованія: напр. Макаровъ (Петръ) — по части прозы и журналистики, Жуковскій — на вершинахъ поэзіи. Около того времени появился и «Русскій Вѣстникъ», издаваемый Сергѣемъ Глинкою. Въ литературномъ отношеніи сей журналъ былъ, можетъ-быть, мало замѣчательнъ, но и въ нравственномъ и политическомъ онъ имѣлъ всю важность событія, какъ противодѣйствія владычеству наполеоновской Франціи и какъ воззваніе къ единомыслію и единомушію, предчуемой уже въ воздухѣ грозы 1812 года. Сей журналъ имѣлъ свое неоспоримое и весьма сильное значеніе. Зоркіе и подозрительные глаза Наполеона ничего не упустили изъ вида; французскій посоль въ Петербургѣ жаловался нашему правительству на содержаніе нѣкоторыхъ изъ его статей. Глинка раздѣлялъ съ г-жею Сталь славу угрожать перомъ своимъ всепобѣждающему и всеокрушающему мечу Наполеона и тревожить самоувѣренность честолюбиваго владыки. Пишу на память и не имѣю подъ рукою справочныхъ матеріаловъ: иное и иныхъ могу пропустить забвеніемъ и отступать отъ хронологическаго порядка, но главныя черты и краски мнѣ приснопамятны, и картина, мною слегка набросанная, можетъ быть,

лишена полноты, но не истины. Грѣшно было бы, при этомъ литературномъ очеркѣ, пройти молчаніемъ Хераскова. Онъ, конечно, нынѣ устарѣлъ и болѣе нежели нѣкоторые изъ его сверстниковъ и предшественниковъ. Въ немъ ничего не было или было слишкомъ мало оригинальности или самобытности, какъ въ хорошихъ свойствахъ, такъ и погрѣшностяхъ, а одна самобытность долговѣчна и переживаетъ свое время. Державинъ и въ паденіяхъ своихъ поэтъ иногда увлекательный и почти всегда поучительный. Новѣйшія поколѣнія довольно глумились надъ бѣднымъ Херасковымъ. Я первый тягчилъ свою совѣсть нѣсколькими эпиграммами и насмѣшками, не пощадившими его почтенной и честной памяти:

Но жизни перешедъ волнуемое море,  
Сталь менѣ пылокъ я и жалостливъ сталь болѣ,

а особенно сталь болѣе справедливъ и почитателенъ. Приношу повинную голову мою и раскаяніе предъ тѣнью пѣвца «Россиады». Онъ въ свое время занималъ видное и почетное мѣсто въ высшихъ рядахъ русской словесности. Онъ долго былъ патріархомъ ея и особенно патріархомъ московскимъ. Постоянно и добросовѣстно во все продолженіе долгой жизни, былъ онъ вѣренъ служенію прекраснаго, нравственнаго и добраго. Писатель, написавшій такъ много прозой и стихами и все же не лишенный нѣкотораго дарованія, не могъ не имѣть вліянія на языкъ и не оставить по себѣ какихъ-нибудь слѣдовъ, достойныхъ вниманія и даже изученія. Смѣшно и жалко хотѣть переспорить минувшее. Если Херасковъ въ свое время имѣлъ читателей и толпы поклонниковъ, то и онъ принадлежитъ исторіи. Какъ патріархъ, онъ и нынѣ, по ветхозавѣтнымъ заслугамъ своимъ, имѣетъ полное право на уваженіе наше. Зачитываться его не будемъ, а читать его и справляться съ нимъ, какъ съ литературнымъ знаменіемъ современной ему эпохи, не мѣшаетъ. По времени и по мѣстности, недалеко отъ могилы Хераскова встрѣчаемъ колыбель Пушкина: *Un grand destin s'achève, un grand destin commence*. И въ этихъ двухъ частяхъ все противоположно, кромѣ общей любви къ искусству и благородному служенію его. Пушкинъ былъ также родовой москвичъ. Нѣтъ сомнѣнія, что первымъ зародышемъ дарованія своего, кромѣ благодати свыше, обязанъ онъ былъ окружающей его атмосферѣ, благопріятно проникнутой тогдашней московской жизнью. Отецъ его Сергѣй Львовичъ былъ въ пріятельскихъ сношеніяхъ съ Карамзинымъ и Дмитріевымъ и самъ, по тогдашнему обычаю, получилъ если не ученое, то, по крайней мѣрѣ, литературное образованіе. Дядя Александра, Василій Львовичъ, самъ былъ поэтъ или, пожалуй, любезный стихотворецъ, и по тогдашнимъ немудрымъ, но не менѣе того признаннымъ требованіямъ былъ стихотворцемъ на счету. Вся эта обстановка должна была благотворно дѣйствовать на отрока. Зоркіе глаза могли предвидѣть

«Въ отважномъ мальчикѣ грядущаго поэта». (Дмитріевъ).



Старая Москва нисколько не могла быть признана за провинціальнѣй и заштатнѣй городъ, особенно до 1812 года. Скорѣе же послѣ, освѣщенная пламенемъ и славою, обратилась она въ провинцію: многое изъ того, что придавало ей особеннѣй характеръ и особенную фizioномію, все что, однимъ словомъ, составляло душу ея, безвозвратно исчезло въ пожарѣ, начиная съ того, что Москва материально обѣднѣла и истощилась. Спустя нѣсколько лѣтъ послѣ, она, конечно, возродилась снова, но уже въ другихъ условіяхъ, въ новой обстановкѣ и значеніи, но все же была она не что иное какъ первый изъ провинціальнѣхъ русскіхъ городовъ. Нѣкоторые изъ первостепеннѣхъ представителей ея сошли въ могилу, другіе, по изгнаніи французовъ изъ Москвы, переселились въ свои деревни, третьи — за границу и въ Петербургъ, напр. между послѣдними Ю. А. Нелединскій. Онъ имѣлъ въ Москвѣ прекраснѣй домъ, около Мясницкой, который, впрочемъ, уцѣлѣлъ отъ пожара. Онъ давалъ иногда великолѣпные праздники и созывалъ на обѣды молодыхъ литераторовъ — Жуковского, Д. Давыдова и другихъ. Какъ хозяинъ и собесѣдникъ, онъ былъ равно гостепріименъ и любезенъ. Онъ любилъ Москву и такъ устроился въ ней, что думалъ дожить въ ней вѣкъ свой. Но выѣхавъ изъ нея 2-го сентября, за нѣсколько часовъ до вступленія французовъ, онъ въ Москву болѣе не возвращался. Онъ говорилъ, что ему было бы слишкомъ больно вернуться въ нее и въ свой домъ, опозоренные присутствіемъ непріятеля. Это были у него не одни слова, но глубокое чувство. Кстати замѣчу, въ этомъ домѣ была обширная зала съ зеркалами во всю стѣну. Въ Вологдѣ, куда мы съ нимъ пріютились, говорилъ онъ мнѣ однажды, сокрушаясь объ участи Москвы: «Вижу отсюда, какъ французы стрѣляютъ въ мое зеркало», и прибавилъ смѣясь: «впрочемъ, признаться должно, я и самъ на ихъ мѣстѣ далъ бы себѣ эту потѣху». По окончаніи войны переимѣненъ былъ онъ изъ московскаго департамента въ Петербургскій сенатъ и прожилъ тутъ до отставки своей.

Тогдашняя допожарная Москва имѣла нѣсколько подобнѣхъ средоточій общежитія. Въ 1805 году былъ я слишкомъ молодъ, чтобы посѣщать и знать ихъ коротко. Но домъ отца моего могъ дать мнѣ понятіе о свѣтской жизни той эпохи. Я имѣлъ несчастье лишиться отца моего, князя Андрея Ивановича, въ лѣтахъ, едва выходящихъ изъ отрочества. Но первыя впечатлѣнія мои подтвердились позже отзывами о немъ людей образованнѣхъ и бывшихъ съ нимъ въ постояннѣхъ и дружескихъ сношеніяхъ. А потому и могу искренно говорить о немъ, не подвергаясь опасенію быть подозрѣваемымъ въ излишнемъ сыновнемъ пристрастіи. Мой родитель былъ одинъ изъ образованнѣйшихъ, почтеннѣйшихъ и любезнѣйшихъ людей своего времени. Онъ владѣлъ даромъ слова, любилъ разговоръ, обмѣнъ мыслей и мнѣній, даже любилъ споры, но не по упрямству убѣжденій своихъ, не по тщеславію ума, довольнаго са-

Старая Москва нисколько не могла быть признана за провинціальнй и заштатный городъ, особенно до 1812 года. Скорѣе же послѣ, освѣщенная пламенемъ и славою, обратилась она въ провинцію: многое изъ того, что придавало ей особенный характеръ и особенную физономію, все что, однимъ словомъ, составляло душу ея, безвозвратно исчезло въ пожарѣ, начиная съ того, что Москва матеріально обѣднѣла и истощилась. Спустя нѣсколько лѣтъ послѣ, она, конечно, возродилась снова, но уже въ другихъ условіяхъ, въ новой обстановкѣ и значеніи, но все же была она не что иное какъ первый изъ провинціальнхъ русскіхъ городовъ. Нѣкоторые изъ первостепеннхъ представителей ея сошли въ могилу, другіе, по изгнаніи французовъ изъ Москвы, переселились въ свои деревни, третьи — за границу и въ Петербургъ, напр. между послѣдними Ю. А. Нелединскій. Онъ имѣлъ въ Москвѣ прекрасный домъ, около Мясницкой, который, впрочемъ, уцѣлѣлъ отъ пожара. Онъ давалъ иногда великолѣпные праздники и созывалъ на обѣды молодыхъ литераторовъ — Жуковскаго, Д. Давыдова и другихъ. Какъ хозяинъ и собесѣдникъ, онъ былъ равно гостепріименъ и любезенъ. Онъ любилъ Москву и такъ устроился въ ней, что думалъ дожить въ ней вѣкъ свой. Но выѣхавъ изъ нея 2-го сентября, за нѣсколько часовъ до вступленія французовъ, онъ въ Москву болѣе не возвращался. Онъ говорилъ, что ему было бы слишкомъ больно вернуться въ нее и въ свой домъ, опозоренные присутствіемъ непріятеля. Это были у него не одни слова, но глубокое чувство. Кстати замѣчу, въ этомъ домѣ была обширная зала съ зеркалами во всю стѣну. Въ Вологдѣ, куда мы съ нимъ пріютились, говорилъ онъ мнѣ однажды, сокрушаясь объ участи Москвы: «Вижу отсюда, какъ французы стрѣляютъ въ мое зеркало», и прибавилъ смѣясь: «впрочемъ, признаться должно, я и самъ на ихъ мѣстѣ далъ бы себѣ эту потѣху». По окончаніи войны перемѣщенъ былъ онъ изъ московскаго департамента въ Петербургскій сенатъ и прожилъ тутъ до отставки своей.

Тогдашняя допожарная Москва имѣла нѣсколько подобныхъ средоточій общежитія. Въ 1805 году былъ я слишкомъ молодъ, чтобы посѣщать и знать ихъ коротко. Но домъ отца моего могъ дать мнѣ понятіе о свѣтской жизни той эпохи. Я имѣлъ несчастье лишиться отца моего, князя Андрея Ивановича, въ лѣтахъ, едва выходящихъ изъ отрочества. Но первыя впечатлѣнія мои подтвердились позже отзывами о немъ людей образованныхъ и бывшихъ съ нимъ въ постоянныхъ и дружескихъ сношеніяхъ. А потому и могу искренно говорить о немъ, не подвергаясь опасенію быть подозрѣваемымъ въ излишнемъ сыновнемъ пристрастіи. Мой родитель былъ одинъ изъ образованнѣйшихъ, почтеннѣйшихъ и любезнѣйшихъ людей своего времени. Онъ владѣлъ даромъ слова, любилъ разговоръ, обмѣнъ мыслей и мнѣній, даже любилъ споры, но не по упрямству убѣжденій своихъ, не по тщеславію ума, довольнаго са-

мимъ собою, но по любви къ искусству и къ оживленію бесѣды. Онъ любилъ споръ для спора, какъ умственную гимнастику, какъ безобидную стрѣльбу въ цѣль, какъ фехтованье, удовлетворяющее личному самолюбію, но не оставляющее по себѣ раны на побѣжденномъ. Онъ зналъ нѣсколько иностранныхъ языковъ, особенно хорошо зналъ французскій; русскій зналъ онъ болѣе на практикѣ, нежели литературно и грамматически, какъ и большая часть русскаго общества въ то время, которое писало умно и дѣльно, но съ ошибками противъ правилъ правописанія. Жуковскій сказывалъ мнѣ, что онъ часто въ разговорѣ съ нимъ дивился ловкости и мѣткости, съ которыми бѣгло переводилъ онъ на русскій языкъ мысли и выраженія, явно сложившіяся въ умѣ его на языкѣ французскомъ. Когда замѣчалъ онъ кокетничанье молодыхъ дамъ, онъ говорилъ, что она *пересъмениваетъ*, и этотъ вольный переводъ французскаго слова пошелъ въ ходъ и употреблялся въ обществѣ. Помню, что князь И. И. Долгорукій, долго послѣ смерти отца моего, шутя жаловался мнѣ на него за подобные переводы. Князь Андрей Ивановичъ былъ въ послѣдній годъ царствованія Екатерины нижегородскимъ и пензенскимъ генераль-губернаторомъ, а князь Долгорукій подъ начальствомъ его — вице-губернаторомъ въ Пензѣ. Въмѣсто того, чтобы, слѣдуя русскому обычаю, называть его по имени и отчеству, онъ, въ разговорѣ обращаясь къ нему, говорилъ: г. вице-губернаторъ, какъ говорится во Франціи: Monsieur le président; Monsieur le conseiller и т. д. Мой отецъ довольно блистательно прошелъ свое служебное поприще: 20 лѣтъ съ небольшимъ былъ онъ уже полковникомъ и командовалъ полкомъ. Не знаю, чему приписать такое скорое повышение, но вѣрно уже — не искательству, чему служить доказательствомъ, что, находясь подъ начальствомъ князя Потемкина въ Турецкую войну, былъ онъ съ нимъ въ неблагопріятныхъ сношеніяхъ: слыхалъ я, что князь находилъ молодого чловека черезчуръ независимымъ и гордымъ. Впрочемъ, съ самыхъ раннихъ лѣтъ мой отецъ имѣлъ доступъ къ великому князю Павлу Петровичу и былъ однимъ изъ ближнихъ ему товарищей. По кончинѣ императрицы и по уничтоженіи намѣстничествъ былъ онъ назначенъ сенаторомъ въ Москву. Въ семъ званіи получилъ онъ чинъ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника и орденъ Св. Александра Невскаго. Вскорѣ потомъ въ то же царствованіе императора Павла былъ онъ вовсе уволенъ отъ службы; ему было тогда около 50 лѣтъ. Послѣдніе годы жизни своей, совершенно свободные отъ служебныхъ и даже свѣтскихъ обязанностей (потому что онъ мало выѣзжалъ изъ дому, и то единственно по утрамъ для прогулки и навѣщанія родственниковъ и ближайшихъ друзей), провелъ онъ въ Москвѣ въ собственномъ домѣ, у Колымажнаго двора. По тогдашнимъ понятіямъ и размѣрамъ, домъ былъ довольно большой, съ очень большимъ дворомъ и садомъ. Онъ жилъ открыто, но не по тогдашнему обычаю, т. е. не давалъ ни праздниковъ ни большихъ обѣдовъ,

а принималъ гостей ежедневно, по вечерамъ, за исключеніемъ трехъ или четырехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ, которые проводилъ въ своей подмосковной, селѣ Остафьевѣ. Большую часть дня просиживалъ онъ за книгою у камина въ большихъ, обитыхъ зеленымъ сафьяномъ, креслахъ, которыя мнѣ еще памятны и знакомы были почти всей Москвѣ. Въ домѣ была значительная библіотека, ежегодно обогащаемая новыми произведеніями французской литературы. Онъ былъ дѣятельнымъ потребителемъ тогдашнихъ книжныхъ лавокъ, Рица и Курделя (кажется такъ). Любимое чтеніе его были историческія и философическія книги; урывками и тайкомъ обращали они на себя мое ребяческое вниманіе. Помню между прочими книгу знаменитаго французскаго врача и физиологиста Cabanis: *Rapports du physique et du moral de l'homme*. За этимъ чтеніемъ и въ упомянутыхъ выше креслахъ заставляли его пріѣзжающіе гости, начиная съ 9 часовъ вечера. Иногда съѣзжалось пять-шесть человекъ, иногда двадцать, иногда пятьдесятъ и болѣе, и все незванные. Приемное помѣщеніе заключалось въ двухъ небольшихъ комнатахъ, изъ которыхъ одна называлась *зеленою*, другая *диванною*, и то и другое названіе было знакомо москвичамъ. Послѣ разговора, продолжавшагося около часу за чаемъ, ставились карточные столы для охотниковъ, къ которымъ и самъ хозяинъ принадлежалъ. Этихъ столовъ было иногда такъ много, что князь Як. Ив. Лобановъ-Ростовскій шутя предлагалъ хозяину устроить всячіе столы и стулья для удобнѣйшаго размѣщенія гостей. Когда нечаянный ихъ наплывъ принималъ слишкомъ большіе размѣры, то молодежь отправлялась въ другіе нежилые покои, болѣе обширныя гостиныя, назначенныя для экстренныхъ случаевъ; тутъ предавалась она или играмъ или пляскѣ, при наскоро устроенномъ, но, впрочемъ, очень умѣренномъ освѣщеніи, и подъ музыку домашняго оркестра, состоявшаго изъ скрипки и флейты. Тотъ же князь Лобановъ говаривалъ: «кажется, люди живутъ въ одномъ домѣ, а нѣтъ между ними никакого согласія». Скрипачъ былъ нашъ буфетчикъ, а флейтистъ — дядька мой Никита Егоровъ. Вношу имя его въ мою лѣтопись, во-первыхъ, изъ благодарности къ памяти его, а во-вторыхъ, потому, что въ послѣдствіи времени онъ очень забавлялъ насъ съ Жуковскимъ, когда случилось ему быть въ пьяномъ видѣ, что, сказать правду, случалось ему едва ли не каждый вечеръ. Онъ тогда читалъ намъ безграмотныя и безтолковыя произведенія пера своего. Какъ сказали мы выше, родительскій домъ не отличался ни внѣшнею пышностью ни лакомыми пиршествами. Опять тотъ же князь Лобановъ говорилъ мнѣ долго по кончинѣ отца моего: «ужъ, конечно, не роскошью зазывалъ онъ всю Москву, должно признаться, что кормилъ онъ насъ за ужинами довольно плохо, а когда хотѣлъ похвастаться искусствомъ повара своего, то бывало еще хуже».

Первыя мои дѣтскія и отроческія впечатлѣнія сливаются въ памяти моей съ воспоминаніями о замѣчательныхъ лицахъ, которыхъ

видалъ я у отца моего. Тутъ рано свыкъся я съ внѣшнею жизнью и обстановкою образованія. Эти явленія были для меня болѣе галлереею отдѣльныхъ портретовъ, нежели полною картиною дѣйствительности. Знакомства и сближенія съ лицами быть не могло. Но все же чуткое свойство отрочества не лишено было нѣкоторой восприимчивости. Съ учителями своими, признаться должно, учился я плохо; но мнѣ сдается и нынѣ, что эта живая атмосфера, въ которой я жилъ, хотя и не сознательно, была для меня не совсѣмъ бесполезною школою. Постараюсь оттиснуть хотя бѣгло и слегка кой-какія фотографіи изъ моей памяти. Лицо моего отца сдѣлается явственнѣе при начертаніи среды его окружавшей. Нѣкоторыя изъ этихъ лицъ были москвичами и постоянными посѣтителями нашего дома; другія заѣзжія въ Москву. Въ числѣ послѣднихъ начнемъ съ канцлера графа Александра Романовича Воронцова. Онъ долго управлялъ иностранными дѣлами государства. Князь Андрей Ивановичъ былъ съ нимъ особенно друженъ и велъ съ нимъ постоянную переписку на французскомъ языкѣ. У обоихъ почеркъ былъ почти недоступенъ глазамъ простыхъ смертныхъ. Мой отецъ обыкновенно диктовалъ свои письма сестрѣ моей, бывшей послѣ замужемъ за княземъ Алексѣемъ Григорьевичемъ Щербатовымъ. Но графъ писалъ собственноручно. Письма его были нерѣдко предметомъ напряженныхъ изученій и усилій, на которыя сзывались всѣ домашніе, отъ мала до велика, а иногда и посторонніе.

Братья Зубовы, князь Платонъ и князь Валеріанъ.

Еще помню красивое лицо и деревяшку послѣдняго, сильно поразившаго мое вниманіе. Изъ двухъ братьевъ, кажется, съ нимъ особенно друженъ былъ мой родитель. Помню, какъ, въ царствованіе императора Павла, онъ въ дорожномъ платьѣ прямо вѣхалъ къ намъ въ домъ, проѣздомъ изъ ссылки своей въ Петербургъ. Кажется, что князь Андрей Ивановичъ по связямъ своимъ отчасти даже содѣйствовалъ возвращенію его изъ ссылки, о чемъ послѣ, вѣроятно, и сожалѣлъ и упрекалъ себя, хотя лично и любилъ его.

Свѣтлѣйшій князь Петръ Васильевичъ Лопухинъ. Письма его къ моему отцу, хотя писаны и не очень грамотно и на французскомъ и на русскомъ языкѣ, отличаются нѣкоторою живостью и литературностью. Въ нихъ встрѣчаются цитаты изъ Diderot, что даетъ легкое, но довольно вѣрное понятіе о діапазонѣ тогдашняго настроенія умовъ и вѣрованій. Многіе полагають, что въ жизни и привычкахъ отцовъ нашихъ литературная стихія или вовсе не существовала, или была едва замѣтна. Это совершенно противорѣчитъ истинѣ: дѣды и отцы были гораздо литературнѣе внуковъ и сыновей. Можно рѣшительно сказать, что нигдѣ и никогда не было двора столь литературнаго, какъ дворъ Екатерины II. И Людовикъ XVI, покровительствомъ, оказаннымъ Расину и Мольеру, и самъ Фридрихъ Великій, сей ученикъ Вольтера на прусскомъ пре-

столь, не могут затѣнить въ этомъ отношеніи блескъ петербургскаго двора. У Екатерины Великой былъ, такъ сказать, собственный литературный секретариатъ; Храповицкій, Козицкій и другія лица, между прочими государственными дѣлами, занимались при ней литературными. Великій князь Павелъ Петровичъ и великая княгиня Марія Ѳеодоровна имѣли въ Парижѣ литературнаго корреспондента, въ лицѣ нынѣ только-что извѣстнаго, а въ свое время знаменитаго писателя Лагарпа. Письма эти, въ послѣдствіи изданія, представляютъ любопытную картину тогдашней современной литературы. Въ отсутствіи всякой принужденности и официальной чопорности, они приносятъ честь и писавшему ихъ и тѣмъ, къ которымъ они были писаны. Подобные примѣры, истекающіе изъ царскаго двора, не могли не имѣть увлекательнаго и значительнаго вліянія на людей приближенныхъ къ двору, на высшее общество, а потомъ и средніе слои его. Вельможи и государственные люди, какъ Шуваловы, Бецкіе, Румянцевы и другіе, вступали также въ переписку съ иностранными писателями, особенно французскими, и каждый хотѣлъ имѣть въ своемъ портфельѣ хотя одно письмо Вольтера или д'Аламбера. Не касаясь настоящаго времени, чтобы съ нимъ не ссориться, можно искренно и положительно сказать о прошедшемъ, что нѣкоторая часть высшаго нашего общества была выше нашей тогдашней литературы. Любознательность, вкусъ, потребность въ умственныхъ наслажденіяхъ были пробуждены и *тонко изощрены*. Не скажу, чтобы уровень просвѣщенія былъ тогда возведенъ на значительную степень. Ученіе, положительныя знанія были довольно поверхностны. Но все же не было не только невѣжества, но не было и равнодушія къ уму и его проявленіямъ. Пожалуй, можно витѣвато и сердито возставать на тогдашнюю французманію. Но справедливы ли будутъ эти нареканія? Здѣсь кстати припомнить русскую пословицу: нужда научить ѣсть калачи. Любовь, алчность къ чтенію сильно давали себя чувствовать въ высшемъ обществѣ, а домашняго хлѣба не было. По прочтеніи нѣсколькихъ русскихъ поэтовъ, и пожалуй двухъ трехъ русскихъ книгъ, образованные и мучимые голодомъ читатели поневолѣ должны были кидаться на французскія книги. Въ переводахъ съ иностранныхъ языковъ, особенно съ французскаго, они не нуждались, потому что могли читать подлинникъ. Переводами они пренебрегали, а въ туземныхъ произведеніяхъ родной почвы былъ недостатокъ. Что же оставалось имъ дѣлать? Неужели безграмотность или совершенная безчитательность, изъ упрямой любви къ родному и благоразумнаго презрѣнія къ иностранному, были бы благоразумнѣе и лучше? Знаю, что нынѣ нѣкоторые патріоты-публицисты, изъ ненависти ко всему привозному, негодовали бы на разрѣшеніе привоза хлѣба изъ-за границы, въ случаѣ общаго неурожая въ Россіи. Но патріотизмъ прежнихъ поколѣній не доходилъ до этого геройскаго самопожертвованія.

Князь Лопухинъ имѣлъ, какъ сказываютъ, много природнаго ума и русскаго шутливаго остроумія. Помню, какъ однажды, въ проѣздъ его черезъ Москву, представлялись мы ему съ Карамзинымъ и почти всею Москвою, что было въ обыкновеніи при всѣхъ проѣздахъ сановниковъ и высшихъ государственныхъ людей. Тогда только, что получено было извѣстіе о назначеніи Мертваго генераль-провіантмейстеромъ: «увидимъ», сказалъ князь, «что будетъ отъ Мертваго, а отъ живыхъ по этой части доселѣ проку было мало». При Екатеринѣ князь былъ въ С.-Петербургѣ полицмейстеромъ, и цензура книгъ была ему подвѣдомственна; позже, когда онъ былъ предсѣдателемъ государственнаго совѣта, а Дмитріевъ — министромъ юстиціи, и дѣла цензуры стали многосложнѣе и щекотливѣе, — «а помните ли, говорилъ онъ Дмитріеву, какъ въ наше время все это проходило тихо и просто? Въ залу, куда собиралось множество народа и всякаго званія, кто съ прошеніемъ, кто со схваченнымъ на улицѣ за шумъ, пьянство или буйство, ты, бывало, приносилъ мнѣ свою рукопись, — я наскоро прочитывалъ ее, подписывался на ней, и дѣло съ концомъ». Дмитріевъ поступилъ на мѣсто его въ званіи министра юстиціи и въ домъ, по этому званію имъ занимаемый. Спустя нѣсколько дней князь, встрѣтясь съ нимъ, спросилъ его: «Какъ устроились вы въ министерскомъ домѣ и приняли ли вы въ цѣлости всю казенную мебель?» Дмитріевъ былъ очень щекотливъ и раздражителенъ; такой вопросъ показался ему страннымъ и неумѣстнымъ, и отвѣчалъ онъ довольно сухо: «Вы, видно, меня не понимаете, сказалъ ему князь: я говорю о...» и тутъ назвалъ онъ одного изъ сенаторовъ, который былъ неизмѣнною принадлежностью каждаго министра юстиціи и его-то причислялъ онъ къ мебели казеннаго дома.

Николай Семеновичъ Мордвиновъ, одинъ изъ старѣйшихъ и ближайшихъ друзей отца моего, у коего въ домѣ онъ со всѣмъ семействомъ однажды останавливался и прожилъ нѣсколько времени, проѣздомъ въ Петербургъ. Онъ и тогда уже имѣлъ эти распушенные сѣдины, которыя до глубокой старости придавали особенную прелесть и красоту его свѣжему и юно-старческому лицу.

Ханыковъ, воинъ, поэтъ и дипломатъ. Онъ болѣе и удачнѣе писалъ по-французски, но въ «Аонидахъ» Карамзина встрѣчаются и русскіе стихи его, помнится — на смерть брата, не чуждые дарованія и согрѣтые сердечною теплотою. Онъ очень былъ остеръ и любезенъ, но и очень некрасивъ, а между тѣмъ очень занятъ собою. Бѣда, говорили о немъ, когда въ разговорѣ глаза его попадутъ на зеркало: тутъ прости всѣ любезности и умъ его! Онъ начнетъ охорашиваться, и чтобы опять привести его въ себя, нужно собесѣднику его лавировать его отъ зеркала.

Князь Бѣлосельскій. Человѣкъ умный, до высшей степени любезный, ума образованнаго, но одержимый недугомъ метроманіи; онъ прославился своими эксцентрическими французскими стихами. На рус-

скомъ языкѣ много шума надѣла опера его «Оленька». Въ царствованіе императора Павла была разыграна она на домашнемъ и дворовомъ театрѣ Столыпина. Поэтическія и другія вольности были доведены въ ней до самыхъ крайнихъ предѣловъ, такъ что вся присутствующая публика пришла въ соблазнъ и негодованіе. Это былъ настоящій драматическій гвалтъ: дамы съ ужасомъ выбѣгали изъ залы, и скоро весь городъ наполнился молвою объ этомъ представленіи. Слухи объ этомъ соблазнительномъ происшествіи дошли до Петербурга, и отъ правительства потребована была рукопись этой оперы. Испуганный князь Бѣлосельскій прибѣжалъ къ пріятелю своему Карамзину и просилъ его кое-какъ и на скорую руку очистить текстъ отъ слишкомъ скромныхъ выраженій и замѣнить ихъ другими, болѣе приличными. Въ такомъ эксургационномъ видѣ рукопись немедленно отправлена въ Петербургъ. И концы въ воду: тѣмъ дѣло и кончилось. Авторъ и содержатель театра Столыпинъ спасены отъ дальнѣйшихъ взысканій. Очищенная опера была послѣ напечатана и должна составлять нынѣ литературную рѣдкость. Князь Бѣлосельскій былъ нравственно фізіологическою загадкою. И до него, и при немъ, и послѣ него видали умныхъ людей и вмѣстѣ съ тѣмъ плохихъ стихотворцевъ; но у него, по извѣстному выраженію П. В. Мятлева, первые три пальца правой руки одержимы были горячкою, когда онъ брался за перо. Мнѣ сказывали, что въ раннемъ дѣтствѣ моемъ я былъ съ нимъ въ перепискѣ, и что онъ называлъ меня своимъ поэтомъ. Это для меня преданіе донсторическое. Но помню, что онъ всегда былъ ко мнѣ очень ласковъ.

Федоръ Ивановичъ Киселевъ (родной дядя графа Павла Дмитріевича). Еще вижу предъ собою львиную голову его, о которой могутъ дать нѣкоторое понятіе портреты Мирабо, тѣмъ болѣе, что и его лицо было изрыто оспою. Помню Владимирскую звѣзду 2-й степени на его фракѣ, знакъ отличія, который въ то время былъ еще довольно рѣдокъ. Онъ человѣкъ былъ пылкій и страстный, между прочимъ, къ карточной игрѣ, которая разорила состояніе и здоровье его. Онъ цѣлыя ночи просиживалъ за картами. Тогда вели въ Москвѣ крупную, азартную игру. У насъ въ домѣ по вечерамъ также играли много, но единственно въ коммерческія игры и, преимущественно, въ бостонъ, бывший въ общемъ употребленіи. Кто-то сказалъ, что въ этой игрѣ имѣешь дѣло съ двумя врагами и однимъ предателемъ, т.-е. съ тѣмъ, который вамъ вистуетъ. Киселевъ былъ остеръ и рѣзокъ на языкъ: въ словахъ и шуткахъ его отзывалась острога и шутка, совершенно русскаго свойства, что тогда встрѣчалось часто. Французская шутка, обыкновенно, отвлеченна и улетучена: она ударить въ голову, пощекочетъ мозгъ и тутъ же выдыхается, какъ шампанское вино; русская шутка полноувѣнѣе, ее почти всегда можно представить въ лицахъ; въ ней, если она удачна, должно быть всегда что-то живописное и драматическое. Оттого она и болѣе живуча. Русская шутка не



береть сразу; ей нужно нѣсколько устарѣть и частыми повтореніями войти въ свои права. Это доброкачественное вино, которое и на первый годъ вкусно: но чѣмъ дальше, тѣмъ лучше и разъемистѣе. Мнѣ часто хотѣлось составить новую «Россиаду» изъ шутокъ, поговорокъ, острыхъ словъ, запечатлѣнныхъ особымъ руссизмомъ. Есть нѣкоторый складъ ума, нѣкоторое балагурство, краснобайство, которое такъ и пахнетъ Русью, и этотъ запахъ чувствуется не только въ томъ, что называется у насъ народомъ, — нѣтъ, не во гнѣвъ будь сказано оплакивающимъ разъединеніе высшаго общественнаго класса съ низшимъ, какъ-будто не всегда и не вездѣ развивалось и должно въ нѣкоторой степени развиваться такое историческое разъединеніе — нѣтъ, этотъ складъ, этотъ норовъ русскаго ума встрѣчается не только въ избѣ, на площади, на крестьянскихъ сходкахъ, но и въ блестящихъ салонахъ, обставленныхъ и проникнутыхъ принадлежностями, воздухомъ и наитіемъ Запада.

Мы упомянули выше, что Киселевъ, многими любимый и уважаемый, былъ нрава нѣсколько крутого и желчнаго, слѣдовательно имѣлъ и недоброжелателей. «Отчего это, Федоръ Ивановичъ, многіе васъ не любятъ?» кто-то спросилъ его. — «А почему же всѣмъ любить меня?» отвѣчалъ онъ: «развѣ я червонецъ?» Однажды предлагали ему войти въ масонскую ложу. «Мнѣ извѣстно», отвѣчалъ онъ, «что масоны раздѣляются на двѣ степени — на *биратусы* и на *донатусы*: въ числѣ первыхъ быть не хочу, въ числѣ послѣднихъ — и подавно».

Вскорѣ по возвращеніи изъ арміи, послѣ заключенія Тильзитскаго мира, князь Дм. Ив. Лобановъ-Ростовскій говорилъ однажды при немъ, на вечерѣ у отца моего: «Странная судьба моя! Живу себѣ преспокойно на своемъ винномъ заводѣ и занимаюсь хозяйствомъ. Вдругъ получаю Высочайшее повелѣніе явиться въ армію и тутъ же подписываю прелиминаріи Тильзитскаго мира». — «Да, въ самомъ дѣлѣ, очень странно», возразилъ Киселевъ, прикладывая правую руку къ щекѣ своей, что бывало обыкновеннымъ движеніемъ его, когда онъ готовился выпалить краснымъ или острымъ словомъ: «если послѣ подписанія этихъ прелиминарій сослали бы васъ на заводъ, то оно было бы понятнѣе». — Кстати о Лобановѣ. Я слышалъ отъ него, что за обѣдомъ у Наполеона разговорились объ Екатеринѣ Великой. Наполеонъ много его спрашивалъ о ней. Князь Лобановъ уже въ ея царствованіе былъ дѣйствующимъ лицомъ, — онъ, какъ всѣ современники и сослуживцы его, признательно и горячо преданъ былъ ея памяти. У него при разсказѣ навернулись слезы на глазахъ. Наполеонъ это замѣтилъ и сказалъ: «Видишь, Бертье, какъ русскіе любятъ и помнятъ своихъ царей». Въ подписаніи упомянутыхъ прелиминарій кн. Лобановъ оказалъ удѣльную находчивость: французскій уполномоченный подписалъ: Berthier, prince de Neufchâtele. Лобановъ, чтобы не отстать отъ него, подписалъ: Lobanoff, prince de Rostoff.

Послѣ Киселева упомянемъ о Павлѣ Никитичѣ Каверинѣ. Вотъ тоже былъ коренной русскій умъ, краснобай, искусный и живописующій рассказчикъ. Онъ былъ долго оберъ-полиціеимейстеромъ: знавалъ многихъ и многое, чего другимъ не удавалосьъ знать. Все это изощрило умъ его, тонкій и проницательный отъ природы. Онъ былъ въ пріятельскихъ сношеніяхъ съ Карамзинымъ и Дмитриевымъ и близкій человѣкъ въ домѣ нашемъ. Карамзинъ всегда съ уваженіемъ упоминалъ объ одномъ случаѣ, который хорошо характеризуетъ и его нравственныя качества. Не задолго до вступленія непріятеля въ Москву, графъ Ростопчинъ говорилъ ему и Карамзину о возможности предать городъ огню и такую встрѣчею угостить побѣдителя. Каверинъ совершенно раздѣлялъ мнѣніе его и ободрялъ къ приведенію въ дѣйствіе. А между тѣмъ у небогатаго Каверина все достояніе заключалось въ домахъ, кажется въ Охотномъ ряду, которые отдавались въ наемъ подѣ лавки московскимъ торговцамъ. Послѣ дѣтскаго знакомства моего съ нимъ, я имѣлъ случай сблизиться съ нимъ въ зрѣлыхъ лѣтахъ моихъ; я часто уговаривалъ его составить на досугѣ записки свои. Не знаю, исполнилъ ли онъ мое желаніе.

Сюда просится еще одно лицо, также отпечатокъ русскій и въ старину извѣстный островами, балагурствомъ и проказами своими Копьевъ. Онъ также былъ изъ близкихъ людей въ домѣ нашемъ и даже когда-то въ немъ жилъ. Въ это время и вслѣдствіе нѣкоторыхъ обстоятельствъ онъ крѣпко озаботилъ и напугалъ отца моего. Копьевъ помолвленъ былъ на богатой невѣстѣ: однажды на вечерѣ заснулъ онъ, сидя возлѣ нея; пробужденіе было несчастное. Обиженная невѣста отказала ему. Онъ былъ въ отчаяніи и говорилъ о самоубійствѣ. Нѣсколько дней родитель мой и приставленные къ нему люди день и ночь караулили его. Все обошлось благополучно. Помню одну сцену, которой въ дѣтствѣ я былъ свидѣтелемъ: за ужиномъ у насъ, гдѣ постороннимъ былъ одинъ Копьевъ, онъ, вѣроятно, о чемъ-то и о комъ-то похвастался: подробностей не помню. Отецъ мой сказалъ ему что-то въ этомъ родѣ: «ну, полно Копьевъ! какъ же это могло быть такъ? Ты тогда былъ еще молодымъ и неизвѣстнымъ человѣкомъ, едва вступившимъ въ свѣтъ и въ службу. А тотъ — чуть-ли не шла рѣчь о Петрѣ Васильевичѣ Мятлевѣ — былъ уже и въ чинахъ и занималъ почетное мѣсто въ обществѣ». Оскорбленный Копьевъ вскочилъ изъ-за стола и сказалъ: «видно, князь, вы судите о людяхъ по чинамъ: если такъ, то не иначе возвращусь къ вамъ въ домъ, какъ въ генеральскомъ чинѣ», — и выбѣжалъ изъ комнаты. Этотъ упрекъ, который вовсе не могъ мѣтить въ отца моего, не смутилъ его, и онъ очень смѣялся выходкѣ Копьева. Дѣло въ томъ, что такъ и было: спустя нѣсколько лѣтъ, Копьевъ явился генераломъ въ Москву и въ домъ отца моего, который, разумѣется, принялъ его, какъ ни въ чемъ не бывало. Послѣ и гораздо позже вторично встрѣтился я съ Копьевымъ. Въ немъ были еще кое-какія замашки остроумія, но уже не было прежняго

пыла и блеска. Дѣло въ томъ, что если русская шутка не старѣетъ, то русскіе шутники, какъ и всѣ другіе люди, могутъ легко сѣстаться. Копьевъ имѣлъ довольно значительное лицо: онъ былъ очень смугль, съ черными выразительными глазами, которыми поминутно моргалъ; говоря, онъ нѣсколько картавилъ и вмѣстѣ съ тѣмъ отчеканивалъ слова свои какимъ-то особеннымъ удареніемъ. Копьевъ написалъ комедію: «Лебедянская ярмарка». Вѣроятно, въ свое время имѣла она нѣкоторый успѣхъ, по крайней мѣрѣ, въ дѣтствѣ моемъ слыхалъ я нѣкоторыя повторяемыя изъ нея шутки.

Графъ Левъ Кирилловичъ Разумовскій. Вотъ вѣрный типъ истиннаго и благороднаго барства. Одна уже наружность его носила отпечатокъ аристократіи: высокаго роста и пріятнаго лица; поступью, стройными движеніями, вѣжливостью отличался въ образованной и вѣжливой средѣ своей. Онъ смотрѣлъ, мыслилъ, чувствовалъ, дѣйствовалъ бариномъ. Умъ, образованный ученіемъ, чтеніемъ и любовью ко всему прекрасному, нравъ мягкій и доброхотный, — въ то время, по французскимъ поговоркамъ, говорили: «*poli comme un grand seigneur*» и «*insolent comme un valet*». Подобная оцѣнка можетъ служить вывѣской стараго общества и едва-ли не за нимъ исключительно осталась. Помню, какъ въ дѣтствѣ радовался я ловкости, съ которою, пріѣзжая онъ къ намъ зимою, кидалъ въ первой комнатѣ на стулъ большую бѣлую муфту свою. Въ молодости своей былъ онъ сердечникомъ и счастливымъ обожателемъ прекраснаго пола. Дмитріевъ рассказывалъ мнѣ, что, когда они по Семеновскому полку дежурили вмѣстѣ на гауптвахтѣ, онъ поминутно получалъ и писалъ пидулочки на тонкой душистой бумагѣ. Впослѣдствіи, въ домѣ своемъ на Тверской, нынѣ занимаемомъ англійскимъ клубомъ, и въ своей подмосковной, извѣстномъ Петровскомъ-Разумовскомъ, онъ жилъ открыто, давалъ балы, концерты, спектакли и радушно угощалъ Москву. Въ домѣ его былъ зимній садъ, богатая бібліотека и красивыя произведенія художествъ — картины, статуи. Онъ въ дѣтствѣ моемъ особенно ласкалъ меня, всегда вступалъ со мною въ разговоръ, повторялъ другимъ мои такъ называемыя острыя дѣтскія слова, что, разумѣется, льстило моему раннему самолюбію и привлекало меня къ его личности. Однажды очень смѣялся онъ отвѣту моему на вопросъ: какъ доволенъ я нѣмецкимъ своимъ дядькой, который — будь сказано между нами — немного попивалъ: *Il est bon, mais il cultive trop la vigne du seigneur*. Позже опять встрѣтились мы съ нимъ въ жизни, и по преданіямъ и по сочувствію были съ нимъ, несмотря на разность лѣтъ, въ пріятельскихъ сношеніяхъ. Впрочемъ, могу сказать, что я имѣлъ счастье воссоздавать эти наслѣдственныя связи и съ нѣкоторыми другими пріятелями родителя моего. Въ молодости моей я не чуждался бесѣды съ стариками; въ зрѣлыхъ лѣтахъ и въ старости равно сближался я съ молодежью. Это, такъ сказать, расширяло кругъ жизни моей и обогатило меня многими впечатлѣніями и воспоминаніями.

Графъ Бутурлинъ. Я уже упоминалъ о немъ, какъ о знаменитомъ библиофилѣ. Еще были у него два особенныя свойства, а именно: лингвистическое и топографическое. Не только зналъ онъ твердо многіе европейскіе языки, но и различныя ихъ областныя нарѣчія. Онъ былъ въ свое время маленькій Меццофанти. Никогда еще не выѣзжавши изъ Россіи, онъ хранилъ въ памяти планы первѣйшихъ столицъ и городовъ въ Европѣ, со всѣми зданіями, площадями, улицами и закоулками. Это служило часто поводомъ къ забавнымъ мистификаціямъ надъ иностранными путешественниками, посѣщавшими Москву. Онъ закидывалъ ихъ своими свѣдѣніями и выдавалъ себя за человѣка, объѣхавшаго Европу и обратившаго долгое и рачительное вниманіе на приобрѣтеніе этихъ разнообразныхъ и мелочныхъ свѣдѣній. Каково же было изумленіе слушателей, когда узнавали они, что этотъ полиглотъ, что этотъ наблюдательный странствователь никогда не переступалъ русской границы.

Князь Андрей Ивановичъ, находившійся въ дружбѣ съ замѣчательными современниками своими и со старшими, былъ очень привѣтливъ и къ молодежи, которая ему сочувствовала и уважала его. Изъ числа молодыхъ людей назову князя Петра Петровича Долгорукова. Онъ былъ генераль-адъютантъ императора Александра Павловича и любимецъ по восшествіи его на престолъ. Но не долго пользовался онъ своимъ счастьемъ и умеръ въ молодыхъ лѣтахъ. По бабкѣ моей, женѣ князя Ив. Андреевича, урожденной Долгоруковой, мы находились въ родствѣ съ этою фамиліею. Нынѣ семейныя узы значительно укоротились. Несмотря на свою молодость, Долгоруковъ былъ, такъ сказать, представителемъ или предтечею того, что послѣ начали называть ультра-русскою партіею; ненависть властолюбіе французовъ и особенно Наполеона, онъ былъ — сказываютъ — однимъ изъ сильнѣйшихъ побудителей войны, которая несчастно запечатлѣна была Аустерлицкимъ сраженіемъ. Наполеонъ (не помню въ точности, гдѣ и когда) не пощадилъ князя Долгорукова, упрекая императора Александра, что онъ поддается побужденіямъ и совѣтамъ молодыхъ, неопытныхъ людей, его окружающихъ. Готовясь къ войнѣ 1812 года, государь писалъ Чарторижскому: *esprit public est excellent, en différant essentiellement de celui dont vous avez été témoin: il n'y a plus de cette jactance, qui faisait me briser ennemi.* Въ этихъ словахъ, можетъ-быть, есть обратный намекъ на Долгорукова. Вижу словно теперь, какъ князь Долгоруковъ въ самый день коронаціи пріѣхалъ къ намъ вечеромъ, вѣроятно, прямо изъ дворца, въ полномъ мундирномъ облаченіи. Долго длился разговоръ его съ отцомъ съ глазу на глазъ. Родитель мой, хотя никогда не пользовался отъиною милостью императора Павла, на которую такъ былъ онъ щедръ съ нѣкоторыми лицами, и хотя никогда не принадлежалъ къ такъ называемой гатчинской партіи, былъ однакожъ, какъ говорится, на хорошемъ счету у императора. Самъ же онъ преданъ былъ ему глубоко и горячо. Мы уже сказали, что

въ молодыхъ или отроческихъ лѣтахъ былъ онъ приближеннымъ къ обществу молодого цесаревича. Знавшіе коротко внутреннія качества императора, напримѣръ, Нелединскій, мой родитель и другіе, достойные уваженія и довѣренности люди, отзывались всегда о немъ съ живымъ и особеннымъ сочувствіемъ. Они могли жалѣть о нѣкоторыхъ дѣйствіяхъ и явленіяхъ его правленія, но всегда отдавали справедливость природнымъ, прекраснымъ его чувствамъ и правиламъ. Помню, какъ родитель мой пораженъ былъ извѣстіемъ объ его кончинѣ и отъ скорби занемогъ, какъ Нелединскій, не иначе, какъ со слезами на глазахъ, вспоминалъ и говорилъ о немъ. Вѣроятно, разговоръ Долгорукова съ родителемъ моимъ имѣлъ предметомъ послѣднія событія и виды и надежды на тѣ событія, которыхъ можно было ожидать при новомъ царствованіи.

Графъ Никита Петровичъ Панинъ. Довольно живо помню его холодное и нѣсколько строгое лицо. Во время учрежденія первой милиціи былъ онъ избранъ смоленскимъ дворянствомъ въ областные начальники. Императоръ Александръ не утвердилъ этого выбора; вслѣдствіе того возникла переписка. Письма графа Панина отличались рѣзкостью выраженій. Ихъ читали у насъ въ домѣ, и мой отецъ резюмировалъ ихъ выраженіемъ также не совсемъ парламентарнымъ, котораго я тогда не понималъ, а теперь не могу повѣрить. Графъ Панинъ рѣдко являлся въ Москву. Послѣ отставки, не имѣя позволенія жить въ Петербургѣ, онъ жилъ почти безвыѣздно въ своей деревнѣ (Смоленской губ.). Онъ былъ страстный охотникъ, и охота его была устроена на иностранную богатую руку. Вѣроятно, послѣ него должно было остаться много любопытныхъ и важныхъ бумагъ, какъ собственно имъ собранныхъ, такъ и документовъ историческихъ прежняго времени и писемъ къ отцу его графу Петру Ивановичу, одному изъ замѣчательнѣйшихъ лицъ царствованія Екатерины Великой. Въ книгѣ моей о Фонвизинѣ мелькомъ упоминаю о немъ и о сокровищахъ, которыя могли сохраниться въ его семейномъ архивѣ. Помню о перепискѣ графа Никиты Петровича съ графомъ Ростопчинымъ, напечатанной, кажется, во французскомъ «Монитерѣ». Дѣло идетъ о какомъ-то письмѣ, вѣроятно, найденномъ французами въ Москвѣ и напечатанномъ въ Парижѣ по приказанію Наполеона. Въ этомъ письмѣ, будто писанномъ гр. Ростопчинымъ російскому послу въ Лондонѣ, графу Воронцову, неблагоприятно упоминается о графѣ Никитѣ Петровичѣ. Сей послѣдній письменно требовалъ отъ графа Ростопчина объясненія и вмѣстѣ съ тѣмъ опроверженія упомянутыхъ нареканій.

Князь Сергій Долгорукій, прозванный *Le prince Calambour*, потому что онъ отличался въ этой гимнастикѣ словъ и мыслей. При сестрѣ моей была старая французская гувернантка *M-me Perlot*. Долгорукій говорилъ, что нѣтъ ей опасенія умереть отъ водяной (*perd l'eau*). Въ то время на-досугѣ не стыдились читать *Mercure de France* и ломать себѣ голову надъ разгадываніемъ шарадъ и лого-

грифовъ, въ немъ печатаемыхъ. Что-жь дѣлать! Приверженецъ и поклонникъ старины, винюсь и каюсь въ этомъ грѣхѣ нашихъ отцовъ. Въ семейныхъ бумагахъ нашель я слѣды игры *секретарь* и разныхъ буриме. Однажды вечеромъ какая-то загадка въ журналѣ утомила головоломныя упражненія собравшихся эдиповъ. Но все было безуспѣшно: сфинксъ не давался въ руки. Такъ и разошлись. Поздно ночью, уже къ утру, будятъ отца моего и приносятъ ему письмо отъ Долгорукаго. Онъ встревожился и ожидалъ какой-нибудь бѣды: можетъ-быть Долгорукой внезапно сильно занемогъ; можетъ-быть, вызвалъ онъ на поединокъ и приглашаетъ онъ друга своего въ секунданты. Страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ. Долгорукой, возвратившись домой, не успокоился и не заснулъ, покуда, наконецъ, не напалъ на сфинкса. Опасаясь, чтобы кто-нибудь другой не предупредилъ его, спѣшилъ онъ заявить отцу моему свою находку. Впрочемъ, какъ Долгорукой, какъ и многіе его сверстники, хотя и соревновалъ съ французами въ каламбурахъ и шарадахъ, но не менѣе того храбро дрался противъ нихъ, когда задавали они другія задачи на рѣшеніе. Подъ ядрами и пулями ихъ и самъ направляя въ нихъ таковыя же, стрѣлялъ онъ въ нихъ въ отечественную войну французскими каламбурами. Извѣстна шутка его, сказанная послѣ Тарутинскаго сраженія. Онъ приписывалъ Наполеону слѣдующее обращеніе къ Кутузову: *Vienx routier ta routine m'a dérouté*. Когда разнесся слухъ, что взять въ плѣнъ генераль Le Pelletier, онъ предсказалъ, что французы замерзнутъ въ Россіи, потому что они потеряли *le pelletier général de l'armée française* (генеральнаго мѣховщика французскихъ войскъ).

Въ эту фотографическую перечень просится и князь Александръ Николаевичъ Голицынъ. Въ царствованіе императора Павла былъ онъ сосланъ въ Москву въ одно время съ Гурьевымъ (впослѣдствіи министромъ финансовъ). Разумѣется, въ ссылкѣ своей были они рады дому отца моего. Князь Андрей Ивановичъ прозвалъ его *le petit comandeur*. Родитель мой любилъ раздавать подобныя забавныя и невинныя прозвища въ пріятельскомъ кругу своемъ. Впрочемъ, это народная и простонародная черта. Въ деревняхъ рѣдко встрѣчаешь крестьянина, не имѣющаго какого-нибудь особаго прозвища. Такимъ образомъ прозвалъ онъ неаполитанскимъ королемъ Михаила Михайловича Бороздина, который нѣкогда занималъ Неаполь русскими войсками, находившимися подъ начальствомъ его. А одного изъ временщиковъ царствованія императрицы Екатерины Ивана Николаевича Римскаго-Корсакова называлъ онъ Польскимъ королемъ, потому что онъ постоянно носилъ по камзолу ленту Бѣлаго Орла, которая въ то время была еще рѣдкостью въ Россіи. Князь Голицынъ былъ необыкновенно любезный человѣкъ и мастеръ рассказывать на русскомъ и французскомъ языкѣ. Онъ также былъ живыя записки о трехъ царствованіяхъ. Жаль, что эти записки выдохлись въ однихъ разговорахъ. Замѣчательно, что онъ оставилъ Петербургъ и госу-

дарственную службу еще заживо. Въ крымскомъ уединеніи своемъ *Гаспра*, на южномъ берегу, посвятилъ онъ себя исключительно духовной и созерцательной жизни: впрочемъ, и созерцательной почти въ одномъ духовномъ отношеніи, потому что не могъ онъ любоваться прекрасной горной природою, лишившись въ послѣднее время жизни своей зрѣнія. Но и тутъ, по свидѣтельству знавшихъ его, не терялъ онъ живости ума и прелести разговора. Это уединеніе и отшельничество его напоминаютъ примѣры нѣкоторыхъ французскихъ вельможъ и свѣтскихъ людей старой Франціи, которые также послѣ боевой и страстной жизни оканчивали дни свои въ *Port-Royal*, или въ какой-нибудь другой духовной общинѣ.

Распевелившаяся память моя выдвигаетъ впередъ еще одно лицо, нѣкоторымъ образомъ посторонне и случайно принадлежащее къ картинѣ, которую уставляю. Но оно относится къ той же эпохѣ и было у насъ домашнее. Одна черта изъ жизни его, мнѣ памятная, такъ оригинальна, что стоитъ привести ее. Рѣчь идетъ о музыкантѣ *Mer George*, кажется, англичанинѣ. По назначеніи князя Андрея Ивановича генераль-губернаторомъ, семейство наше, т.-е. матушка съ дѣтьми и другими домашними лицами, ѣхали мы въ Нижній-Новгородъ въ большой линейкѣ. Тогда взыскательности комфорта мало были извѣстны. Ночью кто-то просыпается и видитъ, что соскочилъ кожаный фаргукъ, съ линейки, а мѣсто, занимаемое матерью моею, пусто. Общій испугъ—все спрашиваютъ: да гдѣ же княгиня? Ужъ нѣсколько минутъ, что она упала—отвѣчаетъ Жоржъ съ невозмутимымъ британскимъ флегмомъ. По счастью обошлось благополучно: матушка не ушиблась. Паденіе ея и слова Жоржа возбудили общій смѣхъ, который всегда повторялся въ домѣ нашемъ при разсказѣ объ этомъ происшествіи.

*Еще одно послѣднее сказаніе*, тоже вставка, но въ которомъ я разыгрываю если не дѣйствующую роль, то страдательную. Въ первыхъ годахъ моего дѣтства (мнѣ было тогда года 4 или 5) былъ при мнѣ въ должности дядьки французъ *La Pierre*. Не знаю, какія были умственные и нравственные качества его, по крайней мѣрѣ мнѣ памятно, что онъ не грѣшилъ потворствомъ и баловствомъ въ отношеніи къ барскому и генераль-губернаторскому сынку. Видно, привилегіи аристократіи, противъ которыхъ такъ вопіютъ въ наше время, не заражали тогда дѣтей своимъ тлетворнымъ вліяніемъ. Дѣло въ томъ, что господинъ Лапьеръ, не помню именно за что и про что, еѣкалъ меня бритвеннымъ ремнемъ. Лѣтъ 30 спустя, бывши въ Нижнемъ-Новгородѣ, заходилъ я въ домъ, тогда нами занимаемый. Въ немъ отыскалъ я, впрочемъ, не памятью сердца, а развѣ памятью чего-нибудь другого, или чуялось мнѣ, что отыскалъ я комнату, въ которой подвергался я этимъ экзекуціямъ. Но я не злопамятенъ. Признаюсь, не раздѣляю благороднаго негодованія, которымъ воспаляются либералы и педагоги-недотроги, при одной мысли объ исправительныхъ розгахъ, употребляемыхъ въ дѣтствѣ. Во-первыхъ, судя по себѣ

и по многимъ изъ нашего сѣченаго поколѣнія, я вовсе не полагаю, чтобы тѣлесныя наказанія унижали характеръ и достоинство человѣка. Всѣ эти филантропическія умствования, по большей части, не что иное, какъ суемысліе и суесловіе. Дѣло не въ наказаніяхъ, а дѣло въ томъ, чтобы дѣти и взрослые люди, подвергающіеся наказанію, были убѣждены въ справедливости наказателя, а не могли приписывать наказаніе произволу и необдуманной вспыльчивости. Не признаю сѣченія радикальнымъ пособіемъ для воспитанія малолѣтнихъ, но и отсутствіе розогъ не признаю также радикальнымъ способомъ для нравственнаго образованія и посѣянія въ дѣтяхъ благородныхъ чувствъ. Эти благородныя чувства могутъ быть равно посѣяны и съ розгами и безъ розогъ. Но при нашемъ, отчасти при матеріальномъ, сложеніи, страхъ физической боли особенно въ дѣтствѣ имѣеть, безъ сомнѣнія, значеніе свое. Къ тому же развѣ однѣ розги принадлежать къ тѣлесному наказанію? Развѣ посадить ребенка или взрослого человѣка на хлѣбъ и на воду не есть также тѣлесное наказаніе? А запереть провинившагося въ школьный карцеръ или въ городскую тюрьму не то же тѣлесное наказаніе? А заставить лѣниваго и небрежнаго ученика написать въ рекреационныя часы нѣсколько страницъ склоненій или спряженій — неужели и это духовное, а не прямо тѣлесное и физическое наказаніе? При нашей немощи, при погрѣшностяхъ и порокахъ, которымъ зародышъ находится и въ дѣтствѣ, при страстныхъ и преступныхъ увлеченіяхъ, которымъ подвержена человѣческая природа, намъ нуженъ тѣмъ или другимъ способомъ дѣйствительный, воздерживающій насъ, страхъ. Этотъ необходимый внутренній нравственный балластъ нынѣ многіе хотять бросить за бортъ. Они хотѣли бы изгнать всякій страхъ изъ дѣтства, изъ взрослыхъ людей, изъ политическаго и гражданскаго общества. Они хотѣли бы уничтожить страхъ на землѣ, и внѣ и выше земли. Извѣстная аксіома: дайте волѣ итти (*laisser faire, laisser passer*), которую экономисты прикладываютъ къ матеріальнымъ силамъ и движеніямъ промышленности и торговли, можетъ-быть, еще имѣеть свой смыслъ и свою пользу въ этомъ отношеніи; но неблагоприятно, нелѣпо хотѣтъ приспособить ее къ нравственнымъ и духовнымъ силамъ человѣка. Нѣтъ спора, что безъ страха, безъ этой, такъ-сказать, внутренней оглядки, съ этой дикою и необузданною безнаказанностью, безъ этого полновѣснаго балласта, который служитъ уравниваніемъ и охраною, можно итти легче и уйти далеко. Но какъ и куда?— вотъ вопросы, о которыхъ стоитъ поразмыслить.

Не умѣю сказать, какимъ образомъ не задолго до кончины отца моего попалъ на житѣ къ намъ въ домъ старый италіанецъ Ротондѣ Батонди. Онъ былъ большой чудакъ и, вѣроятно, нѣсколько тронутый. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, которые провелъ у насъ, мы не могли дознаться происхожденія его и обстоятельствъ его жизни. Онъ или умышленно скрывалъ, или вслѣдствіе какой-нибудь



болѣзни, или крутого переворота въ жизни, утратилъ сознание о себѣ. Однимъ словомъ, отшибло память ему. Мы всегда подозрѣвали, что онъ игралъ нѣкоторую роль во французской революціи. По крайней мѣрѣ, ее единственно зналъ онъ, хотя ошибочно и смутно, и въ разговорѣ своемъ усвоилъ себѣ ея фразеологию. Впрочемъ, чтобы ни было прежде въ жизни его, въ настоящей былъ онъ очень добръ, кротокъ и всему нашему семейству преданъ. Даже былъ онъ любимъ домашнею прислугою нашею и остафьевскими крестьянами, хотя русское простонародье не очень жалуется и любитъ чужеземныхъ приживалокъ обоюга пола на хлѣбахъ у барина. Былъ онъ большой охотникъ читать газеты и занимался политикой по-своему, или, лучше сказать, по обычаю многихъ, которые слѣпо вѣрятъ своей газетѣ и вкривь и вкосъ судятъ о событіяхъ и слухахъ. Обыкновенное заключеніе политическихъ свѣдѣній его было *il y a quelque chose sur le tapis*. Мы уже сказали, что, исключая эпохи 93-го года, которую, вѣроятно, зналъ онъ на дѣлѣ и по опыту, онъ не имѣлъ ни малѣйшаго понятія ни о природѣ, ни о мірѣ, его окружающемъ. Карамзинъ удивлялся и часто смѣялся его всеобщему невѣдѣнію; онъ не зналъ имени ни единого дерева ни единого растенія: точно родился онъ вчерашняго дня. Между тѣмъ онъ вовсе былъ не глупъ и даже имѣлъ нѣкоторую проницательность и оригинальность въ понятіяхъ и въ способѣ ихъ выраженія. Онъ былъ роста высокаго, очень толстъ, съ чертами въ лицѣ довольно правильными и выразительными. Разумѣется, онъ не зналъ и лѣтъ своихъ; но, повидимому, былъ онъ лѣтъ 60. Бывало передъ самымъ ужиномъ выходилъ онъ изъ своей комнаты и являлся въ столовую съ красной скуфейкой на головѣ — вѣроятно, воспоминаніемъ о причeskѣ своей во время оно — и съ зажженною копеечною свѣчкою въ рукѣ. Явившись, снималъ онъ скуфейку, гасилъ свѣчку, и обыкновенно предъ собравшимися гостями начиналъ читать собственныя философическія, а иногда о современной политикѣ разсужденія, набросанныя на лоскуткѣ бумаги. Что была за философія, что за изложеніе, что за слогъ, о томъ и говорить нечего. Но все было оригинально, часто нелѣпо и всегда забавно. Карамзинъ вообще не былъ хохотливъ, но не рѣдко и онъ заливался веселымъ добродушнымъ смѣхомъ, при выходкахъ его изустнаго и письменнаго витіиства. За ужиномъ Батонди былъ, разумѣется, мишенью всякихъ шутокъ и мистификацій. Князь Лобановъ, Нелединскій и другіе болѣе или менѣе принимали въ нихъ дѣятельное участіе. Одному Киселеву это не нравилось: «только и былъ домъ — говаривалъ онъ — домъ князя Вяземскаго, въ которомъ можно было предаваться удовольствіямъ разумнаго и занимательнаго разговора; а теперь и тутъ завелись домашнимъ медвѣдемъ и всѣ только и занимаются что травлю его».

И признаться должно, травля иногда была безпощадная. Но медвѣдь не унывалъ и не сдавался. У Батонди выдавались нерѣдко

выходки довольно удачныя. Однажды сказалъ онъ князю Платону Александровичу Зубову: «Послушайте, князь, роль ваша кончена: вы наслаждались всеми благами фортуны и власти. Совѣтую вамъ теперь сойти со сцены окончательно, удалиться въ деревню, завестись хорошою библіотекой и сыскать себѣ, если можете, вѣрнаго друга, который согласился бы раздѣлить съ вами ваше уединеніе».

Одна милая дама казалась равнодушна была ко вниманію къ ней молодого гвардейскаго офицера, пріѣхавшаго изъ Петербурга. «Какъ странно играетъ нами судьба — сказалъ онъ ей при многолюдномъ обществѣ — нѣкогда имѣли вы въ рукавѣ своемъ (французское выраженіе *dans la manche*) нѣсколько министровъ, а теперь вы сами попали въ рукавъ молодого поручика».

Я нѣсколько распространился о Батонди, потому что онъ былъ характеристическая личность въ домѣ нашемъ и въ самомъ московскомъ обществѣ, прилегавшемъ къ нашему дому. Предъ вступленіемъ непріятеля въ Москву, спустя уже нѣсколько лѣтъ по кончинѣ отца моего, отправилъ я его въ нашу подмосковную, село Остафьево. Онъ пробылъ тамъ все время пребыванія французовъ въ Москвѣ. Вскорѣ затѣмъ онъ тамъ и умеръ, угорѣвъ ночью въ своей комнатѣ. — Карамзинъ въ письмѣ своемъ изъ Нижняго ко мнѣ оплакивалъ его кончину. Его присутствію, а также и бывшей швейцарской гувернантки при дочеряхъ Карамзина, равно пріютившейся въ Остафьевѣ, вѣроятно, обязанъ я тѣмъ, что мой домъ не былъ преданъ разоренію и грабительству. Французы не стыдились русскихъ варваровъ и варварски поступали съ ними, но можетъ-быть посовѣстились предъ европейскими свидѣтелями. Одними слѣдами ихъ наѣздовъ и набѣговъ осталось нѣсколько пустыхъ мѣстъ на полкѣ библіотеки и двѣ три польскія пули, вбитыя во внутреннія стѣны дома и ругательная на русскихъ надпись, сдѣланная на польскомъ языкѣ. Извѣстный партизанъ Фигнеръ заходилъ въ то время нѣсколько разъ въ Остафьево и былъ въ хорошихъ ладахъ съ Батонди и швейцаркою. Чтобы покончить съ этимъ вводнымъ этюдомъ о Батонди, замѣтимъ, что послѣ смерти князя Андрея Ивановича, который кажется не любилъ графа Ростопчина, графъ, по родству и связямъ своимъ съ Карамзинымъ, сдѣлался ежедневнымъ посѣтителемъ нашего дома; авторъ «Мыслей въ слухъ на Красномъ крыльцѣ», авторъ комедіи «Вѣсти или убитый живой», а впоследствии знаменитыхъ московскихъ афишекъ, нерѣдко входилъ въ письменное и полемическое состязаніе съ Батонди. Не нужно прибавлять, что участіе его въ этихъ шуткахъ придавало имъ особую занимательность.

Въ числѣ фотографій, отразившихся, по большей части, въ профиль и при сумеркахъ временъ давно минувшихъ, приведу мелко еще нѣсколько лицъ, которыхъ видалъ я на вечерахъ у отца моего.

Разумѣется, въ это общество, составленное изъ постоянно осѣдлыхъ москвичей и изъ наплыва гостей, по временамъ набѣжавшихъ изъ Петербурга и изъ провинцій, являлись и чужеземные путешественники, которые всегда любили гостепріимную и своеобразную Москву. Матушка моя была ирландка, изъ фамиліи *Орейли* и потому англичане преимущественно находили у насъ особенное и почти родное привѣтствіе. Скончалась она за нѣсколько лѣтъ до отца моего, когда мнѣ было лѣтъ 10, и потому личныя мои воспоминанія о ней очень темны и неполны. Но по слухамъ знаю я, что и она была любезная хозяйка и помогала отцу моему дѣлать домъ нашъ пріятнымъ и гостепріимнымъ. Нѣкоторые изъ путешественниковъ въ изданныхъ ими книгахъ упоминали объ отцѣ моемъ, о любезности его, о ласковомъ приѣмѣ, о бібліотекѣ его, собраніи медалей и физическомъ кабинетѣ. Эти иноплеменные лица менѣе врѣзались въ памяти моей, нежели родные земляки. Были тутъ и просто путешественники, извѣстные нынѣ подъ именемъ туристовъ, были художники и промышленники. Одинъ англичанинъ выглядываетъ изъ этихъ истертыхъ и скудныхъ воспоминаній. Кажется называли его Монтексъ. Онъ пріѣзжалъ изъ Лапландіи: угадывая и предупреждая нынѣшнюю фотографическую картоманію, развозилъ онъ вмѣсто обыкновенныхъ визитныхъ карточекъ свое гравированное изображеніе, въ шубѣ, мѣховой шапкѣ, въ саняхъ, запряженныхъ оленями.

Мелькомъ представляется еще одинъ ліонскій фабрикантъ. Отецъ мой былъ большой приверженецъ и поклонникъ консула Бонапарте. Помню, какъ однажды за обѣдомъ разсказалъ онъ старой своей теткѣ, княгинѣ Оболенской, малознакомой съ современною политическою исторіею, въ сжатомъ и бѣгломъ очеркѣ главныя событія изъ жизни Бонапарте и объяснилъ ей изумительную судьбу этого баловня и покорителя обстоятельствъ. По возвращеніи своемъ во Францію, ліонецъ, признательный отцу моему за любовь его къ Бонапарте, прислалъ ему большой портретъ его, вытканый изъ шелка. Сей портретъ до самой кончины его висѣлъ у него на стѣнѣ въ спальнѣ. Не знаю, какими судьбами тотъ же самый портретъ пропалъ въ московскомъ разгромѣ, какъ-будто въ знаменіе, что и самый подлинникъ скоро пропадетъ. Въ пребываніе фабриканта въ Москвѣ уже готовились къ первой французской войнѣ и говорили о выступленіи гвардіи изъ Петербурга. Кто-то за ужиномъ довольно нескромно и необдуманно подшутилъ: при этомъ французъ сказалъ онъ, что пріятель его, какой-то гвардейскій офицеръ, обѣщаль прислать ему пирога изъ Парижа. — «А сказалъ ли онъ вамъ — спросилъ на отрѣзъ запальчивый французъ — не прилетѣть ли онъ вамъ этотъ пирогъ въ качествѣ плѣнника». Сердиться было не за что, потому что въ 1805 году никто еще не могъ видѣть во снѣ, что въ 1814 году будемъ мы въ Парижѣ.

Помню еще и Гарнерена, извѣстнаго воздухоплавателя. Онъ первый познакомилъ Москву съ аэростатомъ и въ первое свое пла-

ваніе спустился у насъ въ Остафьевѣ. Но, къ сожалѣнію, мы не были свидѣтелями этого зрѣлища. Въ самый этотъ день мы переѣзжали изъ подмосковной въ городъ: дорогою любовались полетомъ воздушнаго странника, не подозрѣвая, что онъ къ намъ собирался въ гости. Памятникомъ этого перваго воздухоплаванія хранится у насъ и донинѣ въ подмосковной лодка, въ которой сидѣли Гарнерень и московскій французскій торговецъ Оберъ.

Въ то время толки и споры о сословіяхъ, о *сословномъ духѣ*, о разобщеніи сословій, не были на очереди, но, не менѣе того, нравы смягчались. Правила и обычаи, внушенные просвѣщенной философіею и христіанскимъ братствомъ, входили болѣе и болѣе глубже и благотворнѣе въ умы и сердца. Признаюсь, я за себя радъ, что въ нашу молодость мы не были оглушены трескотнею словъ, которая нынѣ раздается въ журналахъ и въ ораторскихъ рѣчахъ. Во-первыхъ, радъ я и потому, что самое выраженіе *сословія* по этимологическому составу своему совершенно безмысленно и что оно и не по-русски и не по-каковски. А, во вторыхъ, потому, что въ силу какого-то рокового логическаго послѣдствія и самыя пренія, изъ него истекающія, заимствуютъ часто безмысліе и неправильность своего родового происхожденія. Разряды, различные слои общественные встрѣчаются вездѣ и должны встрѣчаться въ благоустроенномъ обществѣ. Одни дикари наслаждаются полнымъ равенствомъ невѣжества и почти животной грубости. Въ этомъ дикомъ положеніи одна физическая сила даетъ сословную или, пожалуй, сокулачную привилегію. Въ монархическомъ обществѣ строгое и точное распредѣленіе общественныхъ разрядовъ необходимо какъ для пользы высшихъ, такъ и для пользы низшихъ. Въ республикахъ эти разряды или особенности составляютъ сами собою, или силою вещей. Нужно только, чтобы условія, выгоды одного разряда, выгоды однихъ лицъ не были въ ущербъ другимъ, чтобы общество не было рѣзко раздѣлено на молоты и на наковальни, но чтобы всѣ общественныя стихіи, силы и пружины содѣйствовали другъ другу въ достиженіи общественнаго устройства. Въ числѣ лживыхъ выраженій, пущенныхъ въ ходъ въ новѣйшее время, замѣчательно и слѣдующее: *эксплуатація чловѣка чловѣкомъ* (*l'exploitation de l'homme par l'homme*). При этомъ выраженіи пѣна выступаетъ у рта, волосъ становится дыбомъ и кипятъ чернила у либераловъ и прогрессистовъ; здѣсь забывается одно: все гражданское общество, вся образованность, все просвѣщеніе основаны на этой эксплуатаціи, на этой разработкѣ ближняго ближнимъ, чтобы помогать другъ другу. Скажу опять: одни дикари не умѣютъ эксплуатировать другъ друга иначе, какъ на пустой желудокъ, когда съ голоду одному придется съѣсть другого. *Эксплуатація* есть круговая порука, взаимное обученіе, взаимное содѣйствіе. Одинъ даетъ свою мысль, свой капиталъ, нажитый этою мыслью; другой свои руки, свои силы, чтобы привести эту мысль въ исполненіе, и самому получить отъ нея возмездіе и выгоду.

Въ тогдашней Москвѣ не было словопреній о подобныхъ вопросахъ. Это такъ! Но то, что въ этихъ вопросахъ заключается существеннаго и добросовѣстнаго, сказывалось молча само собою. Въ различныхъ слояхъ общества не было ни высокоумнаго презрѣнія съ одной стороны ни тревожной зависти съ другой. Безспорно, и тогда были свои *больныя мѣста*, но какая-то терпимость, эта житейская мудрость, не давала забывать, что есть однакоже нѣкоторое необходимое равенство, а именно: равенство предъ закономъ, т.-е. чтобы никто не былъ ни выше, ни ниже, ни внѣ закона. Другое поголовное равенство противно и природнымъ и общественнымъ узаконеніямъ. Нынѣ встрѣчаются часто большіе мастера возбуждать и разжигать вопросы. Жуковский говорилъ объ одномъ нашемъ пріятелѣ, который выдавалъ и признавалъ себя болѣе влюбленнымъ, нежели былъ на самомъ дѣлѣ: «да, онъ работалъ, работалъ и, наконецъ, расковырнулся весь сердечной болячкой и страстью!» Такъ и теперь расковыриваютъ нѣкоторые вопросы до болячки.

Въ то время были еще Европѣ памятны свѣжія преданія о событіяхъ, возмутившихъ и обогрившихъ кровью почву Франціи въ борьбѣ съ старыми порядками и въ напряженныхъ восторженныхъ усиліяхъ установить порядки новые. Въ самой Франціи умы успокоились и остыли. Эта реакція вызвала потребность и жажду мирныхъ и общежитскихъ удовольствій. Эта реакція, хотя до насъ собственно и не касавшаяся, потому что у насъ не было перелома, неминуемо, однакоже должна была отозваться и въ Россіи. Праздная Москва обратилась къ этимъ удовольствіямъ, и общественная жизнь сдѣлалась потребностью и цѣлью ея исканій и усилій. Было въ этомъ много поверхностнаго, много, можетъ-быть, легкомысленнаго—не спору; но, по крайней мѣрѣ, внѣшняя и блестящая сторона умственной жизни, именно до-пожарной Москвы, была во всей силѣ своей и процвѣтаніи. И въ этомъ отношеніи могла носить она почетное званіе первопрестольной столицы, несмотря на отсутствіе двора и высшихъ государственныхъ учреждений.

Недоуміе ли, упрямство ли, или сознательное заблужденіе, но нѣкоторые изъ нашихъ мыслителей и писателей признаютъ за русскій *народъ* то, что на дѣлѣ и по исторіи есть *простонародье*. Въ семь послѣднемъ, по мнѣнію ихъ, вся сила, вся жизнь, всѣ доблести, однимъ словомъ вся русская *суть*. Въ подобномъ воззрѣніи есть много матеріальнаго и количественнаго. Большинство имѣетъ, конечно, свое значеніе и свою силу. Но въ государственномъ устройствѣ и меньшинство, особенно когда оно отличается образованіемъ и просвѣщеніемъ, должно быть принято въ счетъ и уважено. Смотрѣть на него, какъ на вставочныя числа, которыя можно вычеркнуть изъ итога, есть не только не справедливость и, слѣдовательно, проступокъ, но и безуміе. При имени Минина, представителя большинства, есть рядомъ имя и князя Пожарскаго, представителя меньшинства,

которое дало ходъ дѣлу и окончательно его порѣшило. Такъ было, такъ и есть и нынѣ въ нашей исторіи; такъ будетъ, надѣмся, и впредь, и долго-долго, если не всегда, потому что, какъ сказалъ Карамзинъ, на землѣ нѣтъ ничего безсмертнаго, кромѣ души чело-вѣческой.

Эти сѣтованія о русскомъ разладѣ со времени Петра I—у многихъ, вѣрю, искреннія и, слѣдовательно, почтенныя: какъ всякое крайнее мнѣніе или парадоксъ, имѣютъ и они свою долю истины, но во всякомъ случаѣ эти сѣтованія бесполезны: соль этой истины обезсилилась, и, по выраженію евангелія, ее осолить уже нечѣмъ. Перевороты и событія перешли въ исторію: исторія перешла въ жизнь; а исторіи перестраивать нельзя. Попытки на это возсозданіе, если бы и можно было серьезно за него приняться, только загромоздили бы насъ и дорогу нашу новыми обломками, а не создали бы ничего новаго. Не признавать въ Петрѣ I русской личности, русскаго духа, несмотря на всѣ его чужеземныя нововведенія, выказываетъ — воля ваша — непониманіе русскаго начала и русской природы. Своими геніальными свойствами и духовными доблестями, своими недостатками и, пожалуй, погрѣшностями, принадлежащими, впрочемъ, еще болѣе эпохѣ его, нежели ему самому, своею государственною опрометчивостью, Петръ былъ въ высшемъ размѣрѣ, въ высшей степени первообразъ русскаго человѣка. Въ свое время онъ былъ въ тѣсномъ сочувствіи и въ живыхъ сношеніяхъ съ народомъ и просто-народьемъ. Дубина его и нынѣ памятна народу: и если современникамъ она была подчасъ тяжела, она нынѣ благословляется безпристрастнымъ преданіемъ. Анекдоты о немъ, легенды, пѣсни, народныя и солдатскія, ходятъ и нынѣ по городамъ и деревнямъ. Слава имени и дѣлъ его—достояніе народное. Иногда бессознательно, безъ изслѣдованій, безъ критической повѣрки, но чувствомъ, но темною благодарностью они присвоены народной памяти. Въ числѣ немногихъ историческихъ воспоминаній онѣ уцѣлѣли въ умѣ и простого народа. Подобная *популярность* (скажемъ мы за неимѣніемъ русскаго кореннаго слова) выше всякихъ историческихъ кабинетныхъ умствованій. Образы Петра Великаго и Екатерины Великой живы въ воспоминаніяхъ народныхъ. А объ этомъ до-петровскомъ періодѣ, о лицахъ, которыя этотъ періодъ знаменуютъ, объ этомъ *золотомъ народномъ вѣкѣ*, про который ему поютъ и о которомъ онъ будто тяжело вздыхаетъ и скорбитъ, народъ, т.-е. просто-народье, никакого понятія не имѣетъ. Просто-народью некогда изучать, классически изучать свою древнюю исторію; довольно съ него знать на дѣлѣ кой-что изъ настоящей, и темно и смутно готовиться къ будущей. И должно сознаться, что по образу и складу выражений, которыя употребляютъ нѣкоторые изъ этихъ *пророковъ минувшаго*, народъ и послѣ ихъ іереміадъ никакого понятія имѣть не можетъ. Нѣкоторые изъ нашихъ писателей, скорбя о народномъ разладѣ въ Россіи, пишутъ именно такимъ языкомъ, который въ разладѣ

съ народнымъ понятіемъ и котораго любимое ими большинство въ толкъ взять не можетъ. Рагуютъ они за большинство, а пишутъ для немногихъ. Надобно опрокинуться въ бездну нѣмецкой философіи, рыться въ иноязычныхъ словаряхъ, и то новѣйшихъ изданій, чтобы попасть на слѣдъ того, что сказать хотѣла ихъ интеллигенція и субъективность. Прочтите что-нибудь изъ сочиненій этихъ народолобцевъ на деревенской сходкѣ, и вы убѣдитесь, поймутъ ли васъ грамотные гласные волостные, не говоря ужъ о сельскомъ мірѣ. Въ наше старое время смѣялись надъ галлицизмами и прочими *измами* нѣкоторыхъ писателей изъ Карамзинской школы; но въ виду пестроты нынѣшняго языка можно было бы и самого князя Шаликова причислить къ Шишковскимъ старовѣрамъ.

*Кн. Вяземскій.*

### Старое и молодое поколѣніе грибоѣдовской Москвы.

Много лѣтъ тому назадъ въ грязномъ варварскомъ Тавризѣ печально влачилъ юные дни русскій поэтъ. Лѣто стояло въ полномъ разгарѣ, восточное солнце жгло и томило нестерпимо. Поэтъ не находилъ мѣста отъ духоты и зноя и еще болѣе отъ тоски. Ему только что минуло двадцать шесть лѣтъ. Безжалостная судьба забросила его въ дикій край, далеко отъ родныхъ, отъ друзей, отъ блестящей свѣтской жизни, переполненной удовольствіями и интересными исторіями. Молодой человекъ припоминаетъ, какъ тяжело ему было разставаться съ культурнымъ обществомъ. Многое здѣсь заслуживало насмѣшки, даже презрѣнія, но здѣсь также можно было подѣлиться кое съ кѣмъ новой мыслию, задушевымъ чувствомъ, можно было рассчитывать на литературные успѣхи, а пока — между прочимъ — увлекаться безъ конца «пріятными женщинами», говорить имъ милый вздоръ, плѣнять ихъ музыкой... Сколько жизни и радостей, столь цѣнныхъ въ извѣстномъ возрастѣ!... Но судьба и люди остались неумолимы. Поэта увѣряли: — Въ уединеніи вы усовершенствуете ваши дарованія. И напрасно поэтъ возражалъ, «жестокое было бы мнѣ цвѣтущія лѣта свои провести между дикообразными азіатцами», онъ долженъ былъ «разстаться съ домашними пенатами»...

Прошло уже не мало времени послѣ этой разлуки, но тоска не унимается. Поэтъ усиливается разогнать ее всякими средствами, бросается во всевозможныя школьническія шалости, поетъ въ горахъ французскіе куплеты и забавляется игрою эхо. Но все напрасно: «веселость утрачена», ему остается замереть въ неподвижной апатіи, въ полуснѣ. Тогда онъ невольно съ величайшими подробностями начинаеть воскрешать въ памяти покинутыхъ имъ людей. Ихъ жизнь и характеры изъ безграничной дали вырисовываются предъ нимъ съ поразительной яркостью и полнотою. Частности и мелочи.

легко ускользавшія отъ вниманія вблизи, теперь постепенно складываются въ гармоническія и цѣльныя картины. Поэту слишкомъ достаточно времени для самой тщательной вдумчивости. Многія лица, полузабытыя, затерянные въ вихрѣ нескончаемой свѣтской суеты внезапно воскресаютъ и занимаютъ свои мѣста на обширной сценѣ.

Въ одинъ изъ такихъ безконечно-тоскливыхъ знойныхъ дней поэтъ дремалъ въ кіоскѣ своего сада. Предъ нимъ уже не въ первый разъ проходили «знакомыя все лица», мелькали обрывки недавняго прошлаго. Его мысль естественно прежде всего направляется на тѣхъ людей и на тѣ обстоятельства, которыя заставили его изнывать въ одиночествѣ, томится отъ солнечнаго зноя, жить съ ненавистными варварами. Кто забросилъ его умирать въ этомъ адѣ? И въ отвѣтъ въ воображеніи изгнанника поднимается безконечный рядъ образовъ, — и во главѣ ихъ его мать.

Это типичная старомодная москвичка, хозяйка коренного барскаго дома, всѣми силами души преданная свычаємъ и обычаямъ первопрестольной столицы. Она искренно любитъ своего сына, но для нею эта любовь оказывается невыносимымъ бременемъ. Онъ готовъ завидовать пріятелю въ томъ, что у него нѣтъ матери, которой онъ во что бы то ни стало долженъ казаться основательнымъ и солиднымъ молодымъ человѣкомъ.

Настасья Ѳедоровна Грибоѣдова всю жизнь поглощена двумя идеалами — по возможности поставить свой домъ и семью на настоящую аристократическую ногу, какъ это понимаютъ въ Москвѣ, и потомъ устроить сыну карьеру, заставить его «служить и награжденія брать». У нея есть вдохновитель и непогрѣшимый менторъ — дядя поэта.

Это уже цѣлый общественный герой, съ необыкновенно яркими родовыми признаками, воплощающій въ своей особѣ цѣлое поколѣніе. «Онъ какъ левъ дрался съ турками при Суворовѣ», припоминаетъ племянникъ, — «потомъ пресмыкался въ переднихъ всѣхъ случайныхъ людей въ Петербургѣ, въ отставкѣ жилъ сплетнями. Образецъ его правоченій: «я — братъ»... Племянникъ — злосчастнѣйшая жертва этого авторитета. Дядя начинаетъ таскать его чуть не ребенкомъ на поклонъ къ тѣмъ же случайнымъ людямъ «для замысловъ какихъ-то непонятныхъ». Будущему обладателю блестящей карьеры приходится притворяться больнымъ, лишь бы отвязаться отъ этихъ визитовъ, но что же дѣлать! Таковъ строй всей московской жизни...

И адѣсь же поэту представляется нескончаемая галерея родственникововъ, знакомыхъ, страдающихъ той же смѣсю рабской угодливости и барской заносчивости.

Сколько комическихъ, чисто карикатурныхъ лицъ! Но какъ бы цестра и разнорѣчива ни была эта компанія, ее одушевляютъ въ сущности весьма несложныя и у всѣхъ одинаковыя вождѣленія. Вотъ, напримѣръ, важный чиновникъ О., величественной наружности, необычайно солидный съ виду. Поэту припоминается необыкновенно



забавный эпизодъ съ этимъ «государственнымъ мужемъ». Нѣсколько времени тому назадъ, онъ при одномъ слухѣ о пожалованіи ему лишняго «крестишки», немедленно надѣпилъ его и не снималъ два мѣсяца, пока слухи не оказались ложными. Въ Москвѣ много смѣялись этому случаю, но отнюдь не надъ тѣмъ, что было на самомъ дѣлѣ смѣшно.

А вотъ князь Ю., еще болѣе курьезное дѣтище московскихъ салоновъ и канцелярій. Онъ недавно заподозрилъ въ политической неблагонадежности *надворнаго судью*, только потому, что тотъ осмѣлился танцовать съ *дочерью генераль-губернатора*. Это оказалось неслыханной дерзостью! И все оттого, что бѣдный надворный судья не носилъ военнаго мундира, оставилъ военную службу и предпочелъ гражданскую должность. Такой поступокъ московскіе тузы прямо клеймили «бунтомъ». «Мундиръ — одинъ мундиръ» — единственный предметъ ихъ гражданского культа, и ради того же мундира мать поэта становилась предъ нимъ на колѣни и умоляла его — пойти «послужить», а при случаѣ и «прислужиться»... Да, не имѣть мундира; значитъ быть своего рода лишеннымъ правъ. Развѣ только еще одно несчастье можетъ сравниться съ этимъ позоромъ: жить въ провинціи. Весь русскій міръ, лежащій за предѣлами Москвы и «подмосковныхъ», кажется столичнымъ барамъ ссылкой, дикимъ, едва извѣстнымъ краемъ. Барышни приходятъ въ ужасъ при одной мысли — провести зиму безъ Тверской и Кузнецкаго моста. На ихъ языкѣ самое слово *провинціалъ* — бранное, и поэтъ помнить, какія горячія сожалѣнія вызвалъ у всѣхъ этихъ людей бракъ московской барышни съ *провинціаломъ* — только потому, что женихъ проживалъ въ *Саратовѣ*...

«Москва — это лучший уголокъ земного шара», — наперерывъ лепечутъ тѣни, проходящія въ воображеніи поэта. Только въ Москвѣ пребываетъ счастье, просвѣщеніе, хорошій тонъ. Съ этимъ согласна вся Россія. Она и знать не хочетъ о Петербургѣ. Для нея это — чужеземная столица. Даже иностранцы отличаютъ Москву. Она — единственный городъ во всемъ государствѣ, исполненный патристическихъ чувствъ, преданный «общему благу». Московскія дамы, на примѣръ, при вѣсти о нашествіи Наполеона, начали усердно посѣщать церкви, а петербургскія продолжали ѣздить по театрамъ. А когда окончилась война и древняя столица переполнилась военными, московскія дамы и барышни танцовали до изнеможенія, нерѣдко смертельно заболѣвали, изобрѣли даже особую кадрили, гдѣ каждая дама могла танцовать съ двумя кавалерами — все ради того, чтобы военные не остались безъ развлеченій. Правда, эти господа военные далеко не всѣ могли бы удовлетворить разборчивому вкусу. Поэтъ знаетъ это по собственному опыту. Онъ самъ служилъ въ гусарахъ, близко былъ знакомъ съ «ёрами и забіяками» — исключительными типами мундирныхъ героевъ, всю жизнь свою полагавшихъ на кутежи и головоломныя похождения. «Я въ этой дружинѣ»,

признавался онъ потомъ, «всего побылъ четыре мѣсяца, а теперь четвертый годъ не могу попасть на путь истинный».

И нелегко было попасть! Поэта окружало цѣлое сонмище «казарменныхъ готтентотовъ». Теперь на свободѣ онъ подробно припоминаетъ особенности и странности этихъ лицъ. Кого только здѣсь нѣтъ! Дивизионный генералъ такъ и просится въ карикатуру: это готовый Скалозубъ: культъ выпушекъ, петличекъ и фельдфебельской муштры, необычайное счастье въ товарищахъ по службѣ, весьма кстати такъ или иначе выбывающихъ изъ строя и въ заключеніе полное отсутствіе умственныхъ интересовъ...

Впрочемъ, это и лучше. Бѣда, если «казарменный готтентотъ» вообразилъ себя ученымъ и умницей или даже либераломъ. Поэтъ припоминаетъ, сколько забавныхъ минутъ доставилъ ему одинъ сослуживецъ, помѣшанный на каламбурахъ и анекдотахъ. Поэтъ ради него купилъ даже сборникъ всевозможныхъ остротъ и рассказовъ и при каждомъ каламбурѣ армейскаго остролова спрашивалъ, на какой страницѣ искать его *moi*? Тотъ клятвенно принимался завѣрять, что острота его собственная, отнюдь незамѣшанная.

Еще комичнѣе происходили сцены съ казарменными политиками. Эти, наслушавшись страшныхъ словъ, вѣрнѣе подслушавши ихъ кое-гдѣ и какъ попало, воображали себя опаснѣйшими членами секретнѣйшихъ «союзовъ», и ничего не было смѣшнѣе для поэта, какъ видѣть этихъ, въ сущности добрѣйшихъ и невиннѣйшихъ малыхъ въ роли государственныхъ заговорщиковъ. Это все будущіе — «Левонъ и Боринька — чудесные ребята!».

И все это питомцы единственной въ мірѣ столицы! Въ Петербургѣ, правда, знаютъ нѣкоторыя странности старушки и посмѣиваются надъ ея тономъ и патріотизмомъ. Въ петербургскихъ гостиныхъ даже говорятъ нерѣдко: «смѣшна какъ *москвичка*». Но это на самомъ дѣлѣ зависть, досада Петербурга на свое безсиліе стать въ уровень съ Москвой во всѣхъ ея благородныхъ чувствахъ... «Благородныхъ» — повторяетъ поэтъ... Но какъ же вели себя герои и героини этихъ чувствъ на развалинахъ той же «милрой Москвы», едва только изъ нея удалился врагъ? Они сейчасъ же бросились разыскивать свои милые уголки «на Никитской», чаще всего «въ Подновинскомъ» или «противъ *Страстнаго* монастыря». Отыскали, наскоро исправили и — заплясали да такъ, что можно было подуматъ, будто Москва празднуетъ завоеваніе всего земного шара. А между тѣмъ, «чудовище — Наполеонъ» не успѣлъ оставить еще и предѣловъ Россіи. «Мы прыгаемъ ежедневно. Повѣришь ли, силъ не достаетъ», жалуется московская барышня въ письмѣ къ петербургской. «Всѣ вечера необычайно оживлены, вертимся до изнеможенія». Барышнямъ надоѣдаетъ вертѣться: онѣ устраиваютъ поѣздки на саняхъ *по обгорлымъ улицамъ*. Это одна изъ любимыхъ *parties de plaisir*. Всѣ другія исчерпываются балами и обжорствомъ, страшнымъ, едва вѣроятнымъ. Изящныя барышни и ихъ кавалеры начинаютъ болѣть отъ непре-

станныхъ взаимныхъ угощений. Повальная болѣзнь грозитъ опустошить «милые уголки»...

Не правда ли, какая изумительная смѣсь всевозможныхъ добродѣтелей! Патриотическіе вздохи, катанье по обгорѣлымъ улицамъ, барская pruderie и смерть отъ обжорства?...<sup>1)</sup>

«Да», замѣчаетъ поэтъ, «едва другая сыщется столица какъ Москва».

А если отдѣльно припомнить каждаго туза, жившаго и умершаго въ Москвѣ, — выйдетъ совершенно безпримѣрная галерея. Вотъ, напримѣръ, по Никитской, на углу Леонтьевского переулка, находится барскій домъ съ театромъ и зимнимъ садомъ. Лучшіе дни этого «уголка» приходятся какъ разъ на эпоху отечественной войны. Въ театрѣ играетъ хозяйская группа актеровъ, даются преимущественно оперы. Жизнь течетъ весело и ровно, несмотря ни на какія событія въ мірѣ. Хозяевамъ и гостямъ становится по временамъ скучно развѣ только отъ излишняго изобилія однихъ и тѣхъ же удовольствій. Но судьба, очевидно, особенно благосклонна къ этому уголку. Хозяинъ случайно узнаетъ, что за Москвой рѣкой въ гостиницѣ появился кучеръ, который съ помощью свистка производитъ соловьиныя трели. Немедленно посылаютъ за дивнымъ свистуномъ, приказываютъ достать его за какія бы то ни было деньги. Свистуна достаютъ, сажаютъ въ садъ, «и пѣвецъ зимой погоды лѣтней» улаживаетъ всю Москву.

Поэту припоминается и другой, не менѣ оригинальный, любитель искусства, на этотъ разъ случайный обыватель Москвы, — рязанскій помѣщикъ. Онъ, достигши уже преклонной старости, вздумалъ научиться танцовать «по правиламъ», отправился въ Парижъ, брать тамъ уроки у лучшихъ балетмейстеровъ и по возвращеніи началъ обучать танцамъ своихъ дворовыхъ дѣвицъ, устроилъ даже специальную школу. Но искусство процвѣтало не долго. Помѣщикъ слишкомъ ужъ увлекся хореографіей, быстро разорился, и — «амуры и зефиры всѣ распроданы по одиночкѣ»... Нѣкоторыя изъ танцовщицъ были приняты на сцену Большого театра.

Это — все тузы. Но, въ Москвѣ, какъ истинно-русской столицѣ, «дверь отперта для званныхъ и незванныхъ». Сюда являются всѣ, кому нѣтъ мѣста въ европейскихъ гостиницахъ Петербурга. И чѣмъ страннѣе фигура, чѣмъ неопредѣленнѣе ея біографія — тѣмъ она желаннѣе въ этой средѣ, погрязшей въ пустякахъ и сплетняхъ. Поэтъ припоминаетъ обычнаго посѣтителя московскихъ кружковъ съ весьма темнымъ прошлымъ, несомнѣннаго шулера и нахала. Дикобронзовое лицо, съ большими выразительными глазами, волосы, какъ смоль черные, съ просѣдью. О немъ ходили самыя невѣроятныя слухи. Говорили, будто во время путешествія онъ поссорился съ ка-

<sup>1)</sup> Всѣ эти данныя взяты изъ сообщеній самого Грибоѣдова и изъ переписки Волковой и Ланской „Грибоѣдовская Москва“. „Вѣстникъ Европы“, 1874 и 1875 гг.

питаномъ корабля и былъ высаженъ на какомъ-то дикомъ островѣ. Какъ долго онъ прожилъ тамъ, — никто не зналъ, но знали навѣрное, что онъ возвратился татуированнымъ и прозванъ былъ за это американцемъ. Было всемъ извѣстно и другое его качество, уже совершенно неожиданное: о добродѣтели и «честности высокой» этотъ проходимецъ говорилъ, «какимъ-то демономъ внушаемъ», со слезами на глазахъ и съ жаромъ въ лицѣ.

Среди военныхъ поэтъ помнить особенно одного героя московскихъ салоновъ. Откуда-то онъ пріѣхалъ въ столицу послѣ войны, состоялъ въ чинѣ полковника, онъ велъ себя необычайно надменно, жужжалъ всемъ въ уши о своихъ подвигахъ, басомъ рассказывалъ всевозможныя небылицы и всехъ приводилъ въ изумленіе, особенно маменекъ. Полковникъ мѣтилъ въ генералы, лихо танцевалъ мазурку, молодецки носилъ мундиръ и слылъ весьма завидной партіей.

Поэтъ прекрасно помнить самую несчастную изъ московскихъ маменекъ. Она живетъ чуть ли не въ самомъ длинномъ изъ московскихъ домовъ, у нея шесть дочекъ и у каждой дочки свое окошко, отъ котораго она не отходитъ. «Что окошко, то лепешка», смѣются менѣе обремененныя и болѣе счастливыя маменьки... Чѣмъ не семья Тугоуховскихъ! — думаетъ поэтъ. Московскія маменьки и ихъ дочери вообще богатѣйшія темы для комедіи. Маменьки поглощены страстью «пристранвать» своихъ дочекъ. Ихъ беретъ какая-то оторопь, когда онѣ видятъ «большую семью, гдѣ много дочерей, и ни одна изъ нихъ не замужемъ». Кромѣ свадебъ, сплетни — насущнѣйшая потребность московскихъ матронъ — и даже ихъ мужей. Все они совершенно откровенно сознаются, что «съ каждой осенью москвичи устраиваются попрежнему, и начинаются старые сплетни».

Посмотрите, какъ граціозны и милы впечатлѣнія московской барышни въ началѣ сезона, — такими они останутся и до конца. «М-me А. прелестна, Аннета тоже очень красива. Молодая нашла способъ избавиться отъ чернаго пятнышка около носа, что ей очень къ лицу. Мужъ ея красивый малый, ему идутъ маленькіе усики и военный мундиръ. Словомъ, я вчера очень весело провела время: кромѣ самаго бала, мнѣ нравилось общество, среди котораго я находилась, и наконецъ, усердный мой поклонникъ А. П., съ которымъ я постоянно кокетничаю, ни на шагъ не отходилъ отъ меня во весь вечеръ и отчаянно любезничалъ». Болтовня, какъ видите, не особенно связная и богатая содержаніемъ, но зато самъ авторъ рисуется въ видѣ лепечущаго ангела. Притомъ этотъ ангелъ необыкновенно свѣдущъ, и въ своей сферѣ изумительно наблюдателенъ. Мы аккуратно узнаемъ о каждой свадьбѣ и о каждой интригѣ. Очевидно, нашъ корреспондентъ прошелъ серьезную, истинно-московскую школу, злоязычія и сплетничества. Но зато каковъ тонъ! Тончайшій букетъ аристократизма... Московскія барышни, вообще равнодушныя къ военнымъ и ко всему французскому, наполеоновскихъ офицеровъ и генераловъ находятъ отвратительными, потому

что они изъ сословія буржуа, а не изъ «школы Людовика XIV». Такъ именно и выражается московская красавица. Она приходитъ въ неистовую радость, когда ей удается открыть какого-то графа или барона, побывавшаго въ высшей школѣ свѣтской дрессировки... Москва искони жила на нѣсколько столѣтій позже Европы, и на этотъ разъ она обесчичивается ровно на сто лѣтъ и гордится тѣмъ, «что только она еще и дорожить дворянствомъ». Да, дѣйствительно, «отъ головы до пятокъ на всѣхъ московскихъ есть особый отпечатокъ». Поэтъ можетъ припомнить, какъ этотъ отпечатокъ, замѣтный не въ одной Москвѣ, бросился съ перваго взгляда въ глаза умной иностранкѣ, посѣтившей наше отечество въ эпоху отечественной войны. М-ме Сталь изумлялась пустотѣ и низкому умственному уровню высшаго русскаго общества. Въ этой атмосферѣ «нельзя ничему научиться, нельзя развивать своихъ способностей, и люди здѣсь не приобретаютъ никакой охоты ни къ умственному труду ни къ практической дѣятельности»... «Увеселенія являются единственнымъ средствомъ предупредить скуку». Все это подтверждается несомнѣнными отечественными свидѣтельствами.

Перечитайте переписку двухъ модныхъ барышень, пристально слѣдящихъ за фактами и событіями своей сферы, — вы будете поражены невѣжествомъ высшей русской интеллигенціи по вопросамъ, которые, казалось бы, съ особенной силой должны были захватывать московскихъ патріотовъ. Знанія здѣсь самая смутная и первобытная.

Одинъ изъ знатнѣйшихъ московскихъ князей, въ видѣ горячей новости, сообщаетъ, что Наполеонъ отступилъ къ *Майнцу на Одеръ*. Одна изъ умныхъ барышень доказываетъ, что незаконнаго сына нельзя называть «Эммануиломъ», такъ какъ *съ греческаго — это значитъ «Богомъ данный»*...

На невѣжествѣ еще не кончается варварство москвичей. Они не только ничего не знаютъ, но прямо преслѣдуютъ даже чужія попытки что-либо узнать. Поэту припоминается, какъ въ его родномъ домѣ изгонялась страсть «къ наукѣ, къ искусствамъ творческимъ» какъ его любовь къ литературѣ, къ чтенію оскорбляла его мать и всѣхъ родныхъ, какъ его стихи подвергались жестокому презрѣнію со стороны авторитетнѣйшихъ членовъ семьи.

Въ эпоху отечественной войны умственная растерянность въ высшемъ обществѣ ярче обозначалась. Наполеоновское нашествіе въ конецъ перепугало патріотовъ «московскаго отечества». Корсиканскаго варвара быстро отождествили вообще съ иноземнымъ просвѣщеніемъ и особенно съ «идеями». Въ 1813 году Уваровъ въ такихъ словахъ характеризовалъ Штейну столичныхъ аристократовъ: «Смѣшеніе понятий достигло послѣдней степени. Одни заняты просвѣщеніемъ безъ опасностей, т.-е. огня, который не жжетъ. Другіе — и это большая часть — сваливаетъ въ одинъ мѣшокъ Наполеона и Монтескье, французскія арміи и французскія книги... У всѣхъ на языкѣ слова: «религія въ опасности, нарушеніе нравственности, приверженецъ

иноземныхъ идей, иллюминатъ, философъ, франкъ-масонъ, фанатикъ и т. д. Словомъ, совершенное безуміе. Рискуетъ каждую минуту компрометировать себя»... Эта рѣчь — готовая характеристика для гостей сценъ фамусовскаго вечера...

Такова старая, патріархальная Москва. Ее ясно видитъ поэтъ изъ своего далека. И развѣ онъ, съ дѣтства лелѣявшій творческіе образы и мечту о литературной славѣ, можетъ пропустить безъ вниманія такой благодарный матеріалъ! Само настроеніе подсказываетъ ему, какъ воспользоваться своими воспоминаніями: это будетъ сатира, беспощадный смѣхъ надъ допотопными уродами, исполненными «непримиримой вражды къ свободной жизни». И не одно только личное настроеніе толкаетъ его на сатиру.

Поэтъ, покидая Россію, оставлялъ за собой много дорогихъ единомышленниковъ друзей, видѣлъ развалины многихъ благородныхъ стремлений и надеждъ. Незадолго до отъѣзда онъ вступилъ въ одно изъ «тайныхъ обществъ». Это было новостью на русской почвѣ, — новостью недавней, считающей свои дни съ той же эпохи отечественной войны.

Не все русскіе люди нашли въ этой войнѣ только пищу для своего наивнаго патріотизма, не идущаго дальше ненависти къ чужеземцу... Нѣкоторые многому научились въ это бурное время, многое запомнили, и иначе стали смотрѣть на свое родное. Множество русскихъ офицеровъ побывало за границей, присмотрѣлось къ чужимъ порядкамъ, подслушалось совершенно другихъ рѣчей, чѣмъ разсужденія московскихъ тузовъ, и вернулось на родину съ твердымъ намѣреніемъ внести новыя идеи въ дѣйствительную жизнь.

Какія же это были идеи?

Прежде всего — страстная возвышенная любовь къ родинѣ, — любовь, какой и не снилось ораторамъ московскихъ гостиныхъ. Патріотизмъ москвичей — патріотизмъ дикарей. Они ничего не признаютъ на свѣтѣ, кромѣ своихъ милыхъ уголковъ на Никитской и въ Подновинскомъ. Это — патріотизмъ стариковъ, «впавшихъ въ дѣтство». Ихъ восхищаютъ и «очаковскія времена», и «дворъ матушки Екатерины», и въ то же время отечественныя *précieuses ridicules*, потому что «словечка въ простотѣ не скажутъ — все съ ужимкой, поютъ французскіе романсы, выводятъ верхнія нотки, а главное — льнутъ къ военнымъ». Патріотизмъ новой молодежи совершенно другой. Эта молодежь съ жгучей болью въ сердцѣ помнитъ, какъ иностранцы, во главѣ съ знаменитымъ прусскимъ министромъ, барономъ Штейномъ, были поражены полнымъ отсутствіемъ у русскихъ истинно-національнаго чувства. Плѣнные французы открыто смѣялись надъ русскими, не умѣвшими говорить и писать на родномъ языкѣ. Штейнъ, съ авторитетомъ истиннаго государственнаго мужа, указывалъ на вредъ, причиняемый Россіи подражательностью иностранцамъ. Подражательность эта на первый взглядъ не шла очень далеко, ограничивалась книжками и модами, но на самомъ дѣлѣ

окончательно отрывала высшій классъ отъ народной почвы, воспитывала въ немъ самыя смутныя представленія о національныхъ нуждахъ Россіи и глубокое презрѣніе къ основѣ ея благоденствія — къ народу.

Все это видѣли даже иностранцы; новая молодежь должна была чувствовать себя глубоко оскорбленной, слыша, какъ иностранцы, даже враги — поучаютъ русскихъ истинному патріотизму. Молодые люди воочию убѣдились, какихъ блестящихъ результатовъ достигли европейскіе народы, развиваясь на *національныхъ* основахъ, какой непреодолимой силой оказался патріотизмъ, одинаково доступный и простому мужику, и просвѣщенному горожанину, — и русская *народность* стала знаменемъ новыхъ людей. Иностранцы, въ родѣ барона Штейна и г-жи Сталь, много говорили въ защиту закрѣпощенныхъ милліоновъ, настаивали даже на отмѣнѣ крѣпостного права. И эти милліоны сами доказали свои права на человѣческое достоинство, вынесши жестокую борьбу чуть не съ цѣлой Европой. Послѣ такой борьбы нельзя было не уважать народа, который въ годину бѣдствій отозвался на призывъ своего царя изъ конца въ конецъ необъятной страны — могучимъ чувствомъ любви къ родинѣ и инстинктивнымъ сознаніемъ своего историческаго и національнаго единства.

Съ такимъ именно сознаніемъ вернулись на родину освободители Европы. Чувство личнаго достоинства упрочивалось въ нихъ съ каждымъ новымъ событіемъ, вѣнчавшимъ славой русское имя. Они возвращались къ своимъ очагамъ совершенно другими людьми, чѣмъ уходили. Даже на простыхъ солдатъ и ополченцевъ не могло не произвести впечатлѣнія пребываніе въ чужихъ краяхъ, и они принесли теперь новыя впечатлѣнія въ родныя семьи. Очаковскія времена и сужденія изъ газетъ того времени должны были казаться дикими всякому, кто только могъ видѣть и понимать. А у людей болѣе развитыхъ быстро сложилось новое міросозерцаніе, новые общественные идеалы.

«Умный, добрый нашъ народъ», — эти слова безпрестанно стали раздаваться въ гостиныхъ, — и не остались только словами. Молодые идеалисты слишкомъ смѣло и громко высказывали свои надежды, чтобы можно было ограничиться красивыми рѣчами. Современникъ рассказывает<sup>1)</sup>: «Я видѣлъ лицъ, возвращавшихся въ Петербургъ послѣ отсутствія въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ и выражавшихъ величайшее изумленіе при видѣ переменъ, происшедшей въ разговорѣ и въ дѣйствіяхъ столичной молодежи. Казалось, она пробудилась для новой жизни и вдохновлялась всѣмъ, что было благороднаго, чистаго въ нравственной и политической атмосферѣ. Гвардейскіе офицеры въ особенности привлекали вниманіе свободой

<sup>1)</sup> La Russie et les Russes, par N. Tourgueneff. Bruxelles, 1847 T. 66.

и смѣлостью, съ которой они выражали свои мнѣнія, весьма мало заботясь — говорили они въ общественномъ мѣстѣ или въ салонѣ, были слушателями сторонниками или противниками ихъ учений».

Легко представить, — молодые мечтатели вели часто крайне запальчивые разговоры, повергали въ ужасъ правовѣрныхъ хранителей старины и подчасъ должны были производить комическое впечатлѣніе... Всегда вѣдь извѣстнаго сорта наблюдателямъ кажется смѣшнымъ благородное, слишкомъ прямолинейное увлеченіе несбыточными, по ихъ мнѣнію, мечтами. А если вспомнить, въ какомъ обществѣ приходилось защищать «либеральныя идеи» новымъ патріотамъ, — предъ нами невольно предстанетъ вальсирующая толпа барышень, перепуганные тузы, ехидно улыбающіеся архивные юноши — все, что проносилось предъ глазами поэта, только что лично прошедшаго тернистый путь увлекающагося мечтателя...

Не все, конечно, рѣшались высказывать публично даже и самые смѣлые реформаторы родной старины. Мы видѣли, *бунтовщикомъ* прослылъ молодой человекъ только за то, что рѣшился сбросить съ себя мундиръ артиллерійскаго офицера и занять скромное мѣсто въ Московскомъ надворномъ судѣ. Стоило сдѣлать одинъ шагъ дальше, т.-е. совѣмъ отказаться отъ всякой служебной карьеры, отдаваясь наукамъ, уйти отъ пустого праздно-болтающаго общества, — и «карбонарій», «якобинецъ» былъ готовъ.

А тарихъ героевъ оказалось не мало. Служить народу не значило «служить» и «прислуживаться» въ общепринятомъ смыслѣ слова, «вѣчно пѣть пѣснь одну и ту же»... Возникаютъ «тайныя общества», совершенно чуждыя какихъ бы то ни было революціонныхъ или якобинскихъ теорій. Это — кружки друзей просвѣщенія, умовъ «алчущихъ познаній», возлагающихъ самыя пламенныя надежды на грамотность, на развитіе у русскихъ людей чувства личнаго человѣческаго достоинства, короче — борцовъ противъ невѣжества и «рабскаго духа». Поэтъ близко былъ знакомъ съ членами этихъ кружковъ, неоднократно слышалъ ихъ горячія рѣчи, читалъ тѣ же идеи въ контрабандныхъ книжкахъ, ежедневно возникавшихъ во множествѣ. Онъ зналъ и практическіе планы друзей просвѣщенія, ихъ любимую мечту — распространить, скоро и легко, образование среди русскаго народа путемъ «ланкастерскихъ взаимныхъ обученій». Само правительство одно время увлекалось этими «обученіями» и посылало за границу свѣдующихъ людей знакомиться съ устройствомъ ихъ. Чаще всего съ этою цѣлью посылались студенты Педагогическаго института. Въ Россіи возникли ланкастерскія школы для мужчинъ и для женщинъ, даже въ арміяхъ школы быстро стали процвѣтать, увлекли офицеровъ, повліяли на смягченіе военной дисциплины... Но «прекрасные дни Аранжуэца» скоро минули... Да и странно было бы ожидать рѣшительной побѣды для подобныхъ идей въ обществѣ, не умѣвшемъ даже какъ слѣдуетъ произносить словъ — ланкастерскій и педагогическій и смѣшивавшемъ



врага отечества съ другомъ просвѣщенія и здраваго смысла. И именно на сторонѣ этого общества была сила...

Поэтъ припоминаетъ, какъ новыя идеи постепенно вытѣсняли у него самого наклонности «ёры и забіяки», превращали легкомысленнаго корнета въ гражданина. Поэтъ дорожить этимъ перерожденіемъ и теперь съ болью въ сердцѣ слѣдитъ за судьбою увлекшихъ его идей,—видитъ, какъ онѣ утратили свой кредитъ у людей вліянія и власти, какъ эти люди постепенно дошли до убѣжденія, что можно съ ума сойти отъ «ланкартонныхъ взаимныхъ обученій», и что «въ педагогическомъ институтѣ профессора упражняются въ расколахъ и безвѣрѣ». Теперь ужъ не до развитія народа и усвоенія результатовъ европейскаго просвѣщенія. Авторитеты, въ родѣ Магницкаго, объявляютъ «слово человѣческое проводникомъ адской силы», приговариваютъ цѣлые университеты, напр., Казанскій, къ «публичному разрушенію», профессоровъ объявляютъ преступниками, «изступленными безумцами». До науки ли здѣсь! При такихъ условіяхъ всякій.—«историкъ и географъ», кого прикажутъ такимъ считать. Особенно ненавидными науками слывуть химія и физика. Имъ приписываются опасныя и «надменные умствованія». Очевидно, молодой человѣкъ, занимающійся химіей, или сумасшедшій, или якобинець... Да, можетъ сказать поэтъ, «велики бывають на землѣ превращенія правленій, нравовъ и умовъ»...

Ивановъ.

### Борьба двухъ поколѣній въ „Горѣ отъ ума“.

Когда приходится говорить о какомъ-либо произведеніи литературы, наша мысль невольно ищетъ аналогіи въ предшествующихъ эпохахъ. И особенно, надо это сказать, о произведеніяхъ, затрогивающихъ вопросы глубоко психологическіе. Одного изъ такихъ вопросовъ коснулся и А. С. Грибоѣдовъ въ комедіи «Горе отъ ума». Отношеніе двухъ поколѣній,—вѣка нынѣшняго и вѣка минувшаго,—столкновеніе и борьба ихъ взглядовъ,—тема старая, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и всегда новая—вопросъ постоянный, вѣчный, одинъ изъ тѣхъ, которые въ обиходномъ языкѣ носятъ названіе «проклятыхъ» вопросовъ жизни. Конечно, не могла обойти его и литература; она отраженіе жизни. И въ этомъ отношеніи комедія «Горе отъ ума» имѣетъ предшественниковъ. Назову старинную русскую сатиру о Ершѣ Ершовичѣ, сынѣ Щетинниковѣ. Этотъ же вопросъ затронуть и въ комедіи Фонвизина «Недоросль».

Въ началѣ XIX в. жизнь снова и рѣзко поставила этотъ вопросъ. «Дней александровыхъ прекрасное начало» пробудило русскую мысль, начавшую замирать во вторую половину царствованія Екатерины и особенно въ царствованіе Павла. Какъ и при Екатеринѣ, теперь широкою волной хлынула западная литература, оста-

новленная на границѣ въ царствованіе Павла. Широкія общественныя начинанія правительства поставили обществу новыя задачи. Своими силами русская мысль съ ними справиться не могла. Помощницей въ дѣлѣ разрѣшенія вопросовъ явилась по обычаю болѣе культурная Западная Европа. Но въ прежнихъ рамкахъ она уже не удовлетворяла русское общество. Время выдвинуло на первый планъ новые вопросы — политическіе и соціальные. Этимъ опредѣлился и характеръ умственного и культурнаго вліянія. Французскіе писатели отошли на второй планъ. Воспитателями теперь явились англійскіе писатели: Бентамъ, Адамъ Смитъ, Вальтеръ-Скоттъ, Байронъ — особенно охотно читались русскимъ обществомъ и воспеивались изъ русскихъ гражданъ и джентльменовъ. Евг. Онѣгинъ

читалъ Адама Смита

И былъ глубокой экономъ,

Байронъ былъ властителемъ думъ молодого поколѣнія. Не могъ избѣжать увлеченія имъ и такой писатель, какъ Жуковский. О Байронѣ толковали даже въ репетиловскихъ кружкахъ, гдѣ шумѣли

о камерахъ присяжныхъ,

О Байронѣ, ну, о матеріяхъ важныхъ.

Не говорю уже о Бентамѣ.

Въ первую очередь былъ поставленъ и вопросъ о просвѣщеніи. Вспомнили о старыхъ проектахъ школъ. Основано было и особое министерство просвѣщенія. Составлялись новые проекты сѣти школъ въ Россіи. Практически они частично осуществлялись. Послѣ даже жаловались на обиліе ихъ. Старуха Хлестова съ ужасомъ говорила:

Съ ума сойдешь отъ этихъ отъ однихъ

Пансіоновъ, школъ, лицеевъ.

И въ этой области, какъ и во всемъ, не обошлось безъ вліянія Англій. Широко примѣнялась въ Россіи система взаимнаго обученія по методу Ланкастера, что въ просторѣчьи называлось «ланкарточной системой обученія». Серіозное вниманіе было обращено на университеты. Началось обновленіе Московскаго университета, и обновленный онъ сыгралъ громадную просвѣтительную роль: двери его аудиторіи были широко раскрыты для всѣхъ желающихъ, что вызвало много сентиментальныхъ слезъ умиленнаго Карамзина. Открыты были университеты и въ другихъ городахъ, а въ Петербургѣ педагогическій институтъ. Русское общество умственно и культурно росло.

Въ дѣлѣ развитія общества и особенно части его громадную роль сыграла и война 1812 года. Походы за границу сблизили русскихъ людей съ культурой Запада. На дѣлѣ показали культурную разницу Россіи и Европы и способствовали расширенію умственного кругозора. «Въ продолженіе двухъ лѣтъ», — говоритъ одинъ участникъ похода, — «мы имѣли передъ глазами великія, рѣшившія судьбы народовъ событія, и нѣкоторымъ образомъ участвовали въ нихъ.

Было бы невыносимо намъ смотрѣть на пустую петербургскую жизнь и слушать болтовню стариковъ, выхваляющихъ все старое и порицающихъ всякое движеніе впередъ. Мы ушли отъ нихъ на сто лѣтъ впередъ (Якушкинъ). Все это заставляло русскихъ образованныхъ людей желать скорѣйшаго осуществленія культурныхъ начинаній, прилагать къ этому все стараніе, всѣ свои силы.

Война 1812 года оказала вліяніе въ другомъ отношеніи. Она была прежде всего войной народной. Всѣ слои населенія соединились въ одну общую массу. Всѣхъ сблизило общее несчастье. Баринъ и крестьянинъ сражались подъ однимъ знаменемъ, въ одномъ ряду. Дворянство впервые вступило на одну линію съ народомъ, подошло къ нему не съ точки зрѣнія барина, а съ точки зрѣнія человѣка, движимаго высшимъ чувствомъ любви къ родинѣ, безкорыстнаго защитника отечества. Воодушевленіе народа показало всю силу его великой души, заставило взглянуть на него, какъ на человѣка глубоко чувствующаго, несмотря на угнетенное свое положеніе. «Чѣмъ ближе я знакомлюсь съ народомъ»,—пишетъ одна современница,— «тѣмъ болѣе я убѣждаюсь, что не существуетъ лучшаго и отдаю ему полную справедливость» (Волкова). Многихъ прикоснувшихся къ нему народъ заставилъ углубиться въ себя, переродиться. Пьеръ Безухій въ эпопеѣ гр. Льва Толстого вопелъ въ народъ Пьеромъ, а вышелъ оттуда Петромъ Кирилловичемъ. И послѣ всегда задавался вопросомъ, что въ его жизни и дѣятельности одобрилъ бы Платонъ Каратаевъ. Чацкій также дорожилъ мнѣніемъ народа,—

Чтобы умный, добрый нашъ народъ  
Хоть по языку насъ не считалъ за нѣмцевъ.

Сближеніе съ народомъ заставило обратиться къ русской жизни, задуматься надъ русской дѣйствительностью, искать правды въ народѣ. И подъ знаменемъ народности соединяются въ міросозерцаніи русскаго человѣка западничество и любовь къ русской старинѣ. Сочетаніе оригинальное, но характерное для людей Александровской эпохи. Таковъ былъ Чацкій—герой комедіи Грибоѣдова.

Жизнерадостное настроеніе «прекраснаго начала дней александровыхъ» продолжалось сравнительно недолго. Послѣ сильнаго подъема дѣятельной энергіи правительство чувствовало усталость. Прежняго рвенія не было. Внѣшнія событія послѣ войны 1812 года заставили остерегаться, быть осторожнымъ. Событія 15—20 г.г. въ Германіи и Испаніи охладили пылъ и правительства и общества. Начали бояться Западной Европы и роста мысли. Вліяніе Австріи еще болѣе усилило эту боязнь. Поднимаются и возвышаютъ свой голосъ всѣ тѣ, кто раньше молчалъ. Всѣ Простаковы, Скотинины и др. снова появляются на свѣтъ. Урокъ, данный имъ въ царствованіе Екатерины, не прошелъ даромъ. Назаоръ просвѣщеннаго правительства, если не сдѣлалъ ихъ культурными въ полномъ смыслѣ этого слова, то, во всякомъ случаѣ, научилъ ихъ жить въ культурномъ обществѣ

и не высказывать прямо своихъ взглядовъ. И они молчали. Да и время ихъ измѣнило, противъ чего и не возставали. Они и прежде шли за временемъ, обучая, противъ своихъ убѣжденій, Митрофана. Чѣмъ, дальше, тѣмъ, конечно, они еще болѣе измѣнялись, но сущность ихъ оставалась та же. Стоитъ только вспомнить картину, нарисованную въ комедіи Фонвизина и сопоставить съ ней взгляды дѣйствующихъ лицъ Грибоѣдовской комедіи. Здѣсь мы найдемъ и Простакову, цѣнившую богатство, а не умъ. Софья въ комедіи Фонвизина бѣдная дѣвушка и не она составитъ пару Митрофанушкѣ, но это только до полученія 10,000 годового дохода. Современная Грибоѣдову Простакова—Фамусовъ говоритъ: «Ахъ, матушка, не довершай удара: кто бѣденъ, тотъ тебѣ не пара!» И всегда отдастъ предпочтеніе тому, кто «хоть плохонькій, да если наберется тысячи три родовыхъ, онъ и женихъ». Образование и воспитаніе на второмъ планѣ. Конечно, воспитываютъ своихъ дѣтей,—но, какъ Простакова, радѣя о немъ съ колыбели, оцѣниваютъ свои заботы количествомъ затраченнаго капитала. Набираютъ учителей полки, называя ихъ въ то же время «побродягами». Современная Простакова не будетъ открыто негодовать, что дѣвушки грамотѣ умѣютъ. «Идя за временемъ, они обучаютъ дѣвушекъ всему: «и танцамъ, и пѣнію, и нѣжностямъ, и вадухамъ», но въ то же время втихомолку всегда скажутъ: «а въ книгахъ прокъ-отъ не великъ. Книги нужны лишь какъ средство отъ бессонницы:—а мнѣ отъ русскихъ больно спится». При случаѣ же всѣ неурядицы съ удовольствіемъ сваливаютъ на книги: «ученость—вотъ чума, ученье—вотъ причина...», и высказываютъ предположеніе, особенно для нихъ желательное: «собрать всѣ книги, да и сжечь».

Принципъ отношеній, основанный на богатствѣ и родовитости, примѣняется вездѣ и всюду. Картина, нарисованная Фамусовымъ въ его разговорѣ съ Чацкимъ, всего болѣе даетъ понять, что цѣнилось въ обществѣ: «на золотѣ ѣдалъ; сто человѣкъ къ услугамъ...; богатъ и на богатой былъ женатъ»,—и уже человѣкъ достоинъ уваженія; предъ нимъ можно преклониться; о его кончинѣ всѣ съ прискорбьемъ вспоминаютъ. Богатство и дворянство человѣку даетъ право на все. Еще Простакова говорила, что Скотининымъ чины летятъ сами, они, лежа, ихъ получаютъ. Достоинства человѣка-чиновника о которыхъ говорилъ Правдинъ, мало цѣнились: въ чины выходили не по заслугамъ, на что жаловался Стародумъ. Но теперь этотъ порядокъ вполне естественный: человѣкъ даетъ чины независимо отъ отношенія къ дѣлу. «Въ чины выводить, кто и пенсіи даетъ?—Максимъ Петровичъ при посредствѣ Татьяны Юрьевны, къ которой ѣздить на поклонъ и находятъ покровительство тамъ, гдѣ не мѣтятъ. Услуги предъ сильными міра—залогъ благополучія. Кто же служитъ дѣлу, а не лицамъ, тотъ гордецъ, проповѣдуетъ вольность; не признаетъ властей. Напротивъ, угодники по убѣжденіямъ—Молчалины—блаженствуютъ на свѣтѣ; ихъ замѣтятъ даже и въ Твери,—ладутъ чинъ ассесора и возьмутъ въ секретари—не для дѣла, ко-

нечно,—о немъ не заботятся: интереснѣе «дѣла» вносить въ календари: когда званъ на форели, крестины, похороны.

Такіе люди подъ вліяніемъ внѣшнихъ событій второй половины царствованія Александра I были хозяевами положенія. Ими была полва чиновная Москва. Они даже проникли и въ высшія учрежденія:—одинъ,—книгамъ врагъ,—въ ученый комитетъ поселился.

И съ крикомъ требоваль присягъ,  
Чтобъ грамотъ никто не зналь и не  
учился.

Совѣмъ почтенный пращуръ Скотининныхъ, который кричалъ: прокляну ребенка, который грамотъ научится.

Невѣжество, прикрытое богатствомъ, дворянствомъ, угодничество, низкопоклонство, личные низменные интересы, отсутствіе живой мысли — вотъ характерныя черты ихъ. Безпредѣльное по идеѣ царство мысли не могло прорваться сквозь толстую кору сознательнаго невѣжества, закоснѣлости, грубости, безчеловѣчья, животной мысли. Интересы духовные отсутствовали. Философствовали только по поводу чрезмѣрныхъ обѣдовъ, когда «ѣшь три часа,—въ три дни не сварится». Мысль не шла дальше погончиковъ, выпушекъ, петличекъ. Только сплетни еще могли пробудить тѣнь мысли. Цѣнился человекъ, умѣвшій промолчать день цѣлый.

И въ это царство приниженности, молчаливости врывается новая сила живой мысли, живого слова, воспитанная на новыхъ вѣяніяхъ начала александровской эпохи. Волей-неволей пришлось столкнуться, выслушивать уроки и наставленія,—учились бы на старшихъ глядя. Помня старое лучшее, люди мысли съ ужасомъ смотрѣли на всѣхъ этихъ новыхъ Простаковыхъ, Скотининныхъ. Но борются съ ними теперь приходилось словомъ, силой убѣжденія, а это не всегда удавалось: новая свѣжая мысль рѣзала имъ слухъ.—Добро, заткнулъ я уши! Не слушаю, подь судъ!—это обычный ихъ пріемъ. Положеніе новаго человека было трагично. Если въ разговоръ только что пріѣхавшаго Чацкаго съ Софьей слышится еще добродушіе, то это объясняется лишь личнымъ чувствомъ Чацкаго къ Софьѣ. Оно сдерживаетъ. Но не тѣмъ уже добродушіемъ дышитъ разговоръ Чацкаго съ Фамусовымъ. Слышится уже раздраженіе противъ затхлои жизни. Это раздраженіе растеть, вырывается горячими монологами, нападками на окружающую среду и кончается трагедіей одного война въ полѣ.

Тема не новая. Но постановка вопроса шире, чѣмъ у Фонвизина. Если Фонвизинъ разрѣшаетъ этотъ вопросъ въ зависимости отъ воспитанія, то Грибоѣдовъ расширяетъ рамки кругозора. Софья получила одно воспитаніе съ Чацкимъ, но между ними разница, и разница создалась сравнительно въ короткій срокъ. Какихъ-нибудь три года, и уже Софья страшится того ума, который геній для однихъ, а для другихъ чума. Она ближе себя чувствуетъ къ Молчалину:

онъ врагъ острыхъ словъ, безъ хитрости, онъ промолчить день цѣлый. Того, что волнуешь Чацкаго, у нея нѣтъ. Комедія затрогиваетъ и сферу общественной жизни. Она въ свои рамки включаетъ и соотношеніе общественныхъ силъ. А это сообщаетъ ей еще болѣе интересъ. Правда, этотъ интересъ стоитъ въ тѣсной зависимости отъ жизни. Произведеніе пріобрѣтаетъ значеніе въ то время, когда вопросъ объ отношеніи поколѣній ставится рѣзко. Тогда въ немъ, въ чтеніи его ищутъ разрѣшенія, отвѣта и отдыхаютъ душой, находя отзвукъ на свои мысли, свои чувства. Отсюда и положеніе произведеній, затронувшихъ этотъ вопросъ: они какъ бы замираютъ на время. Замираютъ, но не умираютъ и никогда не умрутъ, такъ какъ, пока будетъ живо человѣчество, вопросъ объ отцахъ и дѣтяхъ, — пользуясь терминологіей Тургенева, — будетъ стоять предъ человѣчествомъ неразрѣшимой загадкой. Въ этомъ объясненіе живучести комедіи «Горе отъ ума». Она пережила много произведеній въ художественномъ отношеніи выше ея. Пережила и переживаетъ Островскаго. И будетъ жить. И самый вопросъ еще много разъ будетъ трактоваться въ произведеніяхъ литературы, какъ поднимался онъ и послѣ комедіи Грибоѣдова въ произведеніяхъ Тургенева. И это потому, что этотъ вопросъ, это отношеніе, по выраженію Гоголя, «продолженіе той же брани свѣта съ тьмою, внесенной въ Россію Петромъ, которая всякаго благороднаго русскаго дѣлаетъ уже невольнo ратникомъ свѣта».

Грибоѣдовъ затронулъ одинъ моментъ въ развитіи этой борьбы. Затронулъ его широко, какъ могъ затронуть человѣкъ, получившій рѣдкостное по тому времени образованіе дома, въ университетѣ и въ тогдашнемъ театрѣ, страстнымъ любителемъ котораго былъ. «Самый умный человѣкъ въ Россіи», какъ его назвалъ Пушкинъ, отъ природы одаренный даромъ тонкаго наблюдателя, онъ не могъ пройти мимо окружающаго его общества. Съ умомъ, воспитаннымъ научно, воспитавшій жаръ въ душѣ къ высокому, онъ цѣнилъ мысль, ея развитіе. Горько было его душѣ видѣть общество Фамусовыхъ руководителями жизни. Въ этомъ обществѣ онъ переживалъ «милліонъ терзаній». Отголоски переживаемыхъ мукъ мы видимъ и въ его стихотвореніяхъ «Прости отечество» и въ его письмахъ къ другу Бѣличеву. Въ результатъ всего этого и явилась его комедія; — все наболѣвшее вылилось въ горячій общественный памфлетъ. Общественная тема въ произведеніяхъ театральной литературы впервые появляется въ комедіи «Горе отъ ума». Грибоѣдовъ, какъ поэтъ — «пророкъ» Пушкина пошелъ «дорогою свободной, куда влечетъ его свободный умъ». Не останавливаясь предъ мрачными красками, онъ съ твердостью и стойкостью оледенѣвшаго водопада, какимъ представлялъ его Баратынскій, произнесъ надъ обществомъ суровый, беспощадный приговоръ, нанесъ старому поколѣнію «оглушительную пощечину, раздавшуюся на всю Россію». Слишкомъ накипѣло въ его душѣ противъ тьмы, чтобы можно было удержаться. Чацкій не могъ промолчать на балу, хотя долженъ былъ бы пред-

полагать, что Фамусовы его слушать не будутъ. Но прямая и честная натура не могла примириться съ окружающей неправдой. Положеніе Грибоѣдова было аналогично. И онъ написалъ памфлетъ — сатиру. Вотъ почему «Горе отъ ума» отличается субъективизмомъ. Вся она дышитъ искренностью, убѣжденностью честнаго человѣка. Вотъ почему, можетъ-быть, и въ литературно-формальномъ отношеніи комедія не является строго выдержанной. Авторомъ слишкомъ сильно владѣетъ мысль и о формѣ онъ мало заботится, стараясь лишь сильнѣе, ярче выразить мысль въ художественныхъ образахъ. Авторъ не столько поэтъ, сколько мыслитель.

*Ильинскій.*

### Жизненность комедіи „Горе отъ ума“.

Комедія «Горе отъ ума» держится какимъ-то особнякомъ въ литературѣ и отличается молодавостью, свѣжестью и болѣе крѣпкой живучестью отъ другихъ произведеній слова. Она, какъ столѣтній старикъ, около котораго всѣ, отживъ по очереди свою пору, умираютъ и валяются, а онъ ходитъ, бодрый и свѣжій, между могилами старыхъ и колыбелями новыхъ людей. И никому въ голову не приходитъ, что настанетъ когда-нибудь и его чередъ.

Всѣ знаменитости первой величины, конечно, не даромъ поступили въ такъ называемый «храмъ безсмертія». У всѣхъ у нихъ много, а у иныхъ, какъ, напримѣръ, у Пушкина, гораздо болѣе правъ на долговѣчность, нежели у Грибоѣдова. Ихъ нельзя близко и ставить одного съ другимъ. Пушкинъ громаденъ, плодотворенъ, силенъ, богатъ. Онъ для русскаго искусства то же, что Ломоносовъ для русскаго просвѣщенія вообще. Пушкинъ занялъ собою всю свою эпоху; самъ создалъ другую, породилъ школы художниковъ — взялъ себѣ въ эпохѣ все, кромѣ того, что успѣлъ взять Грибоѣдовъ и до чего не договорился Пушкинъ.

Несмотря на геній Пушкина, передовые его герои, какъ герои его вѣка, уже блѣднѣютъ и уходятъ въ прошлое. Геніальныя созданія его, продолжая служить образцами и источникомъ искусству — сами становятся исторіей. Мы изучили Онѣгина, его время и его среду, взвѣсили, опредѣлили значеніе этого типа, но не находимъ уже живыхъ слѣдовъ этой личности въ современномъ вѣкѣ, хотя созданіе этого типа останется неизгладимымъ въ литературѣ. Даже позднѣйшіе герои вѣка, напримѣръ, лермонтовскій Печоринъ, представляя, какъ и Онѣгинъ, свою эпоху, каменѣютъ, однако, въ неподвижности, какъ статуи на могилахъ. Не говоримъ о явившихся позже ихъ, болѣе или менѣе яркихъ типахъ, которые при жизни авторовъ успѣли сойти въ могилу, оставивъ по себѣ нѣкоторыя права на литературную память.

Называли *безсмертною* комедію «Недоросль» Фонвизина, — и основательно — ея живая, горячая пора продолжалась около полувѣка;

это громадно для произведенія слова. Но теперь нѣтъ ни одного намека въ «Недоросль» на живую жизнь, и комедія, отслуживъ свою службу, обратилась въ историческій памятникъ.

«Горе отъ ума» появилось раньше Оиѣгина, Печорина, пережило ихъ, прошло невредимо черезъ гоголевскій періодъ, прожило эти полвѣка со времени своего появленія и все живетъ своею неотлѣнною жизнью, переживетъ и еще много эпохъ и все не утратитъ своей жизненности.

Отчего же это, и что такое вообще это «Горе отъ ума?»

Критика не трогала комедію съ однажды занятаго ею мѣста, какъ-будто затрудняясь, куда ее помѣстить. Изустная оцѣнка опередила печатную, какъ сама пьеса задолго опередила печать. Но грамотная масса оцѣнила ее фактически. Сразу понявъ ея красоты и не найдя недостатковъ, она разнесла рукопись на ключья, на стихи, полустихія, развела всю соль и мудрость пьесы въ разговорной рѣчи, точно обратила миллионъ въ гривенники, и до того испестрила грибоѣдовскими поговорками разговоръ, что буквально истаскала комедію до пресыщенія.

Но пьеса выдержала и это испытаніе — и не только не опошлалась, но сдѣлалась, какъ-будто, дороже для читателей, нашла себѣ въ каждомъ изъ нихъ покровителя, критика и друга, какъ басни Крылова, не утратившія своей литературной силы, перейдя изъ книги въ живую рѣчь.

Печатная критика всегда относилась съ большею или меньшею строгостью только къ сценическому исполненію пьесы, мало касаясь самой комедіи, или высказываясь въ отрывочныхъ, неполныхъ и разнорѣчивыхъ отзывахъ. Рѣшено разъ всеѣми навсегда, что комедія — образцовое произведеніе — и на томъ всеѣ помирились.

Одни цѣнять въ комедіи картину московскихъ нравовъ извѣстной эпохи, созданіе живыхъ типовъ и ихъ искусную группировку. Вся пьеса представляется какимъ-то кругомъ знакомыхъ читателю лицъ, и притомъ такимъ опредѣленнымъ и замкнутымъ, какъ колода картъ. Лица Фамусова, Молчалина, Скалозуба и другія вѣзались въ память такъ же твердо, какъ короли, вальеты и дамы въ картахъ, и у всеѣхъ сложилось болѣе или менѣе согласно понятіе о всеѣхъ лицахъ, кромѣ одного — Чацкаго. Тамъ всеѣ они начертаны вѣрно и строго и такъ примелькались всеѣмъ. Только о Чацкомъ многіе недоумѣваютъ: что онъ такое? Онъ какъ будто пятьдесятъ-третья какая-то загадочная карта въ колодѣ. Если было мало разногласія въ пониманіи другихъ лицъ, то о Чацкомъ, напротивъ, разнорѣчія не кончились до сихъ поръ и, можетъ-быть, не кончатся еще долго.

Другіе, отдавая справедливость картинѣ нравовъ, вѣрности типовъ, дорожатъ болѣе эпиграмматической солью языка, живой сатирой-моралью, которою пьеса до сихъ поръ, какъ неистощимый колодець, снабжаетъ всякаго на каждый обиходный шагъ жизни.



Но и тѣ и другіе цѣнители почти обходятъ молчаніемъ самую «комедію», дѣйствіе, и многіе даже отказываютъ ей въ условномъ сценическомъ движеніи.

Несмотря на то, всякій разъ, однако, когда мѣняется персональ въ роляхъ, и тѣ и другіе судьи идутъ въ театръ, и снова поднимаются оживленные толки объ исполненіи той или другой роли и о самыхъ роляхъ, какъ будто въ новой пьесѣ.

Всѣ эти разнообразныя впечатлѣнія и на нихъ основанная своя точка зрѣнія у всѣхъ и у каждаго служатъ лучшимъ опредѣленіемъ пьесы, т.-е., что комедія «Горе отъ ума» есть и картина нравовъ, и галлерей живыхъ типовъ, и вѣчно-острая, жгучая сатира, и вмѣстѣ съ тѣмъ и комедія, и, скажемъ сами за себя, — больше всего комедія, какая едва ли найдется въ другихъ литературахъ, если принять совокупность всѣхъ прочихъ высказанныхъ условій. Какъ картина, она, безъ сомнѣнія, громадна. Полотно ея захватываетъ длинный періодъ русской жизни — отъ Екатерины до императора Николая. Въ группѣ двадцати лицъ отразилась, какъ лучъ свѣта въ каплѣ воды, вся прежняя Москва, ея рисунокъ, тогдашній ея духъ, историческій моментъ и нравы. И это съ такою художественною, объективною законченностью и опредѣленностью, какая далась у насъ только Пушкину и Гоголю.

Въ картинѣ, гдѣ нѣтъ ни одного блѣднаго пятна, ни одного посторонняго, лишняго штриха и звука, — зритель и читатель чувствуютъ себя и теперь, въ нашу эпоху, среди живыхъ людей. И общее и детали — все это не сочинено, а такъ цѣликомъ взято изъ московскихъ гостиныхъ и перенесено въ книгу и на сцену, со всей теплотой и со всѣмъ «особымъ отпечаткомъ» Москвы, — отъ Фамусова до мелкихъ штриховъ, до князя Тугоуховскаго и до лакея Петрушки, безъ которыхъ картина была бы неполна.

Однако, для насъ она еще не вполне законченная историческая картина: мы не отодвинулись отъ эпохи на достаточное разстояніе, чтобы между нею и нашимъ временемъ легла непроходимая бездна. Колоритъ не сгладился совсѣмъ: вѣкъ не отдѣлился отъ нашего, какъ отрѣзанный ломоть; мы кое-что оттуда унаслѣдовали, хотя Фамусовы, Молчалины, Загорѣцкіе и пр. видоизмѣнились такъ, что не влѣзутъ уже въ кожу грибоѣдовскихъ типовъ. Рѣзкія черты отжили, конечно: никакой Фамусовъ не станетъ теперь приглашать въ шуты и ставить въ примѣръ Максима Петровича, по крайней мѣрѣ, такъ положительно и явно. Молчалинъ даже передъ горничной, втихомолку, не сознается теперь въ тѣхъ заповѣдяхъ, которыя завѣщаль ему отецъ; такой Скалозубъ, такой Загорѣцкій невозможны даже въ далекомъ захолустьѣ. Но пока будетъ существовать стремленіе къ почестямъ помимо заслуги, пока будутъ водиться мастера и охотники угодничать и «награжденья брать и весело пожить», пока сплетня, бездѣлье, пустота будутъ господствовать не какъ порѣки, а какъ стихіи общественной жизни, — до тѣхъ поръ, конечно,

будутъ мелькать и въ современномъ обществѣ черты Фамусовыхъ, Молчалиныхъ и другихъ, нужды нѣтъ, что съ самой Москвы стерся тотъ «особый отпечатокъ», которымъ гордился Фамусовъ.

Общечеловѣческіе образцы, конечно, остаются всегда, хотя и тѣ превращаются въ неузнаваемые отъ временныхъ перемѣнъ типы, такъ что на смѣну старому художникамъ иногда приходится обновлять, по прошествіи долгихъ періодовъ, являвшіяся уже когда-то въ образахъ основныя черты нравовъ и вообще людской натуры, облекая ихъ въ новую плоть и кровь въ духѣ своего времени. Тартюфъ, конечно, вѣчный типъ, Фальстафъ — вѣчный характеръ, но и тотъ и другой, и многіе еще знаменитые подобные имъ первообразы страстей, пороковъ и проч., исчезая сами въ туманъ старины, почти утратили живой образъ и обратились въ идею, въ условное понятіе, въ нарицательное имя порока, и для насъ служатъ уже не живымъ урокомъ, а портретомъ исторической галлерей.

Это особенно можно отнести къ грибоѣдовской комедіи. Въ ней мѣстный колоритъ слишкомъ яркъ, и обозначеніе самыхъ характеровъ такъ строго очерчено и обставлено такою реальностью деталей, что общечеловѣческія черты едва выдѣляются изъ-подъ общественныхъ положеній, ранговъ, костюмовъ и т. п.

Какъ картинка современныхъ нравовъ, комедія «Горе отъ ума» была отчасти анахронизмомъ и тогда, когда въ 30-хъ годахъ появилась на московской сценѣ. Уже Щепкинъ, Мочаловъ, Львова-Синецкая, Ленскій, Орловъ и Сабуровъ играли не съ натуры, а по свѣжему преданію. И тогда стали исчезать рѣзкіе штрихи. Самъ Чацкій гремитъ противъ «вѣка минувшаго», когда писалась комедія, а она писалась между 1815 и 1820 годами.

Какъ посравнить да посмотрѣть (говорить онъ)

Вѣкъ нынѣшній и вѣкъ *минушій*,

Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ.—

а про свое время выражается такъ:

*Теперь* вольяѣ всякій дѣлшитъ —

или:

Вранилъ *вашъ* вѣкъ я безопадно,

говоритъ онъ Фамусову.

Слѣдовательно, теперь остается только немного отъ мѣстнаго колорита: страсть къ чинамъ, низкопоклонничество, пустота. Но съ какими-нибудь реформами чины могутъ отойти, низкопоклонничество до степени лакейства молчалинскаго уже прячется и теперь въ темноту, а поэзія фронта уступила мѣсто строгому и рациональному направленію въ военномъ дѣлѣ.

Но все же еще кое-какіе живые слѣды есть, и они пока мѣшаютъ обратиться картинѣ въ законченный историческій барельефъ. Эта будущность еще пока у ней далеко впереди.

Соль, эпиграмма, сатира, этот разговорный стихъ, кажется, никогда не умретъ, какъ и самъ разсыпанный въ нихъ острый и ѣдкій, живой русскій умъ, который Грибоѣдовъ заключилъ, какъ волшебникъ духа какого-нибудь въ свой замокъ, и онъ разсыпается тамъ злымъ смѣхомъ. Нельзя представить себѣ, чтобы могла явиться когда-нибудь другая, болѣе естественная, простая, болѣе взятая изъ жизни рѣчь. Проза и стихъ слились здѣсь во что-то нераздѣльное, за тѣмъ, кажется, чтобы ихъ легче было удержать въ памяти и пустить опять въ оборотъ весь собранный авторомъ умъ, юморъ, шутку и злость русскаго ума и языка. Этотъ языкъ также дался автору, какъ далась группа этихъ лицъ, какъ дался главный смыслъ комедіи, какъ далось все вмѣстѣ, будто вылилось разомъ, и все образовало необыкновенную комедію — и въ тѣсномъ смыслѣ, какъ сценическую пьесу, — и въ обширномъ, какъ комедію жизни. Другимъ ничѣмъ, какъ комедіей, она и не могла бы быть.

Оставляя двѣ капитальныя стороны пьесы, которая такъ явно говоритъ за себя и потому имѣютъ большинство почитателей, — т.-е. картину эпохи, съ группой живыхъ портретовъ, и соль языка, — обратимся къ комедіи, какъ къ сценической пьесѣ.

Давно привыкли говорить, что нѣтъ движенія, т.-е. нѣтъ дѣйствія въ пьесѣ. Какъ нѣтъ движенія? Есть — живое, непрерывное, отъ перваго появленія Чацкаго на сценѣ до послѣдняго его слова: «Карету мнѣ, карету!»

Это — тонкая, умная, изящная и страстная комедія въ тѣсномъ, техническомъ смыслѣ, — вѣрная въ мелкихъ психологическихъ деталяхъ, — но для зрителя почти неуловимая, потому что она замаскирована типичными лицами героевъ, гениальной рисовкой, колоритомъ мѣста, эпохи, прелестью языка, всѣми поэтическими силами, такъ обильно разлитыми въ пьесѣ. Дѣйствіе, т.-е. собственно интрига въ ней, передъ этими капитальными сторонами кажется блѣднымъ, лишнимъ, почти ненужнымъ.

Только при разбѣдѣ, въ сѣняхъ, зритель точно пробуждается при неожиданной катастрофѣ, разразившейся между главными лицами, и вдругъ припоминаетъ комедію-интригу. Но и то не надолго. Передъ нимъ уже вырастаетъ громадный, настоящій смыслъ комедіи.

Гоголь.

### Среда, изображаемая комедіей „Горе отъ ума“.

Несомнѣнно, конечно, что къ барской средѣ принадлежатъ всѣ типы, выведенные въ комедіи Грибоѣдова. Сколько бы ни указывали намъ на живые оригиналы въ роднѣ самого поэта, его лица отъ этого не перестанутъ быть *типами*. Если это портреты, то подобные тѣмъ художественнымъ портретамъ, которые надолго остаются навливаютъ передъ собою на выставкѣ и людей, никогда не знав-

шихъ подлинника. При изученіи грибоѣдовскихъ типовъ надобно постоянно прибѣгать къ тому *обобщенію*, которое имѣлъ въ виду Гоголь, говоря о своемъ Хлестаковѣ: «и ловкій гвардейскій офицеръ окажется иногда Хлестаковымъ, и государственный мужъ окажется иногда Хлестаковымъ, и нашъ братъ, грѣшный литераторъ, окажется подчасъ Хлестаковымъ». Тотъ же способъ обобщенія вполне примѣнимъ и къ Фамусовымъ, Молчалинымъ, Скалозубамъ, Репетиловымъ, Загорѣцкимъ. Въ этомъ-то и заключается настоящая психологическая глубина и высокое художественное достоинство.

Много заботились у насъ и о томъ, чтобы отыскать въ живомъ же лицѣ прототипъ Чацкаго. Одни указывали (весьма неудачно) на Чаадаева, другіе, слѣдуя Пушкину, видѣли въ Чацкомъ самого Грибоѣдова. Последнее очень правдоподобно, но это вовсе не заставляетъ согласиться съ мнѣніемъ Пушкина, что Чацкій уменъ только умомъ Грибоѣдова. Нѣтъ, Чацкій такъ же самостоятеленъ уменъ, какъ и самъ Грибоѣдовъ; онъ такъ же горячъ, иногда можетъ показаться зломъ, но, въ сущности, добръ и довѣрчивъ, постоянно склоненъ къ беззавѣтному увлеченію. Чацкій совсѣмъ не резонеръ, не ходячая грибоѣдовская мораль въ формѣ, подготовленной ложно классическою теоріей. Всѣ пути старой школы, въ сущности, совершенно порваны Грибоѣдовымъ. И типы и построеніе комедіи у него совершенно оригинальны. Если Чацкій прослылъ у насъ живой выставкой очень умной сатирической морали, а вовсе не живымъ лицомъ, то это много зависѣло отъ неумѣлаго изображенія его на сценѣ. Но при безталанной игрѣ не одинъ Чацкій, а также и Фамусовъ, Молчалинъ и т. д. могутъ представиться, да отчасти и представлялись у насъ, не совсѣмъ правдоподобными. Всего же болѣе тутъ повліяла эстетическая гегелевщина — допуская даже, что она была у насъ недурно переварена. Но нѣтъ никакого сомнѣнія, что если бы Бѣлинскій подробно изслѣдовалъ «Горе отъ ума» въ позднѣйшій періодъ своей критической дѣятельности, то онъ бы уже не нашелъ въ этой образцовой комедіи столько психологическихъ и эстетическихъ промаховъ. Вѣрное пониманіе ея, пониманіе прямое, не черезъ очки, сильно сказывалось, благодаря оригинальному складу его ума, у Аполлона Григорьева.

У насъ находили, что отрицательныя лица Грибоѣдова неправдоподобно обличаютъ самихъ себя тою остроумной сатирой, которая вложена въ ихъ же уста безпощаднымъ авторомъ. На самомъ же дѣлѣ критики только не хотѣли стать на ту почву чисто искусственныхъ взглядовъ, вполне условной морали, на которой стоятъ у Грибоѣдова всѣ эти герои служилой барствуюющей среды: Фамусовы, кандидаты въ Фамусовы и Фамусовы-неудачники. Къ этимъ тремъ видоизмѣненіямъ одного и того же типа сводятся, можно сказать, всѣ отрицательныя лица комедіи. Фамусовъ, Павелъ Аванасьевичъ, при своемъ характерномъ міросозерцаніи не можетъ не быть увлеченъ тѣмъ, что въ Москвѣ и живутъ и умираютъ тузы, что въ ней

никогда не переводятся благовоспитанныя невѣсты, а равно и женихи съ двумя тысячами душъ, вознаграждающими за отсутствіе прочихъ достоинствъ. Онъ не можетъ не вѣровать въ верховное блаженство «ѣды на золотѣ», а потому и фанатически пропагандируетъ ведущее къ тому битые объ полъ лбомъ и искренно сожалеетъ объ опасномъ «вольнодумствѣ» сына своего друга. Онъ совершенно спокойно, какъ объ истинно добромъ дѣлѣ, заявляетъ вслухъ: «какъ станешь представлять къ крестикшу или къ мѣстечку, — ну, какъ не порадыть родному человѣчку». Его удивляетъ слабое развитіе этой черты въ предметъ его ухаживанія, Скалозубъ, да оно и въ самомъ дѣлѣ объясняется только тѣмъ, что Скалозубъ гораздо ограниченнѣе Фамусова. Но не это дѣлаетъ понятною ту откровенность, съ какою Скалозубъ сознается, что онъ самъ хорошенько не знаетъ, за что собственно данъ ему послѣ дѣла 3-го августа орденъ. И изъ этого вовсе не слѣдуетъ такого сатирическаго преувеличенія, чтобы онъ ни разу не получалъ ордена за дѣйствительную храбрость; слѣдуетъ только, что «нахватыванье знаковъ отличія» и безъ особенныхъ даже заслугъ вовсе не представлялось удивительнымъ и непохвальнымъ ему, какъ и другимъ «созвѣздіямъ маневровъ и мазурки», собирающимся не то въ шутку, а не то и въ серіозъ дать всѣмъ такъ называемымъ вольнодумцамъ «фельдфебеля въ Вольтеры». Скалозубъ, этотъ Фамусовъ въ армейскомъ мундирѣ, вполне натурально удивляется тому, какъ это его братъ, набравшійся какихъ-то новыхъ правилъ, вышелъ въ отставку въ то время, когда ему слѣдовало чинъ.

Молчалинъ открытымъ заявленіемъ о своихъ двухъ талантахъ — умѣренности и аккуратности — совершенно правдоподобенъ въ своей средѣ, гдѣ именно «безсловесностью» и можно было безродному человѣчку пробиться въ Фамусовы, съ тѣмъ, чтобы потомъ преобразить свою *лестъ въ стесь*. При этомъ онъ даже вовсе не ограниченъ, а скорѣе уменъ въ своемъ родѣ, — уменъ, примѣняя отцовское завѣщаніе всѣмъ подслуживаться къ ухаживанью за дочкой начальника — на столько, чтобы это не компрометировало его, а даже содѣйствовало его служебнымъ видамъ. Молчалинъ совершенно серіозно считаетъ и не можетъ не считать Чацкаго чуть не дуракомъ послѣ его пренебрежительнаго отзыва о Татьянѣ Юрьевнѣ. Предметъ совершенно искренняго и вполне практичнаго уваженія для Молчалина составляетъ, да и не можетъ не составлять для такихъ людей, именно эта дама, доставляющая мѣста, а равно и Оома Оомичъ, сумѣвшій остаться начальникомъ отдѣленія *при трехъ министрахъ*. Столько же возможенъ, или, лучше сказать, неизбеженъ въ этой средѣ и Репетиловъ — съ его совершенно даже прямымъ самооплеваніемъ. Репетилу только не удалось добиться какого-нибудь дѣйствительно служебнаго проку отъ женитьбы на дочери вліятельнаго фонъ-Кюка — и вотъ онъ ударился въ либеральное краснбайничанье въ полусекретныхъ кружкахъ. Но Репетиловъ не совсемъ глупъ — а потому и чувствуетъ нѣкоторую фальшивость въ своемъ положеніи

и старается выкупить ее тѣмъ «самобичующимъ протестомъ», который, по выраженію поэта, «съ Ивана Грознаго до переписки Гоголя есть русскихъ гражданъ достояніе». Въ сущности, не повези по службѣ самому Фамусову, и онъ бы могъ перейти въ Репетилова, но вышелъ бы менѣе забавень при совѣтѣмъ уже незначительной дозѣ ума. Вѣдь и Фамусовъ не хуже Репетилова хвалится Скалозубу задоромъ московскихъ старичковъ, у которыхъ «что ни слово, то приговоръ», хотя и то правда, что эти «прямые канцлеры въ отставку по уму», безъ которыхъ «не обойдется дѣло», обыкновенно только «придерутся къ тому-сему, а больше ни къ чему, поспорятъ, пошумятъ — и разойдутся». Въ словахъ этихъ Фамусовъ, опять-таки совершенно натурально, обнаруживаетъ то пока еще благонамѣренное фрондерство, которое какъ бы служить ему про запасъ, — чтобы, въ случаѣ какой-нибудь невзгоды, завернуться въ него, какъ въ либеральную мантию.

Нимало не раздутымъ въ своемъ нравственномъ убожествѣ является, наконецъ, и Загорѣцкій. И онъ нисколько не карикатура — особенно въ сравненіи съ соотвѣтственными гоголевскими двойниками — Бобчинскимъ и Добчинскимъ, переходящими въ самомъ дѣлѣ въ карикатуру. Загорѣцкій, только бы повезло, могъ бы, пожалуй, пробраться и въ Фамусовы, но обстоятельства сложились иначе — и вотъ онъ иными путями удить рыбу, — удить ее уже прямо въ мутной водѣ. Это всѣмъ хорошо извѣстно, но онъ вездѣ принятъ въ качествѣ всеобщаго прислужника и угодника. Это своего рода всѣмъ необходимый Молчалинъ. Не даромъ же Чацкій и говоритъ про послѣдняго, что въ немъ не умретъ Загорѣцкій, хотя ему пока еще не достаетъ способности не связаннаго дѣловымъ поприщемъ Антона Антоновича служить живою газетою, сообщающею всякія сплетни и новости — безъ утомительнаго процесса чтенія. Благодаря всего болѣе этому, Загорѣцкій по своему сдѣлалъ карьеру, хотя не прочь считать себя и либераломъ à la Репетиловъ. Когда же ему прямо въ глаза говорятъ, что онъ мошенникъ, Загорѣцкій, хорошо зная, что это не закроетъ ему доступа на обѣды и балы, самымъ натуральнымъ образомъ притворяется, что принимаетъ это за шутку.

Гораздо болѣе чѣмъ въ отрицательныхъ типахъ драмы находили у насъ драматически неправдоподобнаго въ Чацкомъ. Находили прежде всего неумѣстнымъ для умнаго человѣка постоянное проповѣдничество въ пустынѣ. Но критики забывали при этомъ, что и умный человѣкъ состоитъ не изъ одного же ума; что въ немъ можетъ быть вмѣстѣ съ тѣмъ и страстный характеръ, которому не подъ силу сдерживать накипѣвшую желчь. Но не надобно забывать и того, что Чацкій сначала рассчитываетъ встрѣтить лицо, которому онъ можетъ не даромъ повѣрить свои задушевные взгляды, — въ этой дѣвушкѣ, выставшей вмѣстѣ съ нимъ, и, конечно, еще не успѣвшей тогда окунуться въ тотъ житейскій омутъ, въ которомъ

съ такимъ вкусомъ вращается ея почтенный отецъ. Но въ три года путешествія Чацкаго много воды утекло, а онъ, очарованный чистой дѣвочкой, при всемъ своемъ умѣ, не предвидѣлъ этого.

Софья успѣла набратъся фамиліной фамусовской закваски и дошла, такимъ образомъ, до того, что полюбила Молчалина — за его смиреннѣйшее ухаживаніе. Самъ Грибоѣдовъ горячо защищалъ Чацкаго передъ первымъ своимъ критикомъ, Катенинымъ, говоря: «дѣвушка, сама не глупая, предпочитаетъ дурака умному человѣку не потому, чтобы умъ у насъ, грѣшныхъ, былъ обыкновененъ; нѣтъ, и въ моей комедіи 25 глупцовъ на одного здравомыслящаго человѣка; и этотъ человѣкъ, разумѣется, въ противорѣчій съ обществомъ, его окружающимъ, его никто не понимаетъ, никто простить не хочетъ, зачѣмъ онъ немножко повыше прочихъ; сначала онъ веселье — и это порокъ: «шутить и вѣкъ шутить, какъ васъ на это станетъ!» Слегка перебираетъ странности прежнихъ знакомыхъ... «не человѣкъ — змѣя»... А послѣ, когда вмѣшивается личность, нашихъ затронули, предается анаемѣ... «унизить радъ, кольнуть, завистливъ, гордъ и золъ». Не терпитъ подлости: «ахъ, Боже мой, онъ карбонарій!» Кто-то со злости выдумалъ о немъ, что онъ сумасшедшій; никто не повѣрилъ, и всѣ повторяютъ голосъ общаго «недоброхотства»... Но всего замѣчательнѣе, скажемъ мы, что наши критики прямо повѣрили — конечно, не сумасшествію, а непонятной странности Чацкаго и стали выставлять его самого лицомъ крайне комическимъ противъ воли автора. Но если тутъ и есть комизмъ, то онъ по шекспировски совпадаетъ у Грибоѣдова съ высокимъ трагизмомъ. Окончательное одиночество Чацкаго въ своемъ обществѣ — это превосходное драматическое изложеніе той самой темы, которая была такъ трогательно намѣчена въ лирическомъ стихотвореніи поэта той же эпохи:

Не сблизись, мой другъ, пророчества  
Пылкой юности моей:

Горькій жребій одиночества  
Мнѣ сужденъ въ кругу людей!...

Страшно дней не вѣдать радостныхъ,  
Быть чужимъ среди своихъ;

Но ужаснѣй — истинъ тягостныхъ  
Быть сосудомъ съ дней младыхъ...

Всюду встрѣчи безотрадныхъ!  
Ищешь, суетный, людей;

А встрѣчаешь трупы хладные  
Иль безсмысленныхъ дѣтей...

Но у насъ не обращали вниманія на то, что Чацкій, повидимому, возвращается изъ путешествія уже отчасти разочарованнымъ. На слова Софьи: «гоненье на Москву! что значитъ видѣть свѣтъ! гдѣ жъ лучше?» онъ, какъ извѣстно, отвѣчаетъ: «гдѣ насъ нѣтъ!» Иногда объясняютъ это такимъ образомъ: «гдѣ русскихъ нѣтъ». Но проще понимать въ буквальномъ смыслѣ, довольно близкомъ къ поговоркѣ: «славны бубны за горами».

Вспомнимъ, что слѣдуетъ далѣе? «Когда постранствуешь, воротишься домой, — и дымъ отечества намъ сладокъ и пріятенъ». На теперешней нашей сценѣ Чацкій говоритъ это съ глубокимъ презрѣніемъ. Но это совершенно не вѣрно. Чацкій, несмотря на сознаваемые имъ изъяны въ барской московской средѣ, горячо любить

«свое отечество. «И вотъ та родина!» съ отчаяніемъ восклицаетъ онъ послѣ милліона терзаній, постигшихъ его на балу у Фамусова, хотя не можетъ, конечно, винить въ этомъ «умный и добрый народъ», о которомъ съ такимъ сочувствіемъ отзывается онъ передъ московскими *grandseigneur*'ами. Вспомнимъ, для сравненія, стихи Батюшкова о возвращающемся Одиссеѣ, написанные имъ по прибытіи домой изъ Парижскаго похода и кончающіеся словами «очнулся онъ, и что жъ? отчизны не узналъ!» Поэтъ, очевидно, возлагалъ на нее упованія, соотвѣтствовавшія ей выдающемуся положенію въ событіяхъ времени; эти патріотическія упованія невольно вызывались и тѣмъ, что нельзя было быть довольнымъ тогдашней Европой. Другой поэтъ, — тотъ, стихи котораго не разъ приводились выше, — писалъ изъ Парижа въ 1815 г.: «Наши союзники надменностью и жестокостью своею скоро выведутъ изъ терпѣнія народъ въ сердцахъ котораго еще съ прежнею горячностью кипитъ любовь къ независимости». «Ваши офицеры, ваши солдаты не такъ обходятся съ нами», говорили ему французы: «вашъ Александръ покровитель намъ онъ нашъ благодѣтель; но союзники его кровопійцы». Между тѣмъ, эти союзники сумѣли распорядиться такимъ образомъ, что Россіи навязано было главенство въ томъ дѣлѣ *реакціи*, которое было такъ нужно Австріи и быстрые успѣхи котораго во всей Европѣ заставили Байрона въ озлобленіи обозвать ее нашею *изношеною Европой*. Вотъ въ какую пору путешествовалъ Чацкій. Собственно только Пруссія умѣла умно ухватиться за внутреннія преобразованія, какъ за вѣрнѣйшее средство возстановленія своего политическаго значенія. Не пустить на подобный путь Россію — стало завѣтною цѣлью политики Меттерниха, а она нашла себѣ въ этомъ поддержку съ различныхъ сторонъ. Остановка внутренняго роста Россіи должна была подкопать ее черезчуръ уже выдвинувшееся впередъ политическое могущество Торжественно вручить этой, какъ ее называли, освободительницѣ Европы два тормоза — одинъ для ея внутреннихъ дѣлъ, другой — для внѣшней политики, значило — и скорѣе достигнуть ея стараніемъ своихъ собственныхъ реакціонныхъ цѣлей, и обратить на нее ожесточенные взоры народовъ. Эта «послѣдняя лестъ была горше первой» — даже горше того, что и такіе европейскіе люди, какъ пылкій республиканецъ Лагарпъ, становились у насъ на сторону остзейскихъ бароновъ въ дѣлѣ задержки освобожденія крестьянъ и, такимъ образомъ, прямо попадали въ ряды тѣхъ «кліентовъ-иностраницевъ», которые не только не истребляли, но даже поддерживали у насъ «прошедшаго житя подлѣйшія черты» Еще задолго до Грибоѣдова, при Екатеринѣ, лучшіе русскіе люди, и именно ревнители *просвѣщенія*, хорошо понимали, какъ мало было настоящаго, проку отъ нашего «европеизма» для нашего *народа*. Грибоѣдовъ еще въ программѣ своей ненаписанной драмы спрашивалъ устами Наполеона: «самъ себѣ преданный, — что бы онъ могъ произвести?» А глазами Чацкаго Грибоѣдовъ искалъ и не находилъ у насъ той печати истиннаго европеизма, которая заключается въ этой «преданности



себѣ». Какъ ни мало привлекательнаго представляла Чацкому современная ему полоса въ европейской жизни, все же въ каждомъ народѣ находилъ онъ тамъ характерность, ясно сознаванную потребность стоять на своихъ ногахъ. Не встрѣтивъ, по возвращеніи въ отечество, «ни звука русскаго, ни русскаго лица», не только что рѣшимости «смѣть свое сужденіе имѣть», — мудро ли, если онъ молить, чтобы Господь истребилъ у насъ этотъ нечистый молчалинскій духъ «пустого, рабскаго, слѣпнаго подражанья», доходя въ пылу увлеченія до того, что готовъ сочувствовать даже китайцамъ въ ихъ «премудромъ незнаньи иноземцевъ». Чацкому стыдно за нашу безхарактерность передъ «добрымъ и умнымъ русскимъ пародомъ», который давно уже сочувственно рисовался поэту со всеми своими *особенностями*. Грибоѣдовъ не даромъ изучалъ лѣтописи своего отечества. Онѣ выдвинули передъ нимъ не только его *исполиновъ*, но и ту сплошную земскую силу, которая завершила свою расправу съ татарщиной самовольнымъ покореніемъ Сибири и спасла отъ крушенія расшатанное, казалось, въ конецъ государственное зданіе Россіи въ 1613 г., когда большинство служилыхъ верховъ и тѣломъ и душой отдалось врагамъ. Она вывезла насъ и въ Отечественную войну, несмотря на всѣ тѣ «отличія и искательства», которыя, по выраженію Грибоѣдова, «уничтожали всю поэзію великихъ подвиговъ». Передъ историческимъ взглядомъ поэта наше военное и политическое торжество въ его время вполне объяснялись характеромъ русскаго народа. Тѣмъ оскорбительнѣе долженъ былъ представляться ему тотъ способъ объясненія современныхъ событій *чудомъ*, который, сложившись въ мистической головѣ какой-нибудь М-те Крюднеръ, оказывался весьма пригоднымъ для того, чтобы отводить, кому нужно, глаза отъ простаго русскаго челоуѣка. Вспомнимъ, что въ старомъ грибоѣдовскомъ планѣ драмы онъ имѣлъ своего представителя, возвращающагося, послѣ величайшихъ подвиговъ, подъ отеческую палку (а вмѣстѣ съ тѣмъ и цивилизованную бритву) помѣщика. Лучшіе русскіе люди того времени, которыхъ представителемъ и является Чацкій, не были совершенно удвѣтвованы и исторіей Карамзина, потому что въ ней, по ихъ мнѣнію, все же недостаточно выдвигалось впередъ самодѣятельное значеніе русскаго народа. Онъ, этотъ «умный и добрый» (а по нѣкоторымъ грибоѣдовскимъ рукописямъ *добрымъ*) народъ представлялся имъ не безроднымъ бѣднякомъ-неудачникомъ, постоянно ждущимъ какой-то милостивой подачки, а имѣвшимъ свое многотрудное прошлое и уже своимъ умѣньемъ все перебыть и все перемочь предъявляющимъ свои неоспоримыя права на историческое совершеннолѣтіе. Такими отношеніями къ родному народу и родной странѣ окончательно выясняется образъ Чацкаго, какъ представителя тѣхъ людей эпохи, которые переросли цѣлою головою не только тогдашнее, но и позднѣйшее образованное большинство. Очень недостаточное пониманіе этого возвышеннаго лица проявилъ даровитый современный сатирикъ, заставляя его завершить свое поприще поступле-

ніемъ въ директоры «департамента умопомраченій». Кто другой, а не герой Грибоѣдова кандидатъ на такое мѣсто!

Не сдавать его въ этотъ смѣшной архивъ должны мы, а желать и въ то же время бояться его возрожденія между нами. Да, бояться — потому что онъ бы навѣрное захотѣлъ — и словомъ своимъ и примѣромъ — насъ подстегнуть, «какъ крѣпкою вожжей». А что если бы ему представились и теперь тамъ и сямъ дополненныя и исправленныя изданія тѣхъ же типовъ: Фамусовы разныхъ сортовъ, проводящіе всѣми мѣрами на всевозможныхъ попрощахъ себя и своихъ, руководясь, за неимѣніемъ какой-либо ясной идеи, мнѣніемъ той или другой Марьи Алексѣевны; Скалозубы, готовые проводить въ Вольтеры все того же, хотя, можетъ-быть, и довольно грамотнаго фельдфебеля; Репетилковы, воображающіе себя «охранителями»; Молчалины, видящіе въ себѣ «либераловъ»; Загорѣцкіе всѣхъ видовъ и размѣровъ въ рядахъ и такъ называемыхъ консерваторовъ и такъ называемыхъ прогрессистовъ. Что если за встрѣчу съ подновленными экземплярами его старыхъ знакомыхъ ему бы пришлось расплатиться тѣмъ же милліономъ терзаній — да еще съ процентами?..

Но какое бы тяжкое новое горе ни ожидало его у насъ, всѣ мы должны быть исполнены того чаянья, о которомъ говоритъ поэтъ:

Какъ часто, беспильемъ томимый,  
Съ глубокой и тяжелой тоской,  
Молю Тебя дать имъ пророка  
Съ горячей и крѣпкой душой!..

Молю Тебя въ часъ полуночи  
Пророку дать силу рѣчей,  
Чтобъ міръ оглашать онъ далеко  
Глаголами правды Твоей!

Подобнымъ пророкомъ являлся не разъ вдохновенный сатирикъ, — сатирикъ съ идеаломъ въ душѣ, съ безстрашіемъ мысли и права, съ упорною непоклонливостью во всемъ.

Но оставаясь въ томительномъ ожиданіи новыхъ вдохновенныхъ сатириковъ, вспомнимъ сердечный совѣтъ другого поэта:

Не говори съ тоской: ихъ нѣтъ!  
А съ благодарностію: были!

Пусть же окажутся у насъ хоть на это и *единыя* уста и *единое* сердце. Скажемъ же всѣ въ одинъ голосъ: великому русскому писателю-гражданину и дипломату-мученику Александру Сергѣевичу Грибоѣдову вѣчная память и вѣчная слава!

О. Миллеръ.

Комедія Грибоѣдова есть единственное произведеніе, представляющее художественно сферу нашего, такъ называемаго, свѣтскаго быта, а съ другой стороны, Чацкій Грибоѣдова есть единственное истинно героическое лицо нашей литературы.

Постараюсь пояснить два этихъ положенія. Всякій разъ, когда великое дарованіе, носить ли оно имя Гоголя или имя Островскаго, откроетъ новую руду общественной жизни и начнетъ увѣковѣчивать ея типы (Гоголь — типы малороссійскіе, Островскій — типы велико-

русские), всякій разъ въ читающей публикѣ, а иногда даже и въ критикѣ (къ большому, впрочемъ, стыду сей послѣдней), слышатся возгласы о низменности избранной поэтомъ среды жизни, объ односторонности направленія и т. п. — всякій разъ высказываются наивнѣйшія ожиданія, что вотъ-вотъ явится писатель, который представитъ намъ типы и отношенія изъ высшихъ слоевъ жизни.

Ни мѣщанская часть публики ни мѣщанское направленіе критики, въ которыхъ слышатся подобные возгласы и которые живутъ подобными ожиданіями, не подозрѣваютъ въ наивности своей, что если только какой-либо слой общественной жизни выдается своими типами, если отношенія, его отличающія, состоятъ на одномъ изъ первыхъ плановъ въ движущейся картинѣ жизни народнаго организма, то искусство неминуемо оградитъ и увѣковѣчитъ его типы, анализируетъ и осмыслитъ его отношенія. Великая истина шеллингизма, что «гдѣ жизнь, тамъ и поэзія» — истина, которую проповѣдовалъ нѣкогда такъ блистательно нашъ глубокомысленный Надеждинъ, какъ-то не дается до сихъ поръ въ руки ни нашей публикѣ, ни нѣкоторымъ направленіямъ нашей критики. Эта истина или вовсе не понята, или понята очень поверхностно. Не все то есть жизнь, что называется жизнью, какъ не все то золото, что блеститъ. У поэзіи вообще есть великое, только ей данное чутье на различеніе жизни настоящей отъ миражей жизни: явленія первой она увѣковѣчиваетъ, ибо они суть типическія, имѣютъ корни и вѣтви; къ миражамъ она относится и можетъ относиться только комически, — да и комическаго отношенія удостоиваетъ она ихъ только тогда, когда они соприкасаются съ жизнью дѣйствительною. Какъ можетъ художество, имѣющее вѣчною задачею свою правду, и одну только правду, создавать образы, не имѣющіе существеннаго содержанія, анализировать такого рода исключительныя отношенія, которыхъ исключительность есть нѣчто произвольное, условное, натянутое?... Антонъ Антоновичъ Сквозникъ-Дмухановскій и какой-нибудь Китъ Китычъ Брусковъ суть лица, имѣющія свое собственное, имъ только свойственное, типическое существованіе; но какой-нибудь Чельскій, въ романѣ «Племянница», какой-нибудь Сафьевъ, въ повѣсти «Большой свѣтъ», взяты напрокатъ изъ другой, французской или англійской жизни. Пусть они въ такъ называемой велико-свѣтской жизни и встрѣчаются, — да художеству то нѣтъ до нихъ никакого дѣла, ибо художество не воссоздаетъ повтореній, а въ самомъ повтореніи, если таковое попадаетъ въ жизни, ищетъ чертъ существенныхъ, самостоятельныхъ. Такъ, на примѣръ, если бы неминуемо пришлось искусству настоящему имѣть дѣло съ однимъ изъ упомянутыхъ мною героевъ, оно отыскало бы въ нихъ ту тонкую черту, которая отдѣляетъ эти копии отъ французскихъ или англійскихъ оригиналовъ (какъ Гоголь отыскалъ тонкую черту, отдѣляющую художника Пискарева отъ художника другихъ странъ, его жизнь отъ ихъ жизни), и на этой чертѣ основало бы свое созданіе:

естественно, что созерцаніе вышло бы комическое, да инымъ оно и быть не можетъ, инымъ ему и не зачѣмъ быть! Художество есть дѣло серіозное, дѣло народное. Какая ему нужда до того, что въ извѣстномъ господинѣ или въ извѣстной госпожѣ развились чрезъ мѣру утонченныя потребности? Если онѣ комичны передъ судомъ христіанскаго и человѣчески-народнаго созерцанія, — казни ихъ комизмомъ безъ всякаго милосердія, какъ казнить комизмомъ то, что стоитъ такой казни, Грибоѣдовъ, какъ казнить Гоголь Марью Александровну въ «Отрывкѣ», какъ казнить Островскій Мерича, Писемскій — m-me Манилову. Все, что само по себѣ глупо, или безнравственно съ высшихъ точекъ жизни, кольми паче глупо и безнравственно передъ искусствомъ, да и знаетъ очень хорошо въ этомъ случаѣ свои задачи искусство; все глупое и безнравственное въ жизни оно казнить, какъ только глупое и безнравственное рельефно выставится на первый планъ.

Не за предметъ, а за отношеніе къ предмету долженъ быть хвалимъ или порицаемъ художникъ. Предметъ почти не зависитъ даже отъ его выбора; вѣроятно, графъ Толстой, напримѣръ, болѣе всѣхъ другихъ былъ способенъ изображать великосвѣтскую сферу жизни и выполнить наивныя ожиданія многихъ, страдающихъ тоскою по этимъ изображеніямъ, но высшія задачи таланта влекутъ его не къ этому дѣлу, а къ искреннѣйшему анализу души человѣческой.

Но, прежде всего, что разумѣть подъ сферой большого свѣта? Принадлежитъ ли къ ней весь міръ, созданный безсмертной комедіей Грибоѣдова? Почему жъ бы имъ, кажется, и не принадлежать? Павель Афанасьевичъ Фамусовъ —

англійскаго клоба

Старинный, вѣчный членъ до гроба.

и находится въ извѣстномъ близкомъ отношеніи, можетъ-быть, даже родственномъ съ «княгиней Марьей Алексѣевной»; Репетиловъ, безъ сомнѣнія, большой баринъ; графиня Хрюмина и княгиня Тугоуховская, равно какъ и фонвизинская княгиня Халдина, суть несомнѣнно лица, ведущія свои роды весьма издалека; а между тѣмъ, скажите-ка, что Фонвизинъ и Грибоѣдовъ изображали большой свѣтъ, — въ отвѣтъ вы получите презрительно-величавую улыбку!

Съ другой стороны, почему какой-либо офицеръ Печоринъ у Лермонтова, офицеръ Сережа у графа Соллогуба — люди большого свѣта? Неужели оттого только, что они принадлежатъ

къ любимцамъ гвардіи, гвардейцамъ, гвардіонцамъ,

о которыхъ съ такою досадою говоритъ Скалозубъ? Отчего несомнѣнно же принадлежитъ къ сферѣ большого свѣта княгиня Лиговская, которая въ сущности, есть та же фонвизинская княгиня Халдина? Отчего несомнѣнно же принадлежатъ къ этой сферѣ всѣ скучныя лица скучныхъ романовъ г-жи Евгеніи Туръ? Ясно, что не сфера

родовыхъ преимуществъ, не сфера бюрократическихъ верхушекъ разумѣются въ жизни и въ литературѣ подъ сферою большого свѣта. Багровы, напримѣръ, никакъ уже не люди большого свѣта да едва ли бы и захотѣли принадлежать къ нему. Фамусовъ и его міръ — не тотъ міръ, въ которомъ сіяетъ Воротынская, въ которомъ проваливается Леонинъ и безнаказанно кобенится Сафѣевъ, и дѣйствуютъ въ такомъ же духѣ другіе герои графа Соллогуба или г-жи Евгеніи Туръ. Да ужъ полно, не воображаемый ли только этотъ міръ? — спрашиваете вы себя съ нѣкоторымъ изумленіемъ! Не одна ли мечта литературы, — мечта, основанная на двухъ-трехъ, много десяти домахъ въ той или другой столицѣ? Въ жизни вы встрѣчаете или міры, которыхъ существенные признаки сводятся къ чертамъ уважаемыхъ и любимыхъ вами Багровыхъ, или съ дикими и, въ сущности, всегда одинаковыми понятіями Фамусовыхъ и гоголевской Марьи Андреевны.

А между тѣмъ въ мѣщанскихъ кругахъ общежитія и литературы (вотъ эти круги такъ ужъ несомнѣнно существуютъ) вы только и слышите, что слова: большой свѣтъ, *comme il faut*, высокий тонъ. Вы подходите къ явленіямъ, на которое мѣщанство указываетъ какъ на представителей того и другого и третьяго, и простымъ глазомъ видите или Багровыхъ или міръ Фамусова; первыхъ вы уважаете за возвышенность ихъ взгляда, хотя можете и не дѣлать съ ними нѣкоторой упорной ихъ закоренѣлости; къ послѣднимъ и не можете и не должны отнестись иначе, какъ отнестись къ нимъ великій комикъ. Тотъ или другой міръ хотятъ, правда, выдѣлать себѣ иногда на англійскій или французскій манеръ, но при великой способности въ выдѣлкѣ, въ русскомъ человѣкѣ совершенно недостаетъ выдержки. Какая-нибудь значительная графиня Воротынская, того и гляди, кончитъ какъ грибоѣдовская Софья Павловна; какой-нибудь князь Чельскій можетъ съ теченіемъ время до метеорскаго состоянія, хотя до легонькаго. Это и бываетъ зачастую. Одни Багровы останутся всегда себѣ вѣрными, потому что въ нихъ есть крѣпкія, коренныя, хотя и узкія начала.

Вотъ почему леденящій ироническій тонъ слышенъ во всемъ томъ, въ чемъ Пушкинъ касался такъ называемаго большого свѣта, отъ «Пиковой дамы» до «Египетскихъ ночей» и другихъ отрывковъ, — вотъ почему никакой ироніи у него не слышно въ изображеніяхъ старика Гринева и Кириллы Троекурова; иронія неприложима къ жизни, хотя бы жизнь и была груба до звѣрства. Иронія есть нѣчто неполное, состояніе духа несвободное, нѣсколько зависимое, слѣдствіе душевнаго раздвоенія, слѣдствіе такого состоянія души, въ которомъ и сознаешь ложь обстановки, и давить вмѣстѣ съ тѣмъ обстановка, какъ давить она пушкинскаго Чарскаго. Едва ли бы нашъ великій учитель и окончилъ когда-нибудь эти многіе отрывки, оставшіеся намъ въ его сочиненіяхъ. Настоящій тонъ его свѣтлой души былъ не ироническій, а душевный и искренній.

Та же иронія, только ядовитѣе, злѣе, и въ Лермонтовѣ. Когда Печоринъ замѣчаетъ въ княгинѣ Лиговской наклонность къ двусмысленнымъ анекдотамъ, — передъ зрителемъ поднимается задняя занавѣсъ, и за этой занавѣсью открывается давно знакомый міръ — фонвизинскій и грибоѣдовскій. И поднимать эту занавѣсъ есть настоящее дѣло серіозной литературы. Ее поднимаетъ даже и графъ Соллогубъ, какъ писатель все-таки даровитый, но поднимаетъ какъ-то невзначай, безъ убѣжденія, тотчасъ же вѣря и желая другихъ заставить вѣрить въ свою кукольную комедію. Въ его «Львѣ», напримѣръ, есть страница, гдѣ онъ очень смѣло приступаетъ къ поднятію задней занавѣси, гдѣ онъ прямо говоритъ о томъ, что за выдѣланными, взятыми напрокатъ формами большого свѣта кроются часто черты совершенно простыя, даже пошлыя, — но вся бѣда въ томъ, что только эти черты кажутся ему пошлыми, тогда какъ выдѣланныя гораздо пошлѣе. Возьмемъ самый крайній случай: положимъ, что подкладка (тщательно скрытая) какого-нибудь свѣтскаго господина, усвоившаго себѣ и англійскій флегматизмъ и французскую наглость, есть просто натура избалованнаго барченка, или положимъ, что одна изъ блестящихъ героинь графа Соллогуба, въ родѣ графини Воротынской, вся сдѣланная, вся воздушная, наединѣ съ своей горничной, выскажетъ тоже натуру обыкновенной и по-русски избалованной барышни, — настоящая натура героя или героини все-таки лучше (пожалуй, хоть только въ художественномъ смыслѣ) ея или его дѣланной натуры; ужъ потому только, что дѣланная натура есть всегда повторенная.

Къ сожалѣнію, изъ всѣхъ нашихъ писателей, принимающихся за сферу большого свѣта, одинъ только художникъ сумѣлъ удержаться на высотѣ созерцанія — Грибоѣдовъ. Его Чацкій былъ, есть и долго будетъ непонятенъ — именно до тѣхъ поръ, пока не пройдетъ окончательно въ нашей литературѣ несчастная болѣзнь, которую назвалъ я однажды, и назвалъ, кажется, справедливо: болѣзнью моральнаго лакейства. Болѣзнь эта выражалась въ различныхъ симптомахъ, но источникъ ея былъ всегда одинъ: преувеличеніе призрачныхъ явленій, обобщеніе частныхъ фактовъ. Отъ этой болѣзни былъ совершенно свободенъ Грибоѣдовъ; отъ этой болѣзни свободенъ Толстой; но, — хотя это и страшно сказать, — отъ нея не былъ свободенъ Лермонтовъ. Возвышенная натура Чацкаго, который не видитъ ложь, зло и тупоуміе, какъ человѣкъ вообще, а не какъ условный порядочный человѣкъ, и смѣло обличаетъ всякую гадость, хотя бы его и не слушали; менѣе сильная, но не менѣе честная личность героя «Юности», который, при встрѣчѣ съ кружкомъ умныхъ и энергическихъ, хотя и не порядочныхъ, хотя даже и пьющихъ молодыхъ людей, вдругъ сознаетъ всю свою мелочность предъ ними и въ нравственномъ и въ умственномъ развитіи, — явленія, смѣю сказать, болѣе жизненные, т.-е. болѣе идеальныя, нежели натура господина, который, изъ за какого-то условнаго,

натянутого взгляда на жизнь и отношенія, едва подаетъ руку Максиму Максимовичу, хотя и дѣлилъ съ нимъ когда-то радость и горе! Будетъ ужъ намъ подобныя явленія считать за живыя и пора отречься отъ дикаго мнѣнія, что Чацкій — «Донъ-Кихоть». Пора намъ убѣдиться въ противномъ, т.-е. въ томъ, что наши львы, фешенебли, какъ взятые напрокатъ, — «Донъ-Кихоты»; что собственная, тщательно ими скрываемая натура ихъ самихъ — и добрѣе и лучше той, которую берутъ они займы.

Самое представленіе о сферѣ большого свѣта, какъ о чемъ-то давящемъ, гнетущемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ обаятельномъ, — родилось не въ жизни, а въ литературѣ, и литературою взято на прокатъ изъ Франціи и Англіи. Звонскіе, Гремینی и Лидины, являвшіеся въ повѣстяхъ Марлинскаго, конечно, очень смѣшны, но графы Слапачинскіе, гг. Бондаревскіе и иные, даже самые Печорины, съ тѣхъ поръ, какъ Печоринъ появился во множествѣ экземпляровъ, — смѣшны точно такъ же, если не больше! Серіозной литературѣ до нихъ еще меньше дѣла, чѣмъ до Звонскихъ, Греминныхъ и Лидиныхъ. Въ нихъ нельзя ничего принимать взаправду, а изображать ихъ такими, какими они кажутся, значить только угождать мѣщанской части публики, той самой «ки э каню авекъ ле Чуфыринъ э ле Курмицынт» и вздыхаетъ о вечерахъ графини Воротынской.

Другое отношеніе возможно еще къ сферѣ большого свѣта и выразилось въ литературѣ — желчное раздраженіе. Имъ проникнуты, напримѣръ, повѣсти Н. Ф. Павлова, въ особенности его «Милліонъ», ю и это отношеніе есть точно также слѣдствіе преувеличенія обличало недостатокъ сознанія собственного достоинства. Это крайность, которая, того и гляди, перейдетъ въ другую, противоположную; борьба съ призракомъ, созданнымъ не жизнью, а Бальзакомъ, борьба и утомительная и бесплодная, — хожденіе на муху съ обухомъ.

Рѣшительно можно сказать, что представленіе о большомъ свѣтѣ не есть ничто рожденное въ нашей литературѣ, а, напротивъ, занятое ею, и притомъ занятое не у англичанъ, а у французовъ. Оно явилось не ранѣе тридцатыхъ годовъ, не ранѣе и не позже Бальзака. Прежде существенные слои представлялись въ иномъ видѣ простому, ничѣмъ непомраченному взгляду нашихъ писателей. Фонвизинъ, челоувѣкъ высшаго общества, не видитъ ничего грандіознаго и поэтическаго — не говорю уже въ своей совѣтницѣ или въ своемъ Иванушкѣ (къ бюрократіи и наша современная литература умѣла относиться комически), но въ своей княгинѣ Халдиной и въ своемъ Сорванцовѣ — хотя и та и другой, безъ сомнѣнія, принадлежатъ къ числу *des gens comme il faut* ихъ времени. Сатирическая литература временъ Фонвизина (и до него) казнить невѣжество барства, но не видитъ никакого особаго *comme il faut*'наго міра, живущаго, какъ *status in statu*, по особеннымъ, ему свойственнымъ, имъ и другими признаваемымъ законамъ. Грибоѣдовъ казнить невѣжество и хамство, но казнить ихъ не во имя *comme il faut*'наго условнаго идеала, а во имя высшихъ законовъ христіанскаго и чело-

вѣчески-народнаго взгляда. Фигуру своего борца, своего Яфета, Чацкаго, отгѣнилъ фигурую хама Репетилова, не говоря уже о хамѣ Фамусовѣ и хамѣ Молчалинѣ. Вся комедія есть комедія о хамствѣ, къ которому равнодушнаго или нѣсколько болѣе спокойнаго отношенія незаконно и требовать отъ такой возвышенной природы, какова натура Чацкаго. Говорятъ обыкновенно, что свѣтскій человѣкъ въ свѣтскомъ обществѣ, во-первыхъ, не позволить себѣ говорить того, что говорить Чацкій, а во-вторыхъ, не станетъ сражаться съ вѣтряными мельницами, проповѣдовать Фамусовымъ, Молчалинымъ и инымъ. Да съ чего вы взяли, господа, говорящіе такъ, что Чацкій свѣтскій человѣкъ, въ вашемъ смыслѣ, что Чацкій похожъ сколько-нибудь на разныхъ князей Чельскихъ, графовъ Слапачинскихъ графовъ Воротынскихъ, которыхъ вы напустили впоследствии въ литературу съ легкой руки французскихъ романистовъ? Онъ столько же не похожъ на нихъ, сколько не похожъ на Звонскихъ, Гремныхъ и Лидиныхъ. Въ Чацкомъ только правдивая натура, которая никакой мерзости не спуститъ — вотъ и все; и позволить онъ себѣ все, что позволить себѣ его правдивая натура. А что правдивыя природы есть и были въ жизни — вотъ вамъ налицо доказательства: старикъ Гриневъ, старикъ Багровъ старикъ Дубровский. Такую же природу наслѣдоваль, должно-быть, если не отъ отца, то отъ дѣда или прадѣда, Александръ Андреевичъ Чацкій... Другой вопросъ, сталъ ли бы Чацкій говорить такъ съ людьми, которыхъ онъ презираетъ?... А вы забываете при этомъ вопросѣ, что Фамусовъ, на котораго изливаетъ онъ «всю желчь и всю досаду», для него не просто такое-то или такое-то лицо, а живое воспоминаніе дѣтства, «когда его возили на поклонъ» къ господину, который

Согналь на многихъ фурахъ  
Отъ матерей, отцовъ отторженныхъ дѣтей.

А вы забываете, какая сладость есть для энергической души въ томъ, чтобы, по слову другого поэта,

Тревожитъ язвы старыхъ ранъ,

или

Смутить веселость ихъ  
И дерзко бросить имъ въ глаза желѣзный стихъ,  
Облитый горечью и злостью.

Успокойтесь: Чацкій менѣе, чѣмъ вы сами, вѣритъ въ пользу своей проповѣди; но въ немъ желчь накопѣла, въ немъ чувство правды оскорблено. А онъ еще, кромѣ того, влюбленъ: знаете ли вы, какъ любятъ такіе люди? Не этою подлою (извините за прямоту выраженія) и недостойною мужчины любовью, которая поглощаетъ все существованіе въ мысль о любимомъ предметѣ и приноситъ въ жертву этой мысли все, даже идею нравственнаго совершенствованія. Чацкій любить со страстью, безумно, и говоритъ правду Софьѣ, что

Дышаль я вами, жилъ, былъ занятъ непрерывно;



но это значить только, что мысль о ней сливалась для него съ каждымъ благороднымъ помысломъ или дѣломъ чести и добра. Правду же говорить онъ, спрашивая ее о Молчалинѣ:

Но есть ли въ немъ та страсть, то чувство, пылкость та,  
Чтобъ, кромѣ васъ, ему мѣръ цѣлый  
Казался прахъ и суета?

И подъ этою правдою кроется мечта о его Софьѣ, какъ способной постичь, что «мѣръ цѣлый» есть «прахъ и суета» предъ идеей правды и добра, или, по крайней мѣрѣ, способной оцѣнить это вѣрованіе въ любимомъ ею человѣкѣ, способной любить за это человѣка. Такую только идеальную Софью онъ и любить: другой ему не надобно; другую онъ отринуть и съ разбитымъ сердцемъ пойдетъ

...искать по свѣту,  
Гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ!

Посмотрите, съ какой глубокой психологической вѣрностью веденъ весь разговоръ Чацкаго съ Софьею въ третьемъ актѣ. Чацкій все допытывается, чѣмъ Молчалинъ его выше и лучше; онъ съ нимъ даже вступаетъ въ разговоръ, стараясь отыскать въ немъ

умъ бойкій, геній смѣлый,

и все-таки не можетъ, не въ силахъ понять, что Софья любитъ Молчалина именно за свойства, противоположныя свойствамъ его, Чацкаго, за свойства мелочныя и пошлыя (подлыхъ чертъ Молчалина онъ еще не видитъ). Только убѣдившись въ этомъ, онъ покидаетъ свою мечту, но покидаетъ, какъ мужъ, безповоротно! — видитъ уже ясно и безтрепетно правду. Тогда онъ говорить ей:

Вы помиритеcь съ нимъ по размышленьи зрѣломъ.  
Себя крушить — и для чего?  
Подумайте: всегда вы можете его  
Беречь и пеленать и посылать за дѣломъ,  
Мужъ-мальчикъ, мужъ-слуга, изъ жениныхъ нажей —  
Высокій идеаль московскихъ всѣхъ мужей!

Вы, господа, считающіе Чацкаго Донъ-Кихотомъ, напираете, въ особенности, на монологъ, которымъ кончается третье дѣйствіе? Но, во-первыхъ, самъ поэтъ поставилъ здѣсь своего героя въ комическое положеніе и, оставаясь вѣрнымъ высокой психологической задачѣ, показалъ, какой комическій исходъ можетъ принять энергія несвоевременная; а во вторыхъ, опять-таки, вы, должно-быть, не вдумались въ то, какъ любятъ люди, подобные Чацкому, въ то, какъ вообще любятъ люди съ задатками даже какой-нибудь нравственной энергіи. Все, что говорить онъ въ этомъ монологѣ, онъ говорить для Софьи; всѣ силы души онъ собираетъ, всю натурую своей хочетъ раскрыться, все хочетъ передать ей разомъ, какъ въ «Доходномъ мѣстѣ» Ждановъ своей Полинѣ, въ послѣднія минуты своей, хотя и слабой (по его натурѣ), но благородной борьбы. Тутъ сказывается послѣдняя вѣра Чацкаго

въ натуру Софьи (какъ у Жданова, напротивъ, послѣдняя вѣра въ силу и дѣйствіе того, что считаетъ онъ своимъ убѣжденіемъ), тутъ для Чацкаго вопросъ о жизни и смерти цѣлой половины его нравственнаго бытія. Что этотъ личный вопросъ слился съ общественнымъ вопросомъ — это опять-таки вѣрно натурѣ героя, который является единственнымъ типомъ нравственной и мужественной борьбы въ той сферѣ жизни, которую избралъ поэтъ, — единственнымъ до сихъ поръ даже человѣкомъ съ плотью и кровью посреди всѣхъ этихъ князей Челескихъ, графовъ Воротынскихъ и другихъ господъ, расхаживающихъ съ англійскою важною по мечтательному міру нашей великосвѣтской литературы.

Да! Чацкій есть — повторяю опять — нашъ единственный герой, т.-е. единственный положительно борющійся въ той средѣ, куда судьба и страсть его бросили. Другой отрицательно борющійся герой нашъ явился въ неполномъ художественно, но глубоко прочувствованномъ образѣ господина, который 14 лѣтъ и 16 мѣсяцевъ не дослужилъ до пряжки. Но никакимъ образомъ уже русская жизнь не признаетъ своимъ героемъ дѣятельнаго господина Калиновича въ «Тысячѣ душъ» Писемскаго, да мы желаемъ думать, что и самъ Писемскій не считаетъ его таковымъ.

*Григорьевъ.*

### **Чацкій, какъ представитель новаго направленія въ первую половину царствованія Александра 1-го.**

Съ первымъ годомъ «нынѣшняго» вѣка повѣяло надъ Россіей новымъ живительнымъ воздухомъ: окончились тяжелые годы реакціи прошедшаго вѣка, «благословенный» Богомъ и народомъ молодой императоръ, вступившій на престолъ на 24-мъ году своей жизни, полный силъ, идеаловъ и надеждъ, сообщилъ и своимъ подданнымъ силы, идеалы и надежды. Въ первую половину царствованія императора Александра Благословеннаго началось сильнѣйшее умственное движеніе въ Россіи, и характеръ его отличался отъ характера подобнаго движенія въ началѣ царствованія бабушки его Екатерины II тѣмъ, что каждый свято вѣрилъ въ искренность стремленій и культурныхъ реформъ государя и лучшихъ людей Россіи; въ это время были затронуты самые глубокіе корни русской жизни, пошатнулись вѣковые устои крѣпостного начала, раскрылись широчайшіе горизонты человѣческой свободной мысли, и лучшіе люди тогда увидѣли всю серіозность новаго направленія, стали съ беззавѣтной преданностью дѣлу служить тѣмъ цѣлямъ, которыя были намѣчены и благословлены съ высоты русскаго престола; всякій увидѣлъ, что «новыя вѣянія», дѣйствительно, были новыми и непоказными, что просвѣтительныя идеи были, дѣйствительно, сознаны и не шли объ руку съ развивающимися параллельно — темными поступками: отмѣна пытокъ, представленіе права помѣщикамъ отпускать крестьянъ на волю, введеніе

школь взаимнаго обученія; распространеніе грамотности среди народа, расширеніе гласности, при непосредственномъ участіи самого императора во всѣхъ этихъ благихъ начинаніяхъ, въ связи съ простотой ви́шней жизни, потерявшей нынѣ свой прежній ненужный блескъ, убѣдили всѣхъ, что дѣло измѣнило свое теченіе, и всѣ, желавшіе блага Россіи, устремились къ образованію, при помощи котораго желали служить на пользу общаго дѣла. Понятно, почему Чацкій — дѣтище этой лучшей эпохи царствованія Александра I, сказалъ о своемъ времени:

«Но между тѣмъ кого охота забереть,  
Хоть въ раболѣпствѣ самомъ пылкомъ,  
Теперь, чтобы смѣшить народъ,  
Отважно жертвовать затылкомъ...  
Хоть есть охотники поподличать вездѣ,  
Да нынче смѣхъ страшить и держать стыдъ  
въ уздѣ.

Не даромъ жалуютъ ихъ скупо государи!..  
Нѣтъ, нынче свѣтъ ужъ не таковъ:  
Вольнѣ всякій дышитъ  
И не торопится вписаться въ полкъ шутовъ...  
И покровителей зѣвать на потолокъ.  
Явиться помолчать, пошаркать, пообѣдать,  
Подставить стулъ, поднять платокъ...  
Кто путешествуетъ, въ деревнѣ кто живетъ...  
Кто служить дѣлу, а не лицамъ»...

(Д. II. Явл. II).

Дѣйствительно, не видя лести и притворства, всякій искренно хотѣлъ служить дѣлу, а не лицамъ, пропитался сознаніемъ важности просвѣщенія, и въ этомъ пришла на помощь намъ Германія своими университетами: одинъ Гёттингенъ, и именно онъ, далъ намъ многихъ полезныхъ и искренно преданныхъ дѣлу людей. Нѣкоторые выносили оттуда лишь юношескій пылъ и теоретическіе идеалы, «съ душою Геттингенской»; другіе, получивъ серіозное образованіе въ Геттингенѣ, своимъ словомъ и дѣломъ служили развитію лучшихъ взглядовъ среди нашей молодежи. Николай Тургеневъ своимъ сочиненіемъ «Опытъ теоріи налоговъ» доказывалъ, что «угнетеніе одного класса гражданъ другимъ не можетъ быть залогомъ благосостоянія великаго и нравственно добраго народа»; Андрей Кайсаровъ въ 1806 г. писалъ о средствахъ постепеннаго освобожденія русскихъ крестьянъ; третьи — завѣщали намъ неустанную заботу о расширеніи образованія среди русскаго народа. Грибоѣдовъ самъ обязанъ своимъ образованіемъ и сочувствіемъ своимъ всѣмъ успѣхамъ знанія въ Россіи, защитой всѣхъ представителей новаго просвѣщенія на Руси, главнымъ образомъ, своему профессору — гёттингенцу Буле, лекціи котораго онъ слушалъ въ Моск. университетѣ. Быть-можетъ, благодаря вліянію этого просвѣщеннаго профессора, Грибоѣдовъ выплылъ изъ той засасывающей его тины московской барской среды, въ которой онъ вращался и отъ которой убѣжалъ. Не меньшее вліяніе имѣла на насъ тогда

Франція и Англія, откуда дошли до насъ теоріи Бентама, проекты суда присяжныхъ, интересъ къ политическимъ наукамъ и народному хозяйству, наконецъ, ланкастерскія школы взаимнаго обученія, на которыя нападаетъ въ комедіи «Горе отъ ума» Хлестова, говоря по поводу извѣстія о сумасшествіи Чацкаго.

«И впрямь съ ума сойдешь отъ этихъ отъ однихъ  
Отъ пансіоновъ, школъ, лицеевъ... Какъ бишь ихъ?  
Да... отъ ланкарточныхъ взаимныхъ обученій!»

(Д. III. Явл. XXI.)

Княгиня Тугоуховская подсказываетъ ей:

«Нѣтъ въ Петербургѣ институтъ  
Педагогическій — такъ, кажется, зовутъ?  
Тамъ упражняются въ расколахъ и безвѣрыи  
Профессора! У нихъ учился нашъ родня,  
И вышетъ, — хоть сейчасъ въ аптеку, въ подмастерья!  
Отъ женщинъ бѣгаетъ, и даже отъ меня!  
Чиновъ не хочетъ знать. Онъ химикъ, онъ ботаникъ,  
Князь Федоръ, мой племянникъ» *ibid.*

Скалозубъ на это отвѣчаетъ:

«Я васъ обрадую: всеобщая молва,  
Что есть проектъ насчетъ лицеевъ, школъ, гимназій.  
Тамъ будутъ лишь учить по нашему: разъ, два!  
А книги сохранять такъ, для большихъ оказій,  
Пусть ихъ лежать себѣ въ пыли!  
Отъ нихъ лишь злу намъ можно научиться,  
Пускай въ нихъ тотъ и копошится,  
Ни денегъ у кого нѣтъ ни земли!»

Фамусовъ на это возражаетъ, говоря свое мнѣніе:

«Сергѣй Сергѣвичъ! нѣтъ, коли ужъ зло пресѣчь,  
Забрать всѣ книги бы да сжечь». *ibidem.*

Нельзя не видѣть въ этихъ бесѣдахъ намека на извѣстную исторію Спб. университета въ 1821 году и на ея послѣдствія.

Разсуждая по поводу сплетни о сумасшествіи Чацкаго, Фамусовъ въ другомъ мѣстѣ комедіи говоритъ:

«Ну, вотъ! великая бѣда,  
Что выпьетъ лишнее мужчина!  
Ученье — вотъ чума! Ученость — вотъ причина,  
Что нынче пуще, чѣмъ когда,  
Безумныхъ развелось людей и дѣлъ и мнѣній!»

(Д. III. Явл. XXI.)

На приглашеніе Репетилова въ англійскій клубъ и къ князю Григорію, т. е. къ князю Оболенскому, какъ говоритъ намъ литературная критика, у котораго собирались люди — «сокъ умной молодежи»,

по выраженію того же Репетилова (Д. IV. Явл. IV), Скалозубъ отвѣчаетъ:

«Ученостью меня не обморочишь;  
Сликай другихъ. А если хочешь.  
Я князь Григорію и вамъ  
Фельдфебеля въ Вольтеры дамъ:  
Онъ въ три шеренги васъ построить,  
А пикнете, — такъ мигомъ успокоить.»

(Д. IV. Явл. V.)

Очень понятно, что среди такой компаніи Чацкій казался человѣкомъ, который пришелся «не ко двору»: все то, что не было похоже на воззрѣнія и взгляды Фамусовскаго круга, было страннымъ и ненормальнымъ; отсюда и явился взглядъ на Чацкаго, какъ на человѣка опаснаго, какъ на человѣка вреднаго, котораго Фамусовская клика называла и волтерьянцемъ, и якобинцемъ, и карбанаріемъ за его либеральныя или, какъ выражается Фамусовъ, «завиральныя» идеи. (Д. II. Явл. III.)

Несомнѣнно, это — молодой человѣкъ — энтузіастъ новаго направленія, какихъ много было въ незабвенную эпоху первой половины царствованія имп. Александра I-го. Первоначально воспитаніе Чацкаго происходило въ тѣхъ же условіяхъ, въ какихъ происходило воспитаніе и Софьи и многихъ дворянъ того времени: Чацкаго съ дѣтства пріучили къ тому же, къ чему были пріучены его родители, дѣдушки и бабушки; Чацкаго возили на поклонны къ вліятельнымъ лицамъ, о чемъ онъ самъ воспоминаетъ въ комедіи, когда говоритъ онъ Фамусову и Скалозубу:

«Гдѣ укажите намъ, отечества отцы,  
Которыхъ мы должны принять за образцы?...  
Не тотъ ли, вы къ кому меня еще съ пеленъ,  
Для замысловъ какихъ-то непонятныхъ,  
Дитей возили на поклонъ?»

(Д. II. Явл. V.)

Но въ томъ то и дѣло, что Чацкій, благодаря своимъ природнымъ дарованіямъ и пытливости своего ума, скоро почувствовалъ духоту окружавшей его атмосферы: онъ вырвался изъ нея, и на это хватило у него силъ и рѣшимости, между тѣмъ какъ у другого не хватило бы; если среда засосала Софью, какъ дѣвушку, если она втянула Репетилова, изъ котораго не вышло ничего цѣльнаго, если въ ней палъ товарищъ Чацкаго — Платонъ Михайловичъ Горичь, то Чацкій оказался сильнѣе ихъ всѣхъ; онъ бѣжалъ за границу учиться и тамъ окончательно окрѣпъ умственно и нравственно.

Въ комедіи же мы находимъ указанія на то, что Чацкій не вынесъ продолжительнаго пребыванія въ антипатичной для него московской средѣ.

Софья говоритъ:

«Да съ Чацкимъ, правда, мы воспитаны, росли:  
Привычка вмѣстѣ быть день каждый неразлучно  
Связала дѣтскою насъ дружбой; но потомъ  
Онъ съѣхалъ: ужъ у насъ ему казалось скучно,  
И рѣдко посѣщалъ нашъ домъ»...  
«Охота странствовать напала на него»...

(Д. I. Явл. V.)

Мы знаемъ, что эта охота зародилась въ немъ не вдругъ и не безъ основанія, онъ еще въ Москвѣ до своего отъѣзда усердно работалъ, писалъ, переводилъ, о чемъ говорить Фамусовъ Скалозубу, знакомя ихъ другъ съ другомъ.

«Позвольте, батюшка, вотъ — съ Чацкаго, мнѣ друга,  
Андрея Ильича покойнаго, — сынокъ  
Не служить, то-есть въ томъ онъ пользы не находитъ;  
Но захоти, такъ былъ бы дѣловой,  
Жаль, очень жаль; онъ малый съ головой  
И славно пишетъ, переводить»...

(Д. II. Явл. V.)

Мы не знаемъ, о чемъ онъ писалъ, но очевидно, знакомый съ иностранными языками, онъ могъ уже въ Москвѣ до своей поѣздки за границу почувствовать всю прелесть осмысленной жизни и томиться тоской отъ недостатка образованныхъ людей съ другими умственными горизонтами; вотъ почему ему и стало скучно у Фамусовыхъ въ домѣ.

Что между Чацкимъ и Фамусовскимъ кругомъ произошелъ полный разрывъ въ понятіяхъ и взглядахъ на задачи человѣка, это видно не только изъ того, что онъ выѣхалъ изъ дома Фамусовыхъ, но и изъ того, что онъ самъ называетъ свое прошлое «незрѣлымъ» и «ребяческимъ»: говоря о преклоненіи передъ «мундиромъ» всѣхъ Фамусовыхъ, Скалозубовъ и компаніи, онъ заявляетъ:

«И въ женахъ, въ дочеряхъ къ мундиру та же страсть!  
Я самъ къ нему давно-ль отъ нѣжности отрека?  
Теперь ужъ въ это мнѣ ребячество не впасть!»

(Д. II. Явл. V, срав. Д. I. Явл. VII.)

Въ этомъ надо видѣть пробужденіе его критическаго отношенія къ себѣ и окружающимъ явленіямъ современной жизни; это критическое отношеніе и самостоятельность мысли, о которой онъ говоритъ Молчалину, окончательно развились въ немъ за границей:

«Помилуйте, мы съ вами не ребята:  
Зачѣмъ же мнѣнія чужія только святы?».

(Д. III. Явл. III.)

Такъ авторъ комедіи подготовилъ насъ къ пониманію Чацкаго и его поведенія въ обществѣ близкихъ ему людей послѣ возвращенія его изъ путешествія.

*Будде.*

## Идеалы Чацкаго.

При общемъ почти признаніи нѣкоторыхъ недостатковъ въ комедіи, какъ предметъ искусства, въ одинъ же голосъ признано выдающимися представителями критической мысли и ея идейно-общественное достоинство и въ отрицательныхъ рѣчахъ Чацкаго усмотрѣны положительные идеалы жизни. Герой комедіи является такимъ образомъ единственнымъ въ нашей литературѣ типомъ съ положительными идеалами. За непризнаньемъ этихъ идеаловъ неизбѣжно слѣдуютъ — для однихъ дѣйствительное горе до сумасшествія; для другихъ жизненное прозябаніе; для третьихъ — безысходный яремный гнетъ жизни. Идеалы же Чацкаго могутъ быть формулированы такъ: сила и слава родной земли заключаются въ просвѣщеніи со всѣми его благотворными послѣдствіями.

Въ лицѣ Чацкаго Грибоѣдовъ представилъ намъ типическій образъ юношескаго служенія тѣмъ идеаламъ, со всеми признаками неопытности въ этомъ возрастѣ; но безъ юности немислимы и мужественная зрѣлость и мудрая старость.

Въ изображеніи служенія идеаламъ сказывается обаятельная сила творчества Грибоѣдова, и отсюда является непримѣрная устойчивость интереса и вліяній «Горя отъ ума» съ его Чацкимъ, этимъ страдальцемъ мысли, честнымъ и пламеннымъ обличителемъ золъ жизни, ревностнымъ поборникомъ просвѣщенія и защитникомъ человѣческаго достоинства безъ различія званія и состоянія людей. Такимъ образомъ типъ Чацкаго задуманъ и представленъ въ комедіи гениально.

Иващенко.

## Личность Чацкаго.

Главная роль въ комедіи, конечно, роль Чацкаго, безъ которой не было бы комедіи, а была бы, пожалуй, картина нравовъ.

Самъ Грибоѣдовъ приписалъ горе Чацкаго его уму, а Пушкинъ отказалъ ему вовсе въ умѣ.

Можно бы было подумать, что Грибоѣдовъ, изъ отеческой любви къ своему герою, польстилъ ему въ заглавіи, какъ-будто предупредивъ читателя, что герой его уменъ, а всѣ прочіе около него не умны.

Но Чацкій не только умише всѣхъ прочихъ лицъ, но и положительно уменъ. Рѣчь его кипитъ умомъ, остроуміемъ. У него есть и сердце, и притомъ онъ безукоризненно честенъ. Словомъ — это человѣкъ не только умный, но и развитой, съ чувствомъ, или, какъ рекомендуетъ его горничная Лиза, онъ «чувствителенъ и веселъ и остеръ». Только личное его горе произошло не отъ одного ума, а болѣе отъ другихъ причинъ, гдѣ умъ его игралъ страдательную роль, и это подало Пушкину поводъ отказать ему въ умѣ. Между

тѣмъ, Чацкій, какъ личность, несравненно выше и умнѣе Онѣгина и лермонтовскаго Печорина. Онъ искренній и горячій дѣятель, а тѣ — паразиты, изумительно начертанные великими талантами, какъ болѣзненные порожденія отжившаго вѣка. Ими заканчивается ихъ время, а Чацкій начинается новый вѣкъ — и въ этомъ все его значеніе и весь «умъ».

И Онѣгинъ и Печоринъ оказались неспособны къ дѣлу, къ активной роли, хотя оба смутно понимали, что около нихъ все истлѣло. Они были даже «озлоблены», носили въ себѣ и «недовольство» и бродили, какъ тѣни, съ «тоскующею лѣнью». Но, презирая пустоту жизни, праздное барство, они поддавались ему и не подумали ни бороться съ нимъ ни бѣжать окончательно. Недовольство и озлобленіе не мѣшали Онѣгину франтить, «блестѣть» и въ театрѣ, и на балѣ, и въ модномъ ресторанѣ, кокетничать съ дѣвицами и серьезно ухаживать за ними въ замужествѣ, а Печорину блестѣть интересной скукой и мыкать свою лѣнь и озлобленіе между княжной Мери и Бѣлой, а потомъ рисоваться равнодушіемъ къ нимъ передъ тупымъ Максимомъ Максимычемъ: это равнодушіе — считалось квинтъ-эссенціей донъ-жуанства. Оба томились, задыхались въ своей средѣ и не знали, чего хотѣть. Онѣгинъ пробовалъ читать, но зѣвнулъ и бросилъ, потому что ему и Печорину была знакома одна наука «страсти нѣжной», а прочему всему они учились «чему-нибудь и какъ-нибудь» — и имъ нечего было дѣлать.

Чацкій, какъ видно, напротивъ, готовился серьезно къ дѣятельности. «Онъ славно пишетъ, переводитъ», — говоритъ о немъ Фамусовъ, и всѣ твердятъ о его высококомъ умѣ. Онъ, конечно, путешествовалъ не даромъ, учился, читалъ, принимался, какъ видно, за трудъ, былъ въ сношеніяхъ съ министрами и разошелся — не трудно догадаться почему:

Служить бы радъ, прислуживаться тошно,

намекаетъ онъ самъ. О «тоскующей лѣни, о празднои скукѣ» и помину нѣтъ, а еще менѣе о «страсти нѣжной», какъ о наукѣ и о занятіи. Онъ любитъ серьезно, видя въ Софѣ будущую жену.

Между тѣмъ, Чацкому досталось выпить до дна горькую чашу — не найдя ни въ комъ «сочувствія живого», и уѣхать, увозя съ собой только «милліонъ терзаній».

Ни Онѣгинъ ни Печоринъ не поступили бы такъ неумно вообще, въ дѣлѣ любви и сватовства особенно. Но зато они уже поблѣднѣли и обратились для насъ въ каменные статуи, а Чацкій остается и останется всегда въ живыхъ за эту свою «глупость».

Роль и фізіономія Чацкихъ неизмѣнна. Чацкій больше всего обличитель лжи и всего, что отжило, что заглушаетъ новую жизнь, «жизнь свободную». Онъ знаетъ, за что онъ воюетъ и что должна принести ему эта жизнь. Онъ не теряетъ земли изъ-подъ ногъ и не вѣрится въ призракъ, пока онъ не облекся въ плоть и кровь, не осмыслился разумомъ, правдой, словомъ — не очеловѣчился.



Передъ увлеченіемъ неизвѣстнымъ идеаломъ, передъ обольщеніемъ мечты, онъ трезво остановится, какъ остановился передъ бессмысленнымъ отрицаніемъ «законовъ, совѣсти и вѣры» въ болтовнѣ Репетилова, и скажетъ свое:

Послушай, ври, да знай же мѣру.

Онъ очень положительенъ въ своихъ положеніяхъ и заявляетъ ихъ въ готовой программѣ, выработанной не имъ, а уже начатымъ вѣкомъ. Онъ не гонитъ съ юношескою запальчивостью со сцены всего, что уцѣлѣло, что, по законамъ разума и справедливости, какъ по естественнымъ законамъ въ природѣ физической, оставалось доживать свой срокъ, что можетъ и должно быть терпимо. Онъ требуетъ мѣста и свободы своему вѣку: проситъ дѣла, но не хочетъ прислуживаться, и клеймитъ позоромъ низкопоклонство и шутовство. Онъ требуетъ «службы дѣлу, а не лицамъ», не смѣшиваетъ «веселья или дурачества съ дѣломъ», какъ Молчалинъ,—онъ тяготится среди пустой, праздно толпы «мучителей, зловѣщихъ старухъ, вздорныхъ стариковъ», отказываясь преклоняться передъ ихъ авторитетомъ дряхлости, чиновобія и проч. Его возмущаютъ безобразныя проявленія крѣпостного права, безумная роскошь и отвратительныя нравы разливанья въ пирахъ и мотовствѣ—явленія умственной и нравственной слѣпоты и растлѣнія.

Его идеаль «свободной жизни» опредѣлительнъ: это — свобода отъ всѣхъ этихъ исчисленныхъ цѣпей рабства, которыми оковано общество, а потомъ свобода—«вперить въ науки умъ, алчущій познаний», или безпрепятственно предаваться «искусствамъ творческимъ, высокимъ и прекраснымъ»,—свобода «служить или не служить», «жить въ деревнѣ, или путешествовать», не сльвя за то ни разбойникомъ ни зажигателемъ,—и рядъ дальнѣйшихъ очередныхъ подобныхъ шаговъ къ свободѣ—отъ несвободы.

И Фамусовъ и другіе знаютъ это и, конечно, про себя всѣ согласны съ нимъ, но борьба за существованіе мѣшаетъ имъ уступить.

Отъ страха за себя, за свое безмятежно-праздное существованіе, Фамусовъ затыкаетъ уши и клеветаетъ на Чацкаго, когда тотъ заявляетъ ему свою скромную программу «свободной жизни».

Кто путешествуетъ, въ деревнѣ кто живетъ,

между прочимъ говоритъ онъ, а тотъ съ ужасомъ возражаетъ:

Да онъ властей не признаетъ!

Итакъ, лжетъ и онъ, потому что ему нечего сказать, и лжетъ все то, что жило ложью въ прошломъ. Старая правда никогда не смутится передъ новой—она возьметъ это новое, правдивое и разумное бремя на свои плечи. Только больное, ненужное боится ступить очередной шагъ впередъ.

Чацкій сломенъ количествомъ старой силы, нанеся ей, въ свою очередь, смертельный ударъ количествомъ силы свѣжей.

Онъ вѣчный обличитель лжи, запрятавшейся въ пословицу: «Одинъ въ полѣ не воинъ». Нѣтъ, воинъ, если онъ Чацкій, и притомъ побѣдитель, но передовой воинъ, застрѣльщикъ и—всегда жертва.

Чацкій неизбѣженъ при каждой смѣнѣ одного вѣка другимъ. Положеніе Чацкихъ на общественной лѣстницѣ разнообразно, но роль и участь все одна, отъ крупныхъ государственныхъ и политическихъ личностей, управляющихъ судьбами массъ, до скромной доли въ тѣсномъ кругу.

Всѣми ими управляетъ одно: раздраженіе при различныхъ мотивахъ. У кого, какъ у грибоѣдовскаго Чацкаго, любовь, у другихъ самолюбіе или славолюбіе, но всѣмъ имъ достается въ удѣлъ свой «милліонъ терзаній», и никакая высота положенія не спасетъ отъ него. Очень немногимъ, просвѣтленнымъ Чацкимъ, дается утѣшительное сознаніе, что они не даромъ бились, хотя и безкорыстно, но не для себя и не за себя, а для будущаго и за всѣхъ и успѣли.

Кромѣ крупныхъ и видныхъ личностей, при рѣзкихъ переходахъ изъ одного вѣка въ другой, Чацкіе живутъ и не переводятся въ обществѣ, повторяясь на каждомъ шагу, въ каждомъ домѣ, гдѣ подъ одной кровлей уживается старое съ молодымъ, гдѣ два вѣка сходятся лицомъ къ лицу въ тѣсотѣ семействъ,—все длится борьба свѣжаго съ отжившимъ, больного съ здоровымъ, и все бьются въ поединкахъ, какъ Горации и Куріаціи, миниатюрные Фамусовы и Чацкіе.

Каждое дѣло, требующее обновленія, вызываетъ тѣнь Чацкаго—и кто бы ни были дѣятели, около какого бы человѣческаго дѣла, будетъ ли то новая идея, шагъ въ наукѣ, въ политикѣ, въ войнѣ,—ни группировались люди—имъ никуда не уйти отъ двухъ главныхъ мотивовъ борьбы: отъ совѣта «учиться, на старшихъ глядя», съ одной стороны, и отъ жажды стремиться отъ рутинны къ «свободной жизни» впередъ и впередъ—съ другой.

Вотъ отчего не состарѣлся до сихъ поръ и едва ли состарѣется когда-нибудь грибоѣдовскій Чацкій, а съ нимъ и вся комедія. И литература не выбьется изъ магическаго круга, начертаннаго Грибоѣдовымъ, какъ только художникъ коснется борьбы понятій, смѣны поколѣній. Онъ или дастъ типъ крайнихъ, несозрѣвшихъ передовыхъ личностей, едва намекающихъ на будущее и потому недолговѣчныхъ, какихъ мы уже пережили не мало въ жизни и въ искусствѣ,—или создастъ видоизмѣненный образъ Чацкаго, какъ послѣ сервантесовскаго Донъ-Кихота и шекспировскаго Гамлета являлись и являются безконечныя ихъ подобія.

Въ честныхъ, горячихъ рѣчахъ этихъ позднѣйшихъ Чацкихъ будутъ вѣчно слышаться грибоѣдовскіе мотивы и слова, и если не слова, то смыслъ и тонъ раздражительныхъ монологовъ его, Чацкаго. Отъ этой музыки здоровые герои въ борьбѣ со старымъ не уйдутъ никогда.

И въ этомъ безсмертіе стиховъ Грибоѣдова! Много можно бы привести Чацкихъ — являвшихся на очередной смѣнѣ эпохъ и поколѣній — въ борьбахъ за идею, за дѣло, за правду, за успѣхъ, за новый порядокъ, на всѣхъ ступеняхъ, во всѣхъ слояхъ русской жизни и труда — громкихъ, великихъ дѣлъ и скромныхъ кабинетныхъ подвиговъ. О многихъ изъ нихъ хранится свѣжее преданіе, другихъ мы видѣли и знали, а иные еще продолжаютъ борьбу. Обратимся къ литературѣ. Вспомнимъ не повѣсть, не комедію, не художественное явленіе, а возьмемъ одного изъ позднѣйшихъ бойцовъ съ старымъ вѣкомъ, на примѣръ, Бѣлинскаго. Многие изъ насъ знали его лично, а теперь знаютъ его всѣ. Прислушайтесь къ его горячимъ импровизаціямъ — и въ нихъ звучатъ тѣ же мотивы и тотъ же тонъ, какъ у грибоѣдовскаго Чацкаго. И такъ же онъ умеръ, уничтоженный «милліономъ терзаній», убитый лихорадкой ожиданія и не дождавшійся исполненія своихъ грезъ, которыя теперь уже не грезы больше.

Остава политическія заблужденія Герцена, гдѣ онъ вышелъ изъ роли нормальнаго героя, изъ роли Чацкаго, этого съ головы до ногъ русскаго человѣка, — вспомнимъ его стрѣлы, бросаемыя въ разные темные, отдаленные углы Россіи, гдѣ онѣ находили виноватаго. Въ его сарказмахъ слышится эхо грибоѣдовскаго смѣха и безконечное развитіе остротъ Чацкаго.

И Герценъ страдалъ отъ «милліона терзаній», можетъ-быть, всего болѣе отъ терзаній Репетилowychъ его же лагеря, которымъ у него при жизни не достало духа сказать: «ври, да знай же мѣру!»

Но онъ не унесъ этого слова въ могилу, сознавшись по смерти въ «должномъ стыдѣ», помѣшавшемъ сказать его.

Наконецъ, послѣднее замѣчаніе о Чацкомъ. Дѣлаютъ упрекъ Грибоѣдову въ томъ, что будто Чацкій не облеченъ такъ художественно, какъ другія лица комедіи, въ плоть и кровь, что въ немъ мало жизненности. Иные даже говорятъ, что это не живой человѣкъ, а абстрактъ, идея, ходячая мораль комедіи, а не такое полное и законченное созданіе, какъ, на примѣръ, фигура Онѣгина и другихъ, выхваченныхъ изъ жизни типовъ.

Это несправедливо. Ставить рядомъ съ Онѣгинымъ Чацкаго нельзя: строгая объективность драматической формы не допускаетъ той широты и полноты кисти, какъ эпическая. Если другія лица комедіи являются строже и рѣзче очерченными, то этимъ они обязаны пошлости и мелочности своихъ натуръ, легко исчерпываемыхъ художникомъ въ легкихъ очеркахъ. Тогда какъ въ личности Чацкаго, богатой и разносторонней, могла быть въ комедіи рельефно взята одна господствующая сторона, — а Грибоѣдовъ успѣлъ намекнуть и на многія другія.

Потомъ, если приглядѣться вѣрнѣе къ людскимъ типамъ въ толпѣ, то едва ли не чаще другихъ встрѣчаются эти честныя, горячія, иногда желчныя личности, которыя не прячутся покорно въ сторону

отъ встрѣчной уродливости, а смѣло идутъ навстрѣчу ей и вступаютъ въ борьбу, часто не равную, всегда со вредомъ себѣ и безъ видимой пользы дѣлу. Кто не зналъ или не знаетъ, каждый въ своемъ кругу, такихъ умныхъ, горячихъ, благородныхъ сумасбродовъ, которые производятъ своего рода кутерьму въ тѣхъ кругахъ, куда ихъ занесетъ судьба, за правду, за честное убѣжденіе?

Нѣтъ, Чацкій — по нашему мнѣнію — изъ всѣхъ наиболѣе живая личность, и какъ человѣкъ и какъ исполнитель указанной ему Грибоѣдовымъ роли. Но, повторяемъ, натура его сильнѣе и глубже прочихъ лицъ, и потому не могла быть исчерпана въ комедіи.

*Гончаровъ.*

Среди этихъ людей, среди этого міра глупости, пошлости, низости, сплетень, низкопоклонничества, униженія и высокомѣрія, ненависти къ свѣту, мысли и вражды ко всему честному — поставилъ Грибоѣдовъ благородную личность своего Чацкаго.

Много общаго между этою личностью и самимъ поэтомъ; устами Чацкаго высказываетъ Грибоѣдовъ свои задушевные убѣжденія. Тотъ же идеализмъ (въ возвышенномъ смыслѣ этого слова), который побуждаетъ Чацкаго такъ непрактично и такъ благородно возставать противъ всякой низости и пошлости, громя ихъ словомъ негодованія, тотъ же идеализмъ слышится въ недовольствѣ Грибоѣдова земною жизнью, нашею обыденною дѣйствительностью:

«Мнѣ такъ скучно, такъ грустно! (пишетъ онъ одному изъ своихъ друзей уже послѣ сочиненія комедіи). Скажи мнѣ что-нибудь въ отраду: я съ нѣкоторыхъ поръ мраченъ до крайности. Пора умереть! Не знаю, отчего это такъ долго тянется. Тоска неизвѣстная».

Въ пути, въ дорогѣ, въ движеніи находятъ только поэтъ нѣкоторую отраду:

«Вѣрнѣ мнѣ (говоритъ онъ въ другомъ письмѣ), чудесно всю жизнь свою прокатиться на 4 колесахъ: кровь волнуетъ, высокія мысли бродятъ и мчатъ далеко за обыкновенные предѣлы пошлыхъ опытовъ, воображеніе свѣжо, какой-то бурный огонь въ душѣ пылаетъ и не гаснетъ... Но остановки, отдыхи двухнедѣльные, двухмѣсячные для меня пагубны: задремлю, либо завѣюсь чужимъ вихремъ, живу не въ себѣ, а въ тѣхъ людяхъ, которые поминутно со мною, часто же они дураки набитые».

И Чацкій, непонятый, осмѣянный, оскорбленный, также думаетъ искать успокоенія въ дорогѣ, наединѣ съ своими думами:

Пойду искать по свѣту —

Гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ.

И онъ, какъ его авторъ, сочувственно вспоминаетъ о путешествіи, когда ѣдешь «необозримой равниной», и —

Все что-то видно впереди:

Свѣтло, сине, разнообразно.

Свое недовольство земною жизнью съ ея пошлостью Грибоѣдовъ прекрасно выразилъ въ одномъ (не особенно блестящемъ, но прочувствованномъ) стихотвореніи «Душа»:

Жива ли я?	Гдѣ рой подругъ,
Мертва ли я?	Тѣма рѣзвыхъ слугъ?
И что за чудное видѣнье!	О, хоръ воздушный и прелестный!
Надзвѣздный домъ,	Нѣтъ! поживу
Заря кругомъ,	И наяву
Рождало мѣръ мое величье!	Я лучшей жизнью, безопасной:
И вотъ отъ сна	Туда хочу
Привлечена	Туда лечу,
Къ землѣ ветшающей и тѣсной:	Гдѣ надышусь свободой вѣчной.

Свобода! Грибоѣдовъ, съ его независимымъ, твердымъ и самостоятельнымъ характеромъ, горячо любилъ ее, какъ любить и Чацкій. И крѣпостное право, съ такой еще силой царившее въ его время, глубоко его возмущало, какъ всякаго рода «рабство».

По духу времени и вкусу  
Я ненавижу слово — рабъ,

сказалъ онъ, и во всѣхъ дошедшихъ до насъ отрывкахъ изъ его задуманныхъ и не оконченныхъ произведеній мы видимъ вражду его къ крѣпостничеству: оно отгнано было (говорятъ) довольно рѣзкими чертами въ личности Звѣздова, въ его комедіи «Студентъ», набросанной еще въ студенческіе годы, но теперь утраченной. Трагическая, ужасная сторона его показана въ дошедшемъ до насъ «Планѣ изъ драмы 1812»; М., совершившій великіе подвиги, находится въ пренебреженіи у военачальниковъ, потому что онъ крѣпостной человѣкъ; его отсылаютъ во-свои «подъ палку господина», съ отеческими наставленіями къ покорности и послушанію; и онъ въ отчаяніи прибѣгаетъ къ самоубійству. Отчаяніе доводитъ (въ «Грузинской ночи») кормилицу княжеской дочери до союза съ нечистою силой, чтобы отомстить своему господину за отдачу въ рабство ея сына.

Ненависть къ рабству всюду пробивается у Грибоѣдова:

«Кто (пишетъ онъ Бѣляеву), кто насъ уважаетъ, пѣвцовъ истинно-вдохновенныхъ, въ томъ краю, гдѣ достоинство цѣнится въ прямомъ содержаніи къ числу орденовъ и крѣпостныхъ рабовъ. Все-таки Щереметевъ у насъ затмилъ бы Омира»...

Эта ненависть вдохновила поэта создать образъ Молчалина, съ его безсмертнымъ правиломъ:

Не должно смѣть свое сужденіе имѣть.

Вражду къ крѣпостному праву вложилъ Грибоѣдовъ и въ характеръ героя своей комедіи. Съ глубокимъ негодованіемъ говоритъ Чацкій о томъ «Несторѣ негодяевъ знатныхъ», который промѣнялъ слугъ своихъ, не разъ спасавшихъ ему и жизнь и честь, на борзыхъ собакъ. Къ этому «столпу отечества» возили Чацкаго въ дѣтствѣ на

поклонъ, — обстоятельство, взятое Грибоѣдовымъ изъ своей собственной жизни. Съ еще большимъ одушевленіемъ возвышеннаго гнѣва говоритъ Чацкій о томъ помѣщикѣ, который свезъ къ себѣ въ Москву изъ деревень

Отъ матерей, отцовъ отторженныхъ дѣтей,

превративъ ихъ въ «амуровъ» и «зефировъ» своего театра, и потомъ распродалъ поодионокѣ.

Серіозно и притомъ европейски образованный человѣкъ, Чацкій въ то же время патріотъ, съ славянофильскимъ оттѣнкомъ воззрѣній, — и точно таковъ былъ самъ Грибоѣдовъ.

Чацкій не врагъ всего иностраннаго: онъ самъ ѣздилъ за границу учиться, «ума искать», по выраженію Софьи. Но его возмущаетъ рабская подражательность русскаго общества всему иностранному. На балу Фамусова онъ вслухъ возсылаетъ моления —

Чтобъ истребилъ Господь нечистый этотъ духъ  
Пустого, рабскаго, слѣпота подражанья;  
Чтобъ искру заронилъ онъ въ комъ-нибудь съ душой,  
Кто могъ бы словомъ и примѣромъ  
Насъ удержать, какъ крѣпкою вожжей,  
Отъ жалкой тошноты по сторонѣ чужой.

Онъ горячо желаетъ, чтобъ мы (русское общество) воскресли отъ „чужевластья модъ“, чтобы „умный и добрый“ народъ нашъ не считалъ насъ за иностранцевъ.

Нѣтъ (говорить онъ), хуже для меня нашъ Сѣверъ во сто кратъ,  
Съ тѣхъ поръ, какъ отдалъ все въ обмѣнъ на новый ладъ.

Эти чувства и желанія Чацкаго — чувства и желанія самого Грибоѣдова. Поэта тяготило сознаніе глубокаго разлада между нашимъ обществомъ и народомъ. Изображая въ статьѣ „Загородная прогулка“ хороводы крестьянъ, онъ говоритъ:

„Прислонясь къ дереву, я съ голосистыхъ пѣвцовъ невольно свелъ глаза на самихъ слушателей-наблюдателей, тотъ поврежденный классъ полуевропейцевъ, къ которому и я принадлежу. Имъ казалось дико все, что слышали, что видѣли: ихъ сердцамъ эти звуки не вняты, эти наряды для нихъ странны. Какимъ чернымъ волшебствомъ сдѣлались мы чужими между своими? Финны и тунгусы скорѣе пріемлются въ наше собратство, становятся выше насъ, дѣлаются намъ образцами; а народъ единокровный, нашъ народъ, разрозненъ съ нами и навѣки!“

Такъ близки воззрѣнія поэта и его героя. Грибоѣдовъ, очевидно, раздѣляетъ и взгляды Чацкаго на образованіе, на службу. Просвѣщенный умъ и гражданская честность писателя отразились на поэтическомъ лицѣ.

Но отнюдь не должно думать, что Чацкій только носитель идей автора, „резонеръ“ старинныхъ комедій. Онъ — живое лицо, типъ.

Онъ не только говоритъ передъ нами: онъ живетъ, страдаетъ и радуется, увлекается, сомнѣвается, ошибается.

Онъ громить фамусовское общество словомъ негодованія; но ему невесело, ему тяжело одиночество на высотѣ его свѣтлыхъ идей; онъ бы желалъ иныхъ, невраждебныхъ отношеній съ людьми. Возвращаясь въ Москву, онъ смутно надѣялся встрѣтить сочувствіе къ себѣ въ обществѣ. Эти надежды окончательно разлетѣлись на балѣ Фамусова и съ сердечной грустью говоритъ онъ, уѣзжая съ этого бала:

Ну, вотъ и день прошелъ, и съ нимъ  
Всѣ призраки, весь чадъ и дымъ  
Надеждъ, которыя мнѣ душу наполняли.  
Чего я ждалъ? Что думалъ здѣсь найти?  
Гдѣ прелесть этихъ встрѣчъ? Участье въ комъ живое?  
Крикъ, радость, обнялись!... Пустое!...

Чацкій не золь, какъ думаетъ Софья, и вовсе не презираетъ людей. Онъ вѣритъ въ человѣка. Есть моментъ въ комедіи, когда Чацкій пытается и надѣется даже въ Молчалинѣ пробудить благородство, сознание своего человѣческаго достоинства. Иронически начинаетъ онъ разговоръ съ Алексѣемъ Степанычемъ, встрѣтившись съ нимъ передъ баломъ; но когда тотъ высказываетъ свою задушевиѣйшую мысль о „неимѣннѣ сужденія“, — онъ вдругъ измѣняетъ тонъ и серьезно говоритъ:

Помилуйте, мы съ вами не ребята:  
Зачѣмъ же мнѣнія чужія только святы?

Но для голоса чести ухо Молчалина глухо и сердце закрыто, —

Вѣдь надобно жъ зависѣть отъ другихъ,

скромно возражаетъ онъ.

Какъ всѣ живые люди, Чацкій способенъ увлекаться, впадать, въ первыя минуты увлеченія, въ крайности. Такъ, негодуя на наше рабство передъ всѣмъ иноземнымъ, онъ находитъ, что надобно бы намъ,

Если рождены мы все перенимать,

занять хоть у китайцевъ ихъ „премудраго незнанья иноземцевъ“... Но это показываетъ только, что Чацкій — человѣкъ, у котораго нравственные и умственные вопросы волнуютъ кровь и потрясаютъ нервы, и онъ не сразу можетъ отнестись къ нимъ спокойно.

А отношенія его къ Софьѣ Павловнѣ? Сколько любви, страданія и участія къ ней въ его мучительныхъ сомнѣніяхъ о ней, въ его страстномъ желаніи — узнать, что съ нею случилось, что значитъ ея перемѣна! Какою задушевною и грустною искренностью вѣсть отъ его, неощеннаго Софьею, обращенія къ ней, какъ къ другу и сестрѣ, за разрѣшеніемъ своихъ недоумѣній; какъ благородна его попытка объяснить ей Молчалина! — все это черты живого лица.

И живой же человѣкъ, но слишкомъ молодой, неустановившійся, слишкомъ увлекающійся, сказался въ немъ, когда онъ не во-время по-

спѣшилиъ разорвать всякія связи съ Софьей, — не во-время потому, что какъ разъ въ эту минуту у Софьи стали раскрываться глаза на окружающую ее пошлость, и она прервала было начавшуюся филиппику Чацкаго словами симпатіи къ нему:

Не продолжайте — я виню себя кругомъ...

Чацкій только вслухъ высказываетъ то, что каждому тайно говоритъ его совѣсть. Скажутъ: „Чацкій всѣмъ показался сумасшедшимъ“. Не правда! Софья сознательно такъ назвала его, и только послѣ этого всѣ стали утверждать, будто давно замѣтили его помѣшательство; за идею Софьи (иначе сказать) просто ухватились, какъ за якорь спасенія, какъ за средство успокоить взволнованную его рѣчами совѣсть.

Чацкій говоритъ, говоритъ горячо и много; но какъ же иначе: въ немъ оскорблено чувство правды, въ немъ ключомъ кипитъ негодование. Въ немъ дѣйствуетъ то же самое чувство, которое побудило Лермонтова, въ стихотвореніи „1-е января“, сказать:

О, какъ мнѣ хочется смутить веселость ихъ  
И дерзко бросить имъ въ глаза желѣзный стихъ,  
Облитый горечью и злостью.

Наконецъ, тутъ Софья; многое и именно самые длинные и горячіе монологи назначены для нея. Онъ любитъ Софью, онъ видитъ, что она на краю пропасти: неужели же онъ не обязанъ сдѣлать все для ея спасенія? И Софья, конечно, способна понять если не все, то многое изъ того, что говоритъ онъ, — по уму своему и сердцу она стоитъ выше окружающихъ ее людей.

*Незеленовъ.*

---

Вопросъ о томъ, насколько Чацкій есть „точный портретъ“ Грибоѣдова или кого-либо изъ современниковъ, имѣетъ, конечно, нѣкоторое значеніе для біографіи автора „Горе отъ ума“ и для историко-литературныхъ изысканій о тогдашнемъ обществѣ, но не имѣетъ рѣшительно никакого значенія для опредѣленія личности Чацкаго. Эта личность существовала, существуетъ и будетъ существовать, какъ самостоятельный типъ, внѣ личной жизни Грибоѣдова, въ которой и не было случая, положеннаго въ основу комедіи. Грибоѣдовъ вложилъ въ уста Чацкаго свои любимыя идеи, свой взглядъ на общество — это безспорно и безъ всякихъ указаній всѣмъ понятно, но никакимъ образомъ изъ этого не слѣдуетъ, что Чацкій есть „лучшій выразитель надеждъ и стремленій либерализма двадцатыхъ годовъ“.

Монологъ 3-го дѣйствія имѣетъ большое значеніе въ личности героя безсмертной комедіи. Чацкаго продолжаютъ мучить, его возбуждаютъ болѣе и болѣе. Какъ живой человекъ, онъ не можетъ молчать, какъ бы не смолчалъ на его мѣстѣ всякій живой и правдивый



человѣкъ, среди его обстановки и отношеній къ нему всѣхъ этихъ лицъ,

Въ любви предателей, въ враждѣ неутомимыхъ,  
 Разсказчиковъ неукротимыхъ,  
 Нескладныхъ умниковъ, лукавыхъ простаковъ,  
 Старухъ зловѣщихъ, стариковъ,  
 Дряхлѣющихъ надъ выдумками; вздоромъ!...

Развѣ вся эта орда, усвоившая себѣ лоскъ европейскаго образованія, воображающая себя просвѣщенной, обрившая бороды, одѣвшаяся по-французски, — развѣ она не въ состояннн возбудить желаніе поучиться у китайцевъ? Вся сатирическая литература XVIII столѣтія возставала противъ этого виѣшняго лоска, противъ пристрастія къ иностранцамъ еще съ меньшимъ разборомъ. Развѣ изъ Европы мы беремъ то, что слѣдуетъ брать; только то, что достойно войти въ плоть и кровь всякаго великаго народа? Развѣ исторія не доказываетъ намъ, что даже и послѣ появленія „Горе отъ ума“ мы брали изъ Европы много незрѣлаго, даже совсѣмъ дурного, брали по привычкѣ, по традиціямъ, по модѣ, брали съ легкомысліемъ, которое всею тяжестью ложилось на судьбы народа. Развѣ предубѣжденіе въ пользу иностраннаго не существуетъ и теперь, въ наши дни, хотя и въ меньшихъ размѣрахъ? Примѣровъ приводитъ нечего, — они многочисленны и всѣмъ извѣстны. Ограничимся однимъ, такъ какъ онъ имѣетъ связь съ тѣмъ обществомъ, которое изображалъ Грибоѣдовъ: развѣ доступъ въ большой свѣтъ какому-нибудь иностранному проходимцу не легче, чѣмъ вполне порядочному русскому человѣку? Развѣ тамъ не смотрятъ съ благорасположеніемъ на всякую иностранную дрянь, а вѣдь оттуда идетъ направленіе, тамъ связи и власть.

У Пушкина въ письмѣ къ князю Вяземскому (іюнь 1826 г.) находимъ слѣдующее любопытное мѣсто: „Мы въ отношеніяхъ къ иностранцамъ не имѣемъ ни гордости ни стыда. При англичанахъ дурачимъ Василія Львовича (Пушкина); передъ m-me Staël заставляемъ Милорадовича отличатся въ мазуркѣ. Русскій баринъ кричитъ: „Мальчикъ! забавляй Гекторку“ (датскаго пуделя). Мы хохочемъ и переводимъ эти барскія слова любопытному путешественнику. Все это попадаетъ въ его журналъ и печатается въ Европѣ. *Это мерзко.* Я, конечно, презираю отечество мое, съ головы до ногъ, но мнѣ досадно, если иностранецъ раздѣляетъ со мною это чувство“. Чувство Чацкаго въ данномъ случаѣ по отношенію къ тому обществу, среди котораго онъ находится, сходно съ чувствомъ Пушкина, хотя оно гораздо выше, какъ Грибоѣдовъ въ то время былъ, по своему развитію или, вѣрнѣе, по цѣльности своего характера, выше Пушкина. Можно презирать общество и въ то же время не хотѣть, чтобъ оно унижалось передъ иностранцами и иностраннымъ, ибо это оскорбляетъ русскаго человѣка, оскорбляетъ народное чувство.

Кстати. Въ массѣ записокъ Грибоѣдова есть язвительныя и мѣткія выходки противъ идола либераловъ, Петра, именно противъ его

презрѣнія къ обычаямъ Руси, къ ея исторіи, къ русскому народу. Въ Петрѣ Грибоѣдовѣ видѣлъ именно излишества того поклоненія передъ Западомъ, которое создало беспочвенную, международную интеллигенцію, готовую ломать все родное, обезличивая русскаго человѣка и пригоняя его въ ранжиръ европейца. Слѣдующія строки Грибоѣдова объясняютъ монологъ Чацкаго и его характеръ: „Петръ вводилъ чужія повизны. Царевичъ Алексѣй могъ любить отечество и пользу народа и славу, — и потому пустыхъ нѣмецкихъ нововведеній могъ не желать. Преображеніе думы въ сенатъ. Отмѣна формулы: государь указалъ, бояре приговорили. Чтобы русскихъ пріохотить къ чтенію, Петръ велѣлъ перевести Пуффендорфа, который *русскихъ не на живомъ, а на смерти бранить*“. Это оскорбляло Грибоѣдова<sup>1)</sup>, какъ русскаго, и это чувство онъ вложилъ и въ своего героя, который возмущается послѣдствіями того ненужнаго излишества въ петровскихъ реформахъ, безъ котораго дѣло реформы могло стоять лучше и правильнѣе.

Наблюдая эти типы, которые тѣснились вокругъ Чацкаго, какъ было не сказать: хотя у китайцевъ бы намъ *нѣсколько занять* премудраго у нихъ *незнанья иноземцевъ*.

«Нѣсколько занять у китайцевъ незнанья иноземцевъ» — совѣтъ не значить обратиться въ китайцевъ или отвернуться отъ Европы. Это значить только, что надо быть самостоятельными, надо переварить европейское просвѣщеніе, а не холопствовать передъ иноземцами, передъ всей совокупностью ихъ жизни, ихъ быта, ихъ исторіи, а не заимствовать все безъ разбору. Идеализмъ двадцатыхъ годовъ живучъ; потерявъ много въ своемъ наружномъ блескѣ, онъ выигралъ относительно глубины по мѣрѣ нашего знакомства съ народомъ и съ тѣми нашими допетровскими учрежденіями (боярская дума, земскіе соборы, начатки самоуправленія, судъ и проч.), которыя имѣли всѣ права на развитіе и жизнь, а не на смерть насильственную. Слова Чацкаго объ одеждѣ, съ выводомъ изъ нихъ —

Какъ платя, волосы, такъ и умы коротки,

независимо отъ степени раздраженія Чацкаго, вполне понятны и естественны въ устахъ его и нисколько не противорѣчатъ сущности его самостоятельной и правдивой природы. Они даютъ ему характеръ смѣлаго русскаго человѣка, который такъ увѣренъ въ умъ и способности русскаго и такъ прочно убѣжденъ въ силѣ науки и просвѣщенія, что ни бороды ни длинное платье нашихъ предковъ не могли бы помѣшать нашему развитію. Въ самомъ дѣлѣ, неужели слѣдовало прежде стричь, брить и одѣвать, а потомъ ужъ про-

<sup>1)</sup> Вотъ слова современника, очень близко знавшаго Грибоѣдова: „Мнѣ не случилось въ жизни ни въ одномъ народѣ видѣть человѣка, который бы такъ пламенно, такъ страстно любилъ свое отечество, какъ Грибоѣдовъ. Каждый благородный подвигъ, каждое высокое чувство, каждая мысль приводили его въ восторгъ. Грибоѣдовъ чрезвычайно любилъ простой русскій народъ“.

свѣщать? Кто возьметъ на себя вычислить, сколько труда, денегъ, заботъ, административной энергіи, вниманія, времени, даже крови, — да, крови и жестокихъ безчеловѣчныхъ преслѣдованій было потрачено на одежды по европейскому образцу! Кто это вычислить? Кто серьезно станетъ доказывать, что все это потраченное вознаграждено этими одеждами, введенными къ намъ, какъ начало яко бы просвѣтительное. Вѣдь прогрессировали же и прогрессируютъ въ просвѣщеніи духовенство, оставшееся въ древнихъ одеждахъ.

*Изъ предисловія къ «Горю отъ ума», изд. Суворина 1886 г.*

## Проявленіе чувствъ и личности Чацкаго въ средѣ, въ которой онъ очутился.

Чацкій съ Софьей Павловной уменъ, остеръ, оживленъ, исполненъ той радости свиданія, которая такъ говорлива. Онъ вспоминаетъ знакомыхъ и обливаетъ ихъ своими сарказмами смѣло. Съ Софьей Павловной онъ не только не считаетъ нужнымъ стѣсняться, но онъ по нитѣ, какъ нравились ей его насмѣшки, его умъ, какъ она хотала съ нимъ. Воскресить предъ ней эти воспоминанія, понравиться ей ими — вотъ чего онъ желалъ. Онъ не только подчинился своей природѣ, но онъ подчинился желанію нравиться. Онъ видитъ подъ конецъ, что усилія его напрасны, но любовь загорается въ немъ еще сильнѣе, онъ оправдывается въ своихъ колкостяхъ, онъ готовъ броситься въ огонь для Софьи, и она же зло ему отвѣчаетъ:

Да хорошо, сгорите; если жъ нѣтъ?

Затѣмъ онъ съ Фамусовымъ. Онъ жилъ у него, и они другъ друга знаютъ, и опять имъ нечего стѣсняться. Они и не стѣсняются: Фамусову, конечно, не впервой было спорить съ Чацкимъ и выслушивать отъ него рѣзкія истины. Между ними, навѣрное, даже были размолвки, и указаніе на нихъ можно видѣть въ словахъ Софьи (дѣйствіе 1, явл. 5):

...потомъ

Онъ съѣхалъ, ужъ у насъ ему казалось скучно,  
Онъ рѣдко посѣщалъ нашъ домъ.

Она не указываетъ на причину этого бѣгства Чацкаго изъ ихъ дома, но причина эта ясна изъ взаимныхъ отношеній Фамусова и Чацкаго<sup>1)</sup>. Разговоръ ихъ на столько откровенный, что Фамусовъ

<sup>1)</sup> Въ драматическихъ произведеніяхъ, гдѣ авторъ пользуется меньшею свободою, чѣмъ романистъ, мы обязаны, при анализѣ характеровъ, всякое слово принимать въ расчетъ. Софья не объясняетъ мотивовъ поступка Чацкаго въ данномъ случаѣ, но эти мотивы ясны для всякаго, кто потрудится вникнуть въ отношенія Чацкаго и Фамусова. Призрѣвъ и воспитавъ Чацкаго у себя въ домѣ, Фамусовъ, конечно, рассчитывалъ, что это будетъ его воспитанникъ, нѣчто въ родѣ послушнаго сына. На дѣлѣ оказалось другое, и раздраженіе Фамусова противъ Чацкаго весьма естественно.

говорить ему то «вы», то «ты», даетъ совѣты, какъ мальчику, и, не церемонясь, отказываетъ ему въ рукѣ своей дочери. Чацкому неудача и у дѣвушки и у отца. Самолюбіе его жестоко задѣто; если слѣдить за каждымъ стихомъ комедіи, мы ясно увидимъ, какъ раздраженіе Чацкаго растетъ, какъ онъ поднимаетъ и поднимаетъ тонъ подѣ влияніемъ нанесенныхъ ему оскорбленій. Фамусовъ хвалитъ предъ нимъ, въ лицѣ Максима Петровича, примѣръ такого холопства, что не протестовать могъ развѣ только человѣкъ безъ всякаго сердца, въ родѣ Молчалина. Но Чацкій еще сдерживается, онъ отвѣчаетъ скорѣй съ покойной проницей, чѣмъ съ злостью. Является Скалозубъ. Фамусовъ даже не знакомитъ его съ Чацкимъ, изъ боязни ли столкновенія между ними или изъ пренебреженія къ Чацкому, но это обстоятельство, во всякомъ случаѣ, можетъ только усилить раздраженіе Чацкаго и противъ Фамусова и противъ Скалозуба: вѣдь, Павелъ Аванасьевичъ не скрылъ передъ Чацкимъ и того, что молва называетъ этого глупаго полковника женихомъ Софьи. Слѣдите, какъ авторъ мастерски, звучными аккордами вливаетъ ядъ въ сердце своего героя, какъ разочарованія одно за другимъ мучаютъ его послѣ нѣсколькихъ бессонныхъ ночей, нервной тревоги ожиданія, самолюбивыхъ мечтаній о счастья, о любви. Чацкій молчитъ, прислушиваясь къ разговору, приглядываясь къ ухаживанію Фамусова за Скалозубомъ. Но сердце его кипитъ и ревностью и негодоваціемъ. Великимъ мастеромъ является тутъ Грибоѣдовъ, приготавливая зрителя къ вдохновенному монологу Чацкаго. Слушайте, какимъ цинизмомъ вѣетъ отъ разговора Фамусова съ Скалозубомъ, при которомъ присутствуетъ Чацкій. Скалозубъ говоритъ о своемъ двоюродномъ братѣ, что онъ «и брался какихъ-то новыхъ правилъ, въ деревнѣ книги сталъ читать»; о счастья на ваканціи: то старшихъ выключать пныхъ, другіе, смотришь, перебиты», а Фамусовъ восклицаетъ;

Да, чѣмъ Господь кого поищетъ, вознесетъ!

Господь беспокоится о ваканціяхъ для Скалозуба, способствуя тому, чтобъ «иные были перебиты». Умный и пылкій человѣкъ, по миѣнью критиковъ, нападающихъ на Чацкаго, все это обязанъ сносить молча, то во имя своего ума, то во имя свѣтскихъ приличій. Далѣе Фамусовъ совѣтуетъ Скалозубу:

Рѣчь завести и о генеральшѣ...

Чтожъ? У кого сестра, племянница есть, дочь...

И вслѣдъ затѣмъ живописуетъ нравы московскаго общества въ своемъ знаменитомъ монологѣ:

Вкусъ, батюшка, отмѣнная манера!

Но мало того, живописуетъ: онъ мимоходомъ задѣваетъ и Чацкаго:

Другой хоть притче будь, надутый всякимъ чванствомъ

Пускай себѣ разумникомъ слыви,

А въ семью не включать. на насъ не подиви.

Весь этотъ монологъ Фамусовъ говоритъ съ явнымъ расчетомъ задѣть Чацкаго и лично и въ его убѣжденіяхъ; Фамусовъ съ умысломъ сгущаетъ краски, чтобъ поддразнить своего воспитанника, чтобъ показать ему, что онъ въ грошъ его не ставитъ; присоедините къ этому, какъ его непривѣтливо встрѣтили, какъ оскорбительно съ нимъ обращаются, какъ оскорбляютъ его самого и все ему дорогое, его убѣжденія, его любовь, дѣвушку, которую онъ любитъ и которую предлагаютъ явно въ жены бездушному фронтвику; попробуйте войти въ душу молодого человѣка, прилетѣвшаго на крыльяхъ надежды въ родной его сердцу домъ и нашедшаго тамъ однѣ развалины, и вы поймете, что въ его устахъ знаменитый монологъ

А судьи кто?

такъ же простъ и естественъ, такъ же вытекаетъ изъ всего предыдущаго, какъ у другого, чувствительнаго, но не умнаго человѣка какая-нибудь пустая, но раздражительная фраза. Если бъ онъ смолчалъ, если бъ не отвѣтилъ краснорѣчивымъ монологомъ на краснорѣчивую картину Фамусова о служебныхъ и семейныхъ правахъ Москвы—онъ не былъ бы самимъ собой. Сцена эта, напротивъ, совершенно необходима для выясненія отношеній четырехъ лицъ—Фамусова, Чацкаго, Софьи, Скалозуба. Вѣдь, весь узелъ комедіи Софья, около нея всѣ эти лица съ прибавленіемъ Лизы и Молчалина, и всѣ они, болѣе или менѣе, противъ Чацкаго. Надо же ему было защищаться въ этой войнѣ, которую ему объявили, какъ только онъ переступилъ порогъ этого дома. Не Чацкій объявляетъ войну, а Чацкому ее объявляютъ—это ясно изъ всякаго стиха комедіи. Чацкій высказывается весь, потому что онъ задѣтъ за живое и лично и въ своихъ убѣжденіяхъ. Онъ говоритъ умно, вдохновенно, иногда раздражаясь, но все-таки въ предѣлахъ приличія и своихъ откровенно-семейныхъ отношеній къ Фамусову. На картину благополучія Москвы онъ отвѣчаетъ другой картиной. Что тутъ неестественнаго? Иной умный человѣкъ все бы перенесъ и смолчалъ. Можетъ быть, хотя допустить это трудно. Но Чацкій вездѣ вѣренъ своему горячему темпераменту, вѣренъ той личности, которую имѣлъ въ виду Грибоѣдовъ. Посмотрите далѣе, какъ должно расти въ немъ раздраженіе, какъ удары продолжаютъ на него сыпаться. Молчалинъ падаетъ съ лошади, Софья падаетъ въ обморокъ и потомъ оскорбляетъ Чацкаго злою насмѣшкою, оскорбляетъ, при Скалозубѣ, по поводу его мѣткаго анекдота о княгинѣ Ласовой, которая сломала себѣ ребро и для поддержки ищетъ мужа:

Ахъ, Александръ Андреевичъ, вотъ  
 Явитесь вы вполнѣ великодушны:  
 Къ несчастью ближняго вы такъ равнодушны.

Чацкій не выдерживаетъ насмѣшки, теряется и преувеличиваетъ свою услугу Софьѣ, говоря:

«Не знаю для кого, но васъ я воскресилъ.» Насмѣшка Софьи въ самомъ дѣлѣ очень язвительна, и немудрено даже умному человѣку потеряться. И Чацкій такъ потерялся, что уходитъ, чтобъ не наговорить еще чего. Но онъ все еще надѣется, все еще не можетъ примириться съ мыслью, что ему предпочли Молчалина. Примите во вниманіе, что Чацкій влюбляется въ Софью болѣе и болѣе по мѣрѣ развитія дѣйствія комедіи. Это такъ естественно при томъ отношеніи къ нему, которое выказываетъ постоянно Софья.

Чѣмъ меньше женщину мы любимъ,  
Тѣмъ больше нравимся мы ей:

это справедливо и наоборотъ, то - есть чѣмъ меньше женщина насъ любитъ, тѣмъ болѣе ее мы любимъ. Понятна его настойчивость, съ какою онъ старается разрѣшить вопросъ о любви и понятны его колебанія и его нетерпѣніе. Онъ старается выпытать у Софьи ея тайну; но такъ какъ самая глупая женщина проведетъ десять умныхъ мужчинъ, а Софья къ тому же совсѣмъ не глупа и, воспитанная вмѣстѣ съ Чацкимъ, не могла не занять у него и кое чего хорошаго, то Чацкій начинаетъ колебаться въ своихъ сомнѣніяхъ и послѣ разговора съ Молчалинымъ хочетъ убѣдить себя, что она не можетъ любить человѣка «съ такими чувствами, съ такой душою». Онъ самъ идеалистъ и не можетъ повѣрить тому, что случается сплошь и рядомъ. Но червь сомнѣнія грызетъ его, и кто знаетъ, что такое любовь и ревность, кто знаетъ муки ихъ, тотъ пойметъ, что Чацкій не можетъ успокоиться.

Вотъ балъ. Онъ радъ встрѣчѣ съ Натальей Дмитриевной, онъ любитъ ея свѣжестью и красотою, онъ радъ встрѣчѣ съ ея мужемъ. Но тутъ же его раздражаетъ и графиня-внучка, и Хлестова, и Загорѣцкій, и Молчалинъ; ему мило только одно существо, но оно убѣгаетъ отъ него, и онъ не можетъ равнодушно выносить, что этому существу не противны всѣ эти разговоры и что оно можетъ не отличать среди всѣхъ его, Чацкаго. Онъ самолюбивъ, и подобная мысль, конечно, гнѣздится въ его головѣ. Не ради сатиры только Грибоѣдовъ вывелъ всѣ эти лица на сцену, а ради того также, чтобы показать, въ какой средѣ очутился Чацкій, и какъ эта среда могла на него подѣйствовать, какъ она могла усилить его терзанія, окончательно измучить его. Всѣ эти гости Фамусова такъ же необходимы для комедіи, какъ самъ Фамусовъ. Всѣ они не эпизодическія лица, а необходимыя. Задача художника — перенести душу зрителя въ душу Чацкаго, и зритель, дѣйствительно, понимаетъ положеніе этого человѣка и болѣе и болѣе ему сочувствуетъ, сочувствуетъ не только какъ умному человѣку, но и просто какъ человѣку, котораго не только не цѣнятъ, но и гонятъ, и гонятъ тѣми низкими средствами пошлыхъ людей, которые вѣчно одни и тѣ же и вѣчно успѣваютъ...

Не зная, что онъ уже провозглашенъ сумасшедшимъ, Чацкій ищетъ спокойствія опять около Софьи и ей повѣряетъ, а вовсе не обществу. Всѣ отходятъ прочь, одна Софья около него, и она его спрашиваетъ: «Скажите, что васъ такъ гнѣвить?» Эта фраза говоритъ ею непременно съ участіемъ, съ кокетствомъ, ибо если она, пустивъ сплетню про Чацкаго, не чувствуетъ своей вины передъ нимъ, то отлично понимаетъ, что ей необходимо, на всякій случай, показать ему, что она не со всѣми, и показать съ тактомъ женской хитрости и расчета. И Чацкій радъ этому участію, радъ тому, что она въ первый разъ интересуется имъ, спрашиваетъ его, отдѣляется отъ всѣхъ. Онъ доволенъ и свободно высказывается только передъ нею; онъ ей и говоритъ: «Вообразите», «вотъ случай вамъ со мною». Онъ начинаетъ свой монологъ какъ бы съ небрежною насмѣшливостью, съ легкимъ остроуміемъ, примѣняясь къ тому лицу, съ которымъ говоритъ. На душѣ у него совсѣмъ невесело, и дѣйствительно онъ не выдерживаетъ первоначальной ноты, переходитъ въ серьезный тонъ, потомъ опять какъ бы вспоминаетъ, что онъ поднялся слишкомъ высоко и начинаетъ передразнивать смѣхъ гостей, ихъ восклицанія, и снова не выдерживаетъ въ концѣ, увлекается и не замѣчаетъ, какъ Софья ускользаетъ танцовать. Монологъ этотъ чудесно написанъ и для характеристики Чацкаго вообще и для характеристики настоящаго момента. «Глядь!...» Всѣ кружатся въ вальсѣ, старики сидятъ за картами, и никто его не слушаетъ, никто, даже она. Опять обида, обида отъ той, которую онъ любитъ и участію которой онъ на минуту повѣрилъ...

Спрашиваемъ, гдѣ же Чацкій говоритъ или поступаетъ, какъ не умный человѣкъ, гдѣ онъ «ругаетъ всѣхъ дураками и скотами»? Онъ ни разу не былъ грубъ, ни разу не выходилъ изъ роли умнаго человѣка; онъ свободно, не стѣняясь, говоритъ только съ Софьей и Фамусовымъ, а не проповѣдывалъ всѣмъ и каждому зря, безъ нужды, чтобъ только раздражить всѣхъ и поумничать. На балѣ, въ обществѣ, Чацкій ведетъ себя, какъ свѣтскій остроумный человѣкъ, который не прочь поспорить, поострить и только. Не онъ оскорбляетъ, а его оскорбляютъ. Вникните внимательно на эти безподобныя сцены на балѣ и посмотрите, какъ относятся къ Чацкому! Княгиня Тугоуховская посылаетъ своего князя звать Чацкаго на балъ, потомъ громко отзываетъ мужа назадъ, ни мало не стѣняясь тѣмъ, что Чацкій видитъ этотъ маневръ и догадывается о его сущности. Хлестова вспоминаетъ, какъ она дирала его за уши: ей досадно, что Чацкій засмѣялся, когда она отдѣлала Загорѣцкаго! Кто жъ тутъ деликатнѣе, даже съ точки зрѣнія свѣтскихъ приличій, Хлестова или Чацкій? Графиня Внучка, старая дѣва, удивляется, что онъ не женился на модисткѣ. Чацкій отвѣчаетъ ей острою, которой стоила ея вызывающая рѣчь. Между тѣмъ онъ слышитъ, какъ Хлестова третируетъ Загорѣцкаго и Скалозуба, какъ Платонъ Михайловичъ называетъ прямо въ глаза Загорѣцкаго «отъявленнымъ

мошенникомъ и плутомъ». Люди этого общества называли другъ друга «скочами», всѣхъ ругали и всѣхъ принимали, а не Чацкій, который ничѣмъ не ронялъ своего достоинства даже какъ свѣтскій человѣкъ. Что онъ въ самомъ дѣлѣ сдѣлалъ этому обществу? Если бѣ Софья не выдумала своего злобнаго мщенія — Чацкій уѣхалъ бы съ бала благополучно. Раздраженіе противъ него только и было, что у Фамусова и Софьи. Остальные не имѣли причины провозглашать его сумасшедшимъ. Но всякая сплетня, всякій вздоръ, всякая клевета на людей, стоящихъ сколько-нибудь независимо, принимается обществомъ тѣмъ скорѣе и тѣмъ радостнѣе, чѣмъ она пустѣе и бессмысленнѣе. Нечего вспоминать о томъ, до чего долженъ быть оскорбленъ Чацкій свиданіемъ Софьи съ Молчалинымъ. Это понятно всякому, понятенъ его прекрасный, полный негодованія и силы, послѣдній монологъ.

И такъ, не Чацкій вызывалъ общество на войну, онъ только защищался, отбивался и, страдая и мучась, хотѣлъ отстоять свою любовь, свое счастье. Грибоѣдовъ мастерски велъ своего героя, начиная отъ бѣшеной скачки по почтовымъ дорогамъ, нервнаго ожиданія счастья и любви, — черезъ сомнѣнія, разочарованія, оскорбленія и преслѣдованія, до самой той ямы, изъ которой можно было выбиться, только разорвавъ совѣзмъ и съ обществомъ и съ той любовью, изъ-за которой онъ попалъ въ это общество. Защищая себя, вызываемый на отвѣты, онъ долженъ былъ высказаться весь, какъ умный человѣкъ, какъ человѣкъ извѣстныхъ убѣжденій и горячей души. Въ «Мизантропѣ» Мольера, Альцестъ, съ которымъ сравниваютъ Чацкаго, прямо начинаетъ комедію раздраженнымъ и злымъ тономъ, точно онъ съ цѣпи сорвался. Альцестъ говоритъ монологи по всякому поводу, даже безъ повода, говоритъ, какъ проповѣдникъ, имѣющій на это право. У Грибоѣдова Чацкій весь въ дѣйствіи, какъ у Шекспира весь въ дѣйствіи и Отелло и Гамлетъ. Точно музыкальная мелодія, начинаясь прекраснымъ мотивомъ, растетъ и усиливается съ каждымъ явленіемъ пьесы, оканчиваясь крикомъ растерзаннаго сердца, такъ постепенно развивается и чувство Чацкаго и вся его личность является необыкновенно живою, цѣнною, понятною и въ высокой степени художественною и типическою...

*Изъ предисловія къ «Горю отъ ума», изд. Суворина 1886 г.*

## Альцестъ и Чацкій.

Орудіемъ обличительной пропаганды у Чацкаго является насмѣшка, часто легкая и бойкая, лишь по временамъ принимающая суровый оттѣнокъ и проникающаяся паѳосомъ. У Альцеста негодованіе строгое, улыбка рѣдко показывается на его устахъ, и тонъ его рѣчей почти вездѣ однороденъ. Въ неумѣніи сдерживать себя, про-



молчать гдѣ нужно, они опять сходятся. Фамусовъ напрасно просить своего молодого гостя «завязать на память узелокъ»; слушая похвалы Москвѣ и прославленіе старины, Чацкій не выдерживаетъ и горячо вмѣшивается въ разговоръ. Точно такъ же и Альцестъ, присутствуя (актъ II, сц. V) въ салонѣ Селимены на пріемъ ея свѣтскихъ поклонниковъ, слушаетъ, съ трудомъ удерживая негодованіе, какъ всѣ они, слѣдомъ за хозяйкой, перебираютъ общихъ знакомыхъ, съ наслажденіемъ сплетничаютъ и клеветуютъ, и, наконецъ, внѣ себя, прерываетъ ихъ восклицаніемъ: «*allons, ferme, poussez, mes bons amis de cour*», etc. — и осыпаетъ ихъ рѣзкими эпитетами, прямо обвиняя ихъ лъстивость и поддакиванье необдуманному злорѣчію Селимены въ порчѣ ея характера. Но въ отношеніяхъ обоихъ героевъ къ любимой женщинѣ и въ самой личности ея мы видимъ опять разнородные оттѣнки, свидѣтельствующіе о самостоятельности русскаго поэта. Чацкаго связываютъ съ Софьей свѣтлыя дѣтскія воспоминанія и первые проблески молодого чувства; она въ теченіе очень еще недолгой дѣвической жизни не успѣла, думается ему, узнать свѣтъ и людей. Онъ страшится соперника въ любви, который могъ замѣнить его въ ея сердцѣ во время его отсутствія, но не можетъ допустить мысли о Молчалинѣ, хотя на него указываютъ прямо весьма недвусмысленные признаки. Смутно что-то подозрѣвая, онъ клеймитъ въ глаза Софьѣ, Молчалина насмѣшками, удивляясь, чѣмъ онъ могъ плѣнить ее (то же дѣлаетъ Альцестъ, въ первой сценѣ второго акта, осмѣивая всю внѣшность и пріемы Клитандра). Но у Мольера Селимена уже вдовушка, хотя и очень молодая (ей всего двадцать лѣтъ), но опытная въ житейскомъ отношеніи, независимо поставленная въ свѣтъ, окруженная роемъ поклонниковъ; она постигла въ совершенствѣ тайны кокетства и тѣшитя тѣмъ, что кружить головы и вертопрахамъ, какъ Акастъ или Клитандръ, и такимъ уже пожилымъ селадонамъ, какъ придворный поэтъ Оронть, и такому ворчуну и брюзгѣ, какъ Альцестъ. Тутъ уже бѣдному мизантропу трудно заблуждаться, какъ это дѣлаетъ Чацкій; кокетство слишкомъ явно, вѣтреность и другія слабости Селимены ему хорошо извѣстны, и любовь поддерживается въ немъ не невѣдѣніемъ, а обманчивою надеждой, что его честное чувство и энергическіе совѣты когда-нибудь вырвутъ эту женщину изъ пошлой среды и сдѣлаютъ ее вѣрной его подругой. Такимъ образомъ, сходныя сначала по общимъ чертамъ, характеристики обѣихъ героинь расходятся существенно, и типъ заскучавшей московской барышни съ ея закулисной и будничной интригой и лакействующимъ героемъ ея взять прямо изъ жизни.

Ни Мольеръ ни Грибоѣдовъ не думали выставлять центральное лицо въ своихъ произведеніяхъ безусловно образцовымъ во всѣхъ отношеніяхъ, какъ бы идеальнымъ и по направленію и по образцу дѣйствій, Грибоѣдовъ заставляетъ Чацкаго сдѣлать довольно умѣренную оцѣнку и себя самого и подобныхъ ему людей (въ пятомъ

явленіи 2-го дѣйствія въ монологѣ конца третьяго акта); передъ нами не всеобъемлющій умъ, не цѣльная натура; у Чацкаго много чистыхъ стремленій къ искусствамъ творческимъ, высокимъ, и прекраснымъ, къ наукѣ, у него «найдется пять, шесть мыслей здравыхъ», и онъ смѣло и гласно объявляетъ ихъ, — но еще вопросъ, только ли въ формѣ протеста, усвоеннаго Чацкимъ, представлялась широко образованному Грибоѣдову общественная дѣятельность людей выдающихся. Точно такъ же и Мольеръ не хочетъ закрывать глаза на извѣстныя слабости своего героя, на излишнюю его горячность и запальчивость, которая разгорается иногда отъ незначительныхъ поводовъ, на нетерпимость, отзывающуюся иногда чуть не доктринерствомъ. Въ запальчивости оба склонны къ крайнимъ выходкамъ, которыхъ нельзя принимать буквально, а объяснить можно лишь раздраженіемъ, выходящимъ изъ предѣловъ. Альцестъ въ состояніи сгоряча сказать Селименѣ, что «ни судьба, ни демоны, ни разгнѣванное небо не въ состояніи были создать такое злое существо, какъ она»; онъ обзываетъ общество «разбойничьей берлогой», «лѣсомъ, гдѣ люди живутъ настоящими волками»; изъ-за малѣйшей уступки общей безнравственности онъ «готовъ съ горя повѣситься сейчасъ же». Чацкій также не обходится безъ такихъ излишествъ; изъ-за Софьи готовъ сейчасъ же броситься въ огонь и т. д. И при всей этой горячности, беспокойной, неудобной въ житейскомъ отношеніи, при всей назойливой ревности, которою оба они преслѣдуютъ любимую женщину, она, несмотря на свое кокетство, вѣтреность или же зарождающуюся пошлость, инстинктивно отгадываетъ большія достоинства характера и ума. Софья, даже разлюбивъ Чацкаго, не можетъ не найти, что онъ остеръ, уменъ, краснорѣчивъ; въ послѣдней сценѣ съ нимъ она доходитъ даже до того, что передъ нимъ обвиняетъ себя кругомъ. Селимена внутри себя полупрезрительно относится ко всеѣмъ поклонникамъ, кромѣ Альцеста; ей смутно нравится его «суровая добродѣтель», его неукротимый духъ; придавая своему кокетству съ другими видъ забавы, она очень заботится о томъ, чтобы не потерять себя въ глазахъ Альцеста; она искусно отводитъ все подозрѣнія, дѣлаетъ ему уступки и подъ конецъ тоже кается передъ нимъ; въ письмѣ, гдѣ она осмѣяла своихъ обожателей, она пощадила только его, ограничившись мелкой выходкой противъ надоедливой его ворчливости. Въ этомъ отношеніи московская барышня значительно уступаетъ ей; она способна на время возненавидѣть Чацкаго, отдаться пизкой мстительности и сознательно распространять про него нелѣпую сплетню; все это — опять черты правдивыя, вытекающія изъ бытовой постановки этого характера у Грибоѣдова.

Мы уже сказали, что Альцестъ умышленно не лишенъ слабостей и излишествъ. Для противовѣса ему поставленъ рядомъ съ нимъ представитель сдержанной умѣренности и практической житейской мудрости въ лицѣ Филанта, который время отъ времени, какъ Санчо Панса относительно Донъ-Кихота, долженъ охлаждать непоумѣрные

порывы своего друга, истолковывать ему жизненные отношенія въ ихъ обыкновенномъ свѣтѣ и помогать ему въ затруднительныхъ обстоятельствахъ, имъ же самимъ вызванныхъ. Продолжая нашу параллель обѣихъ пьесъ, мы, конечно, станемъ искать русскаго Филэнта — тѣмъ болѣе, что вообще въ пьесахъ, созданныхъ подъ вліяніемъ *Мизантропа*, безъ такой личности дѣло не обходится. На первый взглядъ что-то подобное Филэнту (по крайней мѣрѣ, по отношенію къ главной его сторонѣ — умѣренности и аккуратности), намъ представляется въ характерѣ Молчалина, составляющемъ умышленный рѣзкій контрастъ съ порывистымъ Чацкимъ; Молчалинъ проникнуть такимъ же убѣжденіемъ въ необходимости вполне ладить съ дѣйствительностью, принимать господствующія мнѣнія. Но провѣряя это общее сходство, мы снова найдемъ живые признаки самостоятельности обонхъ авторовъ. Такое лицо, какъ Молчалинъ-Филэнтъ, было имъ одинаково нужно, какъ ходячее олицетвореніе общепринятой житейской морали, — но каждый изъ нихъ предалъ своему исповѣднику умѣренности особый отпечатокъ. Отнесясь къ Филэнту безъ предвзятой мысли, мы найдемъ, что онъ, въ сущности, далеко не такъ дурень, какъ его вообще изображаютъ. Прежде всего, онъ не подначальное лицо, которое, запомнивъ на всю жизнь, каково было «копѣть въ Твери», изо всѣхъ силъ рвется къ обезпеченности и служебной карьерѣ, подавляетъ въ себѣ чуть не всѣ человѣческія стремленія и способно «любить по должности». Филэнтъ выросъ и воспитывался вначалѣ вмѣстѣ съ Альцестомъ (*nous deux, sous mêmes soins nourris*, актъ I, сц. 1, стр. 99); онъ, повидимому, человѣкъ состоятельный и не изъ нужды выработалъ себѣ примирительную тактику, а послѣ зрѣлаго наблюденія надъ жизнью и людьми. Альцестъ долго не подозрѣвалъ въ немъ измѣнившихся убѣжденій и, только замѣтивъ и въ немъ ту же позорную уступчивость, которая возмущаетъ его въ другихъ, хочетъ сразу разорвать съ нимъ дружбу:

Moi, votre ami? Rayez cela de vos papiers.  
 J'ai fait jusques ici profession de l'être;  
 Mais, après ce qu'en vous je viens de voir paraître,  
 Je vous déclare net que je ne le suis plus.

Къ горячности Альцеста онъ относится большей частью саркастически, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ извѣстной степени уважаетъ честность его убѣжденій, лишь находя ихъ непрактическими и подчасъ даже просто забавными. Онъ не только *смытл* свое сужденіе имѣть, но, когда его другу грозитъ опасность или даже хоть мелкая непріятность, онъ по-своему волнуется и вмѣшивается. На многія вещи онъ, пожалуй, смотритъ такъ же, какъ и Альцестъ, но знаетъ и то, что эти взгляды нужно высказывать умѣючи и кстати, и что есть мѣста, гдѣ полная откровенность мнѣній показала бы смѣшной или прямо не позволительною (*il est bien des endroits où*

la pleine franchise deviendrait ridicule, et serait peu permise). Онъ не филантропъ, какъ его хотѣли выставить нѣкоторые и какъ, пожалуй, сгоряча обозвалъ его однажды самъ Альцестъ (*Gami du genre humain*), и въ то же время не безнравственный софистъ, у котораго найдется оправданіе для каждой темной продѣлки, — онъ представляетъ собою мастерское и широко задуманное олицетвореніе идеи компромисса, царящей испоконъ вѣка надъ человѣчествомъ.

Рядомъ съ нимъ Молчалинъ является гораздо точнѣе обрисованнымъ извѣтвленіемъ того же родового типа. Въ комедіи, впрочемъ, онъ не одинъ служить представителемъ морали въ филантовскомъ вкусѣ; тѣ же взгляды высказываютъ, кромѣ него, при разныхъ случаяхъ и Софья и Фамусовъ; къ тому же Чацкаго связываетъ съ Софьей такая же близость съ дѣтства, какъ двухъ друзей въ мольеровской пьесѣ, и совершившаяся въ ней переменна такъ же глубоко поражаетъ его. Взятый же отдѣльно, характеръ Молчалина опять выкажетъ намъ такое же своеобразное чисто-русское объясненіе общаго типа, какое мы видѣли въ Софьѣ. Это — русскій *чиновникъ*, съ глубоко усвоеннымъ имъ съ дѣтства (эта черта живо приводитъ на память отцовскія наставленія Чпчикову), совсѣмъ заматерѣвшимъ въ немъ кодексомъ лакейскихъ убѣжденій. Такую форму низкопоклонство способно было принимать въ особенности у насъ, вслѣдствіе различныхъ историческихъ вліяній. Это своего рода *дворовый*, для котораго важно было приобрѣсти съ «чиномъ ассессора» дворянство, но который остался навсегда съ типическими особенностями крѣпостного слуги, съ его наружнымъ раболѣпіемъ и потаеннымъ обманомъ. Если онъ чему-нибудь удивляется въ Чацкомъ, позволяя себѣ въ этомъ отношеніи имѣть свое сужденіе, то именно отсутствію въ немъ дѣловой, чиновничьей практичности, которая доставляетъ человѣку возможность «служить, и награжденья брать, и весело пожить». Наконецъ, онъ способенъ притворяться влюбленнымъ въ Софью, увѣрять въ сильной любви и Лизу, съ которою на дѣлѣ просто хочетъ завязать мелкую интригу, — тогда какъ спокойный и разсудочный Филантъ, почувствовавъ привязанность къ кроткой и искренней Элиантѣ, откровенно проситъ ея согласія на бракъ по разсудку, безъ особой страсти, но съ взаимнымъ уваженіемъ.

За изученными нами тремя главными дѣйствующими лицами обѣихъ комедій, которыми исчерпывается существенное сродство пьесъ (для Фамусова нѣтъ прототипа у Мольера), выступаетъ множество личностей аксессуарныхъ, особенно многочисленныхъ у Грибоѣдова. Но тутъ уже открывается широкое раздолье для бытовыхъ, нравоописательныхъ картинъ, которыя, по справедливости говоря, гораздо полнѣе въ сатирическомъ освѣщеніи «Горе отъ ума», чѣмъ въ грознообличительномъ тонѣ *Мизантропа*. Русскій писатель, въ такой степени умѣвшій отстоять свою независимость при обрисовкѣ положеній и характеровъ, общихъ съ его стариннымъ образцомъ, здѣсь является уже полнымъ неограниченнымъ властелиномъ, увѣ-

ковѣчивъ живыя черты русскаго общества начала текущаго вѣка, съ его мутными и здоровыми теченіями, и на этомъ преимущественно основавъ соціальное значеніе своей комедіи.

Кончаемъ нашъ обзоръ, и намъ кажется, что результатъ его можно назвать утѣшительнымъ. Въ виду несомнѣннаго сходства двухъ произведеній, пришлось провѣрить главныя ихъ черты, одну за другой, — и, когда постепенно отпадали случайныя, наружныя признаки этой близости, обнаруживалось все яснѣе высшее духовное сродство двухъ писателей съ одинаковыми задатками характера, одинаковымъ положеніемъ среди общества и типической субъективностью творчества. Потомокъ прошелъ по пути, проложенному его великимъ предкомъ, но на основѣ, завѣщанной ему, сумѣлъ возвести свое самобытное зданіе; и русскій человекъ, сознавая это, можетъ только добромъ помянуть мольеровскаго Альцеста, безъ котораго, кто знаетъ, не было бы, можетъ-быть, и Чацкаго, по крайней мѣрѣ, въ томъ видѣ, въ какомъ онъ сталъ дорогъ всеѣмъ намъ.

*Веселовскій.*

### **Фамусовъ, какъ центральная кружковая личность, и его духовная атмосфера.**

Чрезвычайно художественно обрисованъ поэтомъ кругъ ловкихъ людей въ домѣ Фамусова; его домъ — это цѣлая школа жизни, гдѣ сходятся одновременно люди разныхъ курсовъ и разной опытности въ жизненной дипломатіи; одни здѣсь, какъ самъ Фамусовъ, уже вышедшіе изъ этой школы съ большими успѣхами и примѣняющіе свои познанія на практикѣ и видящіе уже плоды своей науки: Фамусовъ ставилъ себя рядомъ съ Максимомъ Петровичемъ въ примѣръ Чацкому, когда говорилъ о шутовствѣ Максима Петровича при Дворѣ; очень удачно Фамусовъ самъ примѣняетъ свои познанія и способности, когда льститъ Скалозубу и ухаживаетъ за нимъ, влѣзая на стулъ, чтобы поскорѣй открыть отдушничекъ и согрѣть полковника, которому, несмотря на грубость его природы и характера, даже совѣстно становится отъ этой любезности хозяина. Посмотрите, какъ льститъ Фамусовъ Скалозубу, — когда заговариваетъ съ нимъ о его двоюродномъ братѣ:

Однако братецъ вашъ, мнѣ другъ, и говорилъ,

Что вами выгодъ тьму по службѣ получилъ.

Да, счастье, у кого есть этакій сынокъ!

Имѣеть, кажется, въ петличкѣ орденокъ?

Любезный человекъ, а посмотрѣть, такъ хватъ!

Прекрасный человекъ двоюродный вашъ братъ.

(Д. П. Явл. V).

Далѣе льститъ Фамусовъ уже самому Скалозубу, — изъ-за чего все это? Почему такому важному тузу, какъ Фамусовъ, такъ приглянулся двоюродный братъ Скалозуба, имѣющій «въ петличкѣ

орденокъ»? почему надо было сказать ему, что имѣть такого сына «съ орденонъ въ петличкѣ» — счастье? Все это потому, что Скалозубъ самъ представляетъ изъ себя предметъ низменныхъ аппетитовъ Фамусова: онъ богатъ и «не нынче-завтра—генераль», а большаго ничего не нужно Фамусову для жениха его дочери, хоть будь этотъ женихъ такимъ, который «слова дѣльнаго не выговаривалъ съ роду», какъ о немъ отзывается Софья (Д. 1. Явл. V). Объ этой отцовской заботѣ Фамусова знаетъ даже ужъ горничная Софьи Лиза и говоритъ ей:

Какъ всѣ московскіе, вашъ батюшка таковъ:  
Желалъ бы зятя онъ съ звѣздами да съ чинами,  
А при звѣздахъ не всѣ богаты между нами;  
Ну, разумѣется, къ тому бѣ  
И деньги, чтобъ пожить, чтобъ могъ онъ давать балы.  
Вотъ, напримѣръ, полковникъ Скалозубъ:  
И золотой мѣшокъ и мѣтитъ въ генералы.

(Д. 1. Явл. V).

Фамусовъ — чиновникъ, привыкшій извлекать для себя выгоды самыми неблагородными средствами, самыми безнравственными способами, втянулся до такой степени въ эту пышную жизнь, ставшую для него нормой, что другой жизни, другихъ, болѣе высшихъ, интересовъ, чѣмъ личные интересы самаго невысокаго качества, онъ и не допускаетъ и не понимаетъ, и въ этомъ онъ составлялъ лишь одинъ изъ многихъ примѣровъ тогдашняго московскаго общества. Такая жизнь сдѣлала его и въ семьѣ безнравственнымъ отцомъ-лицемѣромъ, обманывающимъ свою дочь: онъ весь изолгался, онъ весь опошлился. Очень понятно, что и его единственная взрослая дочь впитываетъ въ себя недостатки своего отца и того общества, среди котораго она умственно и нравственно формируется. Фамусовъ, напр., заставши Софью на зарѣ съ мужчиной вдвоемъ, съ Молчалинымъ, читаетъ ей для прилики мораль и ставитъ въ примѣръ ей свое монашеское поведеніе, между тѣмъ какъ незадолго передъ этимъ онъ самъ любезничалъ и заигрывалъ съ своей же горничной (Д. 1. Явл. 11). Софья, конечно, не разъ видя и наблюдая поведеніе отца, теряетъ къ нему довѣріе и сама ему лжетъ, прикрывая и выгораживая Молчалина, который тутъ же самъ вретъ Фамусову, что онъ пришелъ къ нему для подписи бумагъ, и вотъ весь вопросъ идетъ о томъ, кто кого ловчѣе перехитритъ и обманетъ, такъ какъ у всякаго «рыльце въ пушку» (см. Д. 1. Явл. IV и слѣд.). Для того, чтобы быть свободнымъ въ своихъ дѣйствіяхъ, Фамусову очень хотѣлось бы избавиться отъ заботъ о дочери, на которую онъ смотритъ, какъ на «комиссію» (Д. 1. Явл. X). Для Фамусова единственный страхъ заключается въ огласкѣ, въ общественномъ мнѣніи того круга людей, отъ которыхъ онъ признаетъ свою зависимость и съ которыми онъ сходитъ въ понятіяхъ, а потому онъ дѣлаетъ все, лишь бы было «шито да крыто»: онъ нисколько не печалится тѣмъ, какъ отецъ, что его дочь нашла для себя развлеченіе въ игрѣ въ любовь съ Мол-

чалинымъ, что она сидитъ съ нимъ по цѣлымъ ночамъ въ своей комнатѣ, такъ какъ онъ тоже, вѣроятно, себѣ находитъ развлеченія въ бесѣдахъ съ горничной Лизой, но онъ страпится лишь одного, что княгиня Марія Алексѣевна будетъ говорить о немъ, какъ о плохомъ отцѣ, если узнаетъ о поведеніи Софьи (Д. IV. Явл. XV). Фамусовъ застаётъ ночью, послѣ бала, Софью съ Чацкимъ, гнѣвается на нее и на него и невольно, въ порывѣ гнѣва, раскрываетъ предъ нами причины предосудительнаго поведенія дочери: мы узнаемъ, что «яблочко недалеко укатилось отъ яблони», когда Фамусовъ говоритъ:

Дочь! Софья Павловна! Срамница!  
Безстыдница! Гдѣ? Съ кѣмъ? Ни дать, ни взять, — она,  
Какъ мать ея, покойница — жена!  
Бывало, я съ дрожайшей половиной  
Чуть врозь, — ужъ гдѣ-нибудь съ мужчиной!..

(Д. IV. Явл. IV).

Вотъ родители Софьи! Гдѣ же могла Софья почерпнуть тѣ силы, тѣ нравственные идеалы, которые могли бы ей помочь вести борьбу съ этой пошлостью окружающей жизни? На чемъ и какъ развивались ея душевныя способности, въ которыхъ, однако, у ней не было недостатка?

Условія воспитанія того времени въ семьяхъ Фамусовскаго типа намъ хорошо извѣстны изъ этой же комедіи; Фамусовъ говоритъ:

Ужъ не о твоёмъ ли не радѣли  
Объ воспитаньи съ колыбели?  
Мать умерла; — умѣлъ я принанять  
Въ мадамъ Розье вторую мать;  
Старушку-золото въ надзоръ къ тебѣ приставилъ,  
Умна была, нравъ тихій, рѣдкихъ правилъ;  
Одно не къ чести служить ей:  
За лишнихъ въ годъ пятьсотъ рублей  
Сманить себя другими допустила.

(Д. I. Явл. IV).

А далѣе:

Беремъ же побродягъ и въ домъ и по билетамъ,  
Чтобъ нашихъ дочерей всему учить, всему:  
И танцамъ, и пѣнью, и нѣжностямъ, и вздохамъ,  
Какъ-будто въ жены ихъ готовимъ скоморохамъ.

Хоть разъ сказалъ правду Фамусовъ въ то время, когда разгулялись его страсти! Чацкій же задаетъ вопросъ Софьѣ о воспитаніи такой:

Что нынче тамъ же, какъ издревле,  
Хлопочутъ набирать учителей полки  
Числомъ поболѣе, цѣною подешевле?

(Д. I. Явл. IV).

Такимъ образомъ передъ нами Грибоѣдовъ рисуетъ личность Фамусова со многихъ сторонъ: мы видимъ его взгляды на обязан-

ности отца, на воспитаніе, на отношеніе къ людямъ, на общественное мнѣніе, мы видимъ его поведеніе съ своей горничной; словомъ, Фамусовъ, какъ центръ или центральная личность извѣстнаго круга людей, прошедшихъ одну съ нимъ жизненную школу, обнаруживаетъ себя въ каждомъ словѣ и дѣйствіи, какъ человѣкъ, у котораго ничего нѣтъ святого въ жизни, нѣтъ идеаловъ, кромѣ угодничества высшимъ и пресмыканія предъ людьми, отъ которыхъ онъ признаетъ свою зависимость. То положеніе общественное, которое онъ занимаетъ и въ которомъ чувствуетъ себя удовлетвореннымъ, то его состояніе, о которомъ онъ самъ говоритъ своей дочери:

Смотри-ка на меня: не хвастаюсь сложеньемъ,  
Однако бодръ я, свѣжъ, и дожилъ до сѣдинъ,  
Свободенъ, вдовъ, себѣ я господянь...

(Д. I. Явл. IV).

служить для него фактомъ, изъ котораго онъ можетъ вывести и выводить естественное заключеніе, что его житейская философія ведетъ къ личному благу, и потому она сама по себѣ и есть лучшая философія и обязательная для всѣхъ. Вотъ откуда истекаетъ его искреннее убѣжденіе въ испорченности Чацкаго. Проволя свою философію послѣдовательно въ жизни, Фамусовъ разноситъ и распространяетъ кругомъ себя, такъ сказать, ароматъ и атмосферу, которыми и дышатъ всѣ его окружающіе. Мы сказали раньше, что домъ Фамусова — это есть своего рода цѣлая школа, гдѣ мы наблюдаемъ воспитанниковъ разныхъ возрастовъ и знаній: одни, какъ Фамусовъ, являются въ самомъ соку, какъ плоды — созрѣвшіе; другіе, напр., князь Тугоуховскій Петръ Ильичъ, въ которомъ критики съ большимъ вѣроятіемъ указываютъ одного изъ родственниковъ Грибоѣдова — князя Шаховскаго (Гарусов. ib., 367), появляются въ салонахъ Фамусова и показываютъ собой перспективу, которая ожидаетъ и Фамусова, когда онъ обратится въ Тугоуховскаго; третьи, какъ Молчалинъ, еще только учатся въ этой «лабораторіи» Фамусова и обѣщаютъ со временемъ перещегоолять и учителей; четвертые, наконецъ, какъ Загорѣцкій, котораго такъ рекомендуетъ Платонъ Михайловичъ Горичъ Чацкому (пріятель и родственникъ Грибоѣдова — Илья Ивановичъ Обрѣзковъ; Гарусов. ib., 363):

Вотъ, братъ, рекомендую:  
Какъ такихъ людей учтивѣ зовуть,  
Нѣжнѣе? — Человѣкъ онъ свѣтскій,  
Отъявленный мошенникъ, плутъ,  
Антонъ Антонычъ Загорѣцкій.

(Д. I. Явл. IX).

представляютъ изъ себя гостей Фамусова, о которыхъ и самъ хозяинъ дома знаетъ, что они его не возведутъ «въ канцлеры», но зато разславятъ о немъ то, что составитъ «общественное мнѣніе» Москвы; слѣдовательно, въ Загорѣцкомъ мы видимъ тоже нужнаго



человѣка для Фамусовскаго круга и его цѣлей. При такомъ положеніи дѣла, конечно, становится понятнымъ то обстоятельство, почему Фамусовъ собираетъ вокругъ себя такихъ людей и чувствуетъ себя съ ними такъ, какъ чувствуетъ себя карьеристъ или аферистъ какой-нибудь, пригласивши къ себѣ въ домъ редактора популярной газеты. Не даромъ одинъ изъ сплетниковъ Москвы, г-нъ Д., вращающійся тоже въ салонахъ Фамусова, обращаясь къ Загорѣцкому, говоритъ:

Ну, милый другъ, съ тобой не надобно газетъ.

(Д. I. Явл. XVIII).

Такъ ловко навралъ онъ своему собесѣднику и разнесъ сплетню о сумашествіи Чацкаго!..

*Будде.*

### Фамусовъ, какъ общественный дѣятель, чиновникъ и отецъ.

Куда какъ чуденъ созданъ свѣтъ!  
Пофилософствуй — умъ вскружится!  
То бережешься, то обѣдъ;  
Тѣшь три часа, а въ три дня не сварится.

Такъ разсуждаетъ Павелъ Аванасьевичъ Фамусовъ. И эта животная философія есть рычагъ всей его дѣятельности.

Нравственной стороны жизни Павелъ Аванасьевичъ не понимаетъ; не понимаетъ ея и все его общество: Молчалины, Загорѣцкіе, Скалозубы, Хлестовы, — эти представители идей и чувствъ отжившаго XVIII в.

Павелъ Аванасьевичъ Фамусовъ изображенъ въ комедіи, какъ общественный дѣятель, чиновникъ и какъ отецъ. Какъ общественный дѣятель, онъ стоитъ очень низко. Онъ служить не «дѣлу», а «лицамъ» (по выраженію Чацкаго). Онъ учитъ Чацкаго, во второмъ актѣ, какъ надо служить. Идеаль служащаго человѣка для него — только что умершій дядя его, Максимъ Петровичъ, камергеръ двора императрицы Екатерины, знатный и богатый, тщеславный и высокомерный съ низшими, униженный предъ высшими.

На куртагѣ ему случилось оступиться (разсказываетъ про Максима Петровича Фамусовъ):

Упаль, да такъ, что чуть затылка не прошибъ.

Старикъ захохаль.. голосъ хрипкой..

Былъ высочайшею пожалованъ улыбкой —

Изволили смѣяться.. Какъ же онъ?

Приветаль, оправился, хотѣлъ отдать поклонъ,

Упаль вдругорядь, уже нарочно;

А хохотъ пуще, — онъ и въ третій такъ же точно!

А! какъ по-вашему? По-нашему — смышленъ:

Упаль онъ больно — веталь здорово.

Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ,  
замѣчаетъ Чацкій,

Какъ тотъ и славился, чья чаще гнулась шея  
Какъ не въ войнѣ, а въ мирѣ брали лбомъ,  
Стучали объ полъ, не жалѣя.

Дѣломъ Фамусовъ не занимается: для этого у него есть секретарь — Молчалинъ; онъ только подписываетъ бумаги. У меня, — говоритъ онъ, —

Что дѣло, что не дѣло —  
Обычай мой такой:  
Подписано, такъ съ плечъ долой.

Мѣста у себя раздастъ онъ только своимъ родственникамъ. Въ поговорку вошли его слова:

Какъ ставешь представлять къ крестиньшу или къ мѣстечку,  
Ну, какъ не порадѣтъ родному человѣчку!

Какъ отецъ, Павелъ Аванасьевичъ тоже стоитъ низко. Онъ не понимаетъ родительскихъ чувствъ:

Мать умерла — умѣлъ я принять,  
Въ мадамъ Розѣ, вторую мать!

Попрекаетъ онъ Софью Павловну, убѣжденный, что родительскія чувства можно купить за деньги. Онъ воспитываетъ и учитъ свою дочь, но потому только, что этого требуетъ свѣтъ, и притомъ совершенно виѣшнимъ образомъ. Какъ всѣ московскіе отцы его общества, онъ (по выраженію Чацкаго) хлопочетъ

Набирать учителей полки,  
Числомъ поболѣе, цѣною подешевле.

Эти дешевые педагоги обучаютъ Софью Павловну (по его собственнымъ словамъ)

И танцамъ, и пѣнью, и вѣжностямъ, и вздохамъ.

Благовоспитанная дѣвица, по его мнѣнію, должна только умѣть не уронить себя въ гостиной, понравиться свѣтскому обществу. Онъ въ восторгѣ отъ московскихъ барышень:

Умѣютъ же себя онѣ принарядить  
Тафтицей, бархатцемъ и дымкой;  
Словечко въ простотѣ не скажутъ — все съ ужимкой!  
Французскіе романы вамъ поютъ  
И верхнія выводятъ нотки;  
Къ военнымъ людямъ такъ и льнутъ,  
А потому, что патріотки.

Павелъ Аванасьевичъ заботился и о замужествѣ дочери. Но не за того хочетъ онъ отдать ее, кто могъ бы составить ей счастье,

кого она могла бы полюбить. Онъ прочитъ ей въ женихи полковника Скалозуба, потому что такой выборъ одобрить свѣтъ. А что Софья Павловна терпѣть не можетъ Скалозуба, что ей все равно, что за него, что въ воду, до этого Павлу Аванасьевичу нѣтъ дѣла, — важно только то, что станетъ говорить княгиня Марья Алексѣвна.

*Незеленовъ.*

### Отношеніе Фамусова къ предшествующему вѣку.

Павелъ Аванасьевичъ Фамусовъ очень кратко характеризуется авторомъ. Онъ — *управляющій казеннымъ мѣстомъ*, т.-е. *высокопоставленное чиновное лицо*.

Характеристика эта была бы слишкомъ неопредѣленна, если бы самъ Грибоѣдовъ не дополнилъ ее устными поясненіями. Онъ подробно рассказывалъ многимъ, въ томъ числѣ и М. С. Щепкину, на копію, съ какого именно лица писалъ онъ роли своей комедіи, каковы были привычки и приемы каждаго изъ его дѣйствующихъ лицъ. Въ Фамусовѣ выведенъ родной дядя автора, Алексѣй Ѳедоровичъ Грибоѣдовъ. Онъ состоялъ начальникомъ Московскаго архива, въ которомъ гг. N. и D. служили чиновниками. А. Ѳ. Грибоѣдовъ былъ женатъ на княжнѣ Александрѣ Сергѣевнѣ Одоевской и задавалъ балы и маскарады, на которые приглашалась вся московская знать. М. С. Щепкинъ зналъ, что онъ дѣлаетъ, когда игралъ Фамусова со звѣздой на фракѣ и изображалъ въ немъ «московскаго барина, со всею его важностью». Любопытно, что М. С. Щепкинъ, бывший, какъ утверждаютъ, лучшимъ Фамусовымъ, самъ считалъ себя неспособнымъ создать эту роль. Онъ говорилъ: «ну, какой я Фамусовъ? Фамусовъ — *баринъ*, а я что?»

Такимъ образомъ, довольно неопредѣленное выраженіе: *управляющій казеннымъ мѣстомъ* — вполне уясняется. Фамусовъ — важный московскій баринъ, занимающій почетное мѣсто въ служебной іерархіи Москвы. Было бы большою ошибкой представлять себѣ Фамусова чиновникомъ. По рожденію и родству онъ принадлежитъ къ высшему московскому обществу. Онъ сталъ бы давать балы и маскарады, пользовался бы извѣстностью и почетомъ, даже если бы совсѣмъ не служилъ, не былъ бы управляющимъ казеннымъ мѣстомъ. Это совсѣмъ не человѣкъ, обязанный службѣ тѣмъ, что вышелъ въ люди, обязанный своимъ способностямъ тѣмъ, что составилъ себѣ хорошую карьеру, обязанный этой карьерѣ тѣмъ, что его принимаютъ въ высшемъ обществѣ. Почетная должность является какъ бы чѣмъ-то подразумевающимся по себѣ при родствѣ, связяхъ и происхожденіи Фамусова. Его «покойникъ дядя», Максимъ Петровичъ, былъ «весь въ орденахъ», ѣздилъ «вѣчно цугомъ», зналъ «передъ всѣми почетъ», выводилъ въ чины и давалъ пенсіи. Если Фамусовъ не могъ порадовать «родному человѣчку», какъ скоро дѣло

шло о представленіи къ ордену или мѣсту, то само собой разумѣется, что Максимъ Петровичъ, точно такъ же радѣлъ о племянникѣ. Молчалинъ получилъ, состоя при Фамусовѣ, три награды въ продолженіе трехъ лѣтъ, а между тѣмъ Молчалинъ былъ ему не свой. Можно представить себѣ, во сколько разъ легче и успѣшнѣе доставались самому Фамусову повышенія и производства, приведшія его, наконецъ, къ занимаемой имъ теперь должности. Если должность до извѣстной степени украшала Фамусова звѣздами и титулами, то онъ въ такой же степени украшалъ занимаемый имъ постъ своею родовитостью и своимъ представительствомъ. Онъ былъ извѣстенъ всей Москвѣ, какъ важный баринъ, столбовой дворянинъ и радушный хлѣбосоль.

Чтобъ уяснить себѣ, что Фамусовъ совсѣмъ не чиновникъ, полезно собрать въ одно цѣлое все, что онъ говоритъ о своемъ отношеніи къ службѣ:

Я, Софья Павловна, разстроены самъ: день цѣлый  
Нѣтъ отдыха, мечусь, какъ словно угорѣлый;  
По должности, по службѣ хлопотня,  
Тотъ пристааетъ, другой, — всѣмъ дѣло до меня!

Правда ли это? Нѣтъ ли значительнаго преувеличенія, когда Фамусовъ утверждаетъ, что онъ цѣлый день не имѣетъ отдыха отъ хлопотни по службѣ? По крайней мѣрѣ то, что мы видимъ предъ собою, совершенно противорѣчитъ представленію относительно обремененности Фамусова служебными занятіями. Когда Молчалинъ говоритъ, что несеть бумаги для доклада, Фамусовъ задаетъ ему вопросъ:

Что это вдругъ припало  
Усердые къ письменнымъ дѣламъ?

Ежедневный докладъ бумагъ секретаремъ начальнику есть такое обычное дѣло, что вопросъ Фамусова можно объяснить себѣ лишь тѣмъ, что бумаги докладывались ему далеко не каждый день. На это предположеніе прямо наводитъ его восклицаніе:

Да, ихъ недоставало!

Такому угодливому секретарю, какъ Молчалинъ, должно было давно быть извѣстнымъ, что Фамусовъ не любитъ бумагъ. По всей вѣроятности, онъ лишь изрѣдка носилъ ихъ къ своему начальнику, выбравъ время, когда тотъ былъ въ духѣ, или когда онъ могъ поднести ему для подписи что-нибудь пріятное для него: представленіе родного человѣка, опредѣленіе на службу сына сестры и т. д. Вслѣдъ за этими бумагами Фамусовъ подписывалъ и всѣ остальные, разумѣется, не читая ихъ. За дѣловитость ручалась скрѣпа секретаря. Не даромъ же Фамусовъ держалъ при себѣ „дѣлового“ Молчалина. Фамусовъ слѣдовалъ въ этомъ отношеніи лишь обычному въ то время порядку. Дѣловой секретарь былъ всѣмъ не только у отдѣльныхъ лицъ, но и въ цѣлыхъ коллегіальныхъ присутствіяхъ. Онъ наблюдалъ „форму“, выписывалъ

законы, подводил справки, составляя заключение. Начальнику оставалось только подписывать. Формально все было въ порядкѣ, а въ формѣ заключалось главное дѣло. Соотвѣтственно духу времени онъ только пользовался своимъ положеніемъ, чтобъ устраивать родныхъ:

При мнѣ служащіе *чужіе* очень рѣдки:  
Все больше сестрины, свояченицы дѣтки.  
Одинъ Молчалинъ мнѣ не свой,  
И то за тѣмъ, что дѣловой.  
Какъ станешь представлять къ крестинку или къ мѣстечку,  
Ну, какъ не порадытъ родному человѣчку!

И Фамусовъ не былъ въ этомъ отношеніи исключеніемъ. Вслѣдъ за только что произнесенными словами онъ говорить, обращаясь все къ тому же Скалозубу:

Однако *братецъ вашъ* мнѣ другъ и говорилъ,  
Что *вами выгоды тѣму по службѣ* получилъ.

Скалозубъ точно такъ же *доставлялъ выгоды по службѣ* своему двоюродному брату, какъ дѣлалъ это Фамусовъ по отношенію къ своимъ родственникамъ и свойственникамъ, какъ дѣлалъ это Максимъ Петровичъ по отношенію къ Фамусову.

Какъ начальникъ, какъ управляющій казеннымъ мѣстомъ, Фамусовъ лишь эпизодически задѣваетъ дѣйствіе комедіи. Изъ этихъ эпизодовъ перваго и втораго актовъ мы узнаемъ, что Фамусовъ, какъ начальникъ, любитъ навести страхъ на подчиненныхъ:

*Дай волю вамъ, — оно бы и засѣло,*

говорить онъ Молчалину. Софья ставитъ въ особую заслугу Молчалину то обстоятельство, что онъ три года безпрекословно терпитъ все придирки ея отца, какъ начальника:

При батюшкѣ три года служить,                    А онъ безмолвіемъ его *обезоружить,*  
*Тотъ часто безъ толку сердить,*                    Отъ доброты души *простить.*

На Фамусова, безъ сомнѣнія, часто находили полосы *безтолковнѣй* сердитости. По словамъ той же Софьи, онъ былъ *неугомоненъ* и *скоръ*. Этими двумя послѣдними опредѣленіями вполнѣ объясняется, въ чемъ состояла его *безтолковая сердитость*, какъ начальника. Онъ былъ *начальникомъ вообще*. Онъ обособлялъ должность *начальника* въ какое-то особое призваніе, свойственное только людямъ его происхожденія, родства и связей. Отъ начальника совсѣмъ не требовалось, по мнѣнію Фамусова, знанія дѣла. Дѣло должны были знать секретари, чиновники, носившіе специальное прозвище „дѣловыхъ“. Начальники должны были только начальствовать, наблюдать за тѣмъ, чтобы бюрократическая машина вертѣлась не останавливаясь. У Фамусова былъ лишь *одинъ* страхъ, но отношенію къ службѣ, но зато — *смертельный*:

*Боюсь, сударь, я одного смертельно,  
Чтобъ множества не накопилось ихъ;  
Дай волю вамъ, — оно бы и засѣло...*

Онъ смертельно боится, чтобы не накопилось *неисполненныхъ бумагъ*, т.-е., говоря другими словами, что его можно будетъ упрекнуть въ бездѣтельности власти. Отсюда знаменитое: *подписано — и съ плечъ долой*. Фамусовъ часто сердился *безъ толку*, ибо не имѣлъ понятія о существѣ дѣла. Представительный и важный въ смыслѣ внѣшней, показной стороны начальника, Фамусовъ былъ *вспыльчивый и безтолковый торопыга* по отношенію къ своимъ подчиненнымъ. Но вспыльчивость его скоро проходила. Не нужно только противорѣчить ему, подливать масла въ огонь. Молчалинъ быстро *обезоруживалъ* его своимъ молчаніемъ.

Для характеристики Фамусова, какъ управляющаго казеннымъ мѣстомъ, важенъ порядокъ того дня, который проходитъ предъ нами. Фамусовъ встаетъ очень рано. Для чего дѣлаетъ онъ это? Чтобы записаться дѣлами? Нѣтъ. Онъ бродитъ по дому, болтаетъ съ Лизой и лишь случайно встрѣчаетъ своего секретаря, который, только чтобы вывернуться изъ бѣды, утверждаетъ, что несъ ему бумаги для доклада. Разборъ бумагъ занимаетъ не болѣе получаса. Весь остальной день Фамусовъ проводитъ въ приемѣ гостей, а вечеромъ у него балъ. Чацкій застаётъ его вносящимъ въ книгу на память „разныя дѣла“. Но въ чемъ состоятъ они? Во вторникъ Фамусовъ званъ на форели къ Прасковьѣ Федоровнѣ, въ четвергъ онъ званъ на погребенье, въ четвергъ же, а можетъ быть, въ пятницу или субботу, онъ долженъ крестить у докторши.

Фамусовъ — не чиновникъ. Онъ — московскій баринъ и такъ называемый *тузъ* той пограничной эпохи, когда преданія „золотого вѣка“ Екатерины еще смѣшивались, какъ живыя воспоминанія, съ новыми теченіями и направленіями. Корни Фамусова лежатъ еще въ XVIII в., въ царствованіе Екатерины.

Отсюда все идеалы Фамусова. Онъ выросъ и воспитывался въ вѣкъ Екатерины, — вѣкъ барства, роскоши и случайныхъ людей, по преимуществу. Это былъ удивительный вѣкъ, поразительно картинный, — вѣкъ удивительныхъ удачъ, — вѣкъ, создавшій цѣлую плеяду блестящихъ людей, блестящихъ предприятий, блестящихъ подвиговъ. Все было велико вокругъ Великой Екатерины. Когда происходила закладка собора во вновь создавшемся городѣ Екатеринославѣ, то Потемкинъ приказалъ архитектору „пустить на аршинчикъ длиннѣе, чѣмъ соборъ св. Петра въ Римѣ“. Кто выросъ въ этомъ вѣкѣ, тотъ навсегда оставался подъ его впечатлѣніями и вліяніями. Особенно если это былъ человекъ темперамента. Такъ было и съ Фамусовымъ. Ему пришлось въ лицѣ дяди, Максима Петровича, притти въ ближайшее соприкосновеніе съ екатерининскимъ вельможей. Максимъ Петровичъ навѣкъ остался для него идеаломъ:

. . . . . онъ не то на серебрѣ,  
 На золотѣ ѣдалъ; сто человекъ къ услугамъ;  
 Весь въ орденахъ; ѣзжалъ-то вѣчно цугомъ;  
 Вѣкъ при дворѣ, да при какомъ дворѣ!  
 Тогда не то, что нынѣ, —  
 При государинѣ служилъ Екатеринѣ.

А въ тѣ поры всё важны, въ сорокъ пудъ!...

Расклавшійся — тупеемъ не живнуть.

Вельможа въ слухъ, тѣмъ паче,

Не какъ другой и тиль и тль таче.

А дядя! Что твой князь, что графъ!

Серьозный взглядъ, надменный нравъ!

... . . . . Въ вистъ кто чаще приглашень?

Кто слышитъ при дворѣ привѣтливое слово?

Максимъ Петровичъ! Кто предъ всѣми знать почетъ?

Максимъ Петровичъ! Шутка!

Въ чины выводить кто и пенсіи даетъ?

Максимъ Петровичъ! Да.. Вы, нынѣшніе, путка!

Это цѣлая картина, прямо напоминающая описаніе сказокъ. Возьмемъ *Сказку о спромѣ волкъ* Жуковского:

Карета въ восемь лошадей (трубачъ

Съ трубою впереди) къ крыльцу дворца

Сквозь улицу толпы народной скачетъ;

И та карета золотая; козлы

Съ подушкою и бархатнымъ покрыты

Наметомъ: позади шесть гайдуковъ:

Шесть скороходовъ по бокамъ; ливреи

На нихъ изъ сѣраго сукна, по швамъ

Басовы; на каретныхъ дверцахъ гербъ;

Въ червленномъ полѣ волчій хвостъ подъ графскою

Короной.

Аналогія поразительна. Въ парадной каретѣ, запряженной цугомъ, съ форейгорами впереди и гайдуками на запяткахъ, ѣдетъ Максимъ Петровичъ, весь осыпанный орденами, и не киваетъ тупеемъ на расточаемые ему поклоны. Не знаешь, дѣйствительность ли дала матеріалъ для сказочной картины, или же сказка послужила оригиналомъ для воспроизведенія ея въ дѣйствительной жизни. По свидѣтельству Грибовскаго, статсъ-секретаря Екатерины, графъ Иванъ Андреевичъ Остерманъ „выѣзжалъ въ торжественные дни ко двору и въ Святую недѣлю къ качелямъ одинъ въ одномѣстной *позолоченной* каретѣ съ большими спереди и по сторонамъ стеклами, на *шести бѣлыхъ лошадяхъ*; сзади стояли два гайдука въ голубыхъ епанчахъ, подъ которыми были казакины съ серебряными шнурками, похожіе на венгерки, а на головахъ высокіе картузы съ перьями и серебряными бляхами спереди, на которыхъ видно было вензелевое имя; передъ лошадьми же шли два скорохода въ обыкновенномъ своемъ нарядѣ, съ булавчатыми тростями и въ башмакахъ, несмотря ни на какую грязь“. Графъ Безбородко въ торжественные праздники пріѣзжалъ ко двору въ великолѣпной позолоченной четверомѣстной осьмистеколькою каретѣ. Такъ же ѣздилъ и Максимъ Петровичъ. Впечатлѣніе, производимое Максимомъ Петровичемъ, такъ величественно, что онъ даже физически вырастаетъ изъ пропорцій обыкновеннаго человѣка. Въ немъ „сорокъ пудъ“. Онъ вѣкъ при дворѣ, „да при какомъ дворѣ?“ При самомъ

великолѣпномъ изъ когда-либо существовавшихъ, при дворѣ наиболѣе могущественной государыни цѣлой Европы. Но даже среди этого двора Максимъ Петровичъ выдѣляется и пользуется вниманіемъ самой Екатерины. Онъ чаще всѣхъ другихъ слышитъ отъ нея „привѣтливое слово“, онъ чаще всѣхъ приглашается играть въ вистъ въ партіи самой императрицы. Кому же подражать, какъ не Максиму Петровичу; съ кого же брать примѣръ, какъ не съ него? Если даже Максимъ Петровичъ умѣлъ „сгибаться въ перегибъ“, когда ему нужно было „подслужиться“, то можетъ ли для Фамусова оставаться сомнѣніе въ томъ, что слѣдуетъ „подслуживаться“ и „сгибаться“, разумѣется — когда нужно и передъ кѣмъ нужно. Одни Молчалины одинаково угождали всѣмъ и гнули передъ всѣми. Фамусовъ былъ человѣкъ другой породы. Онъ былъ столбовой дворянинъ. Въ силу своего происхожденія онъ, Чацкій, Скалозубъ, — всѣ они являлись на свѣтъ уже людьми, тогда какъ Молчалинымъ еще нужно было „выйти въ люди“, послѣ того какъ каждый изъ нихъ только родился человѣкомъ. Столбовое дворянство не освобождало человѣка отъ подслуживанія и сгибанія, составлявшихъ въ то время принадлежность каждой службы. Но оно вносило отгѣнокъ. Кругъ „подслуживанія“ суживался, а самый характеръ его нѣсколько измѣнялся. Само собою разумѣется, что „дѣтки“ сестры и свояченицы, служившіе при Фамусовѣ, „подслуживались“ къ нему иначе, нежели Молчалины. Они обязательно являлись къ нему для поздравленія съ торжественными и семейными праздниками, не пропускали ни одного изъ его баловъ, къ которымъ были приглашены разъ навсегда, пріѣзжали навѣщать его и справляться объ его здоровьи при малѣйшемъ недомогательствѣ Фамусова. Какое различіе въ отношеніяхъ Фамусова къ Молчалину и къ Чацкому, молодымъ людямъ *одинаковаго* возраста.

«Дай волю вамъ, оно бы и засѣло», — говоритъ Фамусовъ Молчалину.

«Эхъ, Александръ Андреичъ! Дурно братъ!» — говоритъ онъ Чацкому, послѣ того какъ выслушалъ наединѣ «безопасную брань» на вѣкъ, въ которомъ лежатъ корни и идеалы Фамусова.

Фамусовъ никогда не сталъ бы такъ разговаривать съ Молчалинымъ, хотя онъ также говоритъ ему *ты* и *братъ*. И въ этомъ состоитъ отгѣнокъ. Молчалины искали чиновъ. Чины сами искали Фамусовыхъ и Чацкихъ. Но для этого необходимо было служить. Въ прохожденіи службы опять-таки было существенное различіе. Въ то время, когда Молчалины обязаны были быть дѣловыми, то-есть дѣйствительно нести на себѣ всю работу, Фамусовымъ нужно было соблюдать лишь одну этикетную сторону службы, составляющую, въ сущности, лишь усиленное примѣненіе свѣтскихъ приличій, обязательствъ и отношеній.

Если служба кормила подьячихъ и «выводила въ люди» извѣстную часть «крапивнаго сѣмени», то по отношенію къ столбовымъ дворянамъ она доставляла почетъ, чины, ордена, титулы, вліяніе,



власть. Фамусову непонятно, какимъ образомъ можно отказаться отъ пріобрѣтенія всѣхъ этихъ отличій, которыя достигаются такъ легко: простымъ подслуживаніемъ. Его идеаль, Максимъ Петровичъ, даже «сгибался въ перегибъ», когда это было нужно. Ужели же, въ виду такого примѣра, подаваемого старикомъ и вліятельнымъ вельможей, могло еще оставаться сомнѣніе въ томъ, что смышленный человѣкъ долженъ ему подражать? Разказавъ Чацкому извѣстный анекдотъ о томъ, какъ Максиму Петровичу «на куртагѣ случилось оступиться», Фамусовъ спрашиваетъ:

А? какъ по-вашему? По-нашему — *смышленъ*.  
Упалъ онъ больно; всталъ здорово.

Это выраженіе *смышленъ* представляетъ геніальную черту со стороны Грибоѣдова. Все это «подслуживаніе» было результатомъ простой смышленности, такъ называемой смѣтливости, приложенной къ разрѣшенію мудреной житейской задачи: какъ подступиться къ человѣку, который, не въ примѣръ другимъ людямъ, вѣситъ сорокъ пудовъ и даже «ѣсть и пьеть иначе»? Что нужно дѣлать, чтобъ обратить на себя вниманіе такого человѣка, когда онъ даже не киваетъ на вашъ поклонъ, а между тѣмъ ваша судьба, такъ или иначе, зависитъ отъ него? Русскій человѣкъ «смекнулъ», что къ такимъ людямъ нужно было «подслуживаться». Въ этомъ «подслуживаніи» вся дѣловая часть службы была исключена напередъ, исключена по принципу. Дѣло шло совсѣмъ не о службѣ, какъ о таковой. Служба шла своимъ чередомъ. Она совершалась людьми крапивнаго сѣмени, секретарями, повытчиками, копѣистами, канцелярскими служителями, совершалась въ канцеляріяхъ, куда начальство заглядывало одинъ разъ въ нѣсколько лѣтъ. Дѣло шло о снисканіи *личнаго* благоволенія начальствующаго лица къ извѣстной *личности*. Для этого нужно было *лично* угожденіе: сначала оказаніемъ усиленнаго *личнаго* почтенія вообще, потомъ изысканіемъ специальныхъ и частныхъ случаевъ сдѣлать нѣчто *лично* пріятное извѣстному лицу и тѣмъ обратить на себя его вниманіе и поощреніе, которое могло выразиться не иначе, какъ въ формѣ награжденія по службѣ. Въ этомъ отношеніи необыкновенно характеренъ для міросозерцанія Фамусова тотъ случай, какой онъ разказываетъ Чацкому про Максима Петровича. Случай этотъ представляетъ наглядный образецъ того, что Фамусовъ понимаетъ подъ словомъ *подслуживаніе*, а отецъ Молчалина подъ словомъ *угожденіе*. И вотъ почему Фамусовъ прямо видитъ *гордость* въ томъ, что Чацкому *тошно прислуживаться*, хотя бы онъ и радъ былъ служить. Угожденіе начальнику нераздѣльно для Фамусова съ понятіемъ о службѣ. Онъ не понимаетъ служенія дѣлу, а не лицамъ. Только лица, а не дѣло выводятъ въ чины и даютъ пенсіи.

Фамусовъ въ непосредственной близости видалъ дядю Максима Петровича, достигшаго вершины почестей, къ какимъ только можетъ привести служба, а между тѣмъ Максимъ Петровичъ «сгибался въ пе-

регибъ», даже когда стоялъ на этой вершинѣ. Ничто не дѣйствуетъ такъ сильно, какъ примѣръ, ничто не врѣзывается въ память такъ ярко и прочно, какъ картина. Молодой Фамусовъ безсознательно слѣдовалъ общему теченію, когда, при вступленіи на службу, оказывалъ угодливость начальству; онъ поступалъ какъ всѣ, не мудрствуя и не разсуждая. Максимъ Петровичъ первый подѣйствовалъ на его воображеніе, запечатлѣлся въ немъ картиной и примѣромъ, только въ этомъ человѣкѣ, бывшемъ для него идеаломъ, для Фамусова внезапно открылась руководящая нить въ тѣхъ поступкахъ, какіе онъ прежде совершалъ безсознательно. Только Максимъ Петровичъ открылъ Фамусову *смышленость*, принципъ, заключавшійся въ «подслуживаніи». Эта смышленость поразила Фамусова. Она не могла не сдѣлать этого, ибо для Фамусова, человѣка темперамента и практическаго здраваго смысла, того, что французы называютъ *gros bon sens*, человѣка мало образованнаго и презиравшаго идеологію, для Фамусова *смышленость* была высшимъ выраженіемъ ума. И съ этой минуты «прислуживаніе» сложилось для него въ убѣжденіе. Онъ совершенно искренно хочетъ обратить Чацкаго на путь, который считаетъ истиннымъ, рассказывая ему случай о томъ, какъ поступилъ Максимъ Петровичъ, когда ему «на куртагѣ случилось оступиться». Его поражаетъ находчивость дяди. Другой, менѣе смышленный, навсегда сталъ бы смѣшнымъ, послѣ того какъ поскользнулся и упалъ на придворномъ паркетѣ. Максимъ Петровичъ не потерялся. Онъ сознательно сталъ *смышлитъ*, послѣ того какъ безсознательно оказался *смышленнымъ*. Онъ быстро овладѣлъ положеніемъ и вышелъ изъ него побѣдителемъ. И Фамусовъ съ глубочайшимъ убѣжденіемъ восклицаетъ:

А? какъ по-вашему?... По-нашему, *смышлень*.

Человѣкъ екатерининскаго времени, столбовой дворянинъ, баринъ и хлѣбосоль, Фамусовъ не могъ не сочувствовать Москвѣ, бывшей въ ту эпоху дворянскимъ городомъ по преимуществу. Вотъ что пишетъ Пушкинъ (Мысли по дорогѣ):

«Нѣкогда въ Москвѣ пребывало богатое неслужащее дворянство, вельможи, оставившіе дворъ, люди независимые, безпечные, страстные къ безвредному злорѣчію и къ дешевому хлѣбосольству. Нѣкогда Москва была сборнымъ мѣстомъ для всего русскаго дворянства, которое изо всѣхъ провинцій съѣзжалось въ нее на зиму. Блестящая гвардейская молодежь налетала туда же изъ Петербурга. Во всѣхъ концахъ древней столицы гремѣла музыка, и вездѣ была толпа. Въ залѣ Благороднаго Собранія, два раза въ недѣлю, было до пяти тысячъ народу. Тутъ молодые люди знакомились между собою; улаживались свадьбы. Москва славилась невѣстамп, какъ Вязьма пряниками. Московскіе обѣды вошли въ пословицу. Невинныя странности москвичей были признакомъ ихъ независимости. Они жили по-своему, забавлялись, какъ хотѣли, мало заботясь о мнѣніи ближняго. Бывало,

богатый чудакъ выстроить себѣ на одной изъ главныхъ улицъ китайскій домъ съ зелеными драконами, съ деревянными мандаринами подъ золочеными зонтиками. Другой выѣдетъ въ Марьину рошу въ каретѣ изъ чистаго серебра 84-й пробы. Третій на запятки четверомѣстныхъ саней поставитъ человекъ пять арабовъ, егерей и скороходовъ и цугомъ тащится по лѣтней мостовой. Щеголихи перенимая петербургскія моды, палагали и на наряды неизгладимую печать. Надменный Петербургъ издали смѣялся и не вмѣшивался въ затѣи старушки-Москвы».

Это — картина Москвы, какою была она въ эпоху Фамусова, Москвы — дворянской. Отсюда становитея понятнымъ все, что говоритъ Фамусовъ про Москву, все, что онъ подчеркиваетъ въ своемъ знаменитомъ описаніи ея. Онъ восхищается и гордится Москвой, какъ средоточіемъ дворянства, какъ оплотомъ его правъ. Когда онъ говоритъ *мы, наши, у насъ*, онъ подразумѣваетъ исключительно дворянъ. Если «съ головы до пятокъ на веѣхъ московскихъ есть особый отпечатокъ», то это — отпечатокъ особенностей, свойственныхъ дворянству.

Вотъ, напимѣрь, у насъ ужъ изстари ведется,  
 Что по отцу и сыну честь;  
 Будь плохенькій, да если наберется  
 Душъ тѣсячки двѣ *родовыхъ*,  
 Тотъ и женихъ.  
 Другой хоть *притче* будь, надутый всякимъ чванствомъ,  
 Пускай себѣ разумникомъ слыви,  
 А въ семью не включаютъ, но насъ не подиви.  
 Вѣдь только здѣсь еще и дорожатъ дворянствомъ!...  
 А наши старички? Какъ ихъ возьметъ задоръ,  
 Засудятъ о дѣлахъ: что слово — приговоръ!  
 Вѣдь *столбовые* все; въ усь никому не дуять...  
 Прямые канцеляры въ отставку по уму!  
 Я вамъ скажу, *знать* время не пристыло,  
 Но что безъ нихъ не обойдется дѣло.

Даже женщины круга Фамусова, московскія дворянки, даже онѣ отличаются необычайными достоинствами и качествами ума и характера. Имъ можно поручить «командованіе передъ фрунтомъ», ихъ можно «послать для присутствованія въ сенатѣ». Происходитъ это оттого, что женщины эти тѣснѣйшимъ образомъ прикасаются ко всѣмъ дѣламъ. Объ одной изъ нихъ, Татьянѣ Юрьевнѣ, мы знаемъ, что:

Чиновные и должностные  
 Всѣ ей друзья и всѣ родные.

Вся Москва ѣздила на поклонъ къ Татьянѣ Юрьевнѣ, Пульхеріи Андреевнѣ, Иринѣ Власьевнѣ. Гостиныя ихъ пользовались такою же извѣстностью и такимъ же значеніемъ, какія имѣли въ Парижѣ такъ называемые *политическіе салоны*. Тамъ и здѣсь одинаково выводили въ люди, устраивали назначенія, повышенія, награжденія, складывали

пли уничтожали репутаціи, давали тонъ. Естественно, что дѣти дворянъ также должны были чѣмъ-нибудь отличаться. Фамусовъ называетъ дочерей *патріотками*, а юношей, *сынковъ и внучатъ*, находить способными въ пятнадцатилѣтнемъ возрастѣ *учить своихъ учителей*. Почему? Потому что учителя были *побродяги*, тогда какъ юноши, вѣрныя ихъ воспитанію, были все столбовые, носили въ себѣ унаслѣдованные идеалы.

Не *лиризмъ пошлости*, а глубокое и искреннее убѣжденіе вызываетъ у Фамусова его монологъ Москвѣ. Человѣкъ темперамента, онъ рисуетъ въ этомъ монологе Москву въ радужныхъ краскахъ идеала. Наединѣ съ собою Фамусовъ остается того же мнѣнія о Москвѣ:

Что за тузы въ Москвѣ живутъ и умираютъ!

Это восклицаніе вырывается у него, когда онъ разсуждаетъ съ самимъ собою о смерти Кузьмы Петровича. Оно совершенно искренно, какъ искрененъ весь Фамусовъ.

Фамусовъ дорожитъ *похвальнымъ житіемъ* и высказываетъ совершенно опредѣленный идеалъ такого житія:

Но память по себѣ намѣренъ кто оставить  
*Житіемъ похвальнымъ* — вотъ примѣръ:  
 Покойникъ былъ *почтенный камергеръ*,  
 Съ ключомъ, и сыну *ключъ умилъ доставить*;  
 Богатъ и на богатой былъ женатъ;  
*Пережили дѣтей, внучатъ*;  
 Скончался — все о немъ прискорбно поминать.

*Васильевъ.*

### Фамусовщина и Чацкій.

Фамусовъ и К° — это, выражаясь пластически, дряблѣе, своеобразно и въ благоприятныхъ условіяхъ выхоленное тѣло, съ которымъ волею исторіи суждено считаться Чацкому, какъ свѣтлой и бодрой душѣ, какъ типичному представителю серьезной и научно-образованной части русской молодежи первой четверти нынѣшняго вѣка, которая въ лицѣ Грибоѣдова (весьма вѣроятнаго первооригинала Чацкаго) способна была проницательно относиться къ тѣмъ способамъ реализаціи идей и тѣмъ практическимъ мѣрамъ, которыми увлекались друзья ея — декабристы; это очевидно изъ слѣдующихъ словъ Грибоѣдова, которыя онъ часто повторялъ смѣясь: сто человѣкъ прапорщиковъ хотятъ измѣнить весь государственный бытъ Россіи.

Фамусовъ и фамусовщина со скалозубовщиной и другими формами своего проявленія — вотъ естественная, родная сфера и мѣсто, гдѣ находится исходная точка для замысла и обильный матеріалъ для представленія идеи въ образахъ комедіи «Горе отъ ума», ча-

стиже же—родной дядя гр. Алексѣй Фодоровичъ Грибоѣдовъ со всею «сенжерменскою» средой и далѣе со всеѣмъ высшимъ сословіемъ, являвшимся на трезвый взглядъ поистинѣ комическимъ въ условіяхъ своего полупросвѣщенія. Въ замѣткѣ: «Характеръ моего дяди» Грибоѣдовъ пишетъ: «Вотъ характеръ, который почти исчезъ въ наше время, но двадцать лѣтъ тому назадъ былъ господствующимъ, характеръ моего дяди. Въ тогдашнемъ обществѣ развита была повсюду какая-то страсть пороковъ и любезности; извнѣ рыцарство въ нравахъ, а въ сердцахъ отсутствіе всякаго чувства. Всякій пылалъ непреодолимою страстью обманывать женщинъ въ любви, мужчинъ въ карты и иначе; по службѣ начальникъ уловлялъ подчиненнаго въ разныя подлости; но зато какъ и платили ихъ свѣтлостямъ мелкіе чиновники, вѣрныя рабы-спутники до перваго затменія!—«Дядя мой, какъ левъ дрался съ турками при Суворовѣ потомъ пресмыкался въ переднихъ всеѣхъ случайныхъ людей въ Петербургѣ; въ отставкѣ жилъ сплетнями». Таковъ перво-оригиналъ Фамусова. За оригиналами другихъ лицъ комедій недалеко ходить было: фамусовщина кишмя кишѣла ими. Въ настоящее время уста новлена весьма обстоятельная бытовая генеалогія не только главныхъ и *гласныхъ* лицъ комедіи, но и второстепенныхъ съ *безгласными* включительно; есть такимъ образомъ поименный списокъ бытовыхъ оригиналовъ для *портретовъ* «съ чертами, свойственными многимъ людямъ и всему роду человѣческому». Въ списокѣ этомъ подъ одно и то же лицо комедіи подводится по два и по три и болѣе живыхъ оригиналовъ, что служить лучшимъ доказательствомъ самостоятельности, творческой мысли и силы Грибоѣдова и вмѣстѣ реальной, жизненной типичности дѣйствующихъ въ комедіи лицъ Житейскій омутъ господствующаго сословія, гордаго своимъ невѣжествомъ, коренившимся въ полупросвѣщеніи и то на внѣшне-народныхъ основаніяхъ освѣщенъ такимъ образомъ въ «Горѣ отъ ума» художественно и ярко. Не даромъ же такъ поражено комедіей современное общество и не даромъ усматривался въ ней не только «пасквиль на Москву», но и «оскорбленіе всего дворянскаго сословія» Герой комедіи Чацкій является тѣмъ патріотически-пламеннымъ лучомъ, который, освѣщая язвы темнаго царства фамусовщины и прижигая ихъ, кажетъ путь къ лучшей жизни своимъ вдохновенно-отрицательнымъ словомъ; поэтому извѣстная фраза: «Ахъ, Боже мой, онъ карбонарій!» являетъ въ себѣ и негодованіе, и стонъ, и ужасъ фамусовщины, разимой Чацкимъ подъ самый корень ея. Таковы условія жизни и ходъ имъ созданной комедіи.

Иващенко.

### Женское общество въ комедіи «Горе отъ ума».

Очень ярко обрисовано въ 3-мъ актѣ комедіи женское общество съ его страстью къ нарядамъ, сплетнямъ, пересудамъ.

Воспитанная по-модному, съ дѣтства съ чужого голоса восторгающаяся невиданною ими Франціей, княжны Тугоуховскія, какъ только вошли въ залъ Фамусова, сейчасъ же съ увлеченіемъ и даже вдохновеніемъ заболтали съ Натальей Дмитріевной о фасонѣ платья, о фал-барахъ, эшартахъ, «тюрлюлю». Уѣзжая съ бала, онѣ удивленнымъ хоромъ напускаются на Репетилова, какъ это онъ не вѣрить сумасшествію Чацкаго, когда уже это «старья вѣсти», когда объ этомъ говорить всѣ.

Всѣ — магическое слово, — ему подчиняется и благородный, не-глухой, но безхарактерный, слабый, пустоватый Платонъ Михайловичъ Горичевъ, этотъ —

Мужъ-мальчикъ, мужъ-слуга, изъ жениныхъ пажей.

Властительница его — Наталья Дмитріевна — любитъ его и заботится, чтобъ онъ не простудился; но едва ли онъ для нея дороже комнатной собачки; она развозитъ его по ненавидимымъ имъ баламъ, какъ Хлестова своего «шпица».

«Мой мужъ — прелестный мужъ!» отзывается она о немъ, какъ о туалетной бездѣлушкѣ. Сверстница Натальи Дмитріевны и княженъ — Софья — стоитъ несомнѣнно выше ихъ по уму и сердцу.

Платонъ Михайловичъ не единственный примѣръ покорнаго и безгласнаго передъ женой мужа, — таковъ и князь Тугоуховскій передъ своею супругою, этою расторопною маменькой, безустанно ловящей жениховъ для своихъ дочекъ и стремящейся при этомъ соблюсти свое аристократическое достоинство, заманивая на вечера только людей съ достаткомъ или камеръ-юнкерскимъ званіемъ.

Добрая знакомая княгини, ея партнерша въ карточной игрѣ, свояченица Фамусова, Хлестова, занимаетъ въ обществѣ видное мѣсто, какъ это замѣтно изъ самоувѣренности ея сужденій и рѣчей, изъ ухаживаній за нею Молчалина. Сплетня — ея сфера; никто лучше ея не знаетъ всей подноготной cadaго члена фамусовскаго міра. Споря съ Фамусовымъ о числѣ душъ въ имѣніи Чацкаго, она съ паэосомъ вдохновенія восклицаетъ:

Нѣтъ, триста! ужъ чужихъ имѣній мнѣ не знать!

Очень характерно ея сознание своихъ дворянскихъ привилегій: крѣпостные для нея стоятъ на одной доскѣ со звѣрями:

Отъ скуки я взяла съ собою  
Арабку-дѣвку да собачку;  
Вели ихъ накормить ужо, дружочекъ мой,  
Отъ ужина сонли подачку.

При этомъ, однако, Хлестова не лишена нѣкоторыхъ добрыхъ качествъ (признакъ художественности на обрисовкѣ ея характера); такъ, она жалѣетъ Чацкаго:

По-христіански, такъ онъ жалости достоинъ;  
Былъ острый человекъ, имѣлъ душъ сотни три.

Правда, не имѣй Чацкій 300 душъ, она, можетъ, и не пожалѣла бы, но все-таки... Она способна и сказать правду вслухъ и въ глаза человѣку:

Лгунишка онъ, картежникъ, воръ,

громогласно отзывается она о Зарѣцкомъ.

Загорѣцкій вертится преимущественно среди женской половинны фамусовскаго общества, угождая дамамъ сообщеніемъ новостей, подарочками и т. п., чтобы обезпечить себѣ доступъ въ дома, нужные ему для его шулерскихъ операцій.

*Незеленовъ.*

---

### Галерея отрицательныхъ женскихъ типовъ въ комедіи Грибоѣдова.

Просвѣтительныя идеи екатерининскаго вѣка если въ ея время могли имѣть лишь самое незначительное вліяніе на жизнь, то въ послѣдующій затѣмъ періодъ замѣтно обнаружались полной эмансипаціей чувства; подъ вліяніемъ ея въ обществѣ относительно женщины сложились извѣстные идеалы, которые, пройдя сквозь блѣдныя силуэты карамзинской сентиментальности, окрасившись элегическою грустью и безотчетнымъ стремленіемъ въ заоблачную жизнь поэзіи Жуковскаго, достигли у Пушкина живыхъ и отчетливыхъ типовъ съ сильнымъ развитіемъ чувства, но почти не тронутыми умомъ и волей. Насколько вообще подобное настроеніе было преобладающимъ въ то время, доказываетъ и Грибоѣдовъ своею знаменитой комедіей, изъ которой видно, какъ относилось тогда общество ко всякому движенію мысли у себя, приносившему неизбѣжно своему виновнику одно *горе*.

Въ ней же подтверждается и тотъ взглядъ на женщину, господствовавшій въ описываемое время, съ точки зрѣнія котораго для нея считалась единственно доступною жизнь чувства, въ какой бы пошлой обстановкѣ ни суждено было ей проявляться. Задавъ себѣ такую глубокую идею, какъ сопоставленіе двухъ поколѣній: отживающаго и новаго, лучшаго, выводя на сцену цѣлый рядъ необыкновенно яркихъ и вѣрныхъ дѣйствительности типовъ всего общественнаго круга, онъ все-таки счелъ долгомъ втиснуть любовную интригу, какъ главную завязку всей своей комедіи. Если Пушкинъ, въ своихъ положительныхъ идеалахъ, представилъ намъ высшій уровень возрѣвній на женщину большинства лучшихъ людей его времени, то въ произведеніи Грибоѣдова развертываются предъ нами, въ его отрицательныхъ идеалахъ, разнообразныя типы нравственнаго безобразія женщины, начинавшіе уже бросаться въ глаза меньшинству лучшихъ людей его времени. Если авторъ Татьяны изобразилъ въ своихъ лицахъ, между прочимъ, лучшія послѣдствія общаго духа и идей просвѣтительнаго вѣка, насколько они отрази-

лись у насъ, въ Россіи, то въ Грибоѣдовской комедіи выразилась вся изгарь самыхъ печальныхъ страницъ нашего прошлаго: тутъ результаты и семейнаго самодурства, и крѣпостнаго права, и табели о рангахъ, и иноземнаго чисто внѣшняго воспитанія, и старыхъ родовыхъ понятій. Для нашей цѣли одинакова важны, конечно, какъ тѣ, такъ и другіе типы, и потому мы позволимъ себѣ остановиться на Грибоѣдовской галлерей женскихъ личностей, какъ характеристикѣ отрицательной стороны жизни того времени.

Главная героиня Грибоѣдовской комедіи, подобно Тальянѣ Пушкина, дѣвушка отъ природы неглупая и хорошенькая, но разность въ обстановкѣ ихъ жизни и особыя условія воспитанія выработали изъ Софьи Фамусовой совершенно иной типъ. Дѣвушка эта, представитель большинства образованнаго молодого поколѣнія тридцатыхъ годовъ, всецѣло изображаетъ изъ себя плодъ той общественной среды, которая, глубоко сохраняя еще въ основѣ своей Домостроевскія начала, успѣла лишь прикрыть ихъ внѣшнимъ лоскомъ европеизма. У отца ея исходная точка всѣхъ его дѣйствій и убѣжденій расчеты одного близорукаго эгоизма. По отношенію къ дочери, онъ поставилъ своей цѣлью сбыть ее повыгоднѣе замужъ, какъ товаръ, который легко можетъ сдѣлаться залежалымъ. Для достиженія этой цѣли, онъ, во-первыхъ, далъ ей чисто свѣтское образованіе, т.е. она болтала по-французски, наряжалась, добивалась того, чтобы нравиться въ обществѣ, и, во-вторыхъ, зорко слѣдилъ за тѣмъ, чтобы она не увлеклась по молодости и не вздумала выйти замужъ за бѣдняка, да чтобы реномэ ея не запятналось чѣмъ-нибудь въ глазахъ свѣта. Что касается умственнаго развитія и нравственныхъ понятій дочери, то съ этой стороны онъ вовсе не взыскателенъ: было бы все шито да крыто. Самъ онъ, выставляя себя дочери монахомъ, не прочь поиграть съ ея горничной; на всякую любовную интрижку дочери онъ склоненъ смотрѣть сквозь пальцы, лишь бы она не дошла до скандала, не сдѣлалась бы гласною, да не клонилась бы къ какому-нибудь неподходящему въ его глазахъ браку. Моговство дочери на наряды нѣсколько сердитъ его, но онъ утѣшаетъ себя тутъ вождельвной перспективой брака, какъ кушечъ, выдавая значительную сумму на вывѣски и украшенія своего магазина, ласкаетъ себя надеждою на выгодное привлеченіе этимъ къ себѣ публики и затѣмъ на барыши. И вырастаетъ при такихъ условіяхъ молодая дѣвушка, пошлѣя все болѣе и болѣе, съ каждымъ годомъ превращаясь все полнѣе и полнѣе въ изящную куклу, въ заманчивую для пустой и сластолюбивой молодежи вывѣску брачной торговли ея батюшки. Впечатлительная головка ея, единственной пищею которой служили модные французскіе романы съ любовными похождениями, мало-по-малу пріучается удовлетворяться однимъ міромъ тѣхъ душевныхъ фантазій сентиментализма, которыя низводятъ ее, наконецъ, до интрижки съ пустымъ и подлымъ Молчалинымъ. Риторическія тирады Чацкаго, какъ первое про-



бужденіе въ немъ умственнаго движенія, нисколько и ничѣмъ не раздражая ея возбужденныхъ нервовъ, представляются ей какой-то тарабарской грамстой и скоро наводятъ на нее смертную тоску. Молчалинъ, искушенный уже долгимъ опытомъ въ дѣлѣ угожденія своимъ благодетелямъ, сразу смекаетъ, чего ей нужно, а она, создавъ себѣ изъ него свой идеаль, съ упоеніемъ отдается ему, благо это еще и удобно: живетъ онъ въ одномъ домѣ, да и отецъ, не считая его опаснымъ, не слѣдитъ за ними. Въ альковѣ молодой дѣвушки каждый день засиживается эта парочка до самаго разсвѣта; дуэты чувствительныхъ романсовъ, легкое прикосновеніе руки, потоки любовнаго краснорѣчія, вдохновеннаго канцелярскимъ рвеніемъ со стороны Молчалина, глубокіе вздохи, быть можетъ, поцѣлуи,—вотъ что привлекаетъ тутъ экзальтированную дѣвушку, вотъ отчего млѣетъ и замираетъ въ блаженствѣ она. Между тѣмъ, всѣ эти tête à tête съ молодой и красивой дѣвушкой, относительно которой Молчалинъ не смѣетъ позволить себѣ ничего далѣе любовной тирады, заставляють его искать исхода своимъ страстямъ въ болѣе реальной интрижкѣ съ горничной Лизой. Софья Павловна дѣлается случайной свидѣтельницей его откровеннаго объясненія съ послѣдней, и завѣса, сотканная ея воображеніемъ, падаетъ съ ея глазъ, открывая дѣвушкѣ во всей прелести безобразную личность ея недавняго кумира. Въ это время появляется Чацкій со своими упреками; громкій голосъ его вызываетъ отца съ толпой слугъ, со свѣчами и факелами; испугъ почтеннаго родителя, заставшаго свою дочь вдвоемъ съ женщиной, грозные его крики безвинному Чацкому, отвѣтная филиппика послѣдняго, обращенная ко всѣмъ участникамъ этой сцены и ко всему обществу, — таковы заключительныя, эффектные сцены этой комедіи.

Такимъ образомъ, подъ вліяніемъ уродливыхъ формъ воспитанія, въ молодой дѣвушкѣ оказываются искаженными всѣ основныя элементы человѣческой природы: дѣятельность ея далеко недюжиннаго ума обнаруживается въ одномъ болѣзненномъ развитіи воображенія, заставляющемъ ее вѣчно жить въ какомъ-то особенномъ мірѣ фантазій, не имѣющихъ ничего общаго съ дѣйствительностью; дѣятельность ея чувствъ сосредоточивается на любовной экзальтаціи да на жалкихъ интересахъ и сплетняхъ окружающаго ее пустого свѣтскаго круга; наконецъ, единственными стимулами ея слабой безжизненной воли служатъ порывы воображенія да прихоти дряблой чувствительности, въ связи съ капризами и неосмысленными затѣями, обычными тому кукольному міру, среди котораго она живетъ. Не смотри отецъ слишкомъ ужъ строго за неприкосновенностью своего товара, умри онъ или потеряй все свое состояніе, и, конечно, чувствительная Софья легко могла бы кинуться въ тотъ омутъ грязи, относительно котораго различныя Фамусовы съ такимъ благороднымъ негодованіемъ обыкновенно изливають потоки своего гнѣвнаго краснорѣчія.

Но не такова бывает судьба большей части дѣвушекъ, подобныхъ Софьѣ. Строго хранить ея реномэ quasi нравственная опека родителя, не только не потеряетъ, но еще преумножитъ состояние свое благоразумный батюшка и благополучно спуститъ съ рукъ товаръ свой какому-нибудь выгодному женишку. Экзальтированная Софья Павловна мало-по-малу превратится въ одну изъ тѣхъ дамъ, общій типъ которыхъ весьма удачно намѣченъ Грибоѣдовымъ въ этой комедіи, въ лицѣ Натальи Дмитріевны, умѣющей тоже свѣтскую пустоту соединять съ романтической чувствительностью.

Въ этой личности вы видите уже полнѣйшее извращеніе всего того, что составляетъ достоинство человѣка. Судя по наружности, Наталья Дмитріевна мила, добра, обходительна. Поклонникъ искусства для искусства могъ бы выбрать ее своимъ идеаломъ: у ней «огонь, румянецъ, смѣхъ, игра во всѣхъ чертахъ!» Притомъ какъ заботится она о своемъ мужѣ! Она не хочетъ, чтобы онъ тратилъ свое здоровье, служилъ въ полку, или губилъ дни свои въ глуши, въ деревнѣ; она умоляетъ его застегнуться, отойти подальше отъ двери, чтобы какъ-нибудь не простудиться; она называетъ его не иначе какъ «мой прелестный мужъ». И все это оказывается самымъ грубымъ лицемеріемъ, самую пошлою ложью: романическая экзальтація чувствъ въ молодости, поохладѣвъ и поостепенившись съ лѣтами, образовала полнѣйшую пустоту сердца и ума, отразившись лишь на мускулахъ лица нѣкоторою привычкою къ сентиментальнымъ гримасамъ и междометіямъ, обнаруживающимся теперь, какъ простой рефлексъ. Наталья Дмитріевна — глупенькая избалованная женщина, занятая только балами да нарядами. Свѣтская лестъ развивала въ ней одинъ эгоизмъ; подъ покровомъ любезности и нѣжности въ ней находимъ самое сухое и черствое сердце. Она помыкаетъ своимъ неглупымъ, но слишкомъ мягкосердечнымъ мужемъ, взявъ на себя заботу за него и думать и говорить; преданная однимъ свѣтскимъ развлеченіямъ, она заставляетъ его «дежурить за полночь, пускаться по командѣ въ плясъ». Въ собственномъ домѣ добрякъ этотъ поставленъ ниже лакея, а между тѣмъ слышитъ отъ жены самыя нѣжныя названія: «мой ангелъ! жизнь моя! безцѣнный душечка!» Въ довершеніе всего, Наталья Дмитріевна при своей свѣтской пустотѣ и мстительна: она ужъ не пощадитъ того, кто скажетъ не по ней хоть слово. Какъ она обрадовалась, какъ охотно повѣрила извѣстію о сумасшествіи Чацкаго, — и усердно разглашаетъ эту вѣсть потому только, что Чацкій совѣтовалъ ей мужу жить въ деревнѣ.

Слабѣя и дряхлѣя съ лѣтами, Наталья Дмитріевна подъ старость неминуемо превратится въ одну изъ тѣхъ разслабленныхъ старухъ, общій типъ которыхъ находимъ здѣсь же, у Грибоѣдова, въ лицѣ Хлестовой, которая ѣдетъ на балъ съ дѣвкой — арабкой и собачкой и говоритъ о своей дѣвкѣ, какъ о собакѣ. Старость уже отблала у нея память, и ей нужны дѣтскія игрушки. Ея милые нервы не выносятъ ни малѣйшаго раздраженія. Когда Фамусовъ

Громко заговорилъ о князѣ Петрѣ Ильичѣ и Скалозубѣ, ей уже не въ моготу слушать. Рослый видъ приставленнаго ей Скалозуба еще болѣе ее разстраииваетъ, и только Молчалинъ со своимъ ласкательствомъ нѣсколько ее успокоилъ. При всемъ томъ, она еще сохранила способность подслушать какую-нибудь сплетню и принять въ ней участіе. Съ какимъ азартомъ увѣряетъ она Фамусова, что помѣшанный Чацкій имѣлъ не четыреста душъ, а триста! Вотъ все, что въ жизни осталось еще утѣшеніемъ для Хлестовой, да еще, какъ старушка, она любитъ поворчать на молодежь, впрочемъ, безъ всякой злобы — и на это не хватаетъ уже нравственныхъ силъ въ этихъ зативо разлагающихся развалинахъ человѣка.

Остальные лица этой комедіи, весьма мѣтко нѣсколькими штрихами очерченныя Грибоѣдовымъ, дополняютъ собою галерею отрицательныхъ женскихъ типовъ того времени. Княгиня Тугоуховская — типъ матери, — пріѣзжая на балъ, чтобы ловить жениховъ для своихъ шести дочерей, видитъ въ этомъ исполненіе всѣхъ своихъ материнскихъ обязанностей. Она этимъ занимается съ такимъ рвеніемъ, что кричитъ безъ зазрѣнія совѣсти своему глухому мужу: «князь! князь! назадъ!» едва узнала, что Чацкій не камеръ-юнкеръ и не богатъ. Мужъ, подъ ея руководствомъ, приглашаетъ къ себѣ въ домъ только тѣхъ, которые могутъ быть женихами ея дочерямъ. Княжны выведены на показъ, конечно, въ самомъ приличномъ и неукоризненномъ видѣ, и едва перецѣловались съ Натальей Дмитріевной, какъ уже начинаютъ толковать о нарядахъ, въ этомъ и вся ихъ характеристика. Дочки болтаютъ со всею невинностью, свойственной ихъ дѣтскому уму, а матушка, едва усѣлась, уже намѣтила Чацкаго, и черезчуръ торопливо дѣлаетъ свои распоряженія — сцена, несмотря на ея краткость, въ высшей степени типичная. Также удачно, рядомъ съ этимъ болѣе юнымъ поколѣніемъ, выведены графиня бабушка и внучка. Бабушка ѣздитъ на балы болѣе для внучки; по своей ветхости и глухотѣ, она даже лишена утѣхи позаняться сплетнями. Но зачѣмъ ѣздитъ внучка! Это — старая дѣва, уже потерявшая надежду имѣть жениха, и ей осталось одно утѣшеніе: излить на другихъ все, что накопѣло на сердцѣ. Княгиня вполне рисуется ее словами: «Зла, въ дѣвкахъ цѣлый вѣкъ, ужъ Богъ ее проститъ». Княгиня поняла, каково было положеніе графини внучки, когда, войдя въ комнату, она прежде всего увидела шесть дочерей ея, цѣлыхъ шесть невѣстъ, еще не совсѣмъ безнадежныхъ... И до такого самоуничиженія, до такой торговли собою можетъ снизойти человѣкъ! Сравнивая отрицательные женскіе типы Грибоѣдова съ «обманствомъ на дѣвки въ Московскомъ государствѣ», описываемымъ Котошихинымъ, съ типами сатирическихъ журналовъ и комедій Екатерины II, нельзя не сознаться, что успѣхъ, сдѣланный женскимъ образованіемъ въ этотъ промежутокъ времени, далеко не великъ. Нѣсколько утѣшительнѣе отношеніе лучшихъ представителей общества къ положенію женщины, выразившееся и въ вы-

борѣ лицъ для сатиры да и въ самомъ характерѣ изображенія ихъ. Исключительное, въ ущербъ всѣмъ остальнымъ элементамъ челоѣческой природы, и потому неестественное возбужденіе одного чувства породило цѣлый рядъ самыхъ непривлекательныхъ послѣдствій; но отрадно уже и то, что сатира описываемаго времени подмѣтила это обстоятельство и указала на отсутствіе умственного элемента, какъ на дѣйствительную причину общественнаго «горя».

Чудиновъ.

## С о ф ѣ я.

Смѣсь хорошихъ инстинктовъ съ ложью, живого ума съ отсутствіемъ всякаго намека на идеи и убѣжденія, — путаница понятій, умственная и нравственная слѣпота — все это не имѣетъ въ Софѣя характера личныхъ пороковъ, а является, какъ общія черты ея круга. Въ собственной, личной ея фязіономіи прячется въ тѣни что-то свое, горячее, нѣжное, даже мечтательное. Остальное принадлежитъ воспитанію.

Французскія книжки, на которыя сѣтуеть Фамусовъ, фортепіано (еще съ аккомпаниментомъ флейты), стихи, французскій языкъ и танцы — вотъ что считалось классическимъ образованіемъ барышни. А потомъ — «Кузнецкій Мостъ и вѣчныя обновы»; балы, такіе, какъ этотъ балъ у ея отца, и это общество — вотъ тотъ кругъ, гдѣ была заключена жизнь «барышни». Женщины учились воображать и чувствовать и не учились мыслить и знать. Мысль безмолствовала, говорили одни инстинкты. Житейскую мудрость почерпали онѣ изъ романовъ, повѣстей — и оттуда инстинкты развивались въ уродливыя, жалкія или глупыя свойства: мечтательность, сентиментальность, исканіе идеала въ любви, а иногда и хуже.

Въ снотворномъ застоѣ, въ безвыходномъ морѣ лжи, у большинства женщинъ снаружи господствовала условная мораль, а втихомолку жизнь кипѣла, за отсутствіемъ здоровыхъ и серіозныхъ интересовъ, вообще всякаго содержанія, тѣми романами, изъ которыхъ и создалась «наука страсти нѣжной». Онѣгини и Печорины — вотъ представители цѣлаго класса, породы ловкихъ кавалеровъ, *jeunes premiers*. Эти передовыя личности въ *high life* — такими являлись и въ произведеніяхъ литературы, гдѣ и занимали почетное мѣсто со временъ рыцарства и до нашего времени, до Гоголя. Самъ Пушкинъ, не говоря о Лермонтовѣ, дорожилъ этимъ внѣшнимъ блескомъ, этою предварительностью *du bon ton*, манерами высшаго свѣта, подъ которою крылось и «озлобленіе», и «тоскующая лѣнь», и «интересная скука». Пушкинъ щадилъ Онѣгина, хотя касается легкой ироніей его праздности и пустоты, но до мелочи и съ удовольствіемъ описываетъ модный костюмъ, бездѣлки туалета, франтовство — и ту напущенную на себя небрежность и невниманіе ни къ чему, эту *fataité*, позированье, которымъ щеголяли дэнди. Духъ позднѣйшаго времени снялъ заманчивую драпировку съ его героя и всѣхъ подобныхъ ему «кавалеровъ» и опредѣлилъ истинное значеніе такихъ господъ, согнавъ ихъ съ перваго плана.

Они и были героями и руководителями этих романов, и обѣ стороны дрессировались до брака, который поглощалъ всѣ романы почти безслѣдно, развѣ попадалась и оглашалась какая-нибудь слабо-нервная, сентиментальная, — словомъ дурочка, или героємъ оказывался такой искренній «сумасшедшій», какъ Чацкій.

Но въ Софьѣ Павловнѣ, спѣшимъ оговориться, т.-е. въ чувствахъ ея къ Молчалину, есть много искренности, сильно напоминающей Татьяну Пушкина. Разницу между ними кладетъ «московскій отпечатокъ», потомъ бойкость, умѣньевладѣть собой, которое явилось въ Татьянѣ при встрѣчѣ съ Онѣгинымъ уже послѣ замужества, а до тѣхъ поръ она не сумѣла солгать о любви даже нянѣ. Но Татьяна — деревенская дѣвушка, а Софья Павловна — московская, по тогдашнему развитая.

Между тѣмъ въ любви своей точно такъ же готова выдать себя, какъ Татьяна: обѣ, какъ въ лунатизмѣ, бредятъ въ увлеченіи съ дѣтской простотой. И Софья, какъ Татьяна же, сама начинаетъ романъ, не находя въ этомъ ничего предосудительнаго, даже не догадываясь о томъ. Сперва удивляется хохоту горничной при разказѣ, какъ она проводить съ Молчалинымъ всю ночь: «Ни слова вольнаго — и такъ вся ночь проходить!» «Врагъ дерзости, всегда застѣнчивый, стыдливый!» Вотъ чѣмъ она восхищается въ немъ.

Это смѣшно, но тутъ есть какая-то почти грація — и куда далеко до безнравственности, нужды нѣтъ, что она проговорила слово: хуже — это тоже наивность. Громадная разность не между ею и Татьяной, а между Онѣгинымъ и Молчалинымъ. Выборъ Софьи, конечно, не рекомендуетъ ея, но и выборъ Татьяны былъ случайный, да едва ли ей и было изъ кого выбирать.

Вглядываясь глубже въ характеръ и обстановку Софьи, видишь, что не безнравственность (но и не «Богъ», конечно), «свели ее», съ Молчалинымъ. Прежде всего, влеченіе покровительствовать любимому человѣку, бѣдному, скромному, не смѣющему поднять на нее глазъ, — возвысить его до себя, до своего круга, дать ему семейныя права. Безъ сомнѣнія, ей въ этомъ улыбалась роль властвовать надъ покорнымъ созданиємъ, сдѣлать его счастье и имѣть въ немъ вѣчнаго раба. Не ея вина, что изъ этого выходилъ будущій «мужъ-мальчикъ, мужъ-слуга» — идеалъ московскихъ мужей. На другіе идеалы негдѣ было наткнуться въ домѣ Фамусова.

Вообще къ Софьѣ Павловнѣ трудно отнестись не симпатично: въ ней есть сильные задатки недюжинной природы, живого ума, страстности и женской мягкости. Она загублена въ духотѣ, куда не проникать ни одинъ лучъ свѣта, ни одна струя свѣжаго воздуха. Не даромъ любилъ ее Чацкій. Послѣ него, одна изъ всей этой толпы напрашивается на какое-то грустное чувство, и въ душѣ читателя противъ нея нѣтъ того безучастнаго смѣха, съ какимъ онъ расстаётся съ прочими лицами. Ей, конечно, тяжелѣе всѣхъ, тяжелѣе даже Чацкаго, и ей достается свой «милліонъ терзаній».

*Гончаровъ.*

Софья — единственная дочь Фамусова. Ей 17 лѣтъ. По понятіямъ настоящаго времени семнадцатилѣтняя дѣвушка еще не невѣста. Она еще только что кончаетъ курсъ, еще учится. Въ эпоху 20-хъ годовъ нашего столѣтія выходили замужъ гораздо раньше. Фамусовъ не спѣшитъ отдавать дочь замужъ, ибо выбираетъ ей подходящаго жениха, богатаго и чиновнаго, но и онъ самъ и всѣ родные смотрятъ уже на Софью, какъ на невѣсту.

Софья рано лишилась матери.

Дѣвочка выросла подъ наблюденіемъ старушки-французенки, m-me Rosier. По словамъ Фамусова, это была старушка-золото, имѣвшая рѣдкій нравъ. Но мадамъ Розье «смашили» въ другой домъ, и Софья осталась одна при отцѣ.

Такимъ образомъ, Софья лѣтъ съ 14 была предоставлена сама себѣ. Хозяйствомъ она, разумѣется, не занималась и ни во что не входила. На то были дворецкіе, экономка, разные старики и старухи изъ крѣпостныхъ. Хозяйство шло само собою, какъ заведенная машина. Занятіе хозяйствомъ не входило въ планъ тогдашняго воспитанія. Фамусовъ очень точно опредѣляетъ, въ чемъ заключалась въ то время *воспитанность*, какъ результатъ воспитанія:

И точно, можно ли воспитаннѣе быть!

Умѣютъ же себя принарядить

Тафтицей, бархатцемъ и дымкой;

Словечка въ простотѣ не скажутъ, все съ ужимкой;

Французскіе романы вамъ поютъ

И верхнія выводятъ нѣтки;

Къ военнымъ людямъ такъ и льнутъ...

Оставшись одна, Софья бросилась на чтеніе французскихъ романовъ и мало-по-малу начала вести жизнь «барышни»: выѣзжать, танцовать, заниматься модами, брать, ради моды, уроки пѣнія и музыки у модныхъ учителей. Отецъ, безъ сомнѣнія, баловалъ единственную дочь. То же, несомнѣнно, и еще въ большей степени, дѣлала старуха Хлестова. Цѣлый ареопагъ женской родни съ наслажденіемъ взялъ на себя руководство молоденькою дѣвочкой въ дѣлѣ посвященія ея въ тайны модныхъ лавокъ. Дѣвочка быстро росла и обращалась въ дѣвушку. Оставалось влюбиться.

И Софья влюбилась въ Молчалина. Первымъ увлеченіемъ ея былъ Чацкій. Увлеченіе это существовало несомнѣнно:

А вы! о, Боже мой! кого себѣ избрали?

Когда подумаю, кого вы предпочли?

Зачѣмъ меня надеждой завлекли?

Зачѣмъ мнѣ прямо не сказали,

Что все прошедшее вы обратили въ смѣхъ,

Что память даже вамъ постыла

Тѣхъ чувствъ въ обонхъ насъ, движений сердца тѣхъ,

Которыя во мнѣ ни даль не охладила,

Ни развлеченія, ни перемѣна мѣстъ.

Но Чацкій былъ далеко и въ продолженіе *трезъ лѣтъ* не написалъ *двухъ словъ*. А Молчалинъ былъ здѣсь, налицо, жилъ въ томъ же домѣ, по нѣскольку разъ въ день имѣлъ случай оказывать разныя услуги и внимательности дочери своего начальника. Молчалинъ былъ «не дурень собою», съ румянцемъ въ лицѣ, тихъ, скромень, усиленно вѣжливъ. Старуха Хлестова его хвалила и называла «мой родной». Фамусовъ на глазахъ молодой дѣвушки, безъ-толку придирался къ Молчалину, а тотъ все переносилъ съ кротостью:

Смотрите, дружбу *всѣхъ* онъ въ домъ *приобрѣлъ*.

При батюшкѣ *три года* служить,

Тотъ часто безъ толку *сердитъ*,

А онъ *безмолвнѣмъ* его *обезоружитъ*.

Отъ доброты души *проститъ*;

И между прочимъ

Веселостей искать бы могъ —

Ничуть: отъ старичковъ не ступить за порогъ;

Мы рѣзвимся, хохочемъ, —

Онъ съ ними цѣлый день *засядетъ*, радъ не радъ,

Играетъ...

Сначала Молчалинъ возбудилъ своею услужливостію любопытство Софьи. Онъ, безъ сомнѣнія, обращался съ нею, какъ со взрослою дѣвушкою, оказывалъ ей такое же вниманіе, какое другіе, на ея глазахъ, оказывали барышнямъ старѣйшимъ ея по возрасту, «настоящимъ барышнямъ». Ничто такъ не льститъ подросткамъ, какъ именно такого рода вниманіе къ нимъ. Софья втайнѣ начала чувствовать къ нему благодарность. Благодарность вызвала симпатію, участливость, сожалѣніе. Молчалинъ такъ кротко все переносилъ! Онъ былъ внимательнѣе всѣхъ къ Софьѣ, онъ одинъ не принималъ участія въ веселостяхъ другихъ молодыхъ людей, собиравшихся въ домѣ Фамусова. Софья стала жалѣть Молчалина. Въ сердцѣ женщины одинъ шагъ отъ жалости къ любви. Софья не могла представить себѣ, что Молчалинъ притворяется. Ей просто не приходила въ голову эта мысль. Она совершенно искренно начала видѣть въ немъ совершенство:

Чудеснѣйшаго свойства

Онъ, наконецъ, *уступчивъ, скромень, тихъ*,

Въ лицѣ ни тѣни безпокойства

И на души *простушковъ* *никакихъ*;

Чужихъ и *вкривъ* и *вкось* не рубить —

Вотъ я за что его люблю.

Въ разговорѣ съ Чацкимъ у Софьи прорывается даже, въ пользу Молчалина, аргументъ, который, очевидно, не принадлежитъ ей самой, а просто повторяется ею, какъ нѣчто слышанное отъ другихъ, вѣроятно, отъ старухъ и стариковъ:

Конечно, нѣтъ въ немъ этого ума,

Что гений для иныхъ, а для иныхъ — *чума*,

Который скоръ, блестящъ и скоро опротивитъ,

Который свѣтъ ругаетъ *наповаль*,

Чтобъ свѣтъ о немъ хоть что-нибудь сказалъ.

Да этакій ли умъ *смейство* *осчастливитъ*?

На этомъ послѣднемъ выраженіи стоитъ остановиться. Если присоединить къ нему слова Лизы къ Молчалину, сказанныя въ отвѣтъ на его восклицаніе *«безъ свадьбы время проволочимъ»*:

Что вы, сударь! да мы кого жъ  
Себя въ мужья другого прочимъ?

то получается необыкновенно характерный уголъ зрѣнія на Софью. Софья какъ будто готовить себя Молчалина въ мужья; она не просто влюблена въ него, но очень разсудительно цѣнитъ въ немъ качества, необходимыя для семейнаго счастья. На самомъ дѣлѣ, Софья совсѣмъ не «прочитъ» Молчалина себя въ мужья. Лиза забѣгаетъ въ этомъ случаѣ впередъ. Она заботится о концѣ романа, тогда какъ Софью интересуеть его начало, первыя его главы; она сама не знаетъ, чѣмъ кончится этотъ романъ, и совсѣмъ не думаетъ про окончаніе. Она не прочь выйти за Молчалина. Только для того, чтобы это случилось, необходимо такое стеченіе обстоятельствъ, которое вывело бы Софью изъ области сентиментальнаго романа на почву дѣятельной рѣшимости. Рѣшимость эта могла бы явиться, когда бы Софья нужно было сказать *да* или *нѣтъ* на предложеніе Скалозуба, или когда Фамусовъ внезапно накрылъ бы свиданіе дочери съ Молчалинымъ. Пока ничего такого еще нѣтъ. Софью интересуеть не будущее, а настоящее. По всей вѣроятности, свиданія съ Молчалинымъ только что начались. Лишь годъ тому назадъ Софья минуло 16 лѣтъ, и она вступила официально въ возрастъ и права дѣвушки-невѣсты. До того времени она все еще была дѣвочкой. Молчалинъ три года живетъ въ домѣ Фамусова. Когда онъ вступилъ туда, Софья только минуло 14 лѣтъ. При этомъ условіи возраста Софьи, при характерѣ Молчалина и страхѣ его передъ Фамусовымъ, сближеніе Софьи и Молчалина могло итти лишь очень медленно. Романъ еще въ самомъ началѣ. Активную роль исполняетъ въ немъ Софья, тогда какъ Молчалинъ застѣчивъ и не смѣлъ. Мы знаемъ, что онъ играетъ въ любовь лишь «въ угоду дочери такого человѣка», каковъ Фамусовъ, что онъ лишь по должности принимаетъ видъ любовника и немедленно «простываетъ», когда остается наединѣ съ Софьей, хотя передъ этимъ «готовился быть пѣжнимъ». Лизѣ дѣлается смѣшно, и она, не утерпѣвъ, начинаетъ смѣяться, когда Софья рассказываетъ ей, какъ проводитъ она время съ Молчалинымъ цѣлыя ночи до бѣла свѣта:

Возьметъ онъ руку, къ сердцу жметъ,  
Изъ глубины души вздохнетъ,  
Ни слова вольнаго — и такъ вся ночь проходитъ,  
Рука съ рукой, и глазъ съ меня не сводитъ...

Софья очень нравится такое времяпровожденіе. У нея совсѣмъ нѣтъ страстнаго чувства къ Молчалину. Молчалинъ самъ по себѣ былъ не изъ такихъ людей, которые способны возбудить страсть. Къ этому присоединилась еще атмосфера времени, влияніе которой



не могло пройти безслѣдно для Софьи. Атмосфера эта сохранилась для насъ въ беллетристикѣ тѣхъ годовъ, гдѣ главнымъ образомъ находятъ себѣ выраженіе «движенія сердца» и идеалы героевъ, вызывавшихъ такія движенія. Такими героями были байроническіе мужчины молодыхъ и неопредѣленныхъ лѣтъ, съ одной стороны; красавцы-военные — съ другой стороны. Особую группу героевъ составляли мелодые аристократы: князья Греминуы, графы Зорины и т. д. Эта группа стояла *hors concours*. Если молодой дѣвушкѣ еще можно было колебаться въ выборѣ между героями двухъ первыхъ категорій, то при встрѣчѣ съ Греминуыми и Зориными она обязана была немедленно влюбиться по уши безо всякихъ разсужденій. Нѣтъ сомнѣнія, что Софья, въ смыслѣ чтенія, питалась исключительно беллетристикою. Если даже допустить, что она преимущественно читала французскіе романы («*все по-французски вслухъ читаетъ запершись*»), то это не исключаетъ обязательнаго ея знакомства съ современною ей русскою беллетристикой, — знакомства, которое совершалось посредствомъ обмѣна книгъ между подругами. Нѣтъ сомнѣнія, что если бы Молчалинъ не поступилъ въ домъ Фамусова какъ разъ на смѣну Чацкому, то Софья перенесла бы «движенія своего сердца» на другого чловѣка изъ круга знакомыхъ, влюбилась бы подъ вліяніемъ описаній романовъ. Молчалинъ спуталъ линіи. Онъ возбудилъ въ сердцѣ Софьи совершенно самостоятельный, оригинальный романъ, бывший слишкомъ сложнымъ, чтобы привести къ страсти. Софья думаетъ, что любить, въ то время, какъ, въ сущности, только играетъ въ романъ. Она «открыла» Молчалина и, сама того не сознавая, пѣстается со сводимъ открытіемъ. Не самъ Молчалинъ приблизился къ ней, покорилъ ее себѣ. Она подняла его до себя. Ей нравится его застычивость и робость. Эти свойства неразлучны для Софьи въ ея представленіяхъ о Молчалинѣ. Она, вѣроятно, удивилась и разсердилась бы каждой «вольности» съ его стороны, ибо Молчалинъ выпалъ бы тогда изъ тона, пересталъ бы быть такимъ, какимъ создала его фантазія Софьи. Изъ-подъ Тартюфа выглянулъ бы сатиръ и сразу разсѣялъ бы всю иллюзію. Кто разъ видѣлъ изнанку Тартюфа, для того уже нѣтъ возврата къ прежнему самообману. Съ другой стороны, Софья, сама того не сознавая, чувствуетъ себя польщенной робостію и застычивостію Молчалина. Первая роль въ романѣ принадлежитъ ей. Она, дочь Фамусова, не только открыла и оцѣнила качества Молчалина, но и взяла на себя исправлять несправедливости отца, который постоянно попрекаетъ Молчалина своими благодѣяніями:

Безроднаго пригрѣлъ и ввелъ въ мое семейство,  
 Дать чинъ ассессора и взялъ въ секретари;  
 Въ Москву переведенъ черезъ мое содѣйство,  
 И будь не я, — коптѣлъ бы ты въ Твери.

Софья кажется, что Молчалина, пріобрѣтшаго дружбу всѣхъ въ домѣ, не цѣнятъ по достоинству. Ея отношенія къ нему очень

сложны. Тутъ смѣшиваются сожалѣніе, покровительство, любопытство молодого чувства къ первому интимному сближенію съ женщиной, романтизмъ, пикантность домашней интриги, представляющей такъ много удобства и такъ много опасностей. Но опасности только подзадориваютъ любовь. Къ тому же онъ чисто виѣшнія. Нужно только беречься, чтобы отецъ не открылъ свиданій между Софьей и Молчалинымъ. Во всѣхъ остальныхъ отношеніяхъ Софья вполне безопасна и чувствуетъ себя хозяйкою положенія. Въ чемъ проходятъ ея свиданія съ Молчалинымъ? Они занимаются музыкою:

Забылись музыкой, и время шло такъ плавно...

Вѣроятно, Молчалинъ читалъ Софьѣ стихи; по словамъ Чацкого, онъ —

Бывало, пѣсенекъ гдѣ новенькихъ тетрадь  
Увидитъ — пристасть: пожалуйста списать.

Молчалинъ, очевидно, могъ списывать лишь произведенія русской литературы: въ эпоху, гдѣ происходитъ дѣйствіе комедіи *Горе отъ ума*, списываніе стиховъ было въ большомъ ходу: Пушкинъ и Лермонтовъ приобрѣли извѣстность, по крайней мѣрѣ — популярность, только черезъ списываніе ихъ произведеній.

*Васильевъ.*

### Прототипы дѣйствующихъ лицъ въ комедіи „Горе отъ ума“.

Лица «Горе отъ ума» хотя и представляютъ глубокохудожественные типы, тѣмъ не менѣе списаны отчасти съ живыхъ лицъ. Грибоѣдовъ «разсказывалъ многимъ и въ томъ числѣ актеру Сосницкому, на какія именно лица онъ писалъ роли своей комедіи. Онъ взялъ всѣ эти типы въ Москвѣ, кромѣ одного Репетилова, который долго жилъ въ Петербургѣ. Грибоѣдовъ описывалъ характеристику каждаго лица, образъ жизни его, привычки и приемы, такъ что «Горе отъ ума» должно было имѣть въ свое время двойную занимательность. Одинъ Самаринъ (актеръ) понялъ Чацкого — молодого человека съ умомъ и образованіемъ, но злого на языкъ и старающагося уколотъ каждаго непрощенною правдою, впрочемъ словоохотнаго остряка и добраго малаго (Зотовъ, Театральныя воспом. С.-Пб. 1860, стр. 84)». Вотъ эти предположенія:

Въ *Чацкомъ* А. Н. Веселовскій видитъ самого Грибоѣдова, хотя, по свидѣтельству С. П. Бѣгичева, въ жизни А. С. ничего подобнаго исторіи Чацкого съ Софьей не было. «Рѣчь Чацкого, его стремленій и понять нельзя безъ помощи постоянного сличенія съ оригиналомъ». Другого мнѣнія держится Гарусовъ, который видитъ въ Чацкомъ — Чаадаева, что, между прочимъ, высказалъ и А. С. Пушкинъ.

Въ *Фамусовъ* — почти безспорно нарисованъ дядя автора Алексѣй Федор. Грибоѣдовъ, московскій тузъ, знаменитый своими праздниками

(соч. Батюшкова 1887, стран. 440). Характеристику дяди далъ самъ А. С. Г. (т. I, стран. 153). Онъ былъ начальникъ архива, въ которомъ Молчалинъ, умершій почетнымъ опекуномъ, служилъ секретаремъ, а гг. N. и D. чиновниками. При помощи матери поэта, Настасьи Федоровны, дядя старался ввести племянника въ московское общество. Но племянникъ, по разсказу С. Н. Бѣгичева, какъ только замѣчалъ, что дядя вѣхалъ къ нимъ на дворъ, чтобъ вести его на поклоненіе къ какому-нибудь князю Петръ-Ильичу, раздѣвался и ложился въ постель. «Поѣдемъ», приставалъ А. Ф. «Не могу, дядюшка, то болитъ, другое болитъ, ночь не спалъ» хитрилъ молодой человекъ.

*Скалозубъ* — бригадный генераль Фроловъ, по другимъ Паскевичъ, Аракчеевъ или даже лицо, болѣе высокопоставленное въ арміи. Видѣли въ немъ и Римскаго-Корсакова, за котораго Софья Павловна (по Гарусову) дѣйствительно вышла замужъ.

*Загорыкинъ* — оригиналъ навѣрное неизвѣстенъ: или ловко втиравшійся въ московскую знать, не брезговавшійся никакими средствами ярославскій откупщикъ А—въ, или московскій откупщикъ — въ, крупный капиталистъ, или содержатель одного игорнаго дома въ Москвѣ, большой шулеръ, или (по Веселовскому) нѣкто Арс. Барт—въ.

*Репетиловъ* — Шатиловъ, по словамъ Бѣгичева, «добрый малый», очень пустой и одержимый несчастной страстью безпрестанно острить и говорить каламбуры. Этимъ, наконецъ, онъ такъ надоѣлъ Грибоѣдову, что тотъ купилъ альманахъ анекдотовъ Биевра, и какъ только тотъ — каламбуръ, къ нему сейчасъ обращались съ вопросомъ: «на какой страницѣ?» «Свое, ей-Богу, свое», отвѣчалъ онъ всегда. Остриякъ этотъ былъ въ Москвѣ, когда Грибоѣдовъ привезъ туда оконченную комедію. Авторъ самъ прочелъ ему роль Репетилова. Тотъ расхохотался, говоря: «Я знаю, на кого ты мѣтишь!» — На кого? — На Чаадаева! Страсть повторять чужое было вообще отличительной чертой Шатилова, почему друзья автора находили передѣлку фамиліи остряка очень удачною. О Шатиловѣ упоминается въ т. I, 205. Онъ дѣйствительно былъ чиновникомъ въ С.-Пб. въ какомъ-то департаментѣ, гдѣ директоромъ былъ нѣмецъ — любитель картъ.

*Горичевъ* — Илья Ивановичъ (по Гарусову Обрѣзковъ), Огаревъ, служилъ вмѣстѣ съ А. С. Г. въ военной службѣ, былъ лихой наѣздникъ и собесѣдникъ, въ 1821 г. женился на красивой молодой дѣвушкѣ, которая прибрала къ рукамъ и мужа, и хозяйство, и домъ. По Шимановскому («Русскій Арх.» 1875, 11, 344) — самъ С. П. Бѣгичевъ.

*Горичева* — дочь Аграфены Дмитріевны Офросимовой. Гарусовъ знаетъ, но не называетъ ее.

*Хлестова* — Настасья (или Аграфена) Дмитріевна Офросимова, Она принадлежала къ самому высшему московскому кругу и была сильною и вліятельною личностью консервативнаго направленія. Она отстаивала все, что было хорошаго въ ея время, и осмѣивала все дурное въ новомъ поколѣніи. Основательнаго образованія она не получила; не была чужда страсти къ знатности, чину и богатству. Но

она была одарена отъ природы пронизательностью, здравымъ, свѣтлымъ русскимъ умомъ и мѣткимъ взглядомъ на обстоятельства и людей. Ея откровенность и правдивость не знали границъ, и потому ея разговоры надъ личностями отличались беспощадностью. Сарказмы ея были до того язвительны, что, добрая въ душѣ и честная, она получила эпитетъ «злослычной». Она выведена и въ одной комедіи гр. Растопчина, и въ «Войнѣ и Мирѣ» Толстого. По другимъ, это тетка поэта, дочь которой будто изображена въ лицѣ Натальи Дмитриевны.

*Князь Тугоуховскій* и его семья — будто бы Шаховскіе, но это невѣрно. «Я предупреждала Александра, говорила Д. А. Смирнову сестра поэта, что онъ съ комедіей наживетъ кучу враговъ себѣ, а еще болѣе мнѣ, потому что стануть говорить, что злая Грибоѣдова указывала на оригиналы. — Да какіе же оригиналы? — спросилъ онъ. — Помилуй, да вѣдь твои Тугоуховскіе развѣ не Шаховскіе? — Я твоихъ Шаховскихъ и не знаю, — отвѣчалъ онъ». Шаховской, дѣйствительно, былъ глухъ и въ ревматизмѣ.

*Хромины* жили въ то время (1816—1822) около Арбата, въ своемъ домѣ, недалеко отъ извѣстнаго дома Рюмина.

*Тотъ черномазенькій...* — нѣкто Сибилевъ, прихлебатель московскихъ гостиныхъ и посѣтитель чужихъ ложъ въ театрѣ. («Рус. Арх.» 1874, 2, стран. 487).

*Трое изъ бульварныхъ лицъ* — хлыщи, рисовавшіеся на Тверскомъ бульварѣ и выдававшіе своихъ любовницъ за сестеръ, кузинъ и пр.

*Наше солнышко*, нашъ кладъ... — театраль помѣщикъ Позняковъ, въ театрѣ коего на Никитской въ 1812 г., французы дали 11 представлений, подъ дирекціей Боссе, во время занятія Москвы; по Вяземскому и Гарусову, это балетоманы — Измайловъ или рязанскій помѣщикъ Ржевскій. Кучеръ, щелкавшій соловьемъ, дѣйствительно, былъ приглашенъ или въ домъ А. Θ. Грибоѣдова или Кологривовыхъ.

*Часоточный* — представитель типа Магницкаго, извѣстнаго гонителя просвѣщенія въ 20-хъ годахъ.

*Тетушка*, Анна Ѳед. Разумовская или Елиз. Ѳедор. Акиноіева — охотницы гордиться «столбовой» родней.

*Менторъ* — будто бы Петрозиліусъ, первый воспитатель поэта.

*Покойникъ дядя Максимъ Петровичъ* — Новосильцевъ, дальній родственникъ А. С. Грибоѣдова, пріятель гр. Растопчина, екатерининскій вельможа.

*Вонъ тотъ еще, который для затѣй* и пр. — генераль-лейтенантъ Измайловъ, помѣщикъ Зарайскаго уѣзда, Рязанской губ., извѣстный звѣрскимъ обращеніемъ съ крестьянами. (См. Рус. Стар. 1872, № 12). По Вяземскому (Соч. X, стран. 47 и 244), это Ржевскій.

*Татьяна Юрьевна* — Прасковья Юрьевна Кологривова (1762—1848), урожденная Трубецкая, по первому мужу († 1794) Гагарина. Особа отличавшаяся сильнымъ вліяніемъ въ чиновныхъ сферахъ до конца жизни.

*Князь Ѳедоръ*, по свидѣтельству Т. П. Пассекъ, (Записки 1, 55), молодой Яковлевъ, Алексѣй Александровичъ.

*Князь Григорій англomanъ* — или кн. Оболенскій, у котораго дѣйствительно бывали въ 20-хъ годахъ по четвергамъ тайныя собранія, или Ал. Петр. Завадовскій («Рус. Стар.» 1874, V), или, по словамъ Завалишина, князь П. А. Вяземскій.

*Воркуловъ Евдокимъ* — будто бы врагъ поэта А. И. Якубовичъ.

*Удушьева* — или Пестель, извѣстный декабристъ, или Якубовичъ, или даже князь П. А. Вяземскій.

*Ночной разбойникъ* и пр. — несомнѣнно портретъ знаменитаго въ то время дуэлиста гр. Толстого — американца. Сходство внѣшнихъ пріемовъ удостовѣрено П. Араповымъ. (Соч. А. С. Г. изд. Серчевскаго.)

*Дохмотьева* — или декабристъ Якушкинъ или баронъ Алексѣй Ив. Черкасовъ.

Въ княгиню *Марья Алексеевна* Завалишинъ видитъ какую-то даму, близкую къ кн. Зинаидѣ Волконской. Другіе предполагаютъ княгиню Голицыну (la princesse Moustache), мать московскаго генералъ-губернатора князя Д. В. Голицына, или Наталью Кирилловну Загряжскую.

### Шляпкинъ.

## Языкъ Грибоѣдова. Выраженія, обратившіяся въ поговорки.

Не могу не привести подробнаго перечня тѣхъ выраженій и стиховъ «Горя отъ ума», которые живой народный языкъ принялъ въ свою сокровищницу, и которые мы всѣ, и даже въ томъ числѣ люди, весьма плохо знакомые съ произведеніемъ Грибоѣдова, повторяемъ, какъ простыя поговорки, пословицы, забывая или не зная, кто былъ ихъ авторомъ. Вотъ эти выраженія: «Счастливыя часовъ не наблюдаютъ; кто бѣденъ, тотъ тебѣ не пара; подписано, такъ съ плечъ долой; блаженъ, кто вѣруеть, тепло ему на свѣтѣ; пѣвецъ зимой погоды лѣтней; и дымъ отечества намъ сладокъ и приятенъ; намъ безъ нѣмцевъ нѣтъ спасенья; смѣшенье языковъ французскаго съ нижегородскимъ; а, впрочемъ, онъ дойдетъ до степеней извѣстныхъ: какого жъ даль я крюку; что за комиссія, Создатель, быть взрослой дочери отцомъ!; читай не такъ, какъ понамарь, а съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкой; что за тузы въ Москвѣ живутъ и умираютъ!; она не родила, но по расчету, по моему, должна родить; свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ; кто служить дѣлу, а не лицамъ; завиральныя идеи; ахъ, тотъ скажи любви конецъ, кто на три года вдаль уѣдетъ!; ну, какъ не порадытъ родному человѣчку?; дистанція огромнаго размѣра; на всѣхъ московскихъ есть особый отпечатокъ; что слово — приговоръ; поспорятъ, пошумятъ, и... разойдутся; безъ нихъ не обойдется дѣло; словечка въ простотѣ не скажутъ — все съ ужимкой; къ военнымъ людямъ такъ и льнуть, а потому что патріотки; пожаръ способствовалъ ей много къ украшенью; дома новы, но предразсудки стары; эй, завяжи, на память узелокъ!; вре-

мень очаковскихъ и покоренья Крыма; ахъ, злые языки страшнѣе пистолета; ну, люди въ здѣшной сторонѣ! она къ нему, а онъ ко мнѣ; созвѣдіе маневровъ и мазурки; ахъ, Боже мой, неужели я изъ тѣхъ, которыхъ цѣль всей жизни смѣхъ?; сатира иль мораль смыслъ этого всего?; герой — не моего романа; чтобъ имѣть дѣтей, кому ума не доставало; умѣренность и аккуратность; я ѣзжу къ женщинамъ, да только не за этимъ; а смѣшивать два эти ремесла есть тѣма искусниковъ, я не изъ ихъ числа; я глупостей не чтець, а пуще образцовыхъ; въ мои лѣта не должно смѣть свое сужденіе имѣть; зачѣмъ же мнѣнія чужія только святы?; деревня лѣтомъ рай; у насъ ругаютъ вездѣ, а всюду принимаютъ; шампанское стаканами тянулъ; бочками сороковыми; тамъ будутъ учить по-нашему: разъ, два; ужъ коли зло пресѣчь — собрать всѣ книги бы да сжечь; всѣ врутъ календари; миллионъ терзаній; часъ ѣхать спать ложиться; послушай, ври, да знай же мѣру; шумимъ, братецъ, шумимъ; взглядъ и нѣчто; да умный человѣкъ не можетъ быть не плутомъ; радикальныя потребны тутъ лѣкарства: желудокъ больше не варить; да, водевиль есть вещь, а прочее все голь; собакъ дворника — чтобъ ласкова была; пойду искать по свѣту, гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ; ахъ, Боже мой, что станеть говорить княгиня Марья Алексѣвна.

*Кунинскій.*

### Идіотизмы у Грибоѣдова.

Всматриваясь подробно въ языкъ и слогъ комедіи, нужно замѣтить прежде всего, что словъ сколько-нибудь архаическаго характера въ ней очень мало (таковы: опахало, персть, паче); зато поразительное количество встрѣчающихся въ ней идіотизмовъ, т.-е. такихъ исключительно русскому языку свойственныхъ выраженій и оборотовъ, которые совершенно непереводимы на иностранныя языки и придають слогу произведенія необыкновенную живость и яркость. Таковы слѣдующія выраженія: «нужень глазъ да глазъ; зашла бесѣда ваша за ночь; ну, чтобы ставни имъ отнять? къ лицу ль вамъ эти лица?; съ двора долой; съ рукъ сойдетъ; и мѣтитъ въ генералы; ни на волосъ любви; куда какъ хороши: безъ души; а наше солнышко, нашъ кладъ? на лбу написано: театръ и маскарадъ; сонъ въ руку; куда какъ чудно созданъ свѣтъ!; а дядя — что твой князь, что графъ!; какъ пить дадутъ; въ усъ никому не дуютъ; ударюсь объ закладъ, что вздоръ; куда какъ вѣрится охотно; она не ставитъ въ грошъ его!; шалить! она его не любитъ; за армію стоитъ горой; ночь — свѣтопреставленье; глаза подъ старость приглядѣлись; въ чемъ держится душа; мой другъ, мнѣ уши заложило; прошу покорно! (съ ума сошелъ? прошу покорно!); туда же изъ смѣшливыхъ; ты не въ своей тарелкѣ; ну балъ! ну Фамусовъ!; жизнь моя! (обращеніе ласкательное); дай протереть глаза; да полно вздоръ молоть; прахъ его возьми!; пора перебѣситься; это намъ была бѣ подѣ

масть; а дай ка, попытаюсь; а бѣды медленьемъ не избыть; какъ бѣльмо въ глазу; кто не доѣсть и не доспитъ до свадьбы; ни дать ни взять; постой же, я тебя исправлю — и мн. др.

*Куницкій.*

## Народные слова и обороты у Грибоѣдова,

Кромѣ идиотизмовъ, въ «Горѣ отъ ума», встрѣчается и множество чисто народныхъ русскихъ словъ, оборотовъ и выраженій, свойственныхъ, по преимуществу, языку народному. Таковы слѣдующія:

а) слова: «авось, анъ, больно (въ смыслѣ очень), вдругорядь, вишь, впрямь, давеча, добро (нарѣчіе вмѣсто хорошо); ей-ей, започивать, зелье, знать (а, знать, ко мнѣ пошелъ), кликать, коли, (вм. если), мочь (существ.), небось, повыкинуть, прозакласть, путемъ (нарѣчіе), пуще, равнехонько, точнехонько, синѣ, славно (нарѣчіе), хватъ, чай (вводное слово), чуръ, экій, — ая»;

б) формы: «запершишь, окромѣ, покудова, содѣйство, ужо»;

в) выраженія: «извольте же итти; гнѣваться изволить; ну вотъ у праздника; моего вы глупаго сужденія не жалуете никогда; хотѣла схоронить свою досаду; здорово, другъ, здорово, братъ, здорово!; да въ поля изъ огня; но можетъ истина въ догадкахъ вашихъ есть, всѣ кошачьи ухватки; пошелъ (приказаніе); нынче лишь; вотъ нынче; напимѣрь (въ обоихъ случаяхъ слово нынче употреблено въ народномъ значеніи — сегодня).

*Куницкій.*

## Образность и выразительность слога Грибоѣдова.

Въ слогѣ «Горя отъ ума», какъ поэтическаго произведенія, мы находимъ и образность и выразительность. — Образность слога достигается употребленіемъ:

1) Эпитетовъ, содѣйствующихъ болѣе живому и наглядному представленію предметовъ: старушку — *золото*, *монашескимъ* поведеніемъ, время *очаковскихъ* и мн. др.;

2) Сравненій: «мечусь, какъ словно угорѣлый» (I, 8); «Читай не такъ, какъ понамарь» (II, 24);

3) Метафоръ: «и будь не я, коптѣль бы ты въ Твери» (I д., 9); «всякій самъ туда же долженъ лѣзть, въ тотъ ларчикъ, гдѣ ни стѣть, ни сѣсть» (II, 24);

4) Метонимій: «нашъ менторъ — помните» (I, 19); «онъ не только на серебрѣ, на золотѣ ѣдалъ» (II, 27);

5) Гиперболъ: «хлопочуть набирать учителей полки» (I, 19); «шампанское стаканами тянулъ. — Бутылками-съ — и пребольшими. — Нѣтъ-съ, бочками сороковыми» (III, 79—80).

Но особеннымъ достоинствомъ слога «Горя отъ ума» надо признавать выразительность, которая достигаетъ здѣсь высокой степени

совершенства. Такъ, дѣйствующія лица говорятъ каждое своимъ особымъ слогомъ, сообразно ихъ свойствамъ и характеру: Чацкій выражается ѣдко, зло, его рѣчь полна блестящихъ афоризмовъ и выражений, которыя невольно запоминаются, напримѣръ: «самъ толстѣ, его артисты тощи», «вамъ первымъ — вы потомъ рассказываете всюду», «кричали женщины «ура» и въ воздухъ чепчики бросали», «хвостъ сзади, спереди какой-то чудный выемъ»... Фамусовъ говоритъ легко, свободно, не стѣсняясь выраженіями, какъ человѣкъ привыкшій, чтобы ему внимали и относились къ его словамъ не только съ уваженіемъ, но и страхомъ; онъ позволяетъ себѣ нѣкоторую вольность жаргона какъ съ низшими себя (напр., съ дочерью, Молчалинымъ и Чацкимъ), такъ и съ равными ему (напр., съ Хлестовой), но умѣетъ совершенно измѣнить тонъ рѣчи, когда говоритъ съ человѣкомъ, нужнымъ ему (напр., съ Скалозубомъ). Тутъ онъ прискиваетъ выраженія помягче, прибѣгаетъ къ уменьшительнымъ и ласкательнымъ именамъ. («Какъ станешь представлять къ крестикъ или мѣстечку, ну какъ не порадытъ родному человѣчку».) Скалозубъ отличается категоричностью и краткостью выраженій; онъ, что называется, рубить («За третье августа; засѣли мы въ траншею; ему данъ съ бантомъ, мнѣ — на шею»). Самый выборъ словъ у него особенный, отдающій тою школою, которую онъ прошелъ: «перебить», «дистанція», «шеренга», «выпушка», «фальшивая тревога», «пикнуть» и др. Молчалинъ говоритъ тоже кратко, немногосложно, но уже иначе. Онъ «уснащаетъ свою рѣчь словцомъ съ («я-съ», «съ бумагами-съ»), когда обращается къ людямъ, стоящимъ выше его, выбираетъ мягкія и пріятныя слова и выраженія, готовъ кстати и некстати извиниться («я васъ перепугалъ! Простите, ради Бога!»), но въ бесѣдахъ съ Лизой языкъ у него развязывается, и слышатся такія выраженія, какъ: личико, люблю, ангельчикъ, краля, проволочить время и др.).

Даже настроеніе дѣйствующихъ лицъ выражается въ «Горѣ отъ ума» и особеннымъ употребленіемъ словъ и построеніемъ предложений. Волнуясь отъ неожиданной встрѣчи съ отцомъ и наскоро выдумывая свой никогда не снившійся ей, сонъ, Софья путается, сбивается, сообразно чему рѣчь ея дѣлается отрывистой, состоитъ изъ короткихъ неполныхъ предложений: «Позвольте... видите-ль... сначала цвѣтистый лугъ, и я искала траву какую-то... не вешомню на яву» и т. д. (I, 10).

Кромѣ того встрѣчаемъ фигуры:

1) Восклицанія: «Смятенье! обморокъ! поспѣшность! гнѣвъ! испуга»!. (II, 43);

2) Вопросы, которое усиливаетъ значеніе нашихъ словъ: «Гдѣ, укажите намъ, отцы отечества, которыхъ мы должны принять за образцы? (II, 38); «я въ комъ искалъ награду всѣхъ трудовъ? (IV, 106);

3) Умолчанія: «А гильоме... Здѣсь нынче тонъ каковъ?» (I д., 20); «рѣшишь, а мы!.. у насъ... рѣшительные люди» (IV, 91);



4) Эллипсисъ: «вчера просилась спать — отказъ (1, 2 стр.); «ну кто придетъ, — куда мы съ вами»? (ibid, 4) и др.

*Брайловскій.*

### **Жизнь и личность Грибоѣдова по его перепискѣ.**

Къ истекшему 30-го января пятидесятилѣтію со дня смерти Грибоѣдова его характерная личность уже значительно выяснилась у насъ сравнительно съ порою первыхъ біографическихъ воспоминаній о немъ Булгарина, Кс. Полевого и въ «Энциклопедическомъ словарѣ» Плюшара. Рукописныя данныя, полученныя покойнымъ Смирновымъ отъ ближайшихъ къ Грибоѣдову лицъ, начиная съ его лучшаго друга (Ст. Ник. Бѣгичева (въ томъ числѣ и біографическія замѣтки послѣдняго), дали возможность сперва самому Смирнову, а потомъ Алексѣю Николаевичу Веселовскому поставить изученіе Грибоѣдова на новую и твердую почву. Къ сожалѣнію, многое изъ этого богатаго рукописнаго запаса до сихъ поръ еще, по разнымъ соображеніямъ, не можетъ быть напечатано и будетъ, вѣроятно, храниться въ библіотекѣ московскаго общества любителей россійской словесности до истеченія всякаго рода «давностей». Предметомъ особеннаго вниманія стала у насъ, наконецъ, и дипломатическая дѣятельность Грибоѣдова въ связи съ его страшною смертью, такъ долго остававшаяся загадкою. Но при всѣхъ успѣхахъ въ изученіи этого столь рано погибшаго и столь уже много сдѣлавшаго на разныхъ поприщахъ человѣка, дѣло не можетъ считаться законченнымъ хотя бы и впредь до истеченія «давностей». И напечатанный уже матеріалъ долженъ быть провѣренъ и пересмотрѣнъ, независимо отъ какого-либо предвзятаго взгляда. Надо дать выступить въ изложеніи жизни великаго писателя и государственнаго мужа всякой чертѣ, обнаруживаемой его перепиской или достовѣрными воспоминаніями о немъ. Ничего не должно быть утаено или произвольно перетолковано. Это, конечно, должно бы стать правиломъ и для всякаго жизнеописанія, правиломъ, пересиливающимъ суетное опасеніе, какъ бы прѣ этомъ не пострадалъ герой. Но по отношенію къ Грибоѣдову, кажется мнѣ, такое опасеніе даже совершенно излишне. Чѣмъ болѣе будетъ выясняться его настоящій образъ даже со всѣми его человѣческими недостатками, съ постояннымъ отсутствіемъ у него «лада между умомъ и сердцемъ» (по выраженію Чацкаго), тѣмъ сочувственнѣе, величественнѣе и даже цѣннѣе представляется намъ авторъ и, такъ сказать, исповѣдникъ «Горя отъ ума».

Долго оставалось у насъ не вполне опредѣленнымъ самое время рожденія Грибоѣдова. Теперь уже можно считать положительную цифру 4 января 1795 г. Грибоѣдовъ, стало-быть, родился подъ самый конецъ блестящаго вѣка Екатерины II, и свою не совсѣмъ-то сочувственную его характеристику устами Чацкаго не могъ, разумѣется, основать на непосредственныхъ наблюденіяхъ. Среда, въ которой выросъ Грибо-

ѣдовъ, талантливо обрисована А. Н. Веселовскимъ, особенно налегающимъ на соотвѣтствіе отношеній Грибоѣдова къ этой средѣ съ отношеніями къ московскому обществу Чацкаго. У насъ въ послѣднее время, быть можетъ, стали вообще приписывать «средѣ» даже слишкомъ много; но г. Веселовскій едва ли особенно погрѣшилъ въ этомъ отношеніи. Не даромъ у самого Грибоѣдова въ одномъ изъ писемъ къ близкому человѣку (А. И. Одоевскому) вырвались такія слова: «чтобы быть художникомъ, надо родиться безроднымъ». Но я не стану особенно налегать на то, что уже достаточно выяснено другими — ни на отсутствіе какого-либо воспитательнаго значенія со стороны отца Грибоѣдова ни на преобладающее значеніе въ семействѣ его матери, руководившей совѣтами своего брата, который послужилъ, полагаятъ, образцомъ для Фамусова. При всемъ томъ Грибоѣдовъ получилъ воспитаніе не только блестящее, но и основательное. Завершилось оно посѣщеніемъ лекцій въ московскомъ университетѣ. Хотя молодой Грибоѣдовъ и ходилъ туда постоянно въ сопровожденіи гувернера отъ неизбѣжныхъ «иностранныхъ» людей, но выборъ ментора оказался для него удачнымъ, и онъ не могъ помянуть лихомъ ни Петрозиліуса ни особенно Иона (и впоследствии сохранившаго самыя задушевные отношенія къ своему питомцу). Воспитаніе, полученное Грибоѣдовымъ, несомнѣнно соединялось съ видами семьи на блистательную карьеру. Если во времена Простаковой достаточно было, чтобы выйти въ люди, пройти курсъ наукъ у Цыфиркина и Кутейкина съ Вральманомъ, то въ первой четверти нашего вѣка требовалось гораздо болѣе; мать же Грибоѣдова несомнѣнно была женщина умная и даже образованная, конечно, на великосвѣтскій ладъ. Умственное развитіе въ глазахъ ея было очень хорошимъ средствомъ для достиженія другихъ, высшихъ цѣлей, но она никогда не могла примириться съ тѣмъ, чтобы сынъ ея посвятилъ себя исключительно и всецѣло писательству. Оно въ этомъ смыслѣ представлялось ей, какъ географія Простаковой, не совсѣмъ-то дворянскимъ дѣломъ. Между тѣмъ характеръ преподаванія въ московскомъ университетѣ былъ способенъ особенно развивать въ слушателяхъ литературное направленіе. Замѣчательно, что, при господствѣ на московской литературной кафедрѣ псевдоклассической школы, Грибоѣдовъ остался почти совершенно свободнымъ отъ ея вліянія. Въ немъ какъ-будто бы оказывалась уже съ юношескихъ лѣтъ особенная сила отпора всякимъ вліяніямъ, рано его приведшая къ полной самостоятельности и своеобразію. По отношенію къ литературному классицизму замѣтимъ, что извѣстная въ то время псевдоклассическая трагедія Озерова «Дмитрій Донской», производившая, какъ извѣстно, фуроръ — который можно назвать псевдо-патріотическимъ — вызвала со стороны студента Грибоѣдова пародію, подъ заглавіемъ «Дмитрій Дрянской». Не менѣе критически отнесся позже молодой Грибоѣдовъ и къ тому направленію, которое смѣнило у насъ въ то время псевдо-классицизмъ — къ направленію сентиментальному. Представителемъ его является Беневоленскій — главное лицо комедіи «Студентъ», написанной Грибо-

ѣдовымъ вмѣстѣ съ Катенинымъ, строгимъ классикомъ, съ которымъ впоследствии сблизился Грибоѣдовъ, несмотря на свою столь рано показавшуюся литературную самостоятельность. Но этому сближенію еще задолго предшествовало составленіе первоначальнаго плана «Горя отъ ума», относящееся еще къ студенческимъ годамъ Грибоѣдова, какъ это стало извѣстно по свидѣтельству одного изъ его товарищей. Этимъ свидѣтельствомъ, конечно, подкрѣпляется мнѣніе о связи между замысломъ знаменитой комедіи и тѣмъ, такъ сказать, семейнымъ воздухомъ, котораго авторъ ея особенно надышался въ свои молодые годы.

Между тѣмъ Грибоѣдовъ выходитъ изъ университета. Это было какъ разъ въ 1812 г. Семнадцатилѣтнему юношѣ хотѣлось принять участіе въ оборонѣ родины. Онъ поступаетъ въ формировавшійся тогда вольный гусарскій полкъ гр. Салтыкова. Но формировка полка идетъ вяло, а послѣ неожиданно приключившейся смерти Салтыкова полкъ распускается. Между тѣмъ непріятель уже бѣжитъ изъ Россіи, и юношѣ Грибоѣдову, перешедшему въ другой полкъ, вмѣсто геройскихъ подвиговъ достается праздная стоянка въ Литвѣ. Разочарованный онъ погружается въ омутъ той развеселой жизни, которая была такъ своеобразно воспѣта Д. Давыдовымъ, и о которой Грибоѣдовъ вспоминалъ въ письмѣ къ Бѣгичеву отъ 4 сентября 1817 г.: «я въ этой дружинѣ (Иркутскомъ гусарскомъ полку) пробылъ четыре мѣсяца, а теперь четвертый годъ, какъ не могу попасть на путь истинный». Бѣгичевъ, самъ хватившій этой жизни, опомнился ранѣе Грибоѣдова и протянулъ руку помощи юному своему сослуживцу, вслѣдствіе этого и подружившемуся съ нимъ на всю жизнь. Но Грибоѣдову захотѣлось, если не оружіемъ, то, по крайней мѣрѣ, перомъ, заплатить свою патріотическую дань 12-му году, хотя онъ, повидимому, познакомился съ нимъ, по преимуществу, съ его закулисныхъ сторонъ. Въ черновой тетради Грибоѣдова сохранился планъ драмы изъ двѣнадцатаго года — безъ всякой помѣтки времени написанія. По всей вѣроятности планъ этотъ составилъ подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ событій, осадокъ которыхъ, отвѣданный Грибоѣдовымъ, не охладилъ въ немъ однако патріотическаго воодушевленія. Въ началѣ драмы, не лишенной драматической примѣси чудеснаго, должны были возникнуть передъ зрителями «тѣни давно усопшихъ исполиновъ» — Святослава, Владимира Мономаха, Іоанна, Петра и проч. «Онѣ должны были пророчествовать о «годинѣ зскупленія для Россіи, если не для современниковъ, то для потомковъ; сіи, повѣствуя сынамъ, возбуждать въ нихъ огонь неугасимый, рвеніе къ славѣ и свободѣ отечества» (sic).

Въ числѣ «усопшихъ исполиновъ» не оказывается Дмитрія Донскаго — можетъ быть подъ влияніемъ того фальшиваго воспроизведенія его у Озерова, на которое, какъ мы видѣли, Грибоѣдовъ отозвался пародіей. Далѣе въ оригинальномъ и, можно сказать, по-шекспировски разностороннемъ планѣ Грибоѣдовской драмы на сцену выводился Наполеонъ. Ему, любующемуся изъ Кремля на Москву, влагалось въ уста «размышленіе о юномъ первообразномъ семъ народѣ,

объ особенностяхъ его одежды, зданій, вѣры, нравовъ. Самъ себѣ преданный, чтобы онъ могъ произвести? Взглядъ этотъ, заключающій въ себѣ зародышъ не вполне одобрительныхъ отношеній къ самому выдающемуся изъ «усопшихъ исполиновъ», Петру, уже прямо свидѣтельствуешь о томъ, до какой степени было прочувствовано самимъ Грибоѣдовымъ, подѣ влияніемъ его хотя и лично уважаемыхъ имъ иностранныхъ менторовъ, ироническое выраженіе Чацкаго, что «намъ безъ нѣмцевъ нѣтъ спасенья». Непосредственнымъ представителемъ «юнаго, первообразнаго» народа, со всѣми его «особенностями» выводится въ Грибоѣдовскомъ планѣ ополченецъ М\*, совершающій подвиги, «остающійся» въ пренебреженіи у военачальниковъ, а по окончаніи войны отпускаемый во свояси, «съ отеческими наставленіями къ покорности и послушанію». Дѣло въ томъ, что онъ крестьянинъ. Такой примѣръ героя особенно замѣчателенъ: въ немъ уже ярко и рѣшительно сказывается отпоръ Грибоѣдова своей средѣ — той средѣ, которая оттолкнула его отъ себя, между прочимъ, и нулевымъ итогомъ Салтыковскаго ополченія. Досада на это обстоятельство — досада отчасти личная — едва ли не сказала и въ слѣдующихъ сжатыхъ, но желчныхъ словахъ Грибоѣдовскаго плана: «всеобщее ополченіе безъ дворянъ... Отличія, искательства, вся поэзія великихъ подвиговъ исчезаетъ...» Драма по плану кончается тѣмъ, что М\* возвращается подѣ палку господина, который хочетъ ему сбрить бороду (намекъ, надо думать, на наше европейничанье въ самомъ крѣпостничествѣ). Отчаяніе... Самоубійство...» Заключеніе плана выставляетъ Грибоѣдова прямымъ литературнымъ сподвижникомъ Новикова, Радищева, Н. И. Тургенева и др., но, конечно, не Карамзина. Что же касается взгляда на доли участія небритаго народа и бритыхъ классовъ въ отечественной войнѣ, то въ этомъ отношеніи Грибоѣдовъ какъ бы вторилъ самому Александру I, который подѣ конецъ 12-го года высказался въ добрый часъ откровенности такимъ образомъ: «О, мои бородачи, они гораздо лучше насъ!... Меня окружаютъ эгоисты, которые пренебрегаютъ добромъ и интересами государства, заботясь лишь о личныхъ выгодахъ и своемъ повышеніи».

Но плану Грибоѣдовской драмы трудно было осуществиться. Между тѣмъ какъ онъ оставался подѣ спудомъ въ черновой тетради Грибоѣдова, передѣ публикой будущій авторъ «Горя отъ ума» выступилъ прежде всего съ двумя статейками — «О кавалерійскихъ резервахъ» и «О праздникѣ въ честь генерала Кологривова». Этотъ послѣдній — начальникъ Грибоѣдова — былъ человекъ дѣйствительно хорошій и образованный, и похвала ему не могла быть лестью; все же, приводимое Грибоѣдовымъ въ пользу кавалерійскихъ резервовъ, отличается дѣльностью; болѣе едва ли можно сказать о первыхъ статьяхъ Грибоѣдова. Печатавъ ихъ въ «Вѣстникѣ Европы», авторъ какъ будто хотѣлъ этимъ показать, что онъ не исключительно только кутиль и повѣсничалъ. Но къ порѣ его литовской стоянки относится и начало его знакомства съ извѣстнымъ драматургомъ кн. Шаховскимъ. Оно,

конечно, содѣйствовало сильнѣйшему развитію въ Грибоѣдовѣ той страсти къ театру, которая въ немъ пробудилась такъ рано. Вскорѣ затѣмъ послѣдовалъ выходъ Грибоѣдова изъ военной службы и переселеніе его въ Петербургъ, гдѣ онъ, наконецъ, поступилъ (съ 1817 г.) на службу по министерству иностранныхъ дѣлъ. Ко времени его уже петербургской жизни относится рядъ переводныхъ и полупереводныхъ комедій, написанныхъ отчасти въ сообществѣ съ другими. Неблагоклонное отношеніе къ первому театральному опыту извѣстнаго романиста и драматурга Загоскина вызвало Грибоѣдова на желчную литературную месть въ видѣ довольно топорной сатиры «Лубочный театръ». Грибоѣдовъ въ то же время испытываетъ свои силы и на попрещъ критики — статью въ оборону своего друга Катенина, не представляющую, кромѣ раздраженнаго тона, ничего особеннаго. Соотвѣтственно такой совершенно ничтожной литературной дѣятельности, молодой театраль тратилъ время на различныя закулисныя и великосвѣтскія похождения. На Грибоѣдовѣ, такимъ образомъ, оправдывались стихи Пушкина:

Пока не требуетъ поэта  
Къ священной жертвѣ Аполлонъ,  
Въ заботахъ суетнаго свѣта  
Онъ малодушно погруженъ.

Но онъ былъ уже призываемъ къ «священной жертвѣ» и откликнулся на призывъ планомъ драмы изъ 1812 г. и первоначальнымъ замысломъ «Горя отъ ума». Только временнымъ, хотя и продолжительнымъ совращеніемъ его съ прямого пути были для Грибоѣдова тѣ годы, о которыхъ онъ писалъ Бѣгичеву (9 ноября 1816 г.): «я такой же, какой былъ и прежде, пасынокъ здраваго разсудка...» «Да пріѣзжай же скорѣй», писалъ онъ датѣе. «Неужели все заводчика корчишь? Передъ кѣмъ? У тебя нѣтъ матери, которой ты обязанъ казаться основательнымъ...» Надо сознаться однакоже, что мать Грибоѣдова имѣла право быть недовольною имъ въ это время. Къ сожалѣнію, требуя отъ него степенности, его родные соединяли съ этимъ и виды на скорѣйшіе успѣхи по службѣ. А Грибоѣдовъ, выражаясь словами Чацкаго, продолжалъ «ѣздить къ женщинамъ», но бѣгалъ отъ тѣхъ изъ нихъ, которыя могутъ доставить протекцію. Между тѣмъ его образъ жизни довелъ его, наконецъ, до той знаменитой дуэли изъ-за танцовщицы Истоминой, въ которой должны были выступить, съ одной стороны, Шереметевъ и Завадовскій, съ другой — Якубовичъ и будущій творецъ «Горя отъ ума». Вторая половина дуэли была отсрочена на неопредѣленное время вслѣдствіе того, что первая половина ея закончилась смертью Шереметева. Грибоѣдову послѣ этого оставалось только искать случая оставить Петербургъ. Этотъ случай представился: нашъ довѣренный въ Персіи, Мазаровичъ, предложилъ ему занять при себѣ мѣсто секретаря. Къ этому присоединились убѣжденія со стороны самого министра, которыя, разумѣется, льстили самолюбію род-

ныхъ Грибоѣдова. Молва объ его, стало быть, отмѣнныхъ способностяхъ очень кстати покрывала молву о бурныхъ его страстяхъ, — и Грибоѣдову оставалось только уступить призыву въ далекій служебный путь.

Между тѣмъ еще въ туманную пору своей петербургской жизни онъ успѣлъ поступить въ масонскую ложу «des amis réunis». Это сближало его съ людьми, которые должны были постепенно оказывать на него остепеняющее вліяніе. Оно выразилось, можетъ быть, и въ томъ, что отъ своихъ совершенно пустыхъ театральныхъ работокъ онъ по временамъ переходилъ къ обдумыванію «Горя отъ ума». Передъ отъѣздомъ его изъ Петербурга уже было написано нѣсколько сценъ. Но, по свидѣтельству Бѣгичева, роль Чацкаго, эта сердцевина драмы, была еще далеко не выяснена, а Репетилова еще и вовсе не было въ числѣ дѣйствующихъ лицъ; съ другой же стороны, было нѣсколько такихъ, которыя при дальнѣйшей обработкѣ оказались исключенными изъ комедіи.

Грибоѣдовъ рѣшился отправиться въ Персію, только скрѣпя сердце. Еще 15 апрѣля 1818 г. онъ писалъ Бѣгичеву: «посылаю тебѣ «Притворную невинность»... Объясню тебѣ непритворную мою печаль... Меня непременно хотятъ послать — куда бы ты думалъ? — въ Персію, и чтобъ жилъ тамъ... Третьяго дня, по приглашенію министра, былъ у него и объявилъ, что не рѣшусь иначе (и то не навѣрно), какъ если мнѣ будутъ два чина тотчасъ по назначеніи меня въ Тегеранъ. Онъ поморщился... «Вы въ уединеніи усовершенствуете ваши дарованія»... Нисколько, ваше сіятельство; музыканту и поэту нужны слушатели, читатели: ихъ нѣтъ въ Персіи... Всего забавнѣе, что я ему твердилъ о томъ, что съ роду не имѣлъ ни малѣйшихъ видовъ честолюбія, а между тѣмъ за два чина предлагалъ себя въ полное распоряженіе... Кажется, однако, что не согласятся на мои требованія». Эта надежда обманула его: согласились.

Плохимъ утѣшеніемъ для Грибоѣдова было то, что онъ, по крайней мѣрѣ, продалъ себя не дешево, и тѣмъ болѣе можетъ имъ быть довольна его родня. Уже изъ Новгорода писалъ онъ (30-го августа) Бѣгичеву: «Грусть моя не проходитъ, не уменьшается. Нынче мои именины. Благовѣрный князь, по имени котораго я названъ, здѣсь прославился... Ты помнишь, что онъ на возвратномъ пути изъ Азіи скончался; можетъ, и соименнаго ему секретаря посольства та же участь ожидаетъ». Такимъ образомъ недоброе предчувствіе напутствовало его еще при первомъ его отъѣздѣ въ Персію. Изъ Москвы, отъ 5-го сентября, Бѣгичевъ получилъ не менѣе замѣчательное письмо. «Ты жалуешься — писалъ Грибоѣдовъ — на домашнихъ своихъ казарменныхъ готтентотовъ; это участь умныхъ людей, мой милый, большую часть жизни своей проводить съ дураками, а какая ихъ бездна у насъ». Въ этомъ слышно опять подтвержденіе автобіографическаго значенія «Горя отъ ума». А вѣдь если бы не эта бездна дураковъ кругомъ, такой человѣкъ, какъ Грибоѣдовъ, не заплатилъ бы,

конечно, такой обильной дани всякаго рода «дурачествамъ» (употребляю выраженіе Чацкаго).

Настроеніе Грибоѣдова въ это время отразилось, какъ полагаютъ, въ стихахъ, найденныхъ въ его черновой тетради подъ заглавіемъ: «Прости, отечество».

Не наслажденъе жизни цѣль,  
Не утѣшенъе наша жизнь...

Насъ цѣль угрюмыхъ должностей  
Опутываетъ неразрывно.

Подъ именемъ «должностей» на прежнемъ языкѣ разумѣлись и вообще обязанности; въ данномъ случаѣ, вѣроятно, тяжелыя уступки семейнымъ требованіямъ...

Премудрость! вотъ урокъ ея:  
Чужихъ законовъ несть ярмо,  
Свободу схоронить въ могилу,  
Не вѣрить въ собственную силу,  
Отвагу, дружбу, честь, любовь...

Но должности, на которыя жалуется Грибоѣдовъ, отчасти облегчались для него тѣмъ, что онъ выполнялъ ихъ не только разсудочно, но и сердечно. Вотъ что писалъ онъ тому же своему другу 18-го сентября изъ Воронежа: «Мать и сестра такъ ко мнѣ привязались, что я бы былъ извергомъ, если бы не платилъ имъ такую же любовью... Нѣтъ, я не буду эгоистомъ; до сихъ поръ я былъ только сыномъ и братомъ по названію; возвратясь изъ Персіи, буду таковымъ на дѣлѣ; стану жить для моего семейства, перевезу ихъ съ собою въ Петербургъ. Въ Москвѣ все не по мнѣ—праздность, роскошь, не сопряженныя ни съ малѣйшимъ чувствомъ къ чему-нибудь хорошему... Помнятъ во мнѣ Сашу, милаго ребенка, который теперь выросъ, много повѣсничалъ, наконецъ становится къ чему-то годенъ... Можетъ со временемъ попасть въ статскіе совѣтники, а больше во мнѣ ничего видѣть не хотятъ... спроси у Жандра, какъ однажды за ужиномъ, матушка съ презрѣніемъ говорила о моихъ стихотворныхъ занятіяхъ и еще замѣтила во мнѣ зависть, свойственную мелкимъ писателямъ, оттого что я не восхищаюсь Кокошкинымъ и ему подобными. Я ей это отъ души прощаю, но впредь себѣ никогда не прощу, если позволю себѣ чѣмъ-нибудь ее огорчить...»

Уже изъ Тифлиса, отъ 21 января 1819 г., Грибоѣдовъ написалъ письмо къ редактору «Сына Отечества», вызванное корреспонденціей, только что прочитанной имъ въ «Русскомъ Инвалидѣ». «Пишутъ изъ Константинополя (въ русскую газету), будто бы въ Грузіи произошло возмущеніе, коего главнымъ виновникомъ почитаютъ одного богатаго татарскаго князя. Это меня и опечалило и разсмѣшило...» Почему, видно изъ дальнѣйшаго: «Англичанинъ въ Персіи прочтетъ ту же

новость, уже выписанную изъ русскихъ официальныхъ вѣдомостей... всякому предоставлено обсудить послѣдствія, которыя это за собою повлечь можетъ». Далѣе Грибоѣдовъ спрашиваетъ: «А гдѣ настоящій источникъ такихъ вымысловъ?... Какой-нибудь армянинъ, недовольный своимъ торгомъ въ Грузіи, пріѣзжаетъ въ Царьградъ и съ пасмурнымъ лицомъ говоритъ товарищу, что тамъ плохо дѣла идутъ. Пріятельское извѣстіе передается другому, который частный ропотъ толкуетъ общимъ цѣлому народу». Уже изъ этого видно, до какой степени Грибоѣдовъ принималъ къ сердцу интересы русской политики, при всемъ неохотномъ своемъ поступленіи въ «дипломатическій монастырь» (какъ называлъ онъ свою службу въ Персіи). Къ нему вполнѣ примѣнялась поговорка: «взявшись за гужъ, не говори, что не дюжъ». Добросовѣстное отношеніе къ дѣлу побудило его выучиться по-персидски и по-арабски. При этомъ онъ заботился о всестороннемъ ознакомленіи съ Персіей. «Скудость познаній объ этомъ краѣ, — читаемъ мы въ его путевыхъ запискахъ, — бѣситъ меня на каждомъ шагу. Но думалъ ли я, что поѣду на востокъ?» Первое впечатлѣніе было самое отталкивающее. «Рабы! восклицаетъ Грибоѣдовъ; — и по дѣломъ имъ!... У нихъ и историки панегиристы... Недавно одного областного начальника, не взирая на его 30-лѣтнюю службу, сѣдую голову и алкоранъ въ рукахъ, били по пятамъ — разумѣется, безъ суда... Въ Европѣ, которую моралисты вѣчно упрекаютъ порчею нравовъ, никто не льститъ такъ безстыдно...» Грибоѣдовъ отдыхалъ только за картинами природы. Вотъ что писалъ онъ о горѣ Араратѣ: «Кромѣ воспоминаній, которыя трепетомъ наполняютъ душу всякаго, кто благоговѣетъ передъ священными преданіями одинъ видъ этой древней горы поражаетъ неизъяснимымъ удивленіемъ...» Отдавая справедливость и нѣкоторымъ патриархальнымъ сторонамъ восточныхъ нравовъ, Грибоѣдовъ замѣчаетъ при этомъ: «Я перенесся за двѣсти лѣтъ назадъ на нашу родину. Хозяинъ представился мнѣ въ видѣ добродушнаго москвитянина, угощающаго пріѣзжихъ изъ нѣмцевъ, фарраши-домочадцами, самъ я — Олеарій». Гораздо болѣе причудливое сравненіе встрѣчается въ его письмѣ изъ Тавриса П. А. Катенину (въ февралѣ 1820 г.). Рѣчь идетъ про шаха: «не по длинной бородѣ, а впрочемъ, во всемъ точь-въ-точь Ломоносова Государыня Елизаветъ, дочь Петрова... Что за люди вокругъ него, что за нравы!» Тяжесть впечатлѣнія вызвала въ его путевыхъ замѣткахъ слѣдующія строки: «Судьба, цужда, необходимость можетъ меня со временемъ преобразить въ исправники, въ таможенные смотрители; она рукою желѣзною закинула меня сюда и гонитъ далѣе, но по доброй волѣ, изъ одного любопытства, никогда бы я не разстался съ домашними пенатами, чтобы блуждать въ варварской странѣ въ самое злое время года...»

Нравственнымъ отдыхомъ служатъ ему поѣздки его по временамъ въ Тифлисъ, гдѣ онъ отводитъ себѣ душу въ бесѣдахъ съ Ермоловымъ, о которомъ мы читаемъ въ его письмѣ къ Катенину: «Нашелъ его, какъ прежде, необыкновенно умнымъ, хотя не



дружелюбнымъ. Онъ воюетъ, мы миръ блюдемъ... Если, однако, вездѣ такъ мудро учреждены посольства... какъ наше здѣсь, то полки опаснѣе, чѣмъ умы дипломатовъ»... Замѣчательна и эта откровенность нашего дипломата по неволѣ, стоявшаго многихъ и очень многихъ дипломатовъ по ремеслу. Въ путевыхъ запискахъ Грибоѣдова мы читаемъ про того же Ермолова: «Что это за славный человѣкъ! Мало того, что уменъ — нынче всѣ умны, — но совершенно по-русски — на все годенъ, не на одни великія дѣла, не на одні мелочи... Много говоритъ, однако позволяетъ говорить и другимъ. По законамъ я не оправдываю нныхъ его самовольныхъ поступковъ, но помню, что онъ въ Азіи — здѣсь ребенокъ хватается за ножъ. А, право, добръ... или я уже совсѣмъ сдѣлался панегпристомъ, а, кажется, меня въ этомъ нельзя упрекнуть»...

Въ объясненіе суровости политическихъ мѣръ Ермолова (къ которымъ, отмѣтимъ это себѣ, Грибоѣдовъ вообще относится недоброжелательно) говорится тутъ далѣе вотъ что: «На базары прежде Ермолова выводили на продажу захваченныхъ людей, — нынче самихъ продавцовъ вѣшаютъ».

Что касается личныхъ отношеній Ермолова къ Грибоѣдову, то вначалѣ грозный кавказскій главнокомандующій не на шутку посердился на секретаря персидскаго посольства за дуэль его съ Якубовичемъ, происшедшую, наконецъ, при проѣздѣ его черезъ Тифлисъ, по старому петербургскому обязательству. Но Ермоловъ былъ вслѣдъ затѣмъ пораженъ тѣмъ умѣньемъ и смѣlostью, съ какими этотъ же самый дуэлистъ добился въ Персіи возвращенія изъ плѣна нашихъ солдатъ, а отчасти и другихъ русскихъ подданныхъ. Въ путевыхъ запискахъ Грибоѣдова мы читаемъ слѣдующія строки, поражающія скромною сжатостію: «Хлопоты за плѣнныхъ. Бѣшенство и печаль. Голову мою положу за несчастныхъ моихъ соотечественниковъ». Грибоѣдовъ какъ бы предсказалъ тутъ то, что дѣйствительно случилось впоследствии. Но на этотъ разъ дѣло кончилось благополучно. У Грибоѣдова записанъ разговоръ его по этому поводу съ наслѣдникомъ персидскаго престола Аббасъ Мирзой, изъ котораго приведу слѣдующее:

Аб. М. Видите ли этотъ водоемъ? Онъ полонъ, и ущербъ ему не великъ, если разольютъ изъ него нѣсколько капель. Такъ и мои русскіе для Россіи.

Гр. Но если бы эти капли могли желать возвратиться въ бассейнъ, зачѣмъ имъ мѣшать?

Аб. М. Я не мѣшаю русскимъ возвратиться въ отечество.

Гр. Я это очень вижу, между тѣмъ ихъ запираютъ, мучать, до насъ не пускаютъ.

Настойчивый секретарь посольства достигъ своей цѣли и, самъ ставъ во главѣ колонны плѣнниковъ и бѣглецовъ, велъ ее по Персіи до русской границы. Сюда относятся опять лаконическія строки въ его путевыхъ запискахъ:

«Днюемъ въ Марандѣ... Отправляемся... Пѣсни: «Какъ за рѣченькой слободушка»; «Во полѣ дороженька»... Воспоминанія. Невольныя слезы накатились на глаза».

Ермоловъ былъ въ восторгѣ. Вотъ что писалъ онъ по этому поводу Мазаровичу 11 ноября 1819 года: «Пріятно мнѣ замѣтить попеченіе Грибоѣдова о возвратившихся солдатахъ и не могу отказать ему справедливой похвалы въ исполненіи возложеннаго Вами на него порученія, гдѣ благороднымъ поведеніемъ своимъ вызвалъ благоволеніе Аббасъ Мирзы и даже грубости, въ которыхъ не менѣе благородно остановилъ его, давъ ему уразумѣть достоинство русскаго чиновника».

Ермоловъ не ограничился этимъ. Онъ хлопоталъ въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ о наградѣ Грибоѣдову за его подвигъ, но получилъ въ отвѣтъ, что дипломатическому чиновнику не слѣдовало поступать такимъ образомъ... Сохранилось письмо Ермолова къ самому Грибоѣдову, писанное значительно позже (29 сентября 1820 года) и указывающее на тѣ же самыя отношенія его къ бывшему дуэлисту-водевиллисту.

«Во всѣхъ дѣйствіяхъ вашихъ относительно Персіи должны мы быть руководимы прямою и твердостью... Вижу изъ бумагъ, что поступки ваши въ отсутствіи повѣреннаго въ дѣлахъ во всемъ благоразумно согласованы съ сими правилами и мнѣ остается только принести вамъ справедливую похвалу».

Въ свободное время Грибоѣдовъ въ своемъ дипломатическомъ монастырѣ занимается весьма разнообразнымъ чтеніемъ. Тутъ же принимается онъ и за свое, столь давно задуманное, поэтическое «Горе». Вотъ что писалъ онъ 1 октября 1822 года Кюхельбекеру изъ Тифлиса: «Теперь въ поэтическихъ моихъ занятіяхъ довѣряюсь однѣмъ стѣнамъ. Имъ кое-что читаю изрѣдка свое или чужое; а людямъ — ничего: никому». Письмо залежалось до января 1823 года. Продолжая его послѣ этого долгаго перерыва, Грибоѣдовъ сообщаетъ о смерти двухъ близкихъ къ нему лицъ и ожидаемой холерѣ и впадаетъ при этомъ въ самый печальный тонъ. «Трезвые умы обвиняютъ меня въ малодушіи, какъ-будто я самъ боюсь въ землю лечь; другихъ жаль сторично пуще себя. Ахъ, эти избалованныя дѣти тучности и пищеваренія, которыя заботятся только о разогрѣтыхъ кастрюлькахъ etc., etc. Переселилъ бы я ихъ въ сокровенность моей души: для нея нѣтъ ничего чужого — страдаетъ болѣзнью ближняго, кипитъ при слухѣ о чьемъ-нибудь бѣдствіи — чтобы разъ потрясло ихъ сильно, не отъ однихъ только собственныхъ золъ»...

Мало утѣшаетъ его при этомъ и полученный имъ, наконецъ, долговременный отпускъ на родину. Вотъ что пишетъ онъ о своихъ сборахъ въ дорогу въ томъ же письмѣ: «приносили шубы на выборъ... тяжеляя... вотъ первый кусокъ желающимъ въ Россію: надобно непременно растерзать звѣря и окутаться его кожею, чтобы потомъ роскошно черпать отечественный студеный воздухъ».

Отпуску Грибоѣдова предшествовалъ, приблизительно, за годъ, переходъ его на службу къ Ермолову (по личному ходатайству послѣдняго), въ качествѣ секретаря по дипломатической части. Жизнь на Кавказѣ и при этомъ начальникъ была, разумѣется, гораздо пріятнѣе жизни въ Персіи, и Грибоѣдовъ могъ, по крайней мѣрѣ, сравнительно благословлять судьбу. Въ Тифлисѣ онъ окончилъ два первыхъ дѣйствія «Горя отъ ума» и повезъ ихъ съ собою на родину. Чтеніе ихъ Бѣгичеву вызвало такія важныя замѣчанія со стороны послѣдняго, что Грибоѣдовъ вслѣдъ затѣмъ сжегъ весь первый актъ, но черезъ недѣлю возстановилъ его въ новомъ видѣ. Пребываніе въ Москвѣ доставило Грибоѣдову новыя данныя для двухъ послѣднихъ актовъ. Грибоѣдовъ, какъ и Чацкій, имѣлъ много основаній быть недовольнымъ Москвой и даже вообще родиной — недовольнымъ даже безъ всякой примѣси личныхъ соображеній. При умномъ Ермоловѣ на Кавказѣ жилось, конечно, вольнѣе, чѣмъ въ обѣихъ столицахъ во время процвѣтанія Магницкихъ и Аракчеевыхъ. Понятно, если Грибоѣдовъ, по свидѣтельству Бѣгичева, «сочувствовалъ желанію нѣкоторыхъ перемѣнъ», но его отталкивало то заурадное ихъ проповѣданіе пошленькими и пустенькими людьми, которое онъ и осмѣялъ въ своемъ Репетилловѣ, противопоставивъ его представителю дѣльной стороны тогдашняго общественнаго движенія — Чацкому.

Набравшись въ Москвѣ свѣжихъ впечатлѣній, Грибоѣдовъ для окончанія своей комедіи отправился въ іюнь 1824 года въ деревню Бѣгичева и выѣхалъ оттуда въ Петербургъ уже съ готовою рукописью «Горя отъ ума». Первоначально Грибоѣдовъ не думалъ о постановкѣ своей комедіи на сцену. Но мысль эта пришла ему вскорѣ въ голову, подъ вліяніемъ лицъ, слушавшихъ ее въ чтеніи и отнесшихся къ ней съ восторгомъ. Страстно и упорно увлекаясь всякими принятыми рѣшеніями, Грибоѣдовъ сталъ хлопотать въ Петербургѣ о позволеніи поставить «Горе отъ ума» на сцену. Но это не удалось ему, какъ и напечатаніе комедіи въ полномъ видѣ. Только нѣкоторыя части ея появились въ альманахѣ Булгарина на 1825 годъ «Русская Талія». Подозрѣваютъ, что постановкѣ комедіи сильно помѣшало столкновеніе Грибоѣдова съ с.-петербургскимъ генералъ-губернаторомъ въ такомъ чисто личномъ дѣлѣ, какъ ухаживанье за артисткой Телешовой. Какъ бы то ни было, даже на сценѣ театральнаго училища могла состояться только, подъ руководствомъ самого Грибоѣдова, репетиція комедіи, самое же представленіе и тутъ было запрещено.

Между тѣмъ заботы о постановкѣ на сцену комедіи, по собственному сознанію Грибоѣдова, повредили ей. Вотъ что читаемъ мы въ одномъ изъ его черновыхъ набросковъ: «Первое начертаніе этой сценической поэмы, какъ оно родилось во мнѣ, было гораздо великолѣпнѣе и высшаго значенія, чѣмъ теперь, въ суетномъ нарядѣ, въ который я принужденъ былъ облечь его. Ребяческое желаніе

слышать стихи мои въ театрѣ, желаніе имъ успѣха, заставили меня портить мое созданіе, сколько можно было». Стоитъ обратить особенное вниманіе на эти слова. Если же принять въ соображеніе, что Грибоѣдову, съ другой стороны, пришлось, какъ онъ выражается, «портить» свою комедію и ради тогдашнихъ условій нашей печати, то мы должны будемъ заключить, что мы имѣемъ передъ собою не полное выраженіе творческихъ замысловъ Грибоѣдова. Но забота о постановкѣ на сцену — нельзя же, однако, не возразить самому Грибоѣдову — далеко не такая суетная забота со стороны драматическаго писателя, какимъ несомнѣнно былъ Грибоѣдовъ, и удовольствіе, испытанное имъ уже въ 1827 году на Кавказѣ при исполненіи его комедіи военными людьми на любительской сценѣ, было, конечно, самое законное удовольствіе. А сколько поколѣній зрителей восхищалось и будетъ еще восхищаться комедіей Грибоѣдова, хотя бы удавалось видѣть ее, много разъ и даже въ плохомъ исполненіи. Самому Грибоѣдову пришлось, наконецъ, совершенно отказаться отъ своей любимой мечты — видѣть свою комедію, допущенную на сцену. Зато его мучили просьбами читать ее вслухъ въ различныхъ домахъ. Къ этому времени относится характерный анекдотъ, сообщенный въ запискахъ П. А. Каратыгина. Когда на обѣдѣ у Хмѣльницкаго одинъ весьма заурядный драматургъ, взявъ рукопись Грибоѣдова и покачавъ ее на рукѣ, сказалъ: «ого, какая полновѣсная; это стоитъ моей «Лизы», Грибоѣдовъ, посмотрѣвъ на него изъ-подъ очковъ, отвѣчалъ: «я пошлостей не пишу», и до тѣхъ поръ не согласился читать, пока несчастный авторъ «Лизы» не удалился. Между тѣмъ тотъ же Грибоѣдовъ, по свидѣтельству П. А. Каратыгина (тогда еще совершенно молодого актера), на замѣчаніе его о счастливой разносторонности его способностей, отвѣчалъ: «повѣрь мнѣ, Петруша, у кого много талантовъ, у того нѣтъ ни одного настоящаго». Каратыгинъ по этому поводу замѣчаетъ: «онъ былъ скромень и снисходителенъ въ кругу друзей, но сильно вспыльчивъ, заносчивъ и раздражителенъ, когда встрѣчалъ людей не по душѣ. Способность ожесточаться до такой степени объясняется тогдашними письмами Грибоѣдова. Семнадцатаго октября 1824 года онъ писалъ Катенину: «у Шаховскаго бываю, оттого, что всѣ другіе его ругаютъ; это въ моихъ глазахъ придаетъ ему нѣкоторое достоинство... Всѣ мы здѣсь ужаснѣйшая дрянь. Боже мой! Когда вырвусь изъ этого мертваго города? Знай, однако, что я здѣсь на перепутьѣ въ чужіе края»... Еще замѣчательнѣе письмо къ Бѣгичеву отъ 4 января 1825 года. «Нынче день моего рожденья. Что же я? На полпути моей жизни, скоро я буду старъ и глупъ, какъ всѣ мои благородные современники. Вчера я обѣдалъ со всею сволочью здѣшнихъ литераторовъ. Не могу пожаловаться — отовсюду колѣнопреклоненіе и оиміамъ, но вмѣстѣ съ этимъ сытость отъ ихъ дурачествъ, ихъ сплетенъ, ихъ мишурныхъ талантовъ и мелкихъ ихъ душишекъ. Не отчаивайся... я еще не совѣмъ погрязъ въ этомъ трясиномъ

государствѣ. Скоро отправляюсь — и надолго. Ты меня зовешь въ деревню. Коли не теперъ, не нынѣшнимъ лѣтомъ, такъ вѣрно со временемъ у тебя поищу приобѣжища... отъ пустоты душевной. Какой мѣръ! Кѣмъ населенъ! И такая дурацкая его исторія!..» Слова эти, повидимому, относятся къ тому кругу, въ которомъ пришлось съ молодости вращаться Грибоѣдову и который въ особенномъ смыслѣ фигурировалъ въ нашъ петербургскій періодъ всякаго рода Максимъ Петровичами — между прочимъ и изъ литераторовъ, т. е. представителями «безжалостнаго стучанія объ полъ лбомъ».

Грибоѣдову, какъ мы видимъ, предстояло путешествіе, для лѣченія, за границу. Оно не состоялось. Въ томъ же письмѣ къ Вѣгичеву онъ говоритъ: «любовь во второй разъ, вмѣсто чужихъ краевъ, опредѣлила мнѣ киснуть между своими финнами. Въ 15-хъ и 16-хъ гг. точно то же было». Тутъ, вѣроятно, заключается намекъ на его тогдашнее увлеченіе Телешовой, которымъ смѣнилось прежнее, отчасти роковое, увлеченіе Истоминой. Общее раздраженіе противъ «финновъ» доводило Грибоѣдова и до разрыва съ людьми, съ которыми онъ вообще былъ хорошъ да и потомъ опять сблизжался. Къ числу ихъ принадлежалъ, какъ извѣстно, и Булгаринъ, котораго литературная репутація получила особенно неблагоприятный оборотъ уже послѣ смерти Грибоѣдова. Но Булгаринъ разъ какъ-то пересолилъ въ своихъ печатныхъ похвалахъ Грибоѣдову, и слѣдствіемъ этого было письмо, полученное имъ отъ автора «Горя отъ ума» и сохранившееся въ бумагахъ Булгарина съ помѣткой: «Грибоѣдовъ въ минуту сумасшествія». Въ немъ мы, между прочимъ, читаемъ: «Съ перваго дня нашего знакомства вы мнѣ оказали столько ласковостей... но, несмотря на все это, не могу долѣе продолжать нашего знакомства... Правила благопристойности и собственное къ себѣ уваженіе не дозволяютъ мнѣ быть предметомъ похвалы незаслуженной... Какъ авторъ, я ничего еще не произвелъ истинно изящнаго... боюсь поймать себя на какой-нибудь низости, не выкланиваю ли я еще горсточку ладаана. Разстанемтесь... Мы другъ друга болѣе не знаемъ»...

Невольно вспоминаются слова Чацкаго: «и похвалы мнѣ ваши досаждаютъ». Но Грибоѣдову пришлось встрѣтить не однѣ похвалы своей комедіи. Представители старой литературной школы, свивавшіе себѣ тогда гнѣздо въ «Вѣстникѣ Европы», отнеслись къ ней весьма несочувственно. Къ этому времени, можетъ быть, относятся раздраженные стихи Грибоѣдова:

И сочиняютъ — врутъ, и переводятъ — врутъ!  
Почто же врете вы, о, дѣти! Дѣтямъ пруть!  
Шалите риомами, нанизывайте стопы.  
Ужъ такъ и быть, но вы ругаться удалцы...

Но живые оригиналы Загорѣцкаго заходили, надо думать, насчетъ Грибоѣдова далѣе собственно литературныхъ сплетенъ. На это, повидимому, намекается въ письмѣ къ Вѣгичеву отъ 18 мая 1825 г.

«Ты съ жаромъ вступился за меня, любезный мой... какъ же ты могъ думать, что я допущу тебя до личной и публичной схватки... Вспомни, что я себя совершенно поработилъ нравственному твоему превосходству... Коли я талантомъ и чѣмъ-нибудь сдѣлался извѣстенъ свѣту, то и это глубокое, благочестивое чувство къ тебѣ перелью въ моего почитателя... Итакъ, плюнь... Въ одномъ только случаѣ возмись за перо въ мою защиту, если я умру въ отдаленіи или умру прежде тебя, и кто-нибудь, мой ненавистникъ, вадумаеть чернить мою душу и поступки!»

Вмѣсто путешествія за границу Грибоѣдовъ изъ Петербурга отправился на лѣто 1825 г. въ Крымъ. Слѣдъ его пребыванія тамъ сохранился въ видѣ краткаго дневника, въ его черновой тетради. Въ этихъ бѣглыхъ замѣткахъ, часто представляющихся не болѣе какъ программой, сказывается широкая наблюдательность Грибоѣдова. «Лѣнь и бѣдность татаръ, замѣчаетъ онъ, напримѣръ. Нѣтъ народа, который бы такъ легко завоевывалъ и такъ плохо умѣлъ пользоваться завоеваньями, какъ рускіе». Въ Херсонесѣ набросаны имъ слѣдующія строки: «не здѣсь ли Владимиръ построилъ церковь? Можетъ, великій князь стоялъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ я теперь». Наблюденія въ Кіевѣ и Крыму, относящіяся къ русской исторіи, по свидѣтельству Завалишина, были дѣланы Грибоѣдовымъ по просьбѣ извѣстнаго знатока нашей древности П. А. Муханова. Они вносились въ тетрадь такъ называемыхъ *desiderata*. Любопытны тутъ замѣтки, въ которыхъ болѣе или менѣе ясно скользигъ взглядъ Грибоѣдова на Петра Великаго.

«Патріархъ во всемъ облаченіи и бояре спрашиваютъ у народа, кого избрать на царство. И стольники, и стряпчіе, и дьяки, и жильцы, и городовые дворяне, и дѣти боярскія, и гости, и гостинные, и черныхъ сотенъ, и пр. избирають Петра».

Тотъ же строго фактической характеръ сохраняется въ этихъ замѣткахъ и далѣе, но въ самомъ выборѣ фактовъ сказывается не тотъ склонъ мысли, который такъ долго господствовалъ у нашихъ историковъ. Вотъ образчики: «Тайная канцелярія... Введеніе рабства чрезъ подушную подать, чрезъ запрещеніе переходить крестьянамъ... Отмѣны формулы: «Государь указалъ, бояре приговорили»... «...Обличаютъ обвиненнаго царевича Алексѣя въ томъ, что онъ духовному отцу на исповѣди говорилъ». Мѣстами однако же прямо сказывается и собственное сужденіе Грибоѣдова. Напримѣръ: «Петръ вводитъ чужія новизны. Царевичъ Алексѣй могъ любить отечество и пользу народа и славу, и потому пустыхъ нѣмецкихъ нововведеній могъ не желать». Вѣренъ или не вѣренъ взглядъ Грибоѣдова, онъ во всякомъ случаѣ долженъ быть принятъ къ свѣдѣнію, такъ какъ имъ выясняется многое въ извѣстныхъ выходкахъ Чацкаго, о которыхъ такъ много толковали у насъ вкривь и вкось.

Грибоѣдову очень надоѣдали въ Крыму путешественники. Жалобы его на нихъ напоминають жалобы Байрона на назойливое

любопытство англичанъ, не дававшихъ ему покоя въ Швейцаріи. «Наѣхали путешественники, которые меня знаютъ по журналамъ, писалъ Грибоѣдовъ Бѣгичеву; сочинитель Фамусова и Скалозуба, слѣдовательно, веселый человѣкъ. Тыфу, злодѣйство! да мнѣ не весело, скучно, отвратительно, несносно!.. Чудесно всю жизнь свою прокатиться на 4 колесахъ; кровь волнуется, высокія мысли бродятъ и мчатъ далеко за обыкновенные предѣлы пошлыхъ опытовъ... Но остановки, отдыхъ для меня пагубны; задремлю, либо завьюсь чужимъ вихремъ, живу не въ себѣ, а въ тѣхъ людяхъ, которые поминутно со мною, часто же они дураки набитые. Подожду, авось придуть въ равновѣсіе мои замыслы безпредѣльные и ограниченныя способности... Не показывай никому этого лоскутка моего пачканья; я еще не перечелъ, по увѣренъ, что тутъ много сумасшествія».

То же мрачное настроеніе сказывалось у Грибоѣдова и по возвращеніи на Кавказъ. Вотъ что писалъ онъ оттуда 7-го декабря тому же другу своему Бѣгичеву:

«Чтобы дальше не ювничать, пускаюсь въ Чечню: Алексѣй Петровичъ (Ермоловъ) не хотѣлъ, но я самъ ему навязался... Теперь это меня нѣсколько занимаетъ: борьба горной и лѣсной свободы съ барабаннымъ просвѣщеніемъ... А на счетъ А. П. объявляю тебѣ, что онъ умнѣе и своеобразнѣе, чѣмъ когда-либо... окруженъ глупцами и не глупѣетъ... Давыдовъ здѣсь во многомъ поправилъ бы ошибки самого А. П. Эта краска рыцарства, какою судьба отгѣнила характеръ нашего пріятели, привязала бы къ нему кабардинцевъ. Я теперь лично знаю многихъ князей и узденей. Двухъ при мнѣ застрѣлили, другихъ заключили въ колодки, загнали сквозь строй; на одного я третьяго дня набрелъ, и вѣтеръ его медленно качаетъ. Но дѣйствовать страхомъ и щедротами можно только до времени; одно строжайшее правосудіе мирить покоренные народы съ знаменами побѣдителей».

Не трудно замѣтить въ этихъ словахъ уже далеко не безусловное одобреніе Грибоѣдовымъ своего начальника. Но замѣчательно, что тотъ самый Д. В. Давыдовъ, котораго за его рыцарство Грибоѣдовъ готовъ предпочесть Ермолову, впоследствии отнесся къ поэту очень не безпристрастно, именно по поводу отношеній его къ тому же Ермолову. Глубокая человѣчность, заставлявшая Грибоѣдова содрогаться сердцемъ за враговъ, качавшихся на верушкахъ деревьевъ, сказывается и въ прекрасномъ его стихотвореніи «Дѣлежь добычи» (иначе — «Хищники въ Чегемѣ»), напечатанномъ въ «Сѣверной Пчелѣ» 1826 г. Поэтъ говоритъ тутъ отъ имени героевъ, отстаивающихъ свою свободу:

Живы въ насъ отцовъ обряды,  
Кровь ихъ буйная жива;  
Та же въ небѣ синева,  
Тѣ же льдяныя громады,  
Тѣ же съ ревомъ водопады,  
Та же дикость, красота  
По ущельямъ разлита.

Наши — камни, наши — кручи  
Русь! зачѣмъ воюешь ты?  
Вѣковыя высоты  
Досягнешь ли? Вонъ могучій  
Двувершинный дѣлится тучи,  
Рѣжется изъ облаковъ  
Надъ главой твоихъ полковъ.

Между тѣмъ къ Ермолову внезапно пріѣзжаетъ фельдъегерь съ приказаніемъ арестовать Грибоѣдова и выслать его въ Петербургъ. Ермоловъ даетъ Грибоѣдову истребить всѣ неудобныя для него бумаги, а затѣмъ исполняетъ форму, донося военному министру: «Грибоѣдовъ взять такъ, что не успѣлъ истребить своихъ бумагъ». По свидѣтельству Д. Завалишина, бывшаго товарищемъ Грибоѣдова по заключенію, въ поступкѣ Ермолова не было ничего особенно исключительнаго: «лица, поставленныя и выше Ермолова, замѣчаетъ онъ, дѣлали для другихъ то же самое». Къ тому же между бумагами Грибоѣдова могли быть вещи серіозныя только для крайне опасливаго взгляда того времени — какія-нибудь не напечатанныя стихотворенія, «не уступавшія, по свидѣтельству того же Завалишина, въ рѣзкости Пушкинскимъ пьесамъ извѣстнаго направленія». Совершенно спокойный за себя послѣ допущенной Ермоловымъ «дезинфекціи», Грибоѣдовъ какъ рассказываютъ, во все время слѣдованія своего въ Петербургъ съ курьеромъ просто держалъ этого послѣдняго въ рукахъ, точно будто бы они помѣнялись ролями. Проѣздомъ черезъ Москву онъ не рѣшился видѣться съ матерью, зная, что у нея наготовѣ цѣлый запасъ распеканій и укоризнъ. О четырехмѣсячномъ заключеніи Грибоѣдова въ главномъ штабѣ точныя свѣдѣнія сообщены въ недавнее время Завалишинымъ. Оказывается, что отвѣты на вопросные пункты написаны были Грибоѣдовымъ въ духѣ «знать не знаю, вѣдать не вѣдаю», по совѣту заключеннаго тогда вмѣстѣ съ нимъ полковника Любимова, котораго денежнымъ средствамъ и связямъ заключенные были обязаны и обращеніемъ съ ними ихъ надзирателя — до того снисходительнымъ, что онъ даже самъ водилъ ихъ въ близъ лежащую кондитерскую. Слухъ, будто бы Грибоѣдову помогъ, между прочимъ, его Репетиловъ, т.-е. осмѣяніе имъ либераловъ того времени, положительно опровергается Завалишинымъ; «слѣдственному комитету, замѣчаетъ онъ, очень хорошо было извѣстно, что именно-то самые серіозные члены общества и возставали сильнѣе всѣхъ противъ Репетилловыхъ». Завалишинъ опровергаетъ также и слухъ, будто и товарищи по участію въ тайныхъ обществахъ и высшія лица искали спасти Грибоѣдова, какъ геніальнаго писателя, какъ будущую надежду Россіи. «Для современниковъ молодости Грибоѣдова и Пушкина, говоритъ Завалишинъ, они были совсѣмъ иные люди, чѣмъ для слѣдующихъ поколѣній. Грибоѣдовъ для многихъ и очень многихъ все еще былъ человѣкъ, принесшій изъ военной жизни репутацію отчаяннаго, повѣсы, ...а изъ петербургской — славу отъявленнаго и счастливаго волокиты». Даже «Горе отъ ума», по свидѣтельству Завалишина, не было понято современниками въ настоящей его глубинѣ, какъ политическая комедія. Ею притомъ восхищались и люди вовсе не «либеральнаго» направленія — собственно потому, что видѣли въ ней не болѣе, какъ ловкое осмѣяніе лицъ, почему-либо имъ не милыхъ. Грибоѣдову, по мнѣнію Завалишина, помогло собственно то, что онъ былъ всегда остороженъ, вслѣдствіе



предостереженій, съ Репетиловыми, а затѣмъ благопріятному рѣшенію его дѣла содѣйствовало и заступничество Паскевича, женатаго на его близкой родственницѣ и уже получившаго въ то время большое значеніе. Наконецъ, по замѣчанію того же современника, къ счастью для Грибоѣдова, онъ уже не былъ въ Петербургѣ въ концѣ 1825 г.

Выпущенный на свободу въ іюнѣ 1826 г., Грибоѣдовъ затѣмъ прожилъ лѣто на дачѣ вмѣстѣ съ Ѳ. В. Булгаринимъ. Добрыя отношенія его къ послѣднему, по свидѣтельству Завалишина, нѣсколько удивили уже и современниковъ, и намеки на эти отношенія всегда задѣвали Грибоѣдова за живое. Я не рѣшаюсь оспаривать Завалишина въ томъ, что онъ не признаетъ вѣрнымъ мнѣнія, будто бы Булгаринъ «не считался тогда еще такимъ, какимъ его считали впоследствии». Позволю себѣ лишь замѣтить, что добрыя отношенія къ Булгарину сохранялъ до конца своей жизни и Рылѣевъ. Очень можетъ быть, разумѣется, что и онъ и Грибоѣдовъ отчасти стали при этомъ жертвой той ловкости, съ какою умѣютъ обходить благородныхъ, но самолюбивыхъ людей опытные «ловцы челоуѣковъ» (въ дурномъ смыслѣ этого выраженія). Мы видѣли, что у Грибоѣдова съ Булгаринимъ чуть было не произошла окончательная размолвка — вслѣдствіе, вѣроятно, того, что издатель «Русской Тали» заигралъ уже слишкомъ смѣло на струнѣ самолюбія Грибоѣдова (Завалишинъ не беретъся опредѣлить, къ какому именно времени относится это происшествіе). Умѣніе Булгарина оправдаться снова скрѣпило ихъ добрыя отношенія, въ объясненіе которыхъ можно, наконецъ, привести и то, что въ «Русской Тали» Булгарина, изданной въ 1825 г., не сочли неудобнымъ участвовать лучшіе драматическіе писатели того времени, еще же болѣе то, что самъ Булгаринъ не былъ устраненъ отъ участія въ «Полярной Звѣздѣ».

Тѣмъ же лѣтомъ 1826 г. Грибоѣдову гдѣ-то на островахъ пришлось заслушаться настоящихъ русскихъ простонародныхъ пѣсень. Онъ передалъ свои впечатлѣнія въ «Сѣверной Пчелѣ» (26-го іюля). «Родныя пѣсни! Куда занесены вы со священныхъ береговъ Днѣпра и Волги?... Прислонясь къ дереву, я съ голосистыхъ пѣвцовъ невольно свелъ глаза на самыхъ слушателей-наблюдателей, тотъ поврежденный классъ полуевропейцевъ, къ которому и я принадлежу... Ихъ сердцамъ эти звуки невнятны, эти наряды для нихъ странны. Какимъ чернымъ волшебствомъ сдѣлались мы чужіе между своими!.. Если бы какимъ-нибудь случаемъ сюда былъ занесенъ иностранецъ, который бы не зналъ русской исторіи за цѣлое столѣтіе, онъ, конечно бы, заключилъ изъ рѣзкой противоположности нравовъ, что у насъ господа и крестьяне происходятъ отъ двухъ различныхъ племенъ, которыя не успѣли еще перемѣшаться обычаями и нравами».

Слова эти должны быть сопоставлены съ замѣтками Грибоѣдова о Петрѣ Великомъ. Замѣтимъ, что явное стремленіе къ народности сказывалось и у многихъ изъ тѣхъ людей, съ которыми Грибоѣдовъ былъ близокъ, особенно же сильно у Рылѣева.

Съ оправданіемъ Грибоѣдова и возвращеніемъ его къ прежнему мѣсту службы совпадаетъ опала Ермолова и окончательное выступленіе на небосклонъ свѣтлой звѣзды Паскевича. Этихъ обстоятельствъ касается письмо Грибоѣдова къ Бѣгичеву отъ 9 декабря 1826 г. (съ Кавказа). «На войну не попалъ, потому что и Алексѣй Петровичъ туда не попалъ. А теперь другого рода война. Два старшіе генерала ссорятся, а съ подчиненныхъ перья летятъ. Съ Алексѣемъ Петровичемъ у меня родъ прохлажденія прежней дружбы... Старикъ нашъ — человекъ прошедшаго вѣка... Соперникъ ему глаза колетъ, а отдѣлаться отъ него онъ не можетъ и не умѣетъ. Упустилъ случай выставить себя съ выгодной стороны въ глазахъ соотечественниковъ, слишкомъ уважалъ непріятеля, который этого не стоитъ. Вообще война съ персіанами самая несчастная, медленная и безвыходная. Погодимъ и посмотримъ...» Вспомнимъ, что Грибоѣдовъ и прежде далеко не во всемъ одобрялъ Ермолова. Онъ продолжаетъ въ томъ же письмѣ: «Буду ли когда-нибудь независимымъ отъ людей? Зависимость отъ семейства, другая отъ службы, третья отъ цѣли въ жизни, которую себѣ назначилъ и, можетъ статья, наперекоръ судьбѣ. Поэзія!! Люблю ее безъ памяти, страстно, но любовь одна достаточна ли, чтобы себя прославить? И, наконецъ, что слава? По словамъ Пушкина,

Лишь яркая заплата  
На ветхомъ рубищѣ пѣвца.

Кто насъ уважаетъ, пѣвцовъ истинно вдохновенныхъ, въ томъ краю, гдѣ достоинство цѣнится въ прямомъ содержаніи къ числу орденовъ и крѣпостныхъ рабовъ? Все-таки Шереметевъ у насъ затмилъ бы Омѣра».

Грибоѣдова, какъ извѣстно, винили въ томъ, что онъ не оставилъ Кавказа вслѣдъ за Ермоловымъ. Сестра поэта, М. С. Дурново, рассказывала Ст. Ник. Бѣгичеву, что этому воспротивилась ихъ мать, что она, по пріѣздѣ Грибоѣдова изъ Петербурга въ Москву, завезла его къ Иверской и тамъ, упавъ передъ нимъ на колѣни, взяла съ него заранѣе слово исполнить ее просьбу, — а просьба и заключалась въ томъ, чтобъ онъ остался служить при Паскевичѣ. Не забудемъ что Грибоѣдовъ, несмотря на различіе взглядовъ, нѣжно любилъ свою мать, которая къ тому же, могла считать его виновникомъ передъ семьей, уже тѣмъ, что онъ просидѣлъ 4 мѣсяца въ заключеніи. Чтобы выдержать борьбу съ матерью, Грибоѣдову пришлось бы, обратившись на самомъ дѣлѣ къ привлекавшей его старинѣ, позаимствоваться передвижническою силою у такого лица, какъ Θεодосій Печерскій, пересилившій свою строптивую мать и заставившій ее, наконецъ, уступить сыновнему идеалу. Грибоѣдову, дѣйствительно, не хватило той аскетической силы, — не хватило, быть можетъ, потому, что онъ и вообще до того времени мало упражнялъ свою волю въ самообузданіи, хотя и сознавалъ, что, за исключеніемъ физической невозможности, чело-

вѣкъ можетъ сдѣлать изъ себя рѣшительно все, что захочетъ. Но намъ ли «большимъ сынамъ больного вѣка», по выраженію поэта, винить Грибоѣдова въ отсутствіи аскетической выдержки? Мы знаемъ къ тому же, что онъ не пошелъ въ отставку вслѣдъ за человѣкомъ, котораго далеко не во всемъ одобрялъ, что лично онъ никогда не служилъ въ послѣдствіи и Паскевичу или кому бы то ни было, потому что онъ всегда служилъ дѣлу, и только не бросилъ этой службы своей ему на Кавказѣ при перемѣнѣ начальника. Если же, какъ это и дѣлали, сводить вопросъ къ одной личной благодарности, то, вѣдь, не одинъ Ермоловъ помогъ Грибоѣдову позволеніемъ истребить свои бумаги, но не менѣе помогъ ему, по свидѣтельству Завалишина, и Паскевичъ своимъ заступничествомъ за него въ Петербургѣ. Но Грибоѣдовъ былъ не изъ тѣхъ людей, которые были бы способны руководствоваться въ дѣлѣ общественной службы лично благодарностью. А служба его на Кавказѣ, какъ и вездѣ, была настоящая служба Россіи. Противники Грибоѣдова доходили, правда, до того, что отрицали и самую дѣльность и пользу службы его на Кавказѣ. Во главѣ ихъ стоитъ тотъ самый Д. В. Давыдовъ, котораго Грибоѣдовъ такъ похвалилъ за его «рыцарство». Вотъ слова извѣстнаго поэта-партизана: «даровитый писатель долженъ бы былъ довольствоваться славой, столь справедливо заслуженною имъ въ литературномъ мірѣ...» Но Грибоѣдовъ, по его мнѣнію, не захотѣлъ ею удовольствоваться и попалъ въ фальшивое положеніе. Ему, «незнакомому ни съ какими формами, приходилось иногда, за отсутствіемъ Мазаровича, писать бумаги въ Тифлисъ, гдѣ онъ возбуждали въ канцеляріи Ермолова лишь смѣхъ. Ермоловъ почиталъ его совершенно бесполезнымъ для службы». Не станемъ спорить относительно Ермоловской канцеляріи; тамъ, пожалуй, и осуждали съ высоты своего писарскаго величія дѣловой слогъ писателя, незнакомаго «ни съ какими формами»; но что самъ Ермоловъ считалъ службу Грибоѣдова далеко не бесполезною, въ этомъ мы могли уже убѣдиться выше. Ермоловъ, однакоже, сознается Давыдовъ, «любилъ Грибоѣдова... Онъ оказалъ ему такую услугу, какую Грибоѣдовъ былъ вправѣ ожидать лишь отъ родного отца... Увлечшись честолюбивыми побужденіями, Грибоѣдовъ, подобно многимъ лицамъ, нѣкогда облагодѣтельствованнымъ Ермоловымъ... отплатилъ ему... за все прошлое неблагодарностью. Будучи отправленъ въ Петербургъ для поднесенія государю Туркманчайскаго договора, онъ сказалъ пріятелю своему С. Н. Бѣгичеву (мнѣ это сообщилъ братъ его, добрый и благородный зять мой Д. Н. Бѣгичевъ): «я вѣчный злодѣй Ермолова». Онъ говорилъ около того же времени не одному слѣдующее: «я на сей разъ не иначе возвращусь въ Грузію, какъ въ качествѣ посланника при тегеранскомъ дворѣ...» Благодаря покровительству гр. Паскевича, онъ получилъ желаемое назначеніе въ Тегеранъ, гдѣ сдѣлался жертвою своей ошибки.

Первая половина этого свидѣтельства объясняется рассказомъ Грибоѣдова П. А. Каратыгину о томъ, какъ онъ поплатился въ Мо-

сквѣ, за свою безтактность: заѣхавъ къ Ермолову по старой памяти, такъ сказать, въ простотѣ души, онъ былъ принятъ имъ крайне сухо. «Я вѣчный злодѣй Ермолова», говорилъ по этому поводу Грибоѣдовъ—въ томъ, вѣроятно, смыслѣ, что старикъ вѣчно будетъ теперь его считать врагомъ. Впрочемъ, какъ человѣкъ самолюбивый, Грибоѣдовъ и самъ въ пылу раздраженія отъ ледяного пріема могъ, пожалуй, на время почувствовать озлобленіе противъ Ермолова. Что же касается послѣдняго, то онъ и въ послѣдствіи жаловался на поэта: «и онъ, Грибоѣдовъ, оставилъ меня, отдался моему сопернику».

Въ тонъ съ Давыдовымъ идетъ отзывъ еще одного лица, знавшаго Грибоѣдова на Кавказѣ, Ник. Викт. Шимановскаго. «Его товарищи не любили, — утверждаетъ онъ о Грибоѣдовѣ, — у него былъ характеръ непостоянный и самолюбіе неограниченное. Когда, по пріѣздѣ въ станицу Червленную, онъ жилъ у меня въ хатѣ, приходилъ къ намъ Сергѣй Ермоловъ... и спросилъ Грибоѣдова про С. Н. Бѣгичева, какъ онъ могъ съ этимъ увальнемъ и тюфякомъ такъ подружиться? Грибоѣдовъ съ живостью отвѣчалъ: «это потому, что Бѣгичевъ первый сталъ меня уважать». А потомъ онъ же вывелъ этого своего друга на сцену въ «Горе отъ ума», въ лицѣ Платона Михайловича.

Замѣтимъ, что послѣднее далеко не доказано; но если бъ оно было и такъ, самъ Ст. Ник. Бѣгичевъ могъ бы отвѣчать на это только добродушной улыбкой, такъ какъ роль Платона Михайловича Горичева, друга Чацкаго, не заключаетъ въ себѣ ничего оскорбительнаго. Во всякомъ случаѣ непрерывность дружбы Грибоѣдова съ Бѣгичевымъ поставлена выше всякихъ сомнѣній и ихъ перепиской и біографической запиской о Грибоѣдовѣ Бѣгичева. Нелюбовь къ Грибоѣдову товарищей, упоминаемая г. Шимановскимъ, вѣроятно, составляетъ обобщеніе, до котораго этотъ послѣдній доведенъ былъ своимъ нерасположеніемъ къ той Грибоѣдовской рѣзкости, до какой онъ дѣйствительно доводилъ свою прямоту. Другіе совершенно иначе судили объ этомъ свойствѣ Грибоѣдова: «никто — говорилъ Бестужевъ-Марлинскій, — не похвалится его лестью, никто не дерзнетъ сказать, что слышалъ отъ него неправду. Онъ могъ самъ обманываться, но обманывать другихъ — никогда»... «Слушая его, — говорилъ К. А. Полевой, — можно было вѣрить каждому слову его, потому что онъ не терпѣлъ преувеличеній и будто мыслилъ вслухъ, не скрывая своихъ чувствъ». Но вотъ это-то и могло заставлять иныхъ людей отзываться о немъ, какъ о Чацкомъ: «не человѣкъ — змѣя».

Вторая половина свидѣтельства Давыдова, указывающая на расчетъ Грибоѣдова стать непременно посломъ въ Тегеранъ, повидимому, находитъ себѣ подтвержденіе въ отзывѣ князя Вяземскаго, что «Грибоѣдовъ не былъ вовсе, какъ полагаютъ многіе, человѣкомъ увлеченія: онъ былъ болѣе человѣкомъ обдумыванья и расчета». Но вѣдь самыя лучшіе люди не всегда умѣютъ воздерживаться въ своихъ отзывахъ отъ примѣсен личнаго отношенія и чувствъ. Между тѣмъ изъ воспоминаній Завалишина мы узнаемъ, что въ Репетиловскомъ «князѣ

Григорьевъ» все узнавали въ то время кн. Вяземскаго. Это обстоятельство могло отразиться въ отношеніяхъ покойнаго академика въ комедіи Грибоѣдова, отношеніяхъ весьма близкихъ къ развѣнчиванью, — могли отразиться и на отзывѣ кн. Вяземскаго о самомъ ея авторѣ. Много ли правды въ приписываніи Грибоѣдову служебныхъ расчетовъ, это увидимъ мы далѣе.

Продолжая свою кавказскую службу при Паскевичѣ, Грибоѣдовъ во время начавшейся войны нашей съ Персіей находился при дѣйствующей арміи и, участвуя въ главныхъ битвахъ, поражалъ своею неустранимостью самыхъ бывалыхъ воиновъ. Объ этой «неустранимости» онъ однажды разсказывалъ у кн. В. Ѳ. Одоевскаго при Кс. Ал. Полевомъ, что сначала препорядочно трусилъ, но нарочно становился тамъ, куда прямо попадали непріятельскіе выстрѣлы, отсчиталъ положенное число ихъ, а затѣмъ преспокойно переѣхалъ на другое мѣсто. Послѣ такого опыта страхъ какъ рукой сняло, такъ что самъ Паскевичъ писалъ женѣ: «нашъ слѣпой совсѣмъ меня не слушается, развѣзжаетъ себя подъ пулями, да и только». Но вскорѣ ему пришлось пустить въ ходъ и свои уже испытанныя дипломатическія способности. Когда старый его знакомецъ, Аббасъ-Мирза, у котораго онъ въ свое время такъ ловко оттягалъ нашихъ плѣнныхъ, былъ разбитъ и сталъ просить міра, Грибоѣдовъ былъ посланъ къ нему въ лагерь для переговоровъ. Объ этомъ онъ подробно говоритъ въ своей запискѣ «Персія и персіане», написанной тогда же (въ 1827 г.). Вотъ какимъ тономъ говорилъ нашъ повѣренный съ наслѣдникомъ персидскаго престола: «Ваше высочество сами поставили себя судьей въ собственномъ дѣлѣ и предпочли рѣшить оружіемъ... Кто первый начинаетъ войну, никогда не можетъ сказать, чѣмъ она кончится»...

Аббасъ-Мирза, какъ все восточные, а подчасъ и не одни восточные, люди, обнаруживалъ склонность къ провлачивающимъ словопреніямъ; Грибоѣдовъ сразу ее отвратилъ словами:

«...Я долженъ объявить В. В., что посланные ваши, если явятся съ предложеніями другого рода, несогласными съ нашими, или для преній о томъ, кто первый былъ причиною войны, — они не только не получаютъ удовлетворительнаго отвѣта, но главноначальствующій не признаетъ себя даже вправѣ ихъ выслушивать». «...При окончаніи каждой войны, несправедливо начатой съ нами, мы отдаемъ наши предѣлы, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, непріятеля, который бы отважился переступить ихъ...» А вотъ и окончательныя заключенія Грибоѣдова: «Я оставилъ персидскій лагерь съ одобрительнымъ впечатлѣніемъ, что непріятель войны не хочетъ... все духомъ упали, все недовольны... Но ожидать невозможно, чтобы они сейчасъ купили миръ цѣною предлагаемыхъ имъ условій; и для этого нужна рѣшительность; длить время въ переговорахъ болѣе имъ свойственно». Вскорѣ оказалось, что Грибоѣдовъ правъ; война должна была на время возобновиться, и только послѣ новаго рѣшительнаго удара съ нашей стороны Персія заключила съ нами Туркманчайскій договоръ, доставившій намъ Эри-

вань и большую контрибуцію. Грибоѣдовъ былъ при этомъ главнымъ дѣятелемъ и отправленъ затѣмъ Паскевичемъ въ Петербургъ для официального донесенія о мирѣ. Сюда относятся слѣдующія строки изъ біографической записки Ст. Ник. Бѣгичева: «Въ проѣздъ его черезъ Москву въ Петербургъ съ трактатомъ онъ заѣхалъ ко мнѣ часа на два и, между прочимъ, сказывалъ, что гр. Эриванскій спрашивалъ его: какого награжденія онъ желаетъ? «Я просилъ представить меня только къ денежному награжденію. Дѣла моей матери разстроены, деньги мнѣ нужны: я пріѣду на житье къ тебѣ. Все, чѣмъ я до сихъ поръ занимался, для меня дѣла постороннія... Голова моя полна, и я чувствую необходимую потребность писать...»

Принятый въ Петербургѣ, какъ и слѣдовало ожидать, въ высшей степени милостиво, Грибоѣдовъ вслѣдъ затѣмъ былъ назначенъ полномочнымъ министромъ въ Персію. О томъ, какъ это произошло, узнаемъ мы изъ той же біографической записки о немъ Ст. Ник. Бѣгичева. «На пути къ мѣсту своего назначенія», — пишетъ его вѣрный другъ, — Грибоѣдовъ пробылъ у меня три дня... Онъ былъ чрезвычайно мраченъ... Врядъ ли мы еще съ тобой увидимся... Я знаю персіанъ. Аллаяръ ханъ... не подаритъ мнѣ заключеннаго съ персіанами мира. Министръ сначала предложилъ мнѣ ѣхать повѣреннымъ въ дѣлахъ; я отвѣчалъ, что Россіи нужно имѣть тамъ полномочнаго посла, чтобъ не уступать шагу англійскому послу. Министръ улыбнулся и замолчалъ, полагая, что я по честолюбію желаю имѣть титулъ посла. А я подумалъ, что туча прошла мимо и назначать какого-нибудь чиновнѣе меня; но черезъ нѣсколько дней министръ присылаетъ за мной и объявляетъ, что я по Высочайшей волѣ назначенъ полномочнымъ министромъ. Дѣлать было нечего..., но предчувствую, что живой изъ Персіи не возвращусь».

Мы знаемъ, что это грустное предчувствіе сказывалось у него еще передъ первымъ его отправленіемъ въ Персію, когда онъ точно такъ же ошибся, думая, что испортитъ все дѣло запрашиваніемъ двухъ чиновъ разомъ. Теперь, не избавившись отъ этой роковой Персіи и указаніемъ необходимости имѣть въ ней настоящаго посла, Грибоѣдовъ передъ отъѣздомъ говорилъ своему пріятелю, А. А. Жандру: «насъ тамъ непременно всѣхъ перерѣжутъ; Аллаяръ-ханъ мой личный врагъ, — не подаритъ онъ мнѣ Туркманчайскаго трактата». Можно ли рѣшиться сказать, что Грибоѣдовъ только напускалъ это на себя — напускалъ передъ ближайшими друзьями — на самомъ же дѣлѣ радовался осуществленію своего «расчета» на мѣсто посла?

Между тѣмъ голова его была занята литературными планами, а передъ отъѣздомъ изъ Петербурга онъ читалъ знакомымъ уже оконченную трагедію «Грузинская ночь». Сужденіе Н. И. Греча, слышавшаго ее, что она была даже выше его знаменитой комедіи, отличается, вѣроятно, преувеличеніемъ. Но по уцѣлѣвшимъ отрывкамъ видно, что замыселъ былъ глубокъ. Эта месть матери за сына ея же питомцу — общему ихъ господину, и нравственная кара за месть,

вытекающая изъ ея послѣдствій — отличаются чѣмъ-то Шекспировскимъ. Въ связи съ занятіями Грибоѣдова русской исторіей находился, вѣроятно, планъ не то драмы, не то поэмы изъ временъ половецкихъ на насъ набѣговъ. Отрывки, сюда относящіеся, найденные въ черновой тетради Грибоѣдова, поражаютъ и поэтической силою выраженія и историческимъ пониманіемъ, подходящимъ къ Пушкинскому. Неоконченнымъ остался у Грибоѣдова и задуманный имъ еще въ 1825 г. прологъ «Юность вѣщаго», выставляющій въ лирико-драматической формѣ начальную судьбу Ломоносова. Недописанною осталась и поэма изъ восточной жизни «Кальянчи» и картинка въ народно-фантастическомъ вкусѣ «Домовой». По всемъ этимъ блестящимъ отрывкамъ видно, что многосторонній талантъ Грибоѣдова могъ бы произвести еще многое въ разныхъ родахъ, если бы поэту удалось окончательно смѣнить дипломата и достигъ исполненія завѣтной мечты поселиться у Бѣгичева и не знать съ этихъ поръ ничего, кромѣ творчества.

Но въ черновой тетради Грибоѣдова сохранялся еще планъ драмы изъ древней исторіи, котораго, мнѣ кажется, никакъ нельзя отнести, какъ это дѣлали, къ начальной его порѣ. Планъ этотъ — какъ и почти все у Грибоѣдова — вовсе не въ классическомъ вкусѣ, хотя трагедія подъ тѣмъ же заглавіемъ (Радимистъ и Зенобія) и попадаетъ между классическими трагедіями Кребиллона, у автора «Горя отъ ума», и тутъ опять скорѣе замѣтно что-то Шекспировское. Въ основѣ же есть какъ-будто бы нѣчто общее съ байроновскимъ «Сарданапаломъ»: такое же возмущеніе противъ государя, желающаго всякаго добра, только Радимистъ отличается отъ Сарданапала тѣмъ, что, при той же простотѣ обращенія, вовсе не причастенъ его изнѣженности и способенъ къ дѣятельному противодѣйствию римлянамъ. Въ 1-мъ актѣ проводится противоположность между патріархальной неиспорченностью царя древней Арменіи и нравственною дряхлостью міродержавнаго Рима. Посоль его кичится передъ Радимистомъ «свободою и славою отечества, но Радимистъ, даетъ ему чувствовать, что то и другое живо только въ памяти по преданіямъ»... Къ чему такой человѣкъ, какъ Касперій въ самовластной имперіи — опасенъ правительству и самъ себѣ бремя, ибо иного вѣка гражданинъ. Радимистъ не боится испорченнаго Рима и считаетъ «власть царя» восточнаго народа вѣрнѣе и чистосердечнѣе. Но Радимистъ ошибается, подобно Сарданапалу: противъ него созрѣваетъ заговоръ. Планъ драмы не дописанъ, но замѣчательны въ немъ слова: «народъ не имѣетъ участія въ дѣлѣ заговорщиковъ — онъ будто бы не существуетъ». Не находится ли это въ связи съ событіями 1825 года и не опредѣляетъ ли этимъ принадлежность плана драмы уже къ послѣдней порѣ жизни Грибоѣдова? Позднѣйшія отношенія его къ тѣмъ людямъ, о связяхъ съ которыми, главнымъ образомъ, говоритъ въ своихъ воспоминаніяхъ Завалишинъ, сказывается въ письмѣ, написанномъ Грибоѣдовымъ въ 1827 г. къ А. Ив. Одоев-

скому, поплатившемуся, какъ извѣстно, за свое участіе въ тайныхъ обществахъ. «Государь, — пишетъ Грибоѣдовъ, — наградиль меня щедро за мою службу (и, какъ мы видѣли, было за что). Бѣдный другъ и братъ! Зачѣмъ ты такъ несчастливъ?... Я оставилъ тебя прежде твоей экзальтаціи въ 1825 г.... Не тебѣ бы къ нимъ примѣшаться, а имъ у тебя ума и доброты сердца позаимствовать»...

Проѣздомъ черезъ Москву къ своему нежеланному высокому посту, Грибоѣдовъ (12 іюня 1828 г.) долженъ былъ обратиться къ Булгарину по такому дѣлу: «Матушка посылаетъ тебѣ мое свидѣтельство о дворянствѣ; узнай въ герольдіи, наконецъ, какого цвѣта мой... гербъ, нарисуй и пришли мнѣ со всѣми онѣрами». Холодность Грибоѣдова къ его служебнымъ успѣхамъ вызвала, надо думать, слѣдующее письмо его матери къ тому же лицу, замѣчательное и по тону этой умной женщины лучшаго круга съ человѣкомъ, котораго она считаетъ нужнымъ, и по оригинальнымъ оборотамъ ея русскаго языка, очевидно переведеннаго ею съ французскаго: «Не охладѣвайте вашу къ нему дружбу... Зная же и его нѣжность и безынтересную личность, на васъ-то и надѣюсь, вы-то и возбудите въ немъ дѣятельность, частую ведя съ нимъ переписку... Онъ мнѣ все сообщилъ, какъ вы имъ занимаетесь, даже и въ интересныхъ его дѣлахъ».

Послѣдняя побывка Грибоѣдова въ Тифлисѣ на пути въ нелюбимую Персію озарилась для него прощальнымъ лучомъ свѣта. Какъ бы желая разсѣять свои мрачныя предчувствія, онъ рѣшился соединить свою участь съ дѣвушкой, вполне достойною его по уму и по сердцу — княжною Ниною Александровною Чавчавадзе, которая, какъ онъ надѣялся, доставитъ ему отраду семейнаго крова въ этой далеко негостепріимной странѣ. Между тѣмъ дипломатическое начальство торопило его отъѣздомъ. По этому поводу писалъ онъ 12 іюля 1828 г. изъ Тифлиса Родофиникову. «По словамъ Булгарина, вы хотите достать мнѣ именное повелѣніе ни минуты не медлить въ Тифлисѣ. Но, ради Бога, не натягивайте струнъ моей природной пылкости и усердія, чтобы не лопнули»...

Не желая спѣшить къ своему посту, Грибоѣдовъ имѣлъ въ виду не только себя, но и пользу дѣла. Онъ находилъ, что русскому полномочному министру не слѣдуетъ ѣхать въ Персію ранѣе уплаты ею всей контрибуціи. Грибоѣдовъ опять оказался правъ: по прибытіи его къ своему посту, персидское правительство успокоилось, подняло носъ и стало медлить отправленіемъ недоплаченной суммы. Грибоѣдовъ считалъ себя вправѣ написать 30-го октября тому же дипломату уже изъ Тавриза.

«Для пользы ввѣренныхъ мнѣ дѣлъ, я слишкомъ рано сюда прибыль, и зналъ это напередъ, но боялся быть въ отвѣтственности передъ начальствомъ, которое у насъ соразмѣряетъ успѣхи и усердіе въ исполненіи порученныхъ дѣлъ по болѣе или менѣе скорой ѣздѣ чиновниковъ».



Съ тою же откровенностью писалъ Грибоѣдовъ Паскевичу (отъ 1-го октября) о неудобствѣ порядковъ, заведенныхъ нами въ только что присоединенномъ краѣ:

«Наши городовые и областные суды, ни мало не заботясь приоровиться къ мѣстнымъ обычаямъ и не дерзая сего дѣлать въ силу регламентовъ, судятъ протяжно и подписываютъ опредѣленія..., которымъ жители подчиняются не по убѣжденію, а какъ-будто насильственно. Что за поспѣшность съ нашей стороны вмѣшиваться во всѣ мелкія тяжбы... новыхъ подданныхъ между собою. Боимся ли мы пристрастія мусульманскихъ судей? но власть ихъ единственно основана на выборѣ и довѣріи народномъ».

Это, конечно, не тонъ человѣка, заботящагося о карьерѣ. Столь же мало сказывается такой тонъ и въ письмѣ Грибоѣдова къ самому гр. Нессельроде по прибытіи его на свой постъ (отъ 20 октября 1828 г.). Вотъ на что счелъ онъ нужнымъ обратить вниманіе иностранца, очутившагося во главѣ русской дипломатіи:

«Всего болѣе понравилась мнѣ та добрая память, которую оставили наши войска въ сельскомъ народѣ... бѣдные люди громко упрекали солдатъ (шаха) въ ихъ несходствѣ съ русскими, которые и справедливы и ласковы, такъ что народъ очень былъ бы радъ ихъ возвращенію».

— Далѣе Грибоѣдовъ переходитъ къ крайней затруднительности своего положенія.

«Несмотря на всю предупредительность (Аббаса Мирзы), — пишетъ онъ, — какъ только рѣчь заходитъ о дѣлахъ, начинаются затрудненія. Одно освобожденіе нашихъ плѣнныхъ подданныхъ причиняетъ мнѣ неимовѣрныя заботы; даже содѣйствіе правительства почти недостаточно для того, чтобы отнять ихъ у ихъ настоящихъ владѣльцевъ».

Настоятельное требованіе, по старому смыслу договора, выдачи плѣнныхъ и погубило Грибоѣдова. Сколько ни писали о разныхъ его «безтактностяхъ», заключавшихся въ ненужномъ нарушеніи персидскаго этикета, и какъ ни охотно хваталось за подобныя объясненія само наше министерство иностранныхъ дѣлъ, сущность дѣла заключалась не въ этомъ. Грибоѣдовъ хорошо зналъ персіанъ и заранѣе ждалъ съ ихъ стороны недобраго. Не въ порывѣ самонадѣяннаго увлеченія, а вполне сознательно и послѣдовательно упорно отстаивалъ онъ вмѣстѣ съ другими плѣнными и этого стража гарема, захотѣвшаго также воспользоваться своимъ правомъ возвращенія въ Россію. Выдать его, уступая религіозно-государственнымъ предразсудкамъ Персіи, значило бы повредить государственной чести Россіи, съ соблюденіемъ которой совпадало и дѣло справедливости и человѣколюбія. Грибоѣдовъ хорошо зналъ, что его ждетъ, и потому-то его образъ дѣйствія есть настоящій подвигъ. Онъ еще болѣе подвигъ потому, что, сознавая всѣ слабыя стороны внутренней жизни современной ему Россіи, Грибоѣдовъ при всемъ томъ обере-

галь передъ другими ея народную честь. Дипломатъ — Фамусовъ, дипломатъ — Молчалинъ или дипломатъ — Репетилловъ поступили бы, конечно, не такъ, какъ этотъ «волокита и дуэлистъ», этотъ «членъ тайныхъ обществъ». Правда, на могилу его принесенъ графомъ Нессельроде упрекъ въ «опрометчивыхъ порывахъ усердія», напоминающій старый упрекъ ему въ томъ, что онъ, тогда еще секретарь посольства, превысилъ, такъ сказать, свою власть, озаботясь участіемъ тѣхъ же русскихъ плѣнныхъ. Но какъ тогда Ермоловъ, такъ теперь Паскевичъ посмотрѣлъ на дѣло нѣсколько иначе. Причина гибели Грибоѣдова, конечно, гадательно — объяснялась Паскевичемъ и помимо какой-либо его вины. Вотъ что писалъ онъ графу Нессельроде 20 февраля 1829 года:

«Выводя разныя заключенія, можно предполагать, что англичане не вовсе были чужды участія въ возмущеніи, вспыхнувшемъ въ Тегеранѣ, хотя, быть можетъ, они не предвидѣли пагубныхъ послѣдствій онаго (ибо они неравнодушно смотрѣли на перевѣсъ нашего министерства въ Персіи...).

Это подтверждается намеками адъютанта Аббаса Мирзы въ разговорѣ съ русскимъ генераломъ: англичане хотя и жили въ Тавризѣ, но хвостъ ихъ все же былъ скрытъ въ русской миссіи въ Тегеранѣ. Съ этимъ любопытно сопоставить и слѣдующія слова изъ письма къ Паскевичу Мальцева, — единственнаго человѣка изъ нашего посольства, уцѣлѣвшаго среди страшной рѣзни 30 января 1829 г., письма, отправленнаго 4-го іюня изъ Тавриза:

«Я достовѣрно узналъ, что, по прибытіи сюда тѣла покойнаго нашего посланника, никто изъ англичанъ не выѣхалъ ему навстрѣчу».

Дѣло это, конечно, остается въ туманѣ. Но, какъ бы тамъ ни было, если Грибоѣдовъ и виноватъ самъ въ своей трагической смерти, то столько же, сколько виноватъ и воинъ, не обратившійся въ бѣгство передъ неприятелемъ.

Обезображенное тѣло поэта и государственнаго человѣка, узнанное только по пальцу, оставшемуся скорченнымъ со времени дуэли съ Якубовичемъ, было привезено въ Тифлисъ и встрѣчено тамъ молодою вдовой и толпою глубоко опечаленныхъ туземцевъ и русскихъ. Могила его въ монастырѣ св. Давида священна для каждаго русскаго. Къ ней смѣло могутъ быть отнесены стихи не менѣе его несчастнаго и немногимъ имъ пережитаго поэта:

Отецъ семейства! приведи  
Къ могилѣ мученика — сына;  
Да закипитъ въ его груди  
Святая ревность гражданина.

*Ор. Миллеръ.*

## Грибоѣдовъ, какъ представитель освободительнаго движенія.

Уже давно утвердилось въ русской литературѣ мнѣніе, что Грибоѣдовъ въ лицѣ Чацкаго изобразилъ самого себя; онъ далъ ему черты своего характера и міровоззрѣнія. Еще Пушкинъ отмѣчалъ эту связь между Чацкимъ и самимъ Грибоѣдовымъ<sup>1)</sup>. При чтеніи, съ одной стороны, рѣчей Чацкаго, съ другой — данныхъ о самомъ Грибоѣдовѣ (его писемъ, записокъ, воспоминаній о немъ его друзей), намъ бросаются въ глаза черты сходства между поэтомъ и его героемъ. Приведемъ хотя нѣкоторыя изъ нихъ, заботясь объ ихъ систематической группировкѣ и выбирая первыя, какія обратятъ наше вниманіе. Мы остановились на любви къ правдѣ, естественности, свободѣ въ искусствѣ Грибоѣдова; но мы упомянули уже, что эта черта его стоитъ въ связи съ его любовью къ правдѣ, простотѣ, съ нерасположеніемъ ко всякой фальши и дѣланности и въ жизни. Эта правдивость и всѣ обусловливаемыя ею черты составляли самое выдающееся свойство характера Грибоѣдова. «Кровь сердца всегда играла у него на лицѣ. Никто не похвалится его лестью, никто не дерзнетъ сказать, будто слышалъ отъ него неправду; онъ могъ самъ обманываться, но обманывать никогда», говоритъ о Грибоѣдовѣ одинъ изъ его друзей<sup>2)</sup>; современники удивлялись его благородству, прямотѣ, искренности; таковъ и Чацкій, возмущающійся всякою лестью и необдуманно смѣло и откровенно высказывающійся передъ окружающими людьми; припоминаемъ интересный для характеристики Чацкаго моментъ, когда онъ, говоря съ Софьей въ 3-мъ дѣйствіи комедіи о Молчалинѣ, хочетъ подавить свои чувства, говоритъ спокойно и разсудительно, но не выдерживаетъ, — черта, тонко подмѣченная и прекрасно изображенная поэтомъ. У обоихъ, у Грибоѣдова и у Чацкаго, мы видимъ горячую любовь къ правдѣ въ самомъ широкомъ нравственномъ значеніи этого слова: вездѣ у Грибоѣдова видно высокое уваженіе человѣческаго достоинства и способность видѣть въ человѣкѣ прежде всего человѣка, самая искренняя и глубокая гуманность, величайшая справедливость, горячая любовь къ людямъ и желаніе имъ добра, желаніе, переходящее и въ дѣло; доброе любящее сердце у него и въ личныхъ отношеніяхъ; на любви къ людямъ основана и его глубокая преданность общественнымъ интересамъ; Грибоѣдовъ горячій сторонникъ и поборникъ свободы; онъ врагъ всего, что противорѣчитъ его идеалу правды, понятію человѣческаго достоинства: онъ съ презрѣніемъ относится къ мелочнымъ интересамъ, узкимъ и эгоистическимъ, которые наблюдаетъ у людей, негодуетъ на господство ихъ въ окружающей жизни, на ея пошлость, косность и ничтожность; онъ ненавидитъ всѣми силами своей души рабство (ненавидитъ самое слово рабъ по его собственному признанію<sup>3)</sup>), презираетъ сословные

<sup>1)</sup> Въ письмѣ къ А. А. Бестужеву, въ 1825 г.

<sup>2)</sup> А. А. Бестужевъ. «Отеч. Зап.» 1860 г., № 10: Знакомство Бестужева съ Грибоѣдовымъ. Срв. у Шляпкина, соч. Грибоѣдова, т. I, хронологическая канва, стран. XXV.

<sup>3)</sup> «По духу времени и вкусу и ненавижу слово: рабъ». (Соч. II, 401.)

предразсудки, внѣшнія отличія, иронизируетъ надъ ними; любитъ простоту жизни, порицаетъ роскошь. Человѣкъ серіозно образованный, онъ преданъ интересамъ просвѣщенія, является горячимъ его поборникомъ; онъ негодуетъ на тѣхъ, которые «хотѣли бы оставить нашъ народъ въ младенчествѣ»<sup>1)</sup>. Мы отмѣтили уже у Грибоѣдова особенный глубокий интересъ къ историческимъ занятіямъ, главнымъ образомъ его серіозное изученіе отечественной исторіи; эти занятія хорошо гармонировали съ тѣмъ патріотическимъ настроеніемъ, которое охватило послѣ войны 1812 г. лучшихъ русскихъ людей; Грибоѣдовъ до конца жизни полонъ горячей любви къ родинѣ<sup>2)</sup>, пламенно желаетъ ея процвѣтанія и, насколько хватаетъ силъ, служить ей; историческія занятія, въ свою очередь, поддерживали этотъ патріотизмъ; они развивали серіозное отношеніе и любовь къ прошлому, уваженіе къ историческимъ завѣтамъ минувшихъ временъ народной жизни; во многомъ являясь предшественникомъ послѣдующихъ славянофиловъ, только не доводя своихъ мыслей до такой ясной формулировки, Грибоѣдовъ желаетъ родной странѣ и ея народу постояннаго развитія, прогресса, но не разрывающаго съ прошлымъ, а развитія органическаго, въ духѣ жизненныхъ началъ этого прошлаго, началъ, сохраненіе которыхъ Грибоѣдовъ, опять сближаясь со славянофилами, готовъ былъ искать въ простомъ народѣ; въ немъ онъ готовъ былъ усматривать носителя началъ здоровой жизни и самобытной цивилизаціи; въ его жизни Грибоѣдову чуялась желанная ему простота и правдивость<sup>3)</sup>; и эта любовь къ народу является еще одной, ярко выдающейся у Грибоѣдова, чертой; да и самая его гуманность, чувство любви къ людямъ, участіе къ низшимъ и слабѣйшимъ должны были заставить его любить народъ, особенно въ виду современнаго его положенія, далеко не облегчавшаго Грибоѣдову возможности изгнать изъ своего словаря ненавистное ему слово рабъ. И всѣ вышеуказанныя черты сквозятъ или прямо выражены и въ рѣчахъ главнаго героя Грибоѣдова<sup>4)</sup>. У нихъ общее міровоззрѣніе, общія черты характера; и недостатки у нихъ у обоихъ сходны: гордость, слишкомъ, однако, оправдываемая и извиняемая условіями жизни и качествами окружающей среды; вспыльчивость и раздражительность; мало у обоихъ благоразумной рассудительности, такта<sup>5)</sup>. Но этого

<sup>1)</sup> 1, 203 (В. В. Одоевскому, 1825). !

<sup>2)</sup> См. напримѣръ Воспоминанія Булгарина въ «Сынѣ Отечества» 1830, № 1 (срв. у Шляпкина, 1, XXIII).

<sup>3)</sup> Эти черты особенно выразились въ статьѣ «Загородная поѣздка» (1, 107).

<sup>4)</sup> Рѣчи Чацкаго слишкомъ общеизвѣстны: укажемъ здѣсь хотя бы на монологи его во 2-мъ дѣйствіи комедіи («И точно началъ свѣтъ глупѣть» и «А судьи кто?» Соч. II, 248, 259), въ 3-мъ дѣйствіи («Въ той комнатѣ 'незначущая встрѣча'... Соч. II, 310) и др.

<sup>5)</sup> Вспомнимъ хотя бы письмо Грибоѣдова Булгарину 1824 г. (Соч. I, 192), поступокъ его съ литераторомъ Федоровымъ, рассказанный Каратыгинымъ (тамъ же I, XIX), свидѣтельства знавшихъ его о его самолюбіи (напр. Шимановскаго, «Рус. Арх.» 1895, 11 и соч. Грибоѣдова, 1, XXIX). Подобнымъ характеромъ отличается и поведеніе Чацкаго.

сходства мало; и выразителемъ своего характера и міровоззрѣнія сдѣлалъ Грибоѣдовъ Чацкаго потому, что прежде всего въ положеніи Чацкаго онъ воплотилъ свою жизнь, свое положеніе въ окружающей его средѣ и свое къ ней отношеніе; оттого невольно онъ передалъ Чацкому и свои личныя черты. Изученіе біографіи Грибоѣдова не оставляетъ никакого сомнѣнія въ автобіографическомъ значеніи комедіи; таково значеніе того положенія, которое занимаетъ Чацкій въ обществѣ: вѣдь, это самого Грибоѣдова возили ребенкомъ на поклонъ къ «Нестору негодяевъ знатныхъ», его дядѣ, который послужилъ оригиналомъ для Фамусова, и портретъ котораго былъ, кромѣ того, и прямо набросанъ Грибоѣдовымъ въ статьѣ: «характеръ моего дяди»<sup>1)</sup>; вѣдь онъ самъ испыталъ гнетъ родственной среды, гнетъ условныхъ предразсудковъ, фальши и невѣжества окружавшей его жизни, онъ выстрадалъ самъ тотъ горячій протестъ противъ зла и мрака, тотъ пламенный призывъ къ добру и свѣту, свободѣ и правдѣ, который звучитъ въ каждой фразѣ его героя; вѣдь онъ самъ, съ дѣтства страдавшій отъ сознанія общественной неправды, такъ же горячо, какъ и Чацкій, возмущался ею и раздражался, и при этомъ порою такъ же, не взвѣсивая всѣхъ условій, безъ надлежащей осторожности; такъ возмущался онъ искренней, двуличной политикой персовъ и, наконецъ, жизнью заплатилъ за свою рѣзкую борьбу съ нею. Весьма интересный анекдотъ<sup>2)</sup> передаетъ даже, будто той сплетнѣ о сумашествіи, которая нанесла послѣдній и тяжелый ударъ Чацкому, подвергся въ Москвѣ самъ Грибоѣдовъ. Исторія созданія «Горя отъ ума», насколько она теперь выяснена, противорѣчить такому показанію объ автобіографическомъ значеніи развязки комедіи, но оно характерно для насъ тѣмъ, что свидѣтельствуешь, что за Чацкимъ чувствовался Грибоѣдовъ, какъ въ представленіи самого общества творецъ былъ отождествленъ со своимъ созданіемъ.

Произведеніе, вылившееся изъ души художника, отразившее его внутреннюю жизнь, запечатлѣнное полною искренностью, какой доселѣ не проявляли художественные образцы русской поэзіи, проникнуто и въ самомъ своемъ исполненіи психологической правдой, и прежде всего здѣсь результатъ этой искренности, этой связи комедіи съ жизнью поэта. Всѣ черты характера Чацкаго раскрываются въ выходкахъ его противъ общества, выходкахъ, тѣсно связанныхъ съ ходомъ жизни въ домѣ Фамусова, а эта послѣдняя, въ свою очередь, течетъ совершенно естественно, такъ, какъ текла она вообще въ тогдашнемъ московскомъ обществѣ. Критика много говорила объ этихъ выходкахъ и рѣчахъ Чацкаго, какъ и о любовной интригѣ комедіи, и пламенные рѣчи Чацкаго казались неловко, смѣшно,

<sup>1)</sup> Сочиненія, т. I, стран. 153.

<sup>2)</sup> «Русская Стар.» 1878, № 3, стран. 546.

Намъ не приходилось въ литературѣ о Грибоѣдовѣ встрѣчать указанія на этотъ рассказъ. Между тѣмъ онъ весьма интересенъ именно тѣмъ, что указываетъ лишній разъ на сближеніе въ сознаніи общества Грибоѣдова и Чацкаго.

внѣшнимъ образомъ прилаженными къ сатирической картинѣ нравовъ общества, неестественными и ходульными; любовный элементъ въ комедіи казался внѣшнимъ для дѣйствія, созданнымъ лишь въ угоду той самой теоріи, власти которой не признавалъ Грибоѣдовъ. Во главѣ рѣзкихъ приговоровъ, произнесенныхъ надъ «Горемъ отъ ума» съ такой точки зрѣнія, стоитъ извѣстная оцѣнка Бѣлинскаго<sup>1)</sup>. Въ лицѣ Аполлона Григорьева критика впервые постаралась понять въ связи, какъ одно цѣлое, и этотъ любовный элементъ въ дѣйствіи комедіи, и рѣчи Чацкаго, и тогда ей представлялась и художественная цѣлостность произведенія, и живое непрерывное развитіе въ немъ дѣйствія. Чацкій же показался лицомъ живымъ, типомъ вполне правдивымъ и психологически вѣрнымъ. Ор. Ф. Миллеръ<sup>2)</sup>, Гончаровъ<sup>3)</sup>, а также лучший изслѣдователь Грибоѣдова, Алексѣй Н. Веселовскій<sup>4)</sup> поддерживали, съ тѣми или другими видоизмѣненіями, эту точку зрѣнія на Чацкаго и на построеніе комедіи. Новѣйшая критика находитъ естественнымъ для «правдивой натуры»<sup>5)</sup> стремленіе высказываться откровенно и смѣло для молодого человѣка съ горячей и страстною душой — «непреодолимое влеченіе говорить истину въ глаза..., не скрывая ее ради какихъ-либо выгодъ, забывая о томъ, что эта рѣзкость можетъ повести къ неприятымъ послѣдствіямъ»<sup>6)</sup>, забывая осторожность и разсудительность, не раздумывая о результатѣ своихъ рѣчей. Грибоѣдовъ находилъ это также понятнымъ уже потому, что и здѣсь воплотилъ въ Чацкомъ свой характеръ; эти свойства «составляли именно отличительную особенность Грибоѣдова», по показаніямъ знавшихъ его; онъ самъ «не могъ» и не хотѣлъ скрывать насмѣшки надъ позлащенной и самодовольною глупостью, ни презрѣнія къ низкой искательности ни негодованія при видѣ счастливаго порока<sup>7)</sup>; да развѣ само «Горе отъ ума», брошенное въ среду тогдашняго общества, не было со стороны Грибоѣдова чѣмъ-то очень похожимъ на рѣчи его героя, и развѣ массою общества оно не было встрѣчено такъ, какъ эти послѣднія? Сама «личность Грибоѣдова порукой (замѣчаетъ А. Н. Веселовскій), что подобный характеръ (какъ Чацкаго) былъ возможенъ»<sup>8)</sup>. Что касается происхожденія любовной завязки комедіи, то, по свидѣтельству лучшаго друга Грибоѣдова<sup>9)</sup>, она не имѣла себѣ аналогій въ жизни поэта; по всей вѣроятности она, какъ и вообще вся мысль представить обличеніе общественной неправды въ живомъ драматическомъ дѣйствіи, а не въ отдѣльномъ сатирическомъ описаніи нравовъ (въ духѣ тѣхъ же рѣчей Чацкаго,

1) Сочиненія, III.

2) «На память о Грибоѣдовѣ». Др. и Нов. Росс., 1879, № 4.

3) «Мильонъ терзаній». (Вѣст. Евр.) 1872, № 3; Сочиненія Гончарова, т. 8-й).

4) Первоначальная исторія «Горе отъ ума». «Русск. Арх.» 1874, № 6.

5) Григорьевъ. Сочиненія, I, 362.

6) А. Н. Веселовскій, н. соч. 1550.

7) Бестужевъ. См. стран. 14, прим. 1.

8) А. Н. Веселовскій, н. соч. 1551.

9) С. Н. Бѣгичева. См. А. Н. Веселовскій, н. соч. стран. 1541.

взятыхъ въ связи съ дѣйствіемъ), навѣяны тѣмъ великимъ писателемъ, великимъ правдолюбомъ и страдальцемъ, который въ своемъ положеніи, въ обществѣ и въ литературѣ имѣетъ не мало общаго съ Грибоѣдовымъ, котораго послѣдній такъ зналъ и любилъ, и вліяніе котораго вообще на созданіе «Горя отъ ума» не подлежитъ сомнѣнію<sup>1)</sup>. «Мизантропъ» Мольера давалъ слишкомъ много аналогіи замысламъ Грибоѣдова, чтобы не повліять на него. Но, хотя бы и навѣянное и чужимъ образцомъ, введеніе элемента любви въ дѣйствіе «Горя отъ ума» не представляется намъ художественнымъ промахомъ; напротивъ, оно прекрасно обусловливало развитіе дѣйствія и свидѣтельствуетъ о глубокомъ пониманіи душевной жизни Грибоѣдовымъ. Разочарованіе въ любви, разочарованіе въ любимомъ человѣкѣ, неожиданность такого впечатлѣнія на мѣсто радостной встрѣчи съ этимъ человѣкомъ — все это тѣсно связано со страстностью обличительныхъ рѣчей Чацкаго; и если по самому его горячему характеру ему трудно относиться объективно къ окружающему злу и спокойно произносить свое сужденіе о немъ, то тѣмъ болѣе теперь: вся тина окружающей его жизни слишкомъ не посторонняя для него вещь; она отнимаетъ у него любимаго человѣка, отнимаетъ чувство, которое онъ такъ цѣнилъ; и по мѣрѣ его разочарованія все крѣпнеть его обличительная рѣчь въ своей страстности и раздражительности. Даже добродушно звучитъ его насмѣшка въ первой тирадѣ, обращенной еще къ Софьѣ. Далѣе взаимное негодованіе враждующихъ сторонъ все возрастаетъ, и каждая, вѣрная себѣ, борется своими средствами: Чацкій горячимъ словомъ убѣжденія, въ которомъ онъ, по тонкому объясненію Ап. Григорьева<sup>2)</sup>, имѣетъ въ виду, главнымъ образомъ, Софью, долго и упорно поддерживая въ себѣ остатокъ вѣры въ нее; окружающая же его пошлая среда — сплетней и низкой клеветой. И съ самаго начала бесѣды Чацкаго съ Софьей, съ самаго тона Софьи при встрѣчѣ съ Чацкимъ уже предчувствуется недобрый исходъ дѣла, и дѣйствіе неуклонно, вѣрно, словно роковымъ образомъ стремится къ этому исходу, по пути, обусловленному характерами и положеніями дѣйствующихъ лицъ. Правда, Чацкаго Грибоѣдовъ сдѣлалъ выразителемъ своихъ мыслей и чувствъ, вложилъ ему въ уста свои слова, но оправдалъ ихъ дѣйствіемъ и связалъ съ нимъ; и поэтому Чацкій не напоминаетъ собою резонеровъ ложноклассическихъ драмъ.

Защита плана «Горя отъ ума», впрочемъ, была сдѣлана и раньше Грибоѣдова, и на нашъ взглядъ если не вполне исчерпываетъ вопросъ, то все же представляется очень убѣдительною и основательною. Я разумѣю вышеупомянутое письмо Грибоѣдова Катенину<sup>3)</sup>, гдѣ Грибоѣдовъ самъ защищаетъ естественность и достоинства плана

<sup>1)</sup> А. Веселовскій. Альцестъ и Чацкій (Этюды и характеристики, 144—169; срв. «Мизантропъ» гл. V, стран. 166; «В. Евр.» 1881, № 3).

<sup>2)</sup> Сочиненія, I, 263.

<sup>3)</sup> Сочиненія, I, 196.

своего произведенія отъ нападокъ этого послѣдователя ложноклассической теоріи.

Итакъ, Катенинъ, съ точки зрѣнія ложноклассической теоріи, напалъ на комедію. Да и вообще не могла она понравиться классикамъ.

Уже самый фактъ небывалаго у насъ дотолѣ переживанія своей жизни поэтомъ въ поэзіи, небывалая искренность — были чужды ложноклассицизму, и комедія этою чертою глубоко отличалась отъ внѣшне-правильной классической литературы. Давно уже высказано въ нашей литературѣ справедливое сужденіе, что «всѣ пути старой теоріи порваны Грибоѣдовымъ»<sup>1)</sup>; но все, что имъ сдѣлано для этого, проистекало, какъ необходимое слѣдствіе, изъ отношенія его къ поэзіи, изъ той искренности, того субъективизма, который мы охарактеризовали выше. Отсюда происходило, что въ «Горѣ отъ ума» нарушены были многія требованія ложноклассической поэтики, требованія по своей узости и внѣшности неспособныя пойти къ разнообразнымъ душевнымъ движеніямъ и настроеніямъ. Построеніе комедіи обуславливалось, главнымъ образомъ, внутренней творческой потребностью автора. И прежде всего классики почувствовали, что это произведеніе — ни трагедія ни комедія въ строгомъ смыслѣ классическихъ опредѣленій. Кн. Вяземскій въ письмѣ къ Лонгинову разбираетъ произведеніе Грибоѣдова именно съ этой точки зрѣнія и осуждаетъ то неопредѣленное положеніе, которое оно занимаетъ по отношенію къ общепризнаннымъ поэтическимъ родамъ<sup>2)</sup>. Если много смѣшного представляетъ картина нравовъ московскаго общества, то слишкомъ мало его въ главномъ героѣ и въ его положеніи, во всемъ планѣ и сюжетѣ «комедіи», если трагедія есть изображеніе страданія въ дѣйствіи, то Чацкій лицо несомнѣнно трагическое, и все произведеніе является настоящей трагедіей, потрясающее дѣйствіе которой еще усиливается изображеніемъ смѣшныхъ и пошлыхъ сторонъ окружающаго общества, которыя подавляютъ свѣтлые порывы героя; его благородство и страданіе съ одной стороны, и пошлость общества съ другой, элементы трагической и комической, благодаря ихъ взаимному контрасту, выступаютъ еще выпуклѣе и ярче. А между тѣмъ названіе комедіи, вызванное тѣмъ, что для Грибоѣдова главное было выразить свое негодованіе противъ общества и обличить его, вело часто къ непониманію Чацкаго, къ желанію видѣть въ немъ лицо комическое и притомъ главное комическое лицо данной комедіи, когда Чацкій оказывается въ неловкомъ и, пожалуй, даже въ смѣшномъ положеніи; это также вызывало неправильную художественную оцѣнку драмы, дѣйствіе которой, казалось, съ этой точки зрѣнія, повторяло одни и тѣ же сходныя положенія (вспомнимъ, какъ такая же узость воззрѣнія на трагедію и комедію вела къ непониманію и первообраза Чацкаго — Альцеста. Въ обонхъ герояхъ искали только смѣшного,

<sup>1)</sup> О. Миллеръ, «На память о Грибоѣдовѣ» (древняя и новая Россія, 1879, 4).

<sup>2)</sup> «Русскій Арх.», 1874, № 2.



но смѣшного оказывалось не очень много, да и то не совсѣмъ обыкновеннаго страннаго свойства. Если Чацкій попадаетъ въ неловкія положенія, то сдѣлалъ это Грибоѣдовъ не для осмѣянія своего героя, а повинуваясь голосу художественной правды: юношеская горячность, отсутствіе благоразумной разсудительности, раздражительность, усиленная личнымъ сердечнымъ горемъ, неумѣніе смѣрять силы свои и противника, при всемъ этомъ вѣра въ человѣка и въ силу своего слова (черты, глубоко правдивыя), встрѣчаясь съ тупою косностью общества, несомнѣнно проводили къ такимъ положеніямъ. Честь и слава художественному такту и чувству правды Грибоѣдова, если его отношеніе къ герою комедіи не перешло въ пристрастіе, не побудило его одѣть своего любимаго героя мантиею фальшиваго величія; поэтъ изобразилъ и его недостатки, связанные съ самою сущностью его характера, и тѣ положенія, въ которыя по необходимости они его вовлекають, хотя бы эти положенія и вызывали улыбку даже у лицъ, сочувствующихъ герою<sup>1)</sup>. Но если вдуматься въ дѣйствіе комедіи, то фальшивость положенія Чацкаго вызоветъ гораздо скорѣе чувство грусти и глубокаго состраданія, чѣмъ смѣхъ. Грибоѣдовъ назвалъ свое произведеніе комедіей, потому что оно осмѣивало общественные недостатки, но оно есть трагедія по всему своему строю, по всему характеру дѣйствія. Правдивость и искренность привела такимъ образомъ Грибоѣдова къ свободѣ, къ пренебреженію правилъ теоріи, къ расширенію ея рамокъ; они создали и то, что, отразивъ въ поэзіи свои живыя впечатлѣнія, выносивъ въ душѣ образы своего произведенія, онъ представилъ въ дѣйствующихъ лицахъ «великой комедіи» уже не ходячіе безжизненные образцы пороковъ и добродѣтелей, а живыхъ, разносторонне обрисованныхъ людей, у которыхъ можно и при общемъ ихъ благородствѣ находить недостатки и наоборотъ. Молодой Вѣлинскій, за 6 лѣтъ до своего строгаго приговора надъ «Горемъ отъ ума», въ 1834 г., подъ живымъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ (охватившимъ и Пушкина), относился къ нему иначе; воздавъ ему большую хвалу въ своихъ «литературныхъ мечтаніяхъ», онъ говоритъ между прочимъ: «Лица, созданныя Грибоѣдовымъ, не выдуманы, а сняты съ природы во весь ростъ, почерпнуты со дна дѣйствительной жизни; у нихъ не написано на лбу ихъ добродѣтелей и пороковъ, но они заклеены печатью своего ничтожества, заклеены мстительною рукою палача художника»<sup>2)</sup>.

Итакъ, въ рукахъ Грибоѣдова впервые въ Россіи поэзія стала орудіемъ для выраженія собственной личности и души поэта, его завѣтныхъ стремленій и чувствъ; впервые поэтическое произведеніе явилось вырваннымъ изъ груди воплями изстрадавшагося человѣка. И на мѣсто безличности, отвлеченности литературныхъ произведеній почувствовался живой духъ въ поэзіи, живая личность съ ея стра-

<sup>1)</sup> Эти недостатки Чацкаго указывалъ еще Пушкинъ. Но это не есть художественный недостатокъ, какъ находилъ Вѣлинскій.

<sup>2)</sup> Вѣлинскій Сочиненія, 1. 96.

даніями и радостями, упованіями и негодованіемъ, на мѣсто холодности явилась страстность и искренность тона, на мѣсто придуманныхъ положеній, сухихъ умственныхъ комбинацій разныхъ случайностей — естественное развитіе дѣйствія, дышащая жизнью картина человѣческихъ отношеній, на мѣсто рутинныхъ рамокъ теоріи — свобода творчества.

Но то, что волновало душу Грибоѣдова, не составляло круга, лишь его личныхъ интересовъ; человѣкъ высоко культурный, онъ болѣлъ недугами всего общества и боролся за новые идеалы, поставленные самою исторіею, за новый складъ жизни, потребность котораго сознавалась уже, и это сознание явилось историческою чертою эпохи. Борьба стараго и новаго теченій, борьба двухъ вѣковъ наполняла собою культурную жизнь ея. Идеалы Грибоѣдова и негодование его на противоположныя имъ начала жизни были достояніемъ не одного его, а цѣлаго круга людей, согласно съ нимъ мыслившихъ. И выражая свою душу, онъ нарисовалъ въ своей комедіи картину общественнаго состоянія того времени. Грибоѣдовъ принадлежалъ къ представителямъ того просвѣтительнаго движенія, которое охватило въ ту пору лучшихъ людей русскаго общества. Чацкій, какъ выразитель идеаловъ, которымъ служилъ Грибоѣдовъ, тѣмъ самымъ является выразителемъ идеаловъ и другихъ представителей названнаго движенія; въ сочиненіяхъ и въ жизни этихъ людей мы находимъ черты, которыя видѣли у Грибоѣдова, и которыя представлены въ одномъ цѣлостномъ образѣ въ лицѣ Чацкаго, или очень къ нимъ близкія; главною изъ нихъ является присутствіе извѣстныхъ общественныхъ идеаловъ, стремленіе служить обществу, чувство общаго блага, гуманность, высокое уваженіе къ человѣческому достоинству, любовь къ просвѣщенію. Это движеніе начиналось и раньше, но представлялось единичными лицами; изъ нихъ потомство съ чувствомъ высокой признательности и благоговѣнія вспоминаетъ о Новиковѣ, отраженіе котораго, замѣтимъ, одинъ изъ слѣдователей хочетъ видѣть въ Чацкомъ<sup>1)</sup>; въ новомъ поколѣніи при Александрѣ I, это движеніе расширилось и распространилось; ему не мало содѣйствовала война 1812 г.; она усилила и другую сторону движенія, любовь къ своей національности, патріотизмъ, исканіе національныхъ основъ жизни; отсюда возросло уваженіе къ русской исторіи и сочувствіе народной жизни — черты, которыя мы уже указали у Грибоѣдова, и которыя какъ его, такъ и нѣкоторыхъ другихъ изъ его товарищей, дѣлали предшественниками будущихъ славянофиловъ. Такое настроеніе приводило представителей движенія къ ненависти и борьбѣ съ условіями жизни, противорѣчащими ихъ стремленіямъ. Укажемъ хотя бы едва ли не самый главный протестъ ихъ, протестъ противъ крѣпостнаго права; старый, съ XVIII вѣка идущій, протестъ этотъ теперь усиливается, и Грибоѣдовъ съ Чацкимъ идутъ въ одномъ

\* 1) А. И. Пезеленовъ, Н. И. Новиковъ, 441—454.

ряду съ другими противниками рабства. Просвѣтительное движеніе сталкивалось съ косностью, невѣжествомъ и эгоизмомъ массы общества и, главнымъ образомъ, съ ея нежеланіемъ отозваться на запросы со стороны болѣе свѣтлыхъ началъ жизни. Въ эпоху, когда писалась «великая комедія», борьба еще больше обострялась. Реакція, столь омрачившая послѣдніе годы царствованія Александра I, подавляла благородные порывы молодого круга и давала силу противоположнымъ стремленіямъ; она разжигала чувства тѣхъ, кого противники называли «либералистами», приводила къ нетерпимости, негодованію. Историкъ этого движенія говоритъ объ «экзальтаціи», «возбужденномъ чувствѣ» его представителей. И положеніе ихъ въ обществѣ, такъ же какъ и ихъ настроеніе, не мало напоминаетъ Чацкого. «Люди старыхъ партій, — говоритъ тотъ же историкъ<sup>1)</sup>, — съ ненавистью смотрѣли на появленіе новыхъ мнѣній», на новое поколѣніе, проникшееся «чувствомъ общественнаго блага, человѣческаго достоинства, просвѣщенія и общественной свободы»<sup>2)</sup>, они «говорили о революціяхъ, о заговорахъ, о подкапываніи алтарей и троновъ, въ русскомъ обществѣ искали карбонаровъ»<sup>3)</sup>, и гонимые ими люди «должны были себя чувствовать одинокими среди безучастнаго большинства»<sup>4)</sup>. Но люди благороднаго сердца, они не теряли вѣры въ людей, бодрого взгляда на жизнь, надежды на торжество свѣтлыхъ началъ; они не страшились смѣло говорить правду; «эти люди», — говоритъ одинъ изъ нихъ въ своихъ запискахъ, — большею частію юные лѣтами, охотно отдѣлялись отъ массы и съ увлеченіемъ готовы были посвятить себя на пользу отечества, ни во что ставя личную опасность. Конечно, малое число послѣдователей новыхъ идей сравнительно съ защитниками стараго порядка, между коими находилось, съ одной стороны, закоснѣлое въ невѣжествѣ большинство, а съ другой — люди, предпочитавшіе всему личныя выгоды и занимавшіе высшія должности въ государствѣ, — было почти незамѣтно. Не менѣе того, не сообразивъ ни своихъ силъ ни средствъ», они готовы были бороться и «пасть въ неравной борьбѣ»<sup>5)</sup>.

Мы узнаемъ тутъ черты, присущія и Грибоѣдову, какъ одному изъ представителей молодого поколѣнія, присущія и Чацкому. Юношеская горячность, готовность вооружаться противъ зла, бичевать его немедленно, со всеѣмъ пыломъ души, не взвѣсивая условій борьбы и шансовъ успѣха, это не только, вопреки Бѣлинскому, психологически понятная черта у молодого человѣка, сознающаго, что онъ вноситъ начала свѣтлой и здоровой жизни въ отживающій міръ невѣжества и мрака, но и черта историческая: она засвидѣтельствована историческими памятниками для того круга людей, пред-

1) Пыпинъ. «Общественное движеніе при Императорѣ Александрѣ I», 2 изд. 448.

2) Тамъ же, 343.

3) Тамъ же, 430.

4) Тамъ же, 343.

5) Басаргинъ, «Записки», 70.

ставителемъ котораго былъ и Грибоѣдовъ съ Чацкимъ. И горячность выходокъ Чацкаго такъ оправдывается, между прочимъ, и этою вѣрою въ человѣка, надеждой въ концѣ концовъ подѣйствовать на него, о которыхъ упоминаютъ современники, и которыя мы видимъ и въ Чацкомъ. Въ историческихъ памятникахъ того времени можно найти много и другихъ чертъ, напоминающихъ намъ личность Чацкаго и его положеніе въ обществѣ; иногда даже мелкія черты «великой комедіи» поразительно близки къ дѣйствительнымъ явленіямъ жизни. «Ахъ, Боже мой, онъ карбонарій», восклицаетъ Фамусовъ по поводу одной изъ выходокъ Чацкаго, гдѣ послѣдній высказываетъ свои гуманные взгляды на жизнь и, между прочимъ, касается крѣпостнаго права (выражая общепринятая нынѣ воззрѣнія); на поляхъ книги, написанной однимъ изъ лицъ молодого поколѣнія, противъ того мѣста, гдѣ осуждалось крѣпостное право, одинъ изъ враговъ молодежи дѣлаетъ надпись: «и видно карбонара»... Самъ же авторъ этой книги, Н. И. Тургеневъ, въ одномъ мѣстѣ высказывается противъ «нравственнаго сна, квіетизма; въ немъ ли должна состоять гражданская добродѣтель?... Не миръ, но брань вѣчная должна существовать между зломъ и благомъ»<sup>1)</sup>. Это — то же настроеніе, которое руководитъ героемъ нашей комедіи.

Итакъ, Грибоѣдовъ явился выразителемъ стремленій и думъ лучшихъ людей того времени и изобразилъ положеніе ихъ въ современномъ обществѣ, борьбу ихъ съ его массой; въ характерахъ и положеніяхъ своей комедіи обрисовалъ онъ черты обѣихъ враждующихъ сторонъ и ихъ взаимное отношеніе. Преданный идеаламъ слабѣйшаго изъ противниковъ, поэтъ болѣлъ душою за его стремленія, онъ на себѣ пережилъ всю эту борьбу, глубоко выстрадалъ ее и именно въ пору реакціи отвѣчалъ передъ обществомъ за своихъ единомышленниковъ. Онъ искусно соединилъ черты личныя съ чертами историко-бытовыми, и въ обоихъ отношеніяхъ остался вѣренъ правдѣ. Перечувствовавъ на себѣ все изображенное имъ, уразумѣвъ въ силу этого существенныя черты и основанія борьбы двухъ враждебныхъ мировоззрѣній, Грибоѣдовъ представилъ не изображеніе отдѣльных, отрывочно подмѣченныхъ недостатковъ, а картину цѣлой эпохи общественной жизни, въ органической связи ея существенныхъ чертъ. И это историческое значеніе произведенія также было ново, было огромнымъ шагомъ впередъ въ смыслѣ углубленія задачъ поэзіи. Произведеніе Грибоѣдова стало вполне историческимъ памятникомъ, разъясняющимъ извѣстную эпоху лучше сухихъ документовъ.

Хотя въ рукахъ Грибоѣдова поэзія стала вполне искреннею, сдѣлалась органомъ выраженія внутренней жизни поэта, хотя онъ и сдѣлалъ въ этомъ отношеніи большой шагъ впередъ въ развитіи русской поэзіи, но онъ не достигъ еще искусства изображать всю полноту человѣческой жизни, онъ еще не проявилъ способности

<sup>1)</sup> Пыпинъ, тамъ же, 421.

переселяться силою вдохновенія въ душу самыхъ разнообразныхъ людей, даже совершенно чуждыхъ ему по характеру, переживать ихъ внутреннюю жизнь, комбинировать данныя своего внутренняго опыта такъ, какъ комбинируются они въ душевной жизни лицъ, совершенно отъ него различныхъ. Онъ прекрасно возсоздалъ себя и то общественное явленіе, котораго онъ былъ представителемъ, а равно и то, что было прямо противоположно его личности и этому общественному настроенію, и что вмѣстѣ съ тѣмъ непосредственно на нихъ воздѣйствовало и обуславливало ихъ развитіе, безъ чего нельзя понять ни его собственнаго душевнаго состоянія ни характера изображаемаго въ комедіи общественнаго движенія. Возсоздавать совершенно постороннія ему явленія жизни и человѣческіе типы, умѣть переживать ихъ жизнь, переноситься воображеніемъ въ жизнь минувшихъ временъ и чужихъ странъ—это, повидимому, еще не было ему дано. И не здѣсь ли причина, почему оставилъ онъ широкой планъ драмы «1812 годъ», почему только въ отрывочныхъ наброскахъ осталась трагедія «Грузинская ночь»? Основныя черты того историческаго явленія, которое изображено въ «Горѣ отъ ума», состоянія общества, современнаго поэту, были такого рода, что задача возсозданія этого историческаго явленія соотвѣтствовало характеру его творчества, именно потому, что онъ ближайшимъ образомъ переживалъ на себѣ процессъ, совершившійся въ жизни общества; другія задачи, которыя онъ себѣ ставилъ, были иного рода, требовали большей способности объективировать образы своего вдохновенія, отвлекаться отъ собственной личности и тѣмъ выходили за намѣченные нами предѣлы его поэтическаго дарованія. Возвести русскую поэзію на эту слѣдующую, высшую ступень развитія, отозваться на все многообразіе жизни суждено было другому, еще болѣе великому и мощному дарованію, поэту, который ко времени окончанія «великой комедіи» уже началъ привлекать огромное вниманіе публики...

Мм. Гг. Черезъ четыре года мы будемъ вновь собираться на праздникъ русской литературы, на свѣтлый праздникъ столѣтняго юбилея Пушкина. Мы достойно приготовимъ себя къ этому дню, поминая предшественниковъ великаго поэта и труды ихъ, которые онъ шелъ завершить своей блестящей поэзіей, какъ разсвѣтъ завершается восходомъ солнца. А среди нихъ почетное мѣсто мы отведемъ Грибоѣдову, мѣсто непосредственнаго предшественника Пушкина <sup>1)</sup>. И всегда свѣжимъ и обаятельнымъ остается для насъ его твореніе: какъ вдохновенный художественный образъ, онъ вновь воспоминается намъ всякій разъ при видѣ явленій, аналогичныхъ изображаемому въ немъ, воспоминается при видѣ борьбы свѣжаго, юнаго міра съ отживающимъ и старымъ, борьбы добра и правды, свѣта и просвѣщенія противъ зла и лжи, мрака и невѣжества.

<sup>1)</sup> Такимъ же предшественникомъ Пушкина въ области лирической поэзіи былъ Батюшковъ. Дѣятельность Пушкина, обнимающая разнообразныя литературныя формы, въ этомъ отношеніи превосходила Грибоѣдовскую.

Служеніе свѣтлымъ началамъ проникаетъ всю дѣятельность Грибоѣдова: какъ на знамени русскаго искусства смѣлою рукою писалъ онъ слова: *правда, искренность, свобода* (принципы, которымъ оно, русское искусство, всегда потомъ старалось быть вѣрнымъ), такъ проведеніе тѣхъ же идеаловъ и въ жизни представляетъ, съ одной стороны, его личность, а съ другой — самое содержаніе его художественныхъ образовъ. Изъ-за этихъ образовъ сіяетъ намъ его личность, сіяетъ, и сама являясь однимъ изъ дорогихъ, завѣщанныхъ намъ нашимъ прошлымъ, образовъ душевной чистоты и правды. И потому не только высоко цѣнить, но и горячо любить будетъ его всегда потомство, оправдывая надпись, которую любящая рука начертала на надгробномъ памятникѣ безвременно угасшаго поэта: «Умъ и дѣла твои безсмертны въ памяти русской».

*Кадлубовскій.*

### Крестьянскій вопросъ и Грибоѣдовъ.

Въ произведеніяхъ Грибоѣдова мы находимъ самое энергичное бичеваніе крѣпостного права. Еще въ студенческіе годы семнадцатилѣтнимъ юношей (въ 1812 г.) авторъ «Горя отъ ума» набрасываетъ оконченную впоследствии вмѣстѣ съ Катенинымъ въ 1817 г. комедію въ трехъ дѣйствіяхъ «Студентъ», которая представляетъ уже попытку общественной сатиры. Богатое и вліятельное лицо Звѣздовъ говорить въ ней, между прочимъ:

«Да отправить старосту изъ жениной деревни, наказъ ему крѣпко накрѣпко, чтобъ Фомка плотникъ не отлынивалъ отъ оброку и внесъ бы 25 рублей непременно, слышите ль: 25 рублей до копѣйки. Какое мнѣ дѣло, что у него сынъ въ рекруты отданъ, то рекрутъ для царя, а оброкъ для господина: такъ чтобъ 25 рублей были наготовѣ. Онъ видно шутить 25 рублями, прошу покорно, да гдѣ ихъ сыщешь? Кто мнѣ ихъ подарить? на улицѣ, что ли валяются. 25 рублей очень дѣлаютъ счетъ въ нынѣшнее время, очень, очень... говорятъ, что все подешевѣетъ, а между тѣмъ все вздорожало, такъ чтобъ Фомка внесъ 25 рублей, слышите ль сполна 25 рублей; хоть роди, да подай».

Въ 1816 г. Грибоѣдовъ встрѣчается на почвѣ массонства съ такими людьми, какъ Чаадаевъ и Пестель, вмѣстѣ съ которыми онъ состоитъ членомъ ложи «des amis réunis», затѣмъ знакомится съ Пушкинымъ въ пору наиболѣе отрицательнаго его отношенія къ современному общественному строю и сближается съ Александромъ Одоевскимъ, впоследствии извѣстнымъ декабристомъ. Понятно, что всѣ эти связи могли только содѣйствовать тому отрицательному отношенію къ окружающему Грибоѣдова обществу, зачатки котораго обнаружили еще въ его юношеской комедіи. Возвратившись вновь къ задуманному въ молодости плану сатиры въ драматической формѣ на правящіе классы общества, онъ приступаетъ съ 1816 г. къ обработкѣ своей комедіи, «Горе отъ ума»,

трудится надъ нею и на службѣ въ Персіи, куда онъ отправился въ 1818 г., и въ Тифлисѣ, куда былъ переведенъ въ 1822 г. Черезъ два года, во время продолжительнаго пребыванія автора на сѣверѣ, «Горе отъ ума» было окончено, и Грибоѣдовъ начинаетъ хлопотать о принятіи его комедіи на сцену, при чемъ приходится ослаблять или исключать рѣзкія мѣста, но тѣмъ не менѣе, все-таки, встрѣчаются неодолимыя препятствія. Директоръ театровъ Кокошкинъ представляетъ московскому губернатору кн. Д. В. Голицыну, что «Горе отъ ума» — прямой пасквиль на Москву, а въ Петербургѣ предсказывали, что эта комедія возбудитъ неудовольствіе всего дворянства. Несмотря на поддержку нѣкоторыхъ вліятельныхъ лицъ, хлопоты о допущеніи пьесы на сцену остались безуспѣшными; даже устроенное было тайкомъ учениками театральной школы представленіе ея (при чемъ репетиціями руководилъ самъ авторъ) не состоялось вслѣдствіе приказанія генералъ-губернатора Милорадовича, имѣвшаго какіе-то счеты съ Грибоѣдовымъ. Лишь три года спустя, автору въ первый и единственный разъ въ жизни удалось увидать на сценѣ свою комедію, когда она въ 1827 г. была сыграна на офицерскомъ театрѣ въ Эривани. Только въ 1831 г. «Горе отъ ума» было вполне представлено на петербургской и московской сценахъ (до того давались нѣкоторые акты порознь). Точно такъ же Грибоѣдову не суждено было дожидаться полнаго изданія своей пьесы, изъ которой лишь въ 1825 г. появилось нѣсколько отрывковъ въ альманахахъ «Русская Талія» Булгарина; всѣ же четыре акта были напечатаны, хотя и съ пропусками, только въ 1833 г., когда вся Россія уже знала «Горе отъ ума» наизусть по тысячамъ ходившихъ по рукамъ еписковъ. Въ «Библіотекѣ для Чтенія» (1834 года, т. I) произведеніе Грибоѣдова было прямо названо комедіей политической и сравнено съ знаменитой «Свадьбой Фигаро» Бомарше. Остановимся на тѣхъ мѣстахъ «Горя отъ ума», гдѣ затрогивалось крѣпостное право.

Въ первомъ дѣйствіи, въ бесѣдѣ съ Софьей, Чацкій, перебирая разныхъ знакомыхъ, вспоминаетъ одного любителя театра, который «самъ толстъ, — его артисты тощи», и который, давая балы, заставляетъ своего человѣка щелкать за ширмами соловьемъ. По объясненію Веселовскаго, оригиналомъ для автора въ этомъ случаѣ послужилъ помѣщикъ Поздняковъ, большой театраль, устроившій у себя въ домѣ, на Никитской, театръ, гдѣ играли его крѣпостные <sup>1)</sup>.

Въ первоначальной редакціи извѣстнаго монолога Чацкаго «А судьи кто?» онъ, между прочимъ, говоритъ про московскихъ дворянъ, что «въ заслуги ставили имъ души родовыя». Въ томъ же монологѣ находится знаменитое мѣсто «о Несторѣ негодяевъ знатныхъ», промѣнявшемъ на три борзыхъ собаки своихъ слугъ, не разъ спасавшихъ его жизнь и честь, и о другомъ баринѣ, который

На крѣпостной балетъ сигналъ на многихъ фурахъ  
Отъ матерей, отцовъ отторженныхъ дѣтей.

<sup>1)</sup> Очеркъ первоначальной исторіи «Горя отъ ума» въ «Русск. Архивѣ» 1874 г. т. I, 1557—«Русская Библіотека», изд. Стасюлевича, т. I.

А затѣмъ всѣ эти «амуры и зефиры» были «распроданы поодиночкѣ». Эти мѣста настолько памяты всѣмъ, что нѣтъ надобности приводить ихъ вполнѣ. Дѣйствительность подобныхъ фактовъ несомнѣнна: они были возможны и случались до самаго уничтоженія крѣпостного права.

Въ третьемъ дѣйствіи комедіи Хлестова говоритъ, что Загорѣцкій ей «двонхъ арабченковъ на ярмаркѣ досталъ». Напомнимъ, что на ярмаркахъ, какъ, напримѣръ, Урюпинской, производился въ это время наглый торгъ крѣпостными, не остановленный и запретительнымъ указомъ императора Александра I. Наконецъ, въ послѣднемъ дѣйствіи Фамусовъ отправляетъ, въ видѣ наказанія, горничную Лизу въ деревню ходить за птицами и, раздраженный небрежностью швейцара, кричить: «Въ работу васъ, на поселенье васъ!» Нужно не забывать для правильного пониманія этого мѣста, что, утративъ при Александрѣ I право отправлять своихъ крѣпостныхъ въ каторжную работу, помѣщики сохранили право сослать ихъ на поселенье въ Сибирь<sup>1)</sup>.

Мы уже указывали въ первомъ томѣ нашей книги на энергичное бичеваніе крѣпостного права въ безсмертной комедіи Грибоѣдова. Гораздо менѣе «Горя отъ ума» извѣстны сохранившіеся отрывки изъ трагедіи Грибоѣдова «Грузинская ночь», задуманной во время пребыванія автора на Кавказѣ въ 1827—1828 гг., но для насъ они не менѣе любопытны, такъ какъ авторъ и здѣсь затрогиваетъ крѣпостное право. Правда, отрывки эти въ свое время въ печати не появились, но они доказываютъ, что, не помѣшай безвременная смерть геніальному автору, онъ нанесъ бы еще не мало жестокихъ ударовъ крѣпостному праву. Завязка трагедіи состоитъ въ томъ, что одинъ грузинскій князь, въ видѣ выкупа за любимаго коня, отдаль другому князю отрока, своего раба. Это было дѣломъ обыкновеннымъ, а потому онъ не думаль о послѣдствіяхъ своего поступка. Вдругъ является мать отрока, бывшая кормилица князя, няня его дочери, и упрекаетъ его въ безчеловѣчномъ поступкѣ. Дошедшій до насъ отрывокъ начинается именно въ этомъ мѣстѣ.

Князь. Но самъ я развѣ радъ твоей печали?

Вини себя и старость лѣтъ своихъ.

Давно съ тебя и платы не бирали.

Т. (кормилица). Ругаться старостью-то въ лютыхъ вашихъ нравахъ.

Стара я, да, но не отъ лѣтъ однихъ!

Состарилась не въ играхъ, не въ забавахъ:

Твой домъ блюла, тебя, дѣтей твоихъ.

Какъ ринулся въ мятежъ ты противъ русской  
силы,

Укрыла я тебя живого отъ могилы

Моимъ же рубищемъ отъ тысячи смертей.

<sup>1)</sup> Декабристъ Бѣляевъ въ своихъ воспоминаніяхъ говоритъ: «Комедія «Горе отъ ума» ходила по рукамъ въ рукописи; слова Чацкаго: «всѣ распроданы поодиночкѣ» приводили въ ярость». «Русская Старина», 1881 г., т. XXX, 488.



Когда жъ былъ многія години въ заточеньи,  
Безславью преданный въ отеческомъ краю,

.....  
Вынашивала я, кормила дочь твою...

.....  
А ты! Ты, совѣсти и Богу вопреки,

Полсердца вырвалъ изъ утробы!

Что мнѣ твой гнѣвъ? Гроза твоей руки?

Пылай, гори огнемъ несправедливой злобы...

И кочеть, если взять его птенца,

Кричить, крылами бьеть съ свирѣпостью борца,

Онъ похитителя зоветъ на бой неравный;

И мнѣ передъ тобой не можно умолчать,—

О сынѣ я скорблю: я человекъ, я мать...

Гдѣ громъ твой, власть твоя, о Боже Все-  
державный?

Князь, съ нетерпѣніемъ выслушивая упреки кормилицы, наконецъ, напоминаетъ, что имѣлъ право такъ поступить: «онъ былъ мой крѣпостной». Кормилица требуетъ или возвратить ей сына или отдать и ее тому же господину. Князь приказываетъ ей молчать или убираться прочь съ его глазъ. Кормилица проклинаетъ князя, идетъ въ лѣсъ и призываетъ на помощь въ своей мести Али, злыхъ духовъ Грузин. При этомъ она восклицаетъ:

О люди! Кто назвалъ людьми исчадье зла.

Которыхъ отъ кровей утробныхъ

Судьба на то произвела,

Чтобъ были гибелью, бичемъ себѣ подобныхъ!

Изъ приведеннаго отрывка видно, что авторъ далеко еще не успѣлъ обработать это произведеніе по формѣ, но по основной идеѣ оно весьма замѣчательно для своего времени. Очевидно, Грибоѣдовъ, подобно своимъ друзьямъ-декабристамъ, считалъ крѣпостное право самымъ вопіющимъ зломъ современнаго общественнаго строя и готовъ былъ употребить на борьбу съ нимъ всѣ силы своего ума и таланта.

*Семевскій.*

## Отношеніе Грибоѣдова къ театру и литературное потомство „Горе отъ ума“.

Въ литературной судьбѣ Александра Сергѣевича было какое-то своеобразное предопредѣленіе: все способствовало тому, чтобы подготовить Грибоѣдова къ созданію «Горя отъ ума». Въ студенческіе годы онъ пристально изучалъ римскихъ комиковъ Плавта и Теренція. Въ самомъ университетѣ и въ университетскомъ благородномъ пансіонѣ тогда существовали театры, съ опытными руководителями, богатымъ гардеробомъ и декораціями; студенческіе спектакли бывали такъ хороши, что привлекали лучшее общество. За стѣнами уни-

верситета въ барской Москвѣ было огромное количество домашнихъ театровъ, гдѣ актерами являлись крѣпостные. Иногда эти театры бывали обставлены такъ роскошно и умѣло, что могли соперничать съ публичными. Отсюда крѣпостные актеры попадали на императорскую сцену; изъ крѣпостного театра вышелъ знаменитый артистъ Щепкинъ. Любимымъ развлеченіемъ московскихъ баръ были также «благородные спектакли», т.-е. любительскіе дворянскіе, и есть данныя утверждать, что Грибоѣдовъ, отличный декламаторъ, принималъ дѣятельное участіе въ такихъ спектакляхъ. Къ студенческимъ годамъ Грибоѣдова относится и возникновеніе въ Москвѣ императорскаго театра. Слѣдуетъ вообще замѣтить, что театральное дѣло въ Москвѣ до 1812 года было поставлено гораздо выше, чѣмъ въ Петербургѣ, и юноша Грибоѣдовъ, формировавшій тогда свои литературные вкусы и дѣлавшій первыя пробы пера, жилъ въ атмосферѣ, полной театральныхъ увлеченій. Между прочимъ, въ отличіе отъ Петербурга, гдѣ близость двора къ знати высказывалась пристрастіемъ сцены къ ложноклассицизму, въ Москвѣ, гдѣ сильнѣе было вліяніе средняго и провинціального дворянства и купечества, въ началѣ вѣка процвѣтала такъ называемая «коцебятина», мѣщанская драма и Familiengemälde. Малохудожественная и излишне «слѣзная», но зато свободная отъ ложноклассической ходульности, мѣщанская драма сближала театръ съ жизнью, давала больше простора реализму и въ пьесѣ и въ актерской игрѣ. Сохранились цѣнныя показанія современниковъ о томъ, какой жизненной и яркой становилась въ мѣщанской драмѣ игра актеровъ, напыщенныхъ и блѣдныхъ въ классическомъ репертуарѣ. И, быть, можетъ, здѣсь надо искать источника первыхъ симпатій Грибоѣдова къ художественному реализму. Пожаръ 1812 года надолго приостановилъ развитіе театральнаго дѣла въ Москвѣ, и театральная гегемонія перешла къ Петербургу. Послѣ заграничныхъ походовъ 1813—1814 годахъ въ Петербургѣ вмѣстѣ съ подъемомъ общественной жизни начался расцвѣтъ сцены и драмы, охарактеризованной такъ изящно Пушкинымъ въ «Онѣгинѣ». Выдвинулся цѣлый рядъ богато одаренныхъ артистовъ, какъ Яковлевъ, Семенова, Каратыгины. Традиционный классическій репертуаръ обогатился произведеніями Озерова, сумѣвшаго скрасить условности и дефекты старой манеры струей сентиментализма. А потомъ на сцену ворвался «шумный рой» пьесъ новаго жанра, принадлежавшихъ перу князя Шаховскаго, Хмельницкаго, Загоскина. Чтобъ ознакомиться съ этимъ новымъ репертуаромъ, достаточно дать справку о литературной дѣятельности кн. А. Х. Шаховскаго, наиболѣе плодовитаго драматурга александровскаго времени (ему принадлежитъ до ста драматическихъ произведеній). Вотъ названія нѣкоторыхъ изъ его пьесъ: «Новый Стернь» — комедія; «Любовная почта» — опера; «Бѣглець отъ своей невѣсты» — комическая опера съ хорами и балетомъ; «Полубарскія затѣи, или домашній театръ» — бытовая комедія съ хорами и балетомъ; «Дебора» — трагедія въ стихахъ съ хо-

рами; «Ломоносовъ или рекрутъ-стихотворецъ» — опера-водевиль; «Карачунъ» — волшебнo-комическое представлѣніе съ хорами, балетомъ и сраженіями; «Игнашка-дуракъ, или нечаянное сумасшествіе» — водевиль; «Тайнственный карло или долина черного камня» — романтическая комедія; «Алеппскій горбунъ» — волшебный водевиль; «Керимъ-Гирей» — романтическая трилогія съ пѣніемъ, хорами и танцами; «Соколъ князя Ярослава Тверскаго или суженый на бѣломъ конѣ» — историческая быль съ пѣснями, плясками, хорами и борьбою рыцарей. Какъ видимъ, кн. Шаховской культивировать жанръ легкой комедіи, водевиля и опереты, а также — «по духу времени и вкусу» — романтическую драму. Во всемъ этомъ было мало оригинальнаго; драматурги александровскаго времени щедрой рукой брали изъ французской, нѣмецкой, англійской литературы. Но было кое-что и свое собственное. Языкъ драматической литературы пріобрѣталъ большую гибкость и блескъ; въ изображаемыхъ типахъ и нравахъ мелькали черты подлиннаго русскаго быта, что уже подготовляло реалистическую русскую бытовую драму. Одного здѣсь не было: значительности содержанія.

Грибоѣдовъ былъ страстный театраль. Попавъ послѣ нѣсколькихъ лѣтъ военной службы въ захолустьи въ Петербургъ, онъ всей душой отдался театральнымъ увлеченіямъ, интересамъ, интригамъ. Въ театральномъ мірѣ столицы онъ оказался своимъ человѣкомъ; и это отразилось въ характерѣ его литературной дѣятельности. Грибоѣдову принадлежать нѣсколько драматическихъ произведеній, написанныхъ или переведенныхъ имъ однимъ или въ сотрудничествѣ съ такими же записными театрами. Въ 1815 году была впервые поставлена его комедія въ одномъ дѣйствіи «Молодые супруги» (передѣлка «Le secret du ménage» Creuze de Lesser); позже, при участіи П. А. Катенина, написана трехъактная комедія «Студентъ». Въ 1817 году для бенефиса Валберховой написана въ сотрудничествѣ съ кн. Шаховскимъ и Хмельницкимъ комедія «Своя семья», гдѣ Грибоѣдову принадлежать пять первыхъ сценъ второго дѣйствія. Въ томъ же году была представлена «Притворная невѣрность», одноактная комедія, передѣланная съ французскаго («Les fausses infidelités» N. Th. Barth) при содѣйствіи А. Жандра. Въ 1819 году къ бенефису Брянскаго изготовленъ дивертисментъ «Проба интермедіи». Отъ трагедіи «Родамистъ и Зенобія», драмы «1812-й годъ», пролога «Юность вѣщаго» и трагедіи «Грузинская ночь» до насъ дошли только планы и отрывки. Въ 1824 году была представлена «новая опера-водевиль въ одномъ дѣйствіи» — «Кто братъ, кто сестра, или обманъ за обманомъ», написанная въ сотрудничествѣ съ кн. П. А. Вяземскимъ и снабженная музыкою А. Н. Верстовскаго. Итого — десять драматическихъ произведеній, не считая «Горя отъ ума». Изъ нихъ-тѣ, что было задумано серьезно, осталось неосуществленнымъ, а что было закончено и ставилось на сценѣ, не имѣетъ большой литературной цѣнности. Все это было написано

по рецепту, мѣтко охарактеризованному Грибоѣдовымъ въ словахъ Репетилова:

Я, когда умпшкомъ понатужась,  
 Засяду — часу не сижу,  
 И какъ-то невзначай вдругъ каламбуръ рожу.  
 Другіе у меня мысль эту же подцѣпять,  
 И шестеромъ, глядь, водевильчикъ слѣпять;  
 Другіе шестеро на музыку кладутъ;  
 Другіе хлопаютъ, когда его даютъ.

Самъ Грибоѣдовъ не придавалъ такимъ своимъ работамъ большой цѣны, и для насъ онѣ интересны, лишь посколькѣ въ нихъ выработывалась художественная мысль и манера Александра Сергѣевича. Такъ, въ «Студентѣ» мы уже улавливаемъ мотивъ сатиры на крѣпостниковъ; въ сценахъ «Своей семьи» замѣтны проблески бытового реализма. Хотя, опять повторимъ, всѣ эти драматическіе этюды мало готовятъ изслѣдователя и читателя къ блестящимъ картинамъ «Горя отъ ума».

Когда русское общество впервые прочло въ рукописныхъ копияхъ славную комедію, гениальная живопись ея ошеломила читателей: такъ мало они были подготовлены и предыдущимъ развитіемъ русской драматической литературы и прежней литературной дѣятельностью водевилиста Грибоѣдова. А между тѣмъ авторъ работалъ надъ своимъ любимымъ произведеніемъ давно. Есть показанія, что первый замыселъ сатирической драмы возникъ у Грибоѣдова еще въ университетскіе годы. Но если бы это оказалось и невѣрно, все же Грибоѣдовъ работалъ надъ комедіей не менѣе десяти лѣтъ, — весь свой литературный вѣкъ. Не всѣ моменты этой работы можно прослѣдить: исчезли или не найдены нѣкоторыя драгоцѣнныя рукописи, звенья длинной цѣпи. Въ первоначальномъ замыслѣ комедіи предполагалось вывести жену Фамусова, московскую щеголиху. Недавно найденная и опубликованная драгоцѣнная рукопись ранней редакціи «Горя отъ ума» показываетъ, какъ бывали существенныя дополненія и измѣненія, вносимыя Грибоѣдовымъ. Въ этомъ автографѣ отсутствуетъ большая сцена заигрыванія Молчалина съ Лизой и обличенія его Софьей, въ четвертомъ актѣ, чтò существенно видоизмѣняло положеніе дѣйствующихъ лицъ и характеръ развязки. Позже авторъ вставилъ здѣсь цѣлыхъ шестьдесятъ восемь стиховъ, придавшихъ четвертому акту много драматизма; объ этомъ онъ съ глубокимъ удовлетвореніемъ сообщалъ Бѣгичеву: «на дорогѣ пришло мнѣ въ голову придѣлать новую развязку; я ее вставилъ между сценою Чацкаго, когда онъ увидѣлъ свою негодяйку со свѣчою надъ лѣстницею, и передъ тѣмъ, какъ ему обличить ее; живая, быстрая вещь, стихи искрами посыпались въ самый день пріѣзда». Правда, и въ позднѣйшей редакціи не все оказалось «гладко, какъ стекло». Въ огромномъ корпусѣ комедіи остались навсегда трещины и спайки. Во второмъ дѣйствіи Фамусовъ велитъ Петрушкѣ черкнуть

«противу будущей недѣли: въ четвергъ я званъ на погребенье». Сколько же дней пролежитъ покойникъ? Повидимому, не менѣе шести, если Фамусовъ дѣлалъ календарныя замѣтки въ пятницу на прошлой недѣлѣ (въ воскресенье не занимаютъ дѣловыми бумагами, а въ субботу, подъ праздникъ, не танцуютъ), что едва ли вѣроятно. Такъ же мало вѣроятно, чтобы Софья, просидѣвшая всю предыдущую ночь съ Молчалинымъ, цѣлый день потомъ бывшая на ногахъ и перенесшая много неприятностей, затѣмъ танцовавшая весь вечеръ, нашла въ себѣ силы провести съ Молчалинымъ вторую бессонную ночь. Въ третьемъ дѣйствии Чацкій произноситъ:

Въ чьей по несчастью головѣ  
Пять-шесть найдется мыслей здравыхъ,  
И онъ осмѣлится ихъ гласно объявлять —  
Глядь... —

и «оглядывается; всѣ въ вальсѣ кружатся съ величайшимъ усердіемъ». По смыслу сцены, Чацкій тотчасъ же долженъ бы убѣжать съ бала. А балъ только что начался. Между уходомъ Чацкаго и разъѣздами гостей, т.-е. началомъ четвертаго дѣйствія, должно пройти нѣсколько часовъ. Первыми уѣзжаютъ съ бала графини бабушка и внучка, потомъ Горичевы, и только послѣ нихъ является Чацкій и говорить лакею:

Кричи, чтобы скорѣе подавали.

Гдѣ же онъ пробылъ эти три-четыре часа? Можно бы отмѣтить еще нѣсколько подобныхъ несообразностей, не исправленныхъ поэтомъ. Нѣкоторые эстетическіе недочеты комедіи однако слѣдуетъ поставить въ вину не автору, а «духу времени»; они живо напоминаютъ намъ о связяхъ Грибоѣдова съ тогдашними представителями легкой комедіи и водевиля. Рефлексы водевильной манеры сильно сказываются въ «Горѣ отъ ума». Роль Лизы безнадежно испорчена выходками французской субретки. Въ рѣчахъ другихъ дѣйствующихъ лицъ много буффонадъ, рассчитанныхъ на смѣхъ невзыскательныхъ зрителей. Заключительныя слова перваго дѣйствія (о трудной «комиссиіи быть взрослой дочери отцомъ») Фамусовъ произноситъ какъ водевильный папаша, и мы этого не замѣчали только потому, что его слова стали поговоркой. Отвѣтъ Скалозуба на вопросъ: «какъ вамъ доводится Настасья Николаевна?» — явная карикатура:

Не знаю-съ, виновать:  
Мы съ нею вмѣстѣ не служили.

Невѣроятно, чтобы Фамусовъ въ похвалу московскому обществу говорилъ:

Хоть честный человекъ, хоть нѣтъ —  
Для насъ равнехонько — про всѣхъ готовъ обѣдъ.

На дешевый эффектъ рассчитанъ разговоръ глухой графини бабушки съ Загорѣцкимъ и княземъ Тугоуховскимъ о Чацкомъ, какъ и паденіе Репетилова при входѣ.

Но эти и подобные вольные и невольные промахи и недочеты не замѣчаются, когда созерцаешь прекрасное созданіе Грибоѣдова въ цѣльномъ. И надо признаться, что историку литературы легче связать «Горе отъ ума» съ предыдущимъ развитіемъ русской литературы, отмѣчая его эстетическіе недостатки, чѣмъ объясняя его поэтическія достоинства. Недостатки легко объясняются пережитками ложноклассицизма, дурнымъ вліяніемъ водевильной манеры.

Но достоинства комедіи такъ велики, она такъ мало похожа на своихъ предшественницъ и сверстницъ, словно гора высится на плоской равнинѣ. То отмѣченное выше обстоятельство, что драматургія александровскаго времени сдѣлала нѣкоторыя пріобрѣтенія въ области литературнаго языка и реалистической манеры, объясняетъ въ художественныхъ достоинствахъ «Горя отъ ума» только нѣкоторую и незначительную долю. Огромную долю этихъ достоинствъ слѣдуетъ отнести на счетъ высокаго и своеобразнаго дарованія автора. Тайна поэтическаго генія, всегда скрывающая отъ изслѣдователя литературы извѣстную долю подлежащаго изученію матеріала, здѣсь особенно велика. Какъ мы знаемъ, другія произведенія Грибоѣдова не блещутъ поэтическими достоинствами. Въ теоретическихъ взглядахъ Александра Сергѣевича было много архаизма. Но живопись «Горя отъ ума» несравненна по яркости и силѣ, а разсужденія Грибоѣдова о задачахъ драматурга поражаютъ своей новизной и глубиной. Это именно Грибоѣдову, поклоннику «словенорусской стихіи», принадлежитъ декларація новой драматургіи, писанная въ отвѣтъ на придирки укаго классика Катенина: «Дарованія болѣе, нежели искусства. Самая лестная похвала, которую ты могъ мнѣ сказать; не знаю, стою ли ея? Искусство въ томъ только и состоитъ, чтобы поддѣлываться подъ дарованіе, а въ комъ болѣе вытвержденнаго, пріобрѣтеннаго потомъ и мученіемъ искусства угождать теоретикамъ, т.-е. дѣлать глупости, въ комъ, говорю я, болѣе способности удовлетворять школьнымъ требованіямъ, условіямъ, привычкамъ, бабушкинымъ преданіямъ, нежели собственной творческой силы, тотъ, если художникъ, разбей свою палитру и кисть, рѣзецъ или перо свое брось за окошко! Знаю, что всякое искусство имѣетъ свои хитрости, но чѣмъ ихъ менѣе, тѣмъ скорѣе дѣло, и не лучше ли вовсе безъ хитростей? *Nugae difficiles*. Я какъ живу, такъ и пишу свободно и «свободно». Собственная творческая сила влекла поэта къ реалистическому воспроизведенію общественной жизни. Доставляетъ наслажденіе наблюдать эту инстинктивную художественную силу даже въ деталяхъ пьесы, напр., въ авторскихъ ремаркахъ. Онѣ часто прелестны. Тонко отмѣчены оттѣнки въ интонаціяхъ Софьи и Чацкаго въ VII явленіи перваго дѣйствія: принужденно; минутное молчаніе. Послѣ словъ Молчалина: «въ чинахъ мы небольшихъ», Чацкій произноситъ почти громко:

Съ такими чувствами, съ такой душою,  
Любимъ! Обманщица смѣялась надо мною!

Встрѣчая семью Тугоуховскихъ, Наталья Дмитриевна привѣтствуетъ ее тоненькимъ голосомъ. Свою знаменитую реплику: «А если бѣ, между нами, былъ цензоромъ назначенъ я, на басни бы налегъ», Загорѣцкій произноситъ съ кротостью.

Но помимо инстинктивныхъ тяготѣній личнаго дарованія, помимо обозначившейся въ литературѣ еще до Грибоѣдова тенденціи къ реализму, въ опредѣленіи художественной манеры «Горя отъ ума» имѣлъ силу еще одинъ факторъ — сама жизнь. Напряженная жизнь александровскаго общества, ставъ содержаніемъ комедіи, предопредѣлила ея форму: реалистическую, вновь подтверждая то положеніе, что литературныя формы развиваются не органически, *sua sponte*, но толчками, въ перебоѣ запросовъ жизни, творящей литературу. Достоинство бытовыхъ картинъ «Горя отъ ума» самоочевидно. Отдѣльные типы, положенія, даже намеки раскрыты историческою критикою. Только Чацкій долго вызывалъ разногласія своею кажущеюся двойственностью. Теперь мы видѣли, что и его радикализмъ и него национализмъ одинаково сближаютъ его съ передовыми дѣятелями того времени. Кровное родство Чацкаго съ декабристами мѣтко опредѣлено въ университетскихъ чтеніяхъ знаменитаго московскаго профессора: «Большею частью то были добрые и образованные молодые люди, которые желали быть полезными отечеству, проникнуты были самыми чистыми побужденіями и глубоко возмущались при встрѣчѣ съ каждой, даже съ самой привычною, несправедливостью, на которую равнодушно смотрѣли ихъ отцы. Очень многіе изъ нихъ оставили послѣ себя автобіографическія записки; нѣкоторые вышли недурными писателями. На всѣхъ ихъ произведеніяхъ лежитъ особый отпечатокъ, особый колоритъ, такъ что вы, вчитавшись въ нихъ, даже безъ особыхъ біографическихъ справокъ, можете угадать, что новое произведеніе написано декабристомъ. Я не знаю, какъ назвать этотъ колоритъ. Это соединеніе мягкой и ровной, совсѣмъ не рѣжущей, мысли съ задушевнымъ и опрятнымъ чувствомъ, которое чуть окрашено грустью; у нихъ всего меньше соли и желчи ожесточенія; такъ пишутъ хорошо воспитанные молодые люди, въ которыхъ жизнь еще не опустошила юношескихъ надеждъ, въ которыхъ первый пылъ сердца зажгли не думы о личномъ счастьи, а стремленіе къ общему добру. Впрочемъ, мнѣ едва ли нужно много говорить объ этомъ тонѣ: мы его хорошо знаемъ по самому серіозному политическому произведенію русской литературы XIX вѣка. Этотъ типъ, какъ живой, стоитъ предъ нами въ неутомимой, негодующей и непобѣдимо бодрой, но при этомъ неустанно мыслящей фигурѣ Чацкаго»; декабристъ послужилъ идеаломъ, съ котораго списанъ Чацкій. Зато и декабристы высоко цѣнили «Горе отъ ума» и сильно переживали его воздѣйствія. Декабристъ Бѣляевъ въ своихъ воспоминаніяхъ говоритъ: «Комедія «Горе отъ ума» ходила по рукамъ въ рукописи; слова Чацкаго: «всѣ распроданы поодионокѣ», приводили въ ярость». Когда декабристу барону В. И. Штейнгейлю при-

шлось отвѣчать слѣдственной комиссіи: «какія сочиненія наиболѣе способствовали развитію въ немъ либеральнѣхъ взглядовъ», онъ указалъ: «изъ не напечатанныхъ — сочиненія Грибоѣдова». Въ запискахъ Завалишина сохранилось еще одно цѣнное сообщеніе. Осенью 1825 года въ средѣ Сѣвернаго общества возникла мысль разослать эмиссаровъ въ провинцію, чтобъ изучить на мѣстахъ политическіе взгляды и настроенія общества. Съ другой стороны, литературные дѣятели захотѣли воспользоваться предстоящими отпусками офицеровъ для распространенія въ рукописи комедіи Грибоѣдова «Горе отъ ума», не надѣясь никакимъ образомъ на дозволеніе напечатать ее. Нѣсколько дней сряду собирались у Одоевского, у котораго жилъ Грибоѣдовъ, чтобы въ нѣсколько рукъ списывать комедію подъ диктовку. Такимъ образомъ художественному произведенію усвоилась роль агитаціонной брошюры.

Помимо сильнаго вліянія на дальнѣйшее общее развитіе русской литературы, которое несомнѣнно, но съ трудомъ поддается точному учету, «Горе отъ ума» ближайшимъ образомъ обаятельно дѣйствовало на сознаніе русскихъ драматурговъ, и здѣсь возможны точныя указанія. Сильное подражаніе Грибоѣдову находимъ въ комедіи М. Н. Загоскина «Недовольные» (1836), въ трагедіи И. Е. Великопольскаго «Владимиръ Влонской» (1837). Вліяніе филиппикъ Чацкаго противъ крѣпостнаго права чувствуется и въ юношеской драмѣ Бѣлинскаго «Дмитрій Калининъ»; не даромъ въ студенческомъ кружкѣ Бѣлинскаго «безпрестанно декламировали цѣлыя сцены изъ комедіи Грибоѣдова, которая тогда еще не была напечатана». Несомнѣнно, что бессмертная комедія оказала свое вліяніе и на создателя «Ревизора». «Ревизоръ» былъ задуманъ въ тѣ годы, когда комедія «Горе отъ ума» впервые появилась въ печати, и о ней всѣ говорили. Тогда С. Т. Аксаковъ подмѣтилъ, что Гоголя «русская комедія сильно занимала»; свои размышленія о «Горѣ отъ ума» Гоголь изложилъ потомъ въ «Перепискѣ съ друзьями». Далѣе слѣдуетъ упомянуть многочисленные перепѣвы, передѣлки и «продолженія» «Горя отъ ума»: «Утро послѣ бала у Фамусова», комедія-шутка В\* (1844); «Возвратъ Чацкаго въ Москву» графини Е. П. Ростопчиной (1865); «Горе отъ ума», комедія московской жизни Марка Ярона (1881); «Горе отъ ума, чрезъ 50 лѣтъ послѣ Грибоѣдова» В. Куницкаго (1883); «Милліонъ терзаній» П. И. Вейнберга (1895) и другія. Но въ этомъ литературномъ потомствѣ «Горя отъ ума» не было достойныхъ наслѣдниковъ. Когда же, наконецъ, русское общество получило политическую сатиру съ такой же глубиной захвата, это была не комедія въ стихахъ, а великолѣпная проза Салтыкова-Щедрина. А политической комедіи мы ждемъ и доселѣ.



## Общественное значеніе Грибоѣдова, какъ писателя.

Въ комедіи «Горе отъ ума» — одна только мысль, одна идея, проникающая ее отъ начала до конца и сообщающая ей единство, какъ истинно художественному произведенію. Мысль эта — борьба поваго со старымъ, свѣтлаго въ нашей жизни съ темнымъ. Изъ темной стороны нашей жизни, изображенной въ комедіи, одно уже отжило тогда свой вѣкъ и лишь держалось въ памяти и рисовалось въ воображеніи стариковъ, какъ идеаль, съ которымъ тяжело имъ было разстаться. Другое стояло прочно и нескоро уступило свое мѣсто новому, а третье продолжаетъ держаться и теперь. Свѣтлое въ тогдашней жизни тоже не ново было тогда, оно проявлялось и прежде; и прежде раздавались голоса передовыхъ людей и противъ низкопоклонничества, и противъ злоупотребленія крѣпостнымъ правомъ, и противъ рабскаго преклоненія предъ иноземнымъ, противъ рабства во всѣхъ его видахъ. Противъ этого ратовала сатирическая литература XVIII в. Во времена Грибоѣдова свѣтлое вступило смѣлѣе въ борьбу съ темнымъ и постепенно начало вытѣснять послѣднее. Этотъ процессъ вытѣсненія продолжается и теперь. Оттого-то и представитель свѣтлой стороны Чацкій не теряетъ значенія и доселѣ. Онъ боець за одну великую идею, — идею самостоятельнаго развитія всего русскаго народа, развитія его въ связи съ общеевропейскимъ просвѣщеніемъ, но безъ рабскаго преклоненія предъ иностраннымъ.

Во времена Грибоѣдова отжило свой вѣкъ только то, что воспоминаеть Фамусовъ, говоря о Максимѣ Петровичѣ. Это — безумная роскошь, безмѣрное важничанье предъ низшими и сгибанье въ перегибъ передъ высшими, шутовство, прошедшаго житья подлѣйшія черты,

Когда не въ войнѣ, а въ мирѣ брали лбомъ,  
Стучали объ поль, не жалѣя.

Хоть были «охотники поподличать» и въ вѣкъ Грибоѣдова,

Да нынче смѣхъ страшить и держать стыдъ въ уздѣ;  
Не даромъ жалууютъ ихъ скупо государи.

Но это низкопоклонничество не столь грубое, какъ прежде, угодничество передъ нужными людьми, безчестное наживаніе состояній, роскошь, мотовство, важничанье дворянствомъ, злоупотребленіе крѣпостнымъ правомъ, погоня за чинами и орденами, низменные интересы, пустота жизни, небрежное воспитаніе дѣтей, пристрастіе къ иностранцамъ, духъ слѣплаго рабскаго подражанья имъ — все это и многое другое держалось твердо во времена Грибоѣдова.

Чацкій, желая блага своему отечеству, больше всего клеймитъ позоромъ тѣ безобразія, которыя жили въ его время, и въ этомъ его гражданскій подвигъ. Въ этомъ же гражданскій подвигъ и самого Грибоѣдова, творца Чацкаго. Задача Грибоѣдова была не смѣшить, чтобы доставить удовольствіе зрителямъ, — нѣтъ! Онъ добра хотѣлъ

Русской землѣ. Своею комедіею, этимъ острымъ словеснымъ оружіемъ, направленнымъ противъ всего суетнаго и закоснѣлаго въ тогдашней жизни, Грибоѣдовъ много содѣйствовалъ и развитію нашего самосознанія и поступательному движенію въ нашей жизни. Послѣ Грибоѣдова стало падать то, что прп немъ стояло твердо. Лѣтъ черезъ сорокъ пало крѣпостное право, а съ нимъ и разныя злоупотребленія въ родѣ обмѣна вѣрныхъ слугъ на борзыхъ собакъ, насильственное отторженіе дѣтей отъ родителей и продажа съ аукціона амуровъ и зефировъ.

Скалозубовская похвальба обмундированіемъ первой арміи по модному образцу, съ узкими таліями, обхватомъ въ шагъ и т. п.<sup>1)</sup> теперь всякому кажется смѣшною. Прежняя стѣснительная форма уступила мѣсто формѣ болѣе свободной, удобной, подходящей къ климату. Борода едва ли уже кѣмъ-либо у насъ считается, какъ во времена Бѣлинскаго, помѣхой просвѣщенію и образованности. Борода, какъ невозможное, чтобы появиться ей въ московскомъ благородномъ собраніи, какъ писалъ Бутырскій классикъ по поводу появленія въ печати «Руслана и Людмилы» Пушкина, теперь пріобрѣла у насъ права гражданства повсюду. Настанетъ, несомнѣнно, время, когда и вся высказанная въ монологѣ правда восторжествуетъ, и изъ нашей жизни исчезнетъ и остальное чужевластье модъ, исчезнетъ то, что разсудку вопреки и наперекоръ стихіямъ, — исчезнетъ презрительное отношеніе верхняго слоя общества къ народу, къ его нравамъ, обычаямъ, языку и одеждѣ.

Въ лицѣ Чацкаго Грибоѣдовъ далъ намъ положительный типъ русскаго человѣка, героя, смѣлаго, энергическаго бойца за правду, за водвореніе въ русской жизни новыхъ началъ свѣта, вытѣсняющаго гнѣздящіяся въ ней мракъ и темноту. Какъ лицо живое, взятое изъ дѣйствительной русской жизни, а не созданное по отвлеченнымъ началамъ добра и справедливости, Чацкій имѣетъ и долго будетъ имѣть важное значеніе и въ нашей литературѣ и въ жизни. Своимъ образованіемъ, своею любовью къ просвѣщенію, своимъ теплымъ отношеніемъ къ народу, искреннимъ желаніемъ ему блага, своимъ отвращеніемъ отъ всего дурнаго, пошлаго, низкаго, отъ рабства всякаго рода, онъ указывалъ и указываетъ намъ, чѣмъ долженъ быть просвѣщенный, самостоятельно мыслящій русскій человѣкъ. Созданіемъ Чацкаго Грибоѣдовъ сослужилъ великую службу своему отечеству — Россіи. И эта служба, чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе будетъ пріобрѣтать значеніе. Чѣмъ

<sup>1)</sup> Въ послѣдней редакціи Скалозубъ говоритъ только:

«А въ первой арміи когда отстали? въ чѣмъ?»

Все такъ прилажено и таліи всѣ такъ узки...»

Въ первоначальной, вмѣсто двухъ стиховъ, было четыре:

«А въ первой арміи... какъ выправленъ солдатъ?»

Мундиры пригнаны по таліямъ; всѣ въ обхватъ,

И платья нижнія облѣплены, такъ узки,

Въ шагъ доходятъ, какъ ни въ чѣмъ».

Это — яркія краски, схваченныя съ тогдашняго военнаго обмундированія; онѣ оказались тогда слишкомъ рѣзкими, и потому для печати Грибоѣдовъ передѣлалъ первоначальные стихи.

шире будетъ распространяться гениальная комедія, чѣмъ глубже будетъ она проникать въ умы и сердца русскихъ людей, тѣмъ ярче будетъ блистать въ нашей жизни тотъ свѣтъ, за водвореніе котораго всю жизнь усиленно работалъ, боролся, страдалъ и безвременно погибъ нашъ великій писатель и доблестный гражданинъ А. С. Грибоѣдовъ.

*А. Смирновъ.*

Семьдесятъ пять лѣтъ какъ русское общество не перестаетъ смотрѣть «Горе отъ ума» въ театрѣ; семьдесятъ пять лѣтъ не перестаетъ читать его; семьдесятъ пять лѣтъ изучаетъ его въ школахъ; семьдесятъ пять лѣтъ обогащаетъ изъ него разговорный языкъ; кому изъ насъ не приходилось прибѣгать къ неистощимому запасу мѣткихъ словъ и характеристикъ знаменитаго произведенія?... Все это указываетъ на его великое историческое значеніе. Но въ чемъ собственно причина живучести и долговѣчности произведенія? Заключается ли она въ созданныхъ образахъ, зависитъ ли отъ силы языка, отъ близости изображеннаго общества съ нашею современностью? Все это вмѣстѣ остается не безъ значенія, но не исчерпываетъ всей сущности дѣла. Для разясненія вопроса намѣтимъ общія черты изъ біографіи Грибоѣдова.

Грибоѣдовъ родился въ семьѣ, жившей преданіями старины XVIII вѣка; въ ней дѣйствовали тѣ же мысли и чувства, которыя потомъ широкою кистью изображены въ «Горѣ отъ ума». Артистическая натура Грибоѣдова не находила въ семьѣ поддержки къ образованію, а встрѣчала противодѣйствіе; въ университетъ онъ былъ отданъ не столько для образованія, сколько для чиновъ, для карьеры... Московскій университетъ того времени на ряду съ посредственностью представлялъ уже и много отрадныхъ явленій: можно вспомнить о краснорѣчивомъ Мерзляковѣ, хотя и послѣдователѣ ложно-классической школы, но одаренномъ необыкновеннымъ поэтическимъ чувствомъ и любовью къ поэзіи, воспитавшемъ ихъ и въ своихъ слушателяхъ...

На Грибоѣдова, однако, повліялъ не столько Мерзляковъ, сколько менѣе извѣстный Буле, типъ профессора-гуманиста, рѣдкій даже въ западной Европѣ, соединявшій въ себѣ многостороннія познанія въ классической литературѣ, въ философіи и въ исторіи искусствъ (подобно Лессингу, Гердеру и др.): каталогъ лекцій показываетъ, что Буле читалъ нравственную философію, эстетику, исторію всеобщую, исторію искусствъ, нигдѣ не являясь верхоглядомъ. На Грибоѣдова Буле имѣлъ рѣшающее и опредѣленное вліяніе: онъ заронилъ въ немъ уваженіе и любовь къ наукѣ, къ знанію въ широкомъ смыслѣ слова... Зброшенный службою на дальній востокъ, Грибоѣдовъ вспоминаетъ объ этомъ времени своихъ ученыхъ занятій и возвращается къ нимъ. Любитель науки и изящныхъ искусствъ, знатокъ въ музыкѣ, которая не была исключена изъ предметовъ обученія его семейной среды, Грибоѣдовъ считалъ себя кабинетнымъ ученымъ и тяготился дипло-

матической карьерой въ Персіи и, конечно, могъ тяготиться только благодаря вынесенной изъ университета любви къ знанію... Случайно не удалось Грибоѣдову окончить университетъ: пока шло снаряженіе его въ дѣйствующую армію, война кончилась, и онъ попалъ въ западный край... Этотъ періодъ жизни Грибоѣдова ознаменованъ многими странностями: молодому вину надо было выбродиться. Онъ принималъ участіе во многихъ военныхъ проказахъ, но тогда же познакомился съ военной сферой, въ которой, правда, встрѣчались люди образованные, но не было недостатка и въ такихъ, которыхъ Грибоѣдовъ обезсмертилъ въ образѣ Скалозуба... Въ Петербургѣ водоворотъ жизни захватилъ Грибоѣдова и едва не поглотилъ всецѣло. Но петербургская жизнь — съ ея театрами, дуэлями, балами, кутежами — утомила его. Ему хотѣлось уйти въ науку и литературу... Къ этому времени относится начало его знаменитаго произведенія... А между тѣмъ семья требовала отъ Грибоѣдова службы, и онъ принялъ мѣсто секретаря посольства въ Тегеранѣ, гдѣ очутился среди «дикарей», по его выраженію. Здѣсь онъ окончилъ «Горе отъ ума», начатое гораздо раньше... Мы видимъ Грибоѣдова опять въ Петербургѣ, гдѣ онъ хлопочетъ о постановкѣ комедіи, но неудачно, и готовъ бросить все... Подоспѣло между тѣмъ «14-е декабря», изъ котораго Грибоѣдовъ вышелъ чистъ, и мы снова видимъ его на Кавказѣ, а потомъ и въ Персіи, куда онъ назначенъ былъ въ качествѣ полномочнаго министра. Здѣсь и былъ убитъ. Вотъ послужной, такъ сказать, списокъ дѣятельности Грибоѣдова. Изъ университета онъ вынесъ любовь къ знанію, къ наукѣ; изъ жизни — знаніе людей: Фамусовы московскаго общества, Скалозубы, Репетиловы, Загорѣцкіе, да и почти всѣ лица комедіи живьемъ выхвачены изъ жизни. Наука дала Грибоѣдову идеаль; стремленіе къ наукѣ — руководящее начало въ идеалѣ человѣка. Какъ поэтъ, Грибоѣдовъ понялъ свою задачу въ смыслѣ *гражданина*; онъ не хотѣлъ смѣшить, но «добра хотѣлъ Русской землѣ»; а въ этомъ — тайна великаго значенія и жизненности его комедіи: прямымъ слѣдствіемъ дѣйствія науки на человѣка была выработка въ немъ чувства правды. Только выработавъ въ себѣ сознательное чувство *человѣка* и *гражданина*, только стоя на этой широкой основѣ, могъ онъ вступить на борьбу съ растлѣннымъ обществомъ и могъ поразить его съ такой силой. Типы его комедіи еще понынѣ имѣютъ живое соотношеніе съ нашимъ нынѣшнимъ обществомъ; со временемъ это соотношеніе исчезнетъ, за комедіей останется, повидимому, только историческое, а не жизненное значеніе; но въ поэтическихъ образахъ эта жизненность ея не исчезнетъ, никогда не потеряетъ своего значенія, ибо міровой законъ борьбы гражданской правды съ отходящимъ порядкомъ вещей, пошлостью и рутинной никогда не потеряетъ силы, пока будетъ жить сознаніе и чувство гражданскаго долга! Въ этомъ смыслѣ произведеніе Грибоѣдова не умретъ никогда! Его идеаль — *человѣкъ* и *русскій гражданинъ*.

Посредствомъ поднятія чувства человѣческаго достоинства въ русскомъ человѣкѣ поэтъ стремится поднять и укрѣпить его чувство гражданина, стремленіе къ наукѣ и правдѣ, его вѣру въ исторію самостоятельной силы русскаго народа. Въ этомъ — историческое значеніе произведенія Грибоѣдова и причина его долговѣчности.

*А. Котляревскій.*

### Грибоѣдовъ, какъ человѣкъ.

Современники, знакомые, цѣнили въ Грибоѣдовѣ искренняго друга, образованнаго, свѣтскаго человѣка, умнаго, увлекательнаго собесѣдника, дѣятельнаго, добросовѣтнаго человѣка. «Обращеніе Грибоѣдова», говоритъ К. А. Полевой въ своихъ «Воспоминаніяхъ», «всегда отличалось рѣдкимъ свойствомъ: какою-то искренностью, которая, однакожь не переходила свѣтскихъ формъ. Слушая Грибоѣдова, можно было вѣрить каждому слову его, потому что онъ не терпѣлъ преувеличеній и будто мыслилъ въ слухъ, не скрывая своихъ чувствъ. Образованность и свѣткость придавали ему характеръ обворожительный... Разговоръ и сужденія Грибоѣдова были чрезвычайно замѣчательны. Между прочимъ рѣчь зашла о власти человѣка надъ самимъ собой. Грибоѣдовъ утверждалъ, что власть его ограничена только физическою невозможностью, но что во всемъ другомъ человѣкъ можетъ повелѣвать собою совершенно и даже сдѣлать изъ себя все. «Говорю такъ потому (собственныя слова Грибоѣдова), что многое испытывалъ надъ самимъ собою. Напримѣръ, въ послѣднюю персидскую кампанію, во время одного сраженія, мнѣ случилось быть вмѣстѣ съ княземъ Суворовымъ. Ядро съ непріятельской батареи ударило подлѣ князя, осыпало его землей, и въ первый мигъ я подумалъ, что онъ убитъ. Это разлило во мнѣ такое содроганіе, что я задрожалъ. Князя только оконтузило, но я чувствовалъ невольный трепетъ и не могъ прогнать гадкаго чувства робости. Я хотѣлъ не дрожать предъ ядрами, въ виду смерти, и при первомъ случаѣ, сталъ въ такомъ мѣстѣ, куда доставали выстрѣлы съ непріятельской батареи. Тамъ сосчиталъ я назначенное мною самимъ число выстрѣловъ, и потомъ тихо поворотилъ лошадь и спокойно отъѣхалъ прочь. Знаете ли, что это прогнало мою робость? Послѣ я не робѣлъ ни отъ какой военной опасности. Но поддайся чувству страха, оно усилится и утвердится».

«Въ свѣтѣ не повѣрили бы и стали удивляться такой дружбѣ, какая существовала между Грибоѣдовымъ и нѣкоторыми близкими сердцу покойнаго, — говоритъ Ѡ. В. Булгаринъ. Чувства, мысли, труды, имущество — все было общимъ въ дружбѣ съ Грибоѣдовымъ. Нѣтъ тѣхъ пожертвованій, на которыя не рѣшился Грибоѣдовъ для дружбы; всѣмъ жертвовали друзья для Грибоѣдова. Его нельзя было любить иначе какъ страстно, съ энтузіазмомъ, потому что пламенная душа его согрѣвала и воспаляла все вокругъ себя. Съ Грибоѣдовымъ благородный человѣкъ дѣлался лучше, благороднѣе; его

привязанность къ другу, вниманіе, искренность, свѣтлыя мысли, высокія чувствованія переливались въ душу и зарождали ощущеніе новой, сладостной жизни. Его голосъ, взглядъ, улыбка, приемы имѣли какую-то неопредѣленную прелесть: звукъ голоса его проникалъ въ душу, убѣжденіе лилось изъ устъ».

«Только мы, жители Грузіи», читаемъ въ письмѣ изъ Тифлиса, написанномъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ смерти Грибоѣдова, «въ состояніи вполнѣ чувствовать утрату сего человѣка. Грузія была настоящимъ поприщемъ его дѣятельности. Здѣсь онъ провелъ лучшее время своей жизни... Онъ любилъ Грузію такъ пламенно, такъ чисто, какъ рѣдкіе любятъ даже родину свою. Хотя немного сдѣлалъ онъ для нея, но желалъ и успѣлъ бы сдѣлать много истинно полезнаго, если бы преждевременная кончина не прекратила его дѣятельности при самомъ почти началѣ славнаго поприща. Можно утвердительно сказать, что, при благотворительномъ попеченіи нашего правительства, съ приведеніемъ въ исполненіе нѣкоторыхъ предположеній Грибоѣдова, черезъ десять или пятнадцать лѣтъ Грузія цѣлымъ столѣтіемъ подвинулась бы впередъ на поприщѣ просвѣщенія».

Не будемъ подозрѣвать въ этихъ отзывахъ пристрастіе, естественное относительно друга, обаятельный свѣтъ, бессознательно бросаемый воспоминаніемъ на невозвратимое прошедшее, возбужденіе чувства, вызванное трагическою смертью. Примемъ съ вѣрою и теплымъ сочувствіемъ каждое слово, произнесенное надъ свѣжею могиллой Грибоѣдова. Но какъ ни напрягали бы мы воображеніе, чтобы вызвать живой образъ человѣка, умершаго пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ, предъ нами мелькаетъ только блѣдная тѣнь. Голосъ, проникавшій въ душу, не слышится намъ; взглядъ, улыбка, плѣнявшіе собесѣдниковъ, намъ не видны. Мы не можемъ любить Грибоѣдова какъ друга, какъ товарища, какъ человѣка. Но мы не можемъ не любить его, какъ автора произведенія единственнаго до сихъ поръ въ своемъ родѣ въ нашей литературѣ. Кто не читалъ и не перечитывалъ «Горе отъ ума»? Кто не повторялъ тысячу разъ стихи изъ него, вошедшіе въ поговорку? Фамусовъ, Чацкій, Молчалинъ, Скалозубъ, Репетиловъ останутся живы, когда не будетъ на свѣтѣ правнуковъ того поколѣнія, котораго они являются безсмертными представителями. Мы въ правѣ то, что Байронъ сказалъ, глядя на Венецію, о Шекспирѣ приложить къ Грибоѣдову и Москвѣ: если бы запусъло мѣсто, гдѣ стоитъ Москва, пустыня населилась бы снова грибоѣдовскими лицами.

*Павловъ.*

По свидѣтельству Булгарина, А. С. Грибоѣдовъ чрезвычайно любилъ простой народъ. Любилъ онъ и ходить въ церковь. «Любезный другъ!» говорилъ онъ, «только въ храмахъ Божіихъ собираются русскіе люди, думаютъ и молятся по-русски. Въ русской церкви— я въ отечествѣ, въ Россіи! Меня приводитъ въ умиленіе мысль, что

тѣ же молитвы читаны были при Владимирѣ, Димитріи Донскомъ, Мономахѣ, Ярославѣ въ Кіевѣ, Новгородѣ, Москвѣ, что то же пѣніе одушевляло набожныя души. Мы русскіе — только въ церкви, а я хочу быть русскимъ»<sup>1)</sup>).

Свое сочувственное отношеніе къ простому народу и высоко-мѣрное отношеніе къ нему нашего верхняго слоя Грибоѣдовъ высказывалъ въ отрывкѣ 1826 года: «Загородная поѣздка». Около Петербурга, въ Парголовѣ, Грибоѣдовъ слушалъ русскія народныя пѣсни, которыя пѣли крестьянскіе мальчики и дѣвушки въ лентахъ и бусахъ. «Прислонясь къ дереву», пишетъ Грибоѣдовъ, «я съ голосистыхъ пѣвцовъ невольно свелъ глаза на самихъ слушателей - наблюдателей, тотъ поврежденный классъ полуевропейцевъ, къ которымъ я принадлежу. Имъ казалось дико все, что слышали, что видѣли: ихъ сердцамъ эти звуки непонятны, эти народы для нихъ странны. Какимъ чернымъ волшебствомъ мы сдѣлались чужіе между своими? Финны и тунгусы скорѣе пріемлются въ наше собратство, становятся выше насъ, дѣлаются намъ образцами, а народъ единокровный, нашъ народъ разрознень съ нами и навѣки! Если бы какимъ либо случаемъ сюда занесенъ былъ иностранецъ, который не зналъ русской исторіи за цѣлое столѣтіе, онъ, конечно бы, заключилъ изъ рѣзкой противоположности нравовъ, что у насъ господа и крестьяне происходятъ отъ двухъ различныхъ племенъ, которыя не успѣли еще перемѣшаться обычаями и нравами».

Такой взглядъ на удивительную для сторонняго наблюдателя разрозненность верхняго слоя нашего общества съ народомъ въ нравахъ, обычаяхъ и одеждѣ Грибоѣдовъ уяснилъ себѣ гораздо раньше. Онъ установился у него тогда, когда онъ обдумывалъ своего героя — бойца за національное развитіе, когда, желая уяснить себѣ исторически наше пристрастіе къ иностранцамъ, духъ пустого, рабскаго, слѣпонаго подражанья имъ въ нравахъ, обычаяхъ, языкѣ, одеждѣ и внѣшности, Грибоѣдовъ читалъ сочиненія, относящіяся къ эпохѣ преобразованія и о Петрѣ I<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> По свидѣтельству Кюхельбекера, Гр. былъ смиренный и строгій христіанинъ и безпрекословно вѣрилъ ученію св. Церкви. Гр. имѣлъ большое вліяніе на Кюхельбекера, которому указывалъ на красоты свѣд. писанія въ книгахъ ветхаго заветъа. Въ своемъ дневникѣ К. записалъ подъ 1833 г. «Прочелъ 30 главъ пророка Исаи. Онѣ были любимыми моего покойнаго друга Г-а, и въ первый разъ и познакомился съ ними, когда онъ имѣ ихъ прочелъ въ 1821 г. въ Тифлисѣ». Такое вліяніе Гр. не нравилось тогдашнему поэту В. И. Туманскому; онъ писалъ К-у: «Какой злой духъ въ видѣ Грибоѣдова удалитъ тебя отъ настоящей истинной поэзіи? [Библия, несмотря на безчисленныя красоты, можетъ превратить музу въ церковныхъ пѣвчихъ]» («Рус. Стар.», 1875 г., т. 14). О чтеніи Гр. свѣд. писанія говорила и сестра Гр. Онъ очень любилъ изучать свѣд. писаніе и переводить псалмы стихами (Бес. въ общ. л. р. сл. при М. ун. 1868 г., в. 2). Памятникомъ остался переводъ псалма: «Маль бѣхъ въ братіи моей», напечатанный въ «Мнемозинѣ» 1824 г.

<sup>2)</sup> Начало этихъ замѣтокъ относится къ 1818 году, когда онъ писалъ Бѣгичеву изъ Ворожежа: «Одинъ томъ Петровыхъ акцій (Дѣяній Петра Великаго — Голикова) у меня въ бричкахъ, и я зѣло на него и его колбасиновъ сержусь».

О французѣ, «подбитомъ вѣтеркомъ», первоначально было сказано:—

Гильоме, куда глаза ни кинь,  
 На нашихъ дамъ, госпожъ, княгинь.  
 Подъ пару всё ему поддѣлаться успѣли,  
 Мадамъ достоинѣйшихъ питомицы, мамзели.

Слѣдуетъ отмѣтить, что всёмъ этимъ заявленіямъ Грибоѣдова и Чацкаго безъ труда можно подыскать параллели въ писаніяхъ шишковистовъ и вообще консервативныхъ націоналистовъ Александровскаго времени. Такъ, одинъ изъ подобныхъ націоналистовъ, издатель «Русскаго Вѣстника», С. Н. Глинка, приводилъ Китай въ примѣръ неизмѣняемости правовъ, неизблемости законовъ и гражданскихъ добродѣтелей; при этомъ оказывалось, что «даже и Вольтеръ прославилъ за сѣ китайскую державу». Обычно такіе публицисты рассуждали грубо, невѣжественно, некультурно; но порою умѣли изъясняться съ достоинствомъ и сильно. Такъ писалъ А. С. Шишковъ о національномъ воспитаніи въ знаменитомъ «Разсужденіи о любви къ отечеству». Или вотъ какъ рассуждаетъ Ѡ. Львовъ, членъ шишковской «Бесѣды», консерваторъ и ненавистникъ французской революціи и французской просвѣтительной литературы, въ своемъ «Письмѣ русскаго уроженца къ сыну его»: «Самъ ты разсуди, не больно ли мнѣ, не больно ли многимъ старикамъ истинно-русскимъ видѣть, что цѣлое сословіе, — и сословіе знаменитое въ государствѣ! — надѣло на себя съ головы до ногъ физическій и нравственный нарядъ иноземный?» «Какъ-будто силою какого волшебства (совпаденіе съ Грибоѣдовымъ) они (иностранцы — учителя) заставили насъ забыть языкъ отечественный, посѣяли между нами свои обычаи, переодѣли насъ въ свою одежду, заставили насъ жить по своимъ обрядамъ; понятія наши наполнили своими правилами, — словомъ, похитили у насъ всё душевныя силы и сдѣлали изъ насъ поработенныхъ поклонниковъ, не имущихъ ни чувства ни мысли природной, и, наконецъ, дошли до того, что мы не стыдимся презирать народъ съ нами единокемный, народъ, который былъ всегда и великъ и славенъ, а нынѣ новымъ подвигомъ удвѣляетъ міръ!»

Нельзя было бы, однако, на основаніи такихъ аналогій зачислять Грибоѣдова въ ряды консерваторовъ. Такъ же ошибочно называть Грибоѣдова и славянофиломъ. Вообще примѣненіе этихъ терминовъ: славянофильство, западничество — къ Александровскому времени — анахронистично. Славянофильство, какъ таковое, какъ цѣлостная доктрина, сложилось, вѣдь, позже. Что касается Грибоѣдова, то его взгляды, на примѣръ, не базировались на теологической основѣ, столь характерной для славянофиловъ (хотя онъ и былъ искренно религіозенъ). Такъ же нѣтъ у него и намекъ на пресловутый тезисъ «гиенія Запада.» Въ его путевыхъ замѣткахъ, напротивъ, можно встрѣтить такое характерное замѣчаніе (по поводу невѣроятной лести въ официальныхъ отношеніяхъ въ Персіи): «Въ Европѣ, которую моралисты



вѣчно упрекають порчею нравовъ, никто не льститъ такъ безстыдно!» Мы предпочитаемъ вышеизложенные взгляды и пристрастія Грибоѣдова охарактеризовать инымъ терминомъ: націонализмъ. И если навести подробныя справки, то окажется, что черты подобнаго націонализма найдутся и у декабристовъ, которыхъ иные историки анахронистически записываютъ за скобку западничества. Выше уже отмѣчено, что декабристъ Кюхельбекеръ раздѣлялъ съ Грибоѣдовымъ его литературный націонализмъ. Тотъ же Кюхельбекеръ былъ пристрастенъ къ національному костюму и одѣвалъ своего лакея въ русское платье. Александръ Бестужевъ ревностно подыскивалъ русскія слова въ замѣну укоренившихся иностранныхъ и въ своемъ стремленіи къ «народности» въ литературномъ языкѣ доходилъ до смѣшного. Пейзажъ онъ замѣнилъ «видописью», карнизъ — «прилѣпомъ», антикварія — «старинаремъ». Какъ и Грибоѣдовъ, онъ былъ большой любитель русской старины, народной поэзіи, народныхъ вѣрованій, обычаевъ и платья. То же надо сказать и о князѣ Александрѣ Одоевскомъ. По уставу «Союза Благоденствія», члены должны были питать въ юнѣствѣ любовь ко всему отечественному, препятствуя, по возможности, воспитанію за границей и всякому иностранному вліанію». Ненависть къ нѣмцамъ также была знакома декабристамъ. Ее отмѣчаетъ біографъ у «Перваго декабриста», В. Ѳ. Раевского. И. Д. Якушкинъ утверждаетъ, что Александръ Муравьевъ и его братья «были враги всякой нѣмчизнѣ». И вмѣстѣ съ тѣмъ декабристы такъ же, какъ Грибоѣдовъ, преклонялись предъ европейской культурой и чуждались мысли о гніеніи Запада.

Представляло бы интересную историко-соціологическую задачу изслѣдовать, чѣмъ объясняются эти странныя, на первый взглядъ, совпаденія во взглядахъ консерваторовъ-шишковистовъ, Грибоѣдова и радикаловъ-декабристовъ. Здѣсь, однако, не мѣсто для обсужденія такого вопроса. Для насъ было только необходимо отмѣтить, что и «славянофильскія тенденціи» Грибоѣдова, или, какъ мы предпочитаемъ выражаться, его націонализмъ, не разъединяють, а напротивъ, тѣсно связываютъ поэта съ движеніемъ общественной мысли въ Александровское время.

Тысячи нитей связываютъ Грибоѣдова съ этимъ движеніемъ. И только благодаря такому единенію поэта съ жизнью могло быть создано «Горе отъ ума».

*Пискановъ.*